

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Федор ПАНФЕРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

Федор ПАНФЕРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ПЯТЫЙ



БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО

Роман

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

Примечания
Л. ВОЛЬПЕ

Оформление художника
В. СЕЛЕНГИНСКОГО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Урал лежал, преграждая путь в Сибирь, напоминая собою гигантского бурого медведя, уткнувшегося мордой в южные степи. С огромной высоты казалось, медведь этот, выкинув вперед лапы, собирался ими что-то загрести, но сторожко задремал: в любую секунду может подняться на дыбы...

Ипполит Яковлевич Кокорев напряженно смотрел в окошечко самолета, идущего из Гурьева в областной город Угрюм. То, что Урал походил на гигантского бурого медведя и весь дымился свинцовыми красками, и то, что временами ярко-серебристые, будто залитые ртутью, облака, цепляясь за макушки гор, принимали вид причудливых птиц или сказочных кораблей, — все это не волновало Кокорева: он всегда был холоден к красотам природы, как человек без слуха холоден к музыке.

И сейчас думал о своем...

Перед вылетом из Москвы в Гурьев, куда Ипполит Яковлевич завернул, чтобы повидаться с женой, к нему в номер гостиницы зашел инженер Едренкин, работавший в аппарате министерства. Будучи уже навеселе, выпив третью рюмку коньяку, Едренкин развязно заговорил:

— Милый Ипполит Яковлевич, Форды нам нужны. Свои Форды. Ты, например, как мог бы любому Форду в глотку вцепиться. Трупиком бы от него запахло... дай тебе волю, условия создай. Ты же талант. Самородок. А с тобой что? Обставляют тебя рогатками. Демосом. Го! Демос. Что такое демос? Лишай! Расползается, расползается и личность окутывает в кошму из кислой шерсти: ни дышать, ни думать, ни дерзать... Шучу, конечно,— заплетающимся языком закончил Едренкин и пошатнулся на стуле, приваливаясь к стене, затем открыл глаза, и его белое лицо, обрамленное черной курчавой бородой, стало тускло-прозрачным, как стекло-пластмасса.

Кокорев хотел было обрушиться на гостя, но, увидев, что тот «на закате», махнул рукой. А теперь, вспомнив все это и многое-многое другое, что весьма тревожило его, Ипполит Яковлевич горестно подумал:

«Да ведь мы и в самом деле частенько доподлинную демократию подменяем болтовней, что весьма любят бездельники всех мастей: надо починить водосточную трубу... вода уже проникла в квартиру, а они соберутся и давай преть, преть, преть. И все устремились управлять государством,— Кокорев, усмехаясь, глянул на своего секретаря Урывкина, спящего в кресле.— Может, ему вручить завод, сказать: «Я — из народа, ты — из народа. Директорствуй». Вручить-то можно... полномочие. А сие не вручишь — разум». — Он легонько постучал по виску и снова стал смотреть в окошечко на Уральский хребет, стелющийся под крыльями самолета.

Ипполит Яковлевич считался в министерстве, да и в деловых кругах человеком широкого масштаба. Он не только прекрасно вел расположенный в Угрюме танковый завод, за что и получил звание Героя Социалистического Труда, но и хорошо был осведомлен о состоянии промышленности Урала: ему известно, что оборудование фабрик, заводов, эвакуированное в первый год войны из Москвы, Ленинграда, Белоруссии, Украины, осело вот здесь, в лесистых горах, и потому даже самые глухие уголки превратились в

индустриальные центры, хотя по улицам подобных центров порою еще бегают дикие козы.

Ожидая, что вот-вот под самолетом промелькнет Чиркуль, куда, собственно, и направлялся Ипполит Яковлевич в качестве директора автомобильного завода, он сейчас ярко представлял себе и то, как со всего индустриального Урала непрерывно несутся эшелоны с танками, пушками, снарядами, автомобилями — туда, на фронт.

«Идут. Двигутся, — с гордостью заключил он. — Форды? Кой там черт Форды. Форды и Круппы не устояли против нас. У нас есть свои Демидовы: те когда-то помогли Петру Великому прорубить окно в Европу, мы — громить фашистов. Чудак этот Едренкин. Пьяненький болтал... Без демоса? Да что мы такое без народа?» И тут вдруг словно кто-то нажал ему на открытую рану: лицо у него болезненно перекосилось.

«За что? Почему так обошлись со мной? — мысленно воскликнул он. — Я на два месяца раньше установленного срока дал танки. Я первый освоил танк «Т-34». Министр сказал: «Фронту позарез нужны грузовые машины. Мы посылаем вас, как Верховная ставка боевого генерала, на самый трудный участок». Если это так, значит — доверие. Но почему с танковым?.. И почему...»

Мысли Ипполита Яковлевича перебил летчик:

— Смотрите! Чиркуль. Через сорок минут будем в Угрюме.

Самолет накренился, взял влево, и вскоре под его крыльями расхлестнулся на огромнейшей площадке автомобильный завод. Он поблескивал крышами цехов, дымил трубами, светился асфальтированной дорогой, вновь построенным городом из многоэтажных домов и домиков-коттеджей...

— Да ведь это же махина! — восхищенно прошептал Кокорев, в представлении которого Чиркульский автомобильный завод походил на какую-то кустарную мастерскую. — Махина! — еще раз подчеркнул он. — Значит, мне доверяют большое дело. Наладить? В этом я не сомневаюсь. — И только тут, впервые за

длинный путь, Ипполит Яковлевич улыбнулся, решив после приземления самолета в Угрюме забрать чемоданы, даже не заглядывая в обком, немедленно отправиться в Чиркуль: город Угрюм, да и обком после всего того, что случилось с Кокоревым на танковом заводе, стали для него какими-то отчужденными.

2

Николай Кораблев покинул моторный, ныне Чиркульский автомобильный завод в тысяча девятьсот сорок третьем году, накануне Орловско-Курской битвы. После его отъезда завод некоторое время действовал как хорошо налаженная машина — без скрипа и задиринок. Однако и прекрасную машину полагается ремонтировать; кроме того, следует двигаться вперед, изобретать новую марку. Завод по своему устройству гораздо сложнее любой первоклассной машины: это не только цехи, но, главным образом, и люди. Ими надо умно и бережно руководить, уметь из огромнейшего потока предложений выхватить основное, так же как талантливый селекционер среди сотен тысяч колосьев отыскивает особенный и из него выводит новые семена.

Исполняющий обязанности директора Альтман даже не походил на селекционера. Верно, он работал, как говорят, «не покладая рук»: почти не ночевал дома, находясь или в кабинете, проводя там совещания, или в цехах, беседуя с мастерами, с рабочими, а то и сам становился за станок, обучая того или иного паренька. Одним словом, его обнаженная курчава голова мелькала то тут, то там, а глаза горели тем постоянным огнем, каким они горят у человека, целиком увлеченного работой. И, однако, производственная программа еле-еле выполнялась, технический совет самоликвидировался, люди, творчески одаренные, потянулись в другие места, — так завод постепенно стал покрываться своеобразной плесенью, чего не видел Альтман, но что тревожило парторга Лукина; ему Альтман напоминал двухлетку-лошадку,

которую преждевременно запрягли в телегу, да еще навалили непомерно тяжелую кладь и, подгоняя, направили в гору. И вот пыжится лошадка, перебирает ногами, напрягает силенки — и... ни с места. Лукин делал все, что зависело от него, порою даже сам брался за тяж и тянул телегу в гору, но он понимал, что для такой клады, как автомобильный завод, нужна не лошадка-двухлетка, а настоящий конь.

— Лишь бы не сорвать программу, — порою шептал парторг и постоянно ждал возвращения Николая Кораблева с той тревогой и с тем нетерпением, с каким мать ждет врача к заболевшему ребенку.

А время несло: со дня отъезда Николая Кораблева прошел месяц, потом два, потом год. За это время моторный завод был перестроен в автомобильный, что еще больше осложнило дело...

И однажды на заседании в кабинете Альтмана, когда обсуждалось выполнение программы за квартал, слова попросил старый рабочий Степан Яковлевич Петров, начальник цеха коробки скоростей. Потрогав большой кадык, что всегда являлось признаком раздражения, он басом грохнул:

— У нас нет директора!

Вначале все удивленно переглянулись, затем инженер Лалыкин, начальник термического цеха, поправляя на шее марлю (он часто страдал ангиной), сдавленно смеясь, сказал:

— Хлебнул, что ль? А за столом-то кто?

— За стол-то и я могу водрузиться. Воссяду и буду сторожить, словно милиционер на площади, — возразил Степан Яковлевич.

— Тебя не посадят, — уже неприязненно проговорил Лалыкин.

— Да я и сам не полезу: не по моему разуму дело такое. Но другое знаю: завод полагается не только сторожить, а и новые достижения двигать вперед, что и умел Николай Степанович Кораблев. Приедет — отрубит: «Директора у вас не было».

— Он человек скромный: такое не отрубит, — снова и уже крутовато произнес Лалыкин.

— Вы меня, как их там... репликами своими, вроде кирпичами, не сбивайте, — продолжал разгоряченный Степан Яковлевич. — Николай Степанович все нити стягивал к себе. А вы только на страже стоите. К примеру, Варвара Коронова на днях приходит ко мне и говорит: «Двумя станками овладела, теперь бы на три перейти». Вы ей что? Стоп-молчок. Или дело по высокочастотной закалке металла? Зайди в лабораторию, нажми кнопку — и через пять минут коленчатый вал готов. Красота! Величие человеческого разума! Оказывается, товарищ Лалыкин, кой репликами кидается здесь, там почти все детали освоил. Кто из Москвы приедет, мы его в лабораторию: «Посмотрите, чудеса какие!» А чудеса эти надо в цеха перетащить. Почему же не пускают? Да потому, что у нас нет директора. Руководить заводом — это, милые мои, большое искусство. Да. Да. Не таращите на меня глаза. Кому хошь скажу: руководить заводом — это большое искусство! Высшее искусство! Сложнейшая музыка!

После заседания в кабинете остались Лукин и Альтман.

— Досадно: ведь не дурака же валяем, — проговорил Альтман и обеими руками закинул волосы на затылок, подбивая их, как это делают модницы перед зеркалом.

Лукин так затянулся махоркой-самосадам, что она с треском заискрилась, окутав сизым дымом его лицо — синие глаза затуманились, а льняные, гладкие, на пробор зачесанные волосы будто покрылись золой.

— Знаешь что, друг мой? — сердито произнес он. — Если бы дело касалось чего-то исключительно лично твоего... ну, допустим, ты протанцевал бы... ты ведь любишь танцы... и тебя раскритиковали бы... я, наверное, стал бы тебя утешать. Но ведь нам с тобой вверили завод, коллектив рабочих, их судьбы... Тут утешение — вредно. Нужен здравый анализ.

Альтман, прикусив нижнюю, довольно сочную губу, некоторое время смотрел на склоненную голову парторга и, чуточку побаиваясь его, сказал:

— Не понимаю. Мы с тобой всегда были откровенны.

— Откровенность и скрепила нашу дружбу. Так вот — Степан Яковлевич прав: мы работаем без директора.

— Значит, считаешь меня... — Альтман было вскипел, но парторг перебил:

— Я считаю тебя очень хорошим инженером... даже главным инженером, но ты не руководитель завода, как не руководитель и я. Руководить заводом — большое искусство. Верно ведь сказал Степан Яковлевич?

— Значит? — раздумчиво, приглушая в себе обиду, произнес Альтман. — Значит, надо просить...

— Обязательно, — подтвердил парторг.

— Да. Это будет честно, — чуть погодя согласился Альтман.

Тем же вечером, посоветовавшись с секретарем обкома Петром Роличевым, они и направили письмо министру с просьбой прислать на завод директора.

3

Сегодня, часов в одиннадцать утра, из Угрюма Петр Роличев по телефону сообщил Лукину:

— К вам выехал новый директор, Кокорев.

— Танкист?

— Он самый. Что молчите?

— Крупен.

— Боятесь, задавит?

— Нет. Не то чтобы, но... — Парторг в душе надеялся, что министр постарается отозвать из армии Николая Кораблева, а тут — едет Кокорев, о котором поговаривали: «У него есть хватка, творческая жилка», «Талантлив, бестия, но гроза», — и еще шепотком передавали: «Крутоват: все ботиночки подбieraет только на собственную ножку».

— Что ж не договариваете? — спросил Петр Роличев.

— Да крупен, говорю... ждать будем, говорю, — ответил парторг. — Чего вы его с танкового-то?

— Воля министра. Да ведь и вы просили — директора.

И вот к вечеру, когда осеннее солнце так ласково обогревало землю, что казалось — наступает весна, к заводууправлению подкатила легковая машина и из нее первым вышел Ипполит Яковлевич Кокорев.

Внешне Ипполит Яковлевич походил на юношу, хотя ему перевалило уже за сорок. Он был даже красив: нос с горбинкой, губы ядреные, глаза большие, навывкате, с бархатистыми ресницами, а на лице рыжинка, похожая на загар.

По сравнению с Альтманом и особенно с Лукиным он выглядел курортником около обычных санаторных работников: на нем новый, отутюженный и тщательно пригнанный к его стройненькой фигурке китель, брюки галифе с генеральскими лампасами, аккуратненькие, на высоких каблуках сапоги.

«Красив, — завистливо блеснуло у Альтмана. — Но в этом я с ним еще посостязаюсь: ростом я выше, да и лицом покраще».

«Почему же орденов не носит... да и генеральских погон?» — подумал Лукин, идя с крыльца навстречу новому директору.

За парторгом тронулся и Альтман, готовясь всем своим видом, поведением, говором произвести впечатление на прибывшего.

— Главное, произвести впечатление — и все пойдет как по маслу, — незадолго перед этим уверял он парторга.

Подойдя к новому директору, они один за другим протянули ему руки, произнося каждый свою фамилию. А Кокорев, глянув на них, решил:

«С заводом не справились, значит бездельники, мелкие людишки. Такие у большого дела всегда как индюки: распусят перья и хвастаются, хвастаются. — Ипполит Яковлевич молча посмотрел на горы, теснившиеся за чертой завода, скользнул взглядом по зданиям ближайших цехов... и вдруг лицо его стало пунцовым: неподалеку от заводууправления на асфаль-

тированной площадке образовалась ямина и теперь была залита дождевой водой. — Вот так у них все и идет: плевки на зеркале», — и пунцовость еще гуще выступила на лице нового директора, а маленькие, похожие на груздочки уши набухли кровью, так что казалось: она вот-вот брызнет.

Заметив все это, Альтман, решив, что Кокорев устал в дороге, любезно предложил:

— Может, отдохнете, Ипполит Яковлевич? Номер в гостинице для вас приготовили. Ванна...

— Меня сюда прислали работать, а не отдыхать! — осадил Кокорев и неожиданно обворожительно улыбнулся, произнеся скороговоркой: — Простите, грублю. Нервы, нервы, нервы, нервы... мои замученные кони. — И, мелькая каблуками сапог, быстро, по-юношески легко взбежал по ступенькам в заводоуправление.

Войдя в пустовавший кабинет (его никто из уважения к Николаю Кораблеву не занимал), новый директор осмотрелся и приказал Урывкину разыскать коменданта. Тот незамедлительно явился, точно ожидал вызова, стоя тут же за дверью. Кокорев еще раз окинул взглядом кабинет — довольно поношенный письменный стол, два кресла, диван, разномастные стулья, выцветшие гардины на окнах... — и скомандовал:

— Все это прочь!

— Есть! — ответил комендант и круто, по-военному, повернулся.

— А лужу на площади я сам выхлебаю? — будто мирно, но со звенящей досадой, похожей на писк комара, добавил Кокорев.

Комендант так же круто повернулся к нему.

— Лужа? Почему лужа? — повышая голос, проговорил Кокорев.

— Я... — заикнулся было комендант.

— Якать будете дома. Идите. А теперь умыться. — Ипполит Яковлевич скрылся в маленькой комнатке, где долго, тщательно отфыркивался, откашливался, полоскал горло, после чего вышел разруганный, улыбающийся. — В цеха, друзья! — сказал, обращаясь

к Лукину и Альтману. Затем к Урывкину: — Приведите тут все в порядок: мебель, ковры, гардины и прочее.

— Эге, — шагая за ним, шепнул Альтман парторгу.

— С лужей-то? Я тебе сколько раз говорил, — шепотом же ответил Лукин.

— А я коменданта сто раз носом совал.

4

Несмотря на позднюю осень, постоянные дожди, листопад, завод находился в образцовой чистоте: асфальтированные площадки и дорожки блестели, по обе стороны центрального проезда розовели оголенные липы, стволы которых, обернутые черной бумагой, напоминали ноги вороных коней. Параллельно липам, словно куда-то шагая, тянулись чугунные узорчатые фонарные столбы.

Подойдя к одному из них, Кокорев, не снимая лайковой перчатки, а только чуть задрав ее, постукивал по чугуну и, над чем-то затаенно смеясь, произнес:

— Хороши... столбы.

Лукину показалось, что в отдельно сказанном «хороши... столбы» прозвучала презрительная нотка в его адрес, но Альтман обрадованно и торопливо пояснил:

— Из Москвы, Ипполит Яковлевич. Когда-то Тверскую украшали. У нас основной костяк рабочих — москвичи. Ну вот, Николай Степанович и выхлопотал, чтобы хоть чем-нибудь напомнить о Москве.

— Кто это — Николай Степанович?

— Кораблев.

— Угу, — неопределенно через нос прогудел Кокорев, думая: «Теперь индюки, чтобы прикрыть свое безделье, начнут валить все на Кораблева», — и, направляясь в цех коробки скоростей, сказал: — Информируйте о начальнике.

— Петров — старый рабочий, мастер, его очень высоко ценил Николай Степанович, — оживленно от-

ветил Альтман, намереваясь похвалиться, вот-де как мы выдвигаем рабочих на большие дела.

Но директор прервал:

— Почему не инженер? Я спрашиваю: почему не инженер?

— Инженер ушел на фронт.

— А тут что? Не фронт? Где он, ваш высокоценимый Петров?

— Вон. Степан Яковлевич, — увядая, проямлил Альтман.

— По батюшке зовете?

Этим Кокорев окончательно доконал Альтмана; тот крепко сжал губы, даже как-то постарел и смолк.

А Лукин с усмешкой подумал: «Вот и произвел впечатление!»

Степан Яковлевич, догадываясь, что к нему приближается новый директор, аккуратненький, похожий на барышню, решил:

— Душа, видно, у него хорошая... Хотя не таким я его себе представлял, а великого росту: слава-то какая о нем гремит!

— Директор к нам прибыл, Степан Яковлевич, — глядя куда-то в сторону, еще не угасив усмешку, произнес парторг.

— Похвально. Завод без директора — что человек без головы, — с волнением пробасил Степан Яковлевич, пожимая огромной рукой маленькую и отчужденно-вялую, не отвечающую на пожатие руку нового директора.

— Истина, — поддержал Кокорев. — Где прорвалось? Говорите. Вы старый рабочий: вам все известно.

Степан Яковлевич по простоте ответил:

— Да я бы в первую очередь термический цех переоборудовал.

«Как они тут зазнались: этот уже готов стать командармом. Такие и вырастают на демократической водичке», — подумал Ипполит Яковлевич и так пронызывающе посмотрел на Лукина, что задрожали бархатистые ресницы.

— «Я бы...» — сказал новый директор. — Разве ему дано право переоборудовать?

— Это к слову, — точно неожиданно о что-то споткнувшись, вымолвил Степан Яковлевич и уже с меньшим жаром продолжал: — К слову. Видим ведь... термический цех у нас на старых началах: дым, копоть. А в лаборатории ребята... то есть инженер Лалыкин токами высокой частоты освоил почти все детали.

— Ведите. — И Кокорев первый зашагал к выходу.

В термический цех пришлось идти через фрезерный. Станки здесь находились в идеальной чистоте, некоторые даже покрашены в белый цвет, по углам вместо мусорных ящиков стояли высокие пальмы.

— Хорошо, — искренне вырвалось у Ипполита Яковлевича: он любил чистоту и порядок. Но тут же его глаза с поволокой стали бездушны.

«Кораблев, видимо, был по-настоящему деловой человек, — блеснула у него мысль, — а эти начнут кочевряжиться образцовостью: и мы-де пахали... и вот-де какой у нас был директор», — с досадой подумал Кокорев и, чеканя каждое слово, произнес:

— Чистота приучает к культуре, а у нас с некоторых бескультурье надо скребницей счищать. Что? Не правда? — Но, увидав Варвару Коронову, мягко и с лаской в голосе, добавил: — Мадонна.

— Какая там мадонна? В войну пришла к станкам, — грубовато пробасил Степан Яковлевич.

Варвара была в сереньком халате, облегавшем все ее статное тело. Руки по локоть обнажены, пышные, сияющие привлекательной белизной. На голове синяя косыночка, из-под которой на лоб спадает завиток волос.

— Мадонна у станка, — повышая голос, дабы заглушить слова Степана Яковлевича, как глушат фразу назойливого гостя, продолжал Кокорев. — Бывало таких рисовали с младенцем... с Христом на руках. А тут — у станка. Здравствуй, красавица! На что жалуешься?

Варвара вспыхнула, став еще привлекательней.

— Да вот... — заговорила она грудным, певучим голосом. — Жаловаться не на что. Только прошу перевести меня на четыре станка.

— Уже на четыре? Просила три, — удивляясь, упрекнул Степан Яковлевич.

— Мало зарабатываешь? — чуть склонив голову, любуясь Варварой, произнес директор.

Варвара, смутясь больше от взгляда Кокорева, нежели от его вопроса, ответила:

— Да нет. Не думала я о деньгах. А охота на четырех станках. Руки просят. Во сне вижу, на четырех работаю.

— Деньги еще никому ладонь не прожгли, — проговорил Кокорев и обратился к Альтману: — Перевести на четыре! — И с досадой подумал: «Как они тут их всех развратили!»

Варвара же, услышав приказ, радостно воскликнула:

— Вот спасибо-то!

— А говоришь, деньги не интересуют. Деньги пока что, голубушка, государственный рычаг. Учтите это, — поняв все по-своему, проговорил Кокорев.

5

Термический цех, как и все термические цехи в мире, дышал угаром, копотью, кислотами и жаром. Рабочие с худыми лицами, многие, несмотря на позднюю осень и сквозняки, без рубашек, работали кто у печей, кто у ванн.

Директора встретил инженер Лалыкин. В черном халате, с повязанным горлом, он походил на захудалого грача.

Кокорев брезгливо отфыркнулся, разгоняя рукой гарь, и сказал:

— Ужас! У Форда в термическом работают только негры.

Лалыкин, стараясь быть веселым, прикрывая этим оторопь перед новым директором, ответил:

— Не зря говорят: термист на том свете обязательно в рай попадет, потому что на земле в аду живет.

— Значит, привыкли в аду коптеть. Самое скверное, когда человек сознает, что живет в аду, и ничего

не предпринимает, чтобы вырваться из него. Что вы, например, делаете с токами высокой частоты? — все более раздражаясь, спросил Кокорев.

— Освоили многие детали. — И, сняв черный халат, надев белый, Лалыкин направился в помещение, расположенное за стеклянной перегородкой.

Здесь было чисто, уютно, воздух свежий. Всюду стояли колонки, ванны и электроприборы.

— Надя! — позвал Лалыкин.

Из будочки-конторки вышла девушка в синей кофточке с бантиком-бабочкой. Это была та самая Надя, которая когда-то работала секретарем у Николая Корблева, но с отъездом того на фронт ни к кому секретарствовать не пошла, хотя ее звали и Лукин, и Альтман, и начальник строительства Иван Иванович Казаринов. Она попросилась на работу вот сюда, в лабораторию, зная, какие надежды возлагал Николай Корблев на токи высокой частоты.

Выйдя из будочки-конторки, Надя всем поклонилась и, предполагая, что человек в аккуратненьких сапожках приезжий из Москвы, обратилась к Лалыкину:

— Что прикажете?

— Покажите товарищу директору наши достижения.

Надя дрогнула, говоря про себя: «А что же с Николаем Степановичем?»

Заметив ее взволнованность, Лалыкин подбодряюще произнес:

— Вам ведь не впервые. Не волнуйтесь.

— Да я и не волнуюсь, — сурово стянув тонкие брови, ответила Надя и включила ток в ряде колонок, ванн, где через стекло виднелись коленчатые валы, шестеренки, пальцы и другие детали.

Всюду вспыхнул свет, хлынула жидкость... и через три, четыре, пять минут детали были закалены.

— А-ах! — с досадой вырвалось у Кокорева. — Имеете полную возможность уничтожить ад, но заучили побасенку и подсмеиваетесь... над собой же. Все это, — он повел рукой по колонкам, — немедленно в

производство! Немедленно! — И повернулся на каблуках к Лалыкину. — Оборудование есть?

— Да. Оно было приготовлено еще при Николае Степановиче.

«Опять Кораблев!» — раздраженно пронеслось в уме Кокорева, и он, затоптавшись на месте, как это делает человек, охваченный гневом, выпалил:

— Ах, при том. Вояка! От трудностей на фронт удрал, а вам на память ад оставил.

Альтман сжался, точно для прыжка, у Лукина забегали туда-сюда глаза, Степан Яковлевич смерил взглядом Кокорева, думая: «Плюет в самое святое место. Не годится!»

— Такая реорганизация приостановит завод недели на две и сорвет программу! — с визгом вскрикнул Альтман.

— А хотя бы на три. Наверстаем, — уверенно возразил Кокорев и еще раз приказал Лалыкину: — Действуйте. Без промедлений. Начинайте сегодня, сейчас же!

Ледок на сердце у Степана Яковлевича от такого распоряжения растаял, и он произнес:

— И я говорил, нужен нам директор, а то все так: стоп-молчок. — И по-доброму добавил: — Однако вы Николая Степановича не пачкайте: греха наживете.

Кокорев вспыхнул, думая: «Какие рога вырастили этому молодцу! Обломать!» И, притопнув каблучками, он крикнул:

— С кем разговариваете? Что я вам: сват, брат, кум? Я директор. Черт знает до чего вы тут все распустились!

— А я человек, — с достоинством ответил Степан Яковлевич. — Не перечу вам в производстве, хотя, если не то загнете, перечить буду: государство такое право мне дало. А уж ежели в сердце плюнете, я так шарахну — пятки засверкают! — И, покачиваясь, зашагал к себе в цех.

Кокорев передернулся и глянул на Лукина.

— Ваш воспитанник?

— Нет. Он нас воспитывает. — И, сдерживая себя, почти спокойно, даже улыбаясь, парторг произнес: — Я вам не рекомендую так отзываться о Кораблеве: вы наносите обиду рабочим, а ведь вам с ними не чай хлебать. Да и нас оскорбляете, в том числе и меня, — добавил он более сурово.

— И меня, — сказал Альтман.

— Начинается дискуссия, — со смешком промолвил Лалыкин и, видя, как у Нади дрожат губы, которых вот-вот сорвется злое слово, подошел к ней: — Не надо, Надя. Не надо.

Уши у Кокорева снова налились кровью, лицо побагровело. Казалось, он сейчас всех разнесет. Но вдруг глаза у него подернулись слезой, губы изогнулись, как у провинившегося паренька.

— Простите меня, товарищи, — дотрагиваясь до руки Лукина, дрожащим голосом проговорил он. — Я не знал Кораблева. Мне наболтали, что он от трудностей удрал на фронт. А я не терплю дезертиров. Сейчас осознаю: не то. И простите меня. Да и поймите: война так расшатала мои нервы, что я просто не знаю, что делать. — Он передохнул, точно чем-то давясь. — Я хочу чувствовать близость вашего локтя и прошу вас помочь мне: где не так, одерните меня, режьте правду-матку.

Все несколько секунд молчали, пораженные такой переменной.

— Да, война... конечно... война, она на нервы... — пробурчал растроганный Альтман.

Опять наступило тягостное молчание. Тогда Кокорев рванулся к двери.

— Я пойду и извинюсь перед... перед Петровым. В присутствии рабочих.

— Ну, этого не следует делать: Степан Яковлевич — человек умный, поймет. — Лукин вздохнул так, как будто с его лица сняли вату, смоченную эфиром. — Вот и хорошо, Ипполит Яковлевич. Только больше такого не надо: рабочие уважают Николая Степановича.

— Это прекрасно, значит заработал, — глядя в пол, заговорил Кокорев, багровость с лица которого постепенно стала вытесняться постоянным загаром.

— Представим себе, что ничего и не было, — блестя глазами, радостно подхватил Альтман. — Пойдемте-ка на главный конвейер, там у нас не совсем ладно.

И они — Кокорев, Лукин, Альтман, весело попрощавшись с Лалыкиным и Надей, покинули лабораторию.

А рабочие-термисты, узнав о распоряжении директора, сгрудившись, в один голос сказали:

— Ого! Значит, скоро будем работать при галстукке да в халате. Вот этот двинул зачатки Николая Степановича.

Главный конвейер разместился в огромном, с высоким куполообразным застекленным потолком зале. Со всех сторон сюда шли детали, из которых и собиралась грузовая машина. Одни из деталей подвозились на электротележках, а все остальное — разнообразное и многообразнейшее — ползло по подвесным конвейерам. Тянулись висящие на крюках моторы — молчаливые и суровые, какими бывают мудрые старики, говорящие всем своим видом: «В деле посмотрите, каков я». Ползли раскоряченные рамы, пузатые, неповоротливые кузова, катились, точно бежали, надутые колеса. Все двигалось, торопилось, толкалось, останавливалось и снова толкалось, налезая на главный конвейер, стремясь преобразиться из разнородного, разнообразного в живой организм — грузовую машину.

Постороннему человеку казалось: все идет не только благополучно, но и весьма разумно, и он вполне мог бы воскликнуть: «И как это люди додумались до такого чуда?»

Но сейчас стояли не посторонние наблюдатели, а опытные инженеры, и они видели, что детали и узлы наваливаются со всех сторон на конвейер так, как в жару на маленький ручеек наваливается смешанное стадо баранов, коров и коней.

Кокорев, чуть склонив голову, долго прислушивался, словно перед ним лежал часовой механизм, затем несколько раз обвел взглядом движущееся, толкающееся и понял: все цехи подают сюда эти детали

и узлы в таком изобилии, что одному конвейеру не справиться.

— Ускорить темп конвейера невозможно, — утвердительно проговорил он и обратился к Альтману: — Оборудование для второго конвейера есть?

— Есть. Но в дороге кое-что попортилось.

Кокорев распрямылся и как будто стал выше ростом, а его большие навывкате глаза блеснули гневом.

— Отремонтировать! Здание расширить и установить еще конвейер! Не хотите думать, поэтому конвейер превратили в душителя машин.

Альтману хотя и горестно было это слушать — он сам не додумался до такого решения, но однако он с восхищением мысленно произнес: «Да-а... У этого хватка».

Когда же они вышли из ворот завода, то увидели: на площади ямина уничтожена и двое рабочих асфальтом уже заливают пестрое пятно.

Альтман опять подумал:

«Хватка. Хватка. Нетактичен, но талант. А тактичности его Лукин научит».

Лукин думал свое: «Черт-те что: одним взмахом руки поломал два цеха. Конечно, распоряжение разумное, но ведь и разумное надо обсудить на коллективе».

На крыльце заводоуправления Кокорев, видимо догадываясь, о чем думает парторг, круто повернулся к нему.

— Что? Полагаете, я не прав или — как это еще там — администрирую? Дорогой мой, некогда: война. А вы представьте себе: на дороге ребенок, и на него несется взбешенный конь. Что же, соберете партком и будете обсуждать, убрать ребенка или нет? Глупо. Надо немедленно, рискуя своей жизнью, убрать... На нас мчится взбешенный конь — фашист.

Парторг хотел было ответить, что да, все это так, но надо было бы сначала обсудить на коллективе, однако промолчал и, войдя в кабинет директора, сел в глубокое кресло, отсюда наблюдая за тем, как привычно, будто он всегда был тут, Кокорев вызывает по

телефону нужных ему людей, как отдает то или иное распоряжение.

«Сложная персона, — мысленно проговорил наконец парторг, глядя на стремительного в своих движениях Кокорева. — Хорошо. Сегодня ты дал распоряжение, оно разумное. Но ведь завтра можешь ошибиться. Ах, вон что! Ты так прекрасно знаешь производство, что ошибки от тебя ждать нельзя. — И снова задумался. — Возможно. Хотя ребенка с дороги надо убрать, раз мчится на него взбешенный конь... Но ты мне напоминаешь суетливого садовника... Примерно, люди собирают плоды с яблонь: поставили лестницы, по яблочку срывают, осторожно укладывают в корзины... Но тут подбегает суетливый садовник и кричит: «Яблоки! Срочно нужны яблоки!» — и давай трясти деревья... Яблоки посыпались, корзины быстро наполнились... Ну что же — бочки побиты? Съедят... Возможно, так и надо: война». И парторг снова стал всматриваться в энергично-стремительного Кокорева, вставляя реплики в их разговор с Альтманом и одновременно думая: «Видимо, не случайно имя его так известно: мы охали, ахали по поводу большого конвейера, а он глянул — и разом решил. Говорят, талантлив. Может быть, все талантливые люди такие, не то что мы, грешные. Тогда чего же сердце у меня ноет?.. Уши его? Кровью налитые уши? Фу, черт, ерунда какая. У одного уши не понравятся, у другого нос... Вот еще критерий. Я, например, контужен на фронте, теперь у меня глаза туда-сюда бегают. Наверно, тоже кое-кому не нравятся мои глаза...»

6

Говорят, любого директора можно узнать по его секретарю. Можно догадаться, как относится директор к человеку по тому, как этого человека встречает секретарь. Такие секретари усваивают не только стиль работы своих директоров, но и их повадку, тон голоса, а иногда даже как-то и внешне походят на своих патронов.

Урывкин внешне на Кокорева не походил. Тот маленького роста, аккуратненький, а этот высокий, с длинными, словно привязанными, как у куклы, руками: они все время болтаются. Голова большая, лысая, только на затылке, будто случайно занесенный сюда ветерком, торчит рыжий клок, который Урывкин то и дело теребит левой рукой. Но стиль работы у него — утрированный стиль Кокорева...

Когда Николай Кораблев уехал на фронт, Надя, забрав ключи от кабинета, приемной, хранила их у себя. И вот теперь, как только из лаборатории вышел Кокорев, она побежала в директорскую и тут увидела лысого человека, который усиленно дергал ящики стола.

— Вы, вероятно, секретарь того... нового директора? — спросила она.

— Точно, — прохрипел Урывкин, глядя на нее маленькими сверлящими глазками, продолжая дергать ящики стола.

— Да не ломайте ящики! Вот ключи.

— Ах, птичка? Откуда выпорхнула?

— Я была секретарем у Николая Степановича, — в замешательстве ответила она.

Урывкин уже знал, кто такой Николай Степанович, но спросил:

— Николай Степанович? Что за фита?

— Кораблев.

— А-а-а! На фронт шмыгнул!

Надя взмахнула ключами, целясь в лысую голову, но сдержалась. Бросив ключи на настольное стекло, она выбежала из приемной и кинулась к начальнику строительства Ивану Ивановичу Казаринову, близкому другу Николая Кораблева.

Иван Иванович сидел в кабинете и просматривал бумаги, ничего не видя в них: приезд Кокорева его тоже расстроил. Ведь с Николаем Кораблевым он проработал больше пятнадцати лет... и вот теперь прибыл новый директор...

За эти годы Иван Иванович как будто и не изменился! Внешне все такой же опрятный: реденькие, побеленные сединой волосы на голове гладко на про-

бор причесаны, серый костюм тщательно отутюжен, руки, с тонкими пальцами пианиста, чистые, лицо хотя и испещрено морщинами, но приятное, даже своеобразно красивое. Внутренне он тоже остался чистоплотен: никогда и ни при каких случаях не кривил душой. Иногда его кто-либо, тот же парторг Лукин, в осторожных тонах и упрекал за прямоту и откровенность, говоря:

— Вы начальник строительства, и поэтому вам положено быть осторожным в словах. Политики больше. Такта!

На что обычно Иван Иванович отвечал:

— Мне уже семьдесят лет. Я всю жизнь нес на своих плечах правду, за нее меня не раз карали, а вы хотите превратить меня в щелкунчика. Нет.

И сейчас, склонившись над бумагами, ничего не видя в них, думал о том же, о чем в этот день думал весь актив завода: «Прибыл новый директор. Каков-то он? И почему от Николая Степановича даже строчки нет? Что с ним?»

Увидав вошедшую Надю, Иван Иванович встрепенулся и сказал самое нелепое:

— Что, Надюша? Николай Степанович приехал?!

— Нет! Этот новый. Восседает в кабинете Николая Степановича. Он теперь и домик займет!

Иван Иванович еще больше потускнел.

Он, Надя, Лукин и Альтман охраняли домик, расположенный под горой Ай-Тулак, специально построенный для Николая Кораблева и его жены Татьяны Половцевой. В домике постоянно жила Надя. К ней часто заходила Варвара Коронова, иногда Лукин, Альтман и Иван Иванович.

Кокорев уже занял в заводууправлении кабинет Николая Кораблева, теперь, конечно, нагрянет в домик. Потопаёт аккуратненькими ножками на парадном и войдет.

Иван Иванович долго думал, опустив голову, затем сказал:

— Я, Надюша, поговорю с ним. У нас есть четыре

коттеджа в городе. Ну, поживет месячишко — построю новый, отдельно, где захочет. Если человек разумный, согласится.

— Злой: пачкает Николая Степановича... Я чуть было не ударила секретаря ключами по голове.

— Вот это уже зря, врукопашную. — Раздался телефонный звонок, Иван Иванович взял трубку. — Да. Я начальник строительства. Да. Иван Иванович. Что? Что? Меня все зовут Иваном Ивановичем. Что-о-о? Не пойму. Ну да, по батюшке. По матушке? Это к чему? Что за хулиганство? Кто со мной говорит? Урывкин? Кто такой Урывкин? Секретарь директора? — Иван Иванович выпучил глаза, отвел трубку от уха, посмотрел в раковину, подул и снова приложил. — Что? Требуется к себе директор? Передайте ему — меня требовать нельзя: я начальник строительства, а не секретарь. Пускай требует Урывкиных. — И, бледнея, встал из-за стола, прошелся, возмущенно говоря: — А пожалуй, надо бы этому Урывкину ключами по голове! — И чуть погодя: — Хотя, Надюша, дело есть дело. Пойду. Да, кстати, поговорю и относительно домика. Требуется. Меня требует! Но, может быть, он не такой? Ведь есть поговорка: «не так страшен сам, как страшен зам».

7

В приемной, увидя молчаливого Степана Яковлевича и Лалыкина, Иван Иванович, как на похоронах, поклонился им, затем, подойдя к человеку с большой лысой головой, предполагая, что это и есть секретарь директора, почти шепотом сказал:

— Я начальник строительства.

— Ага! Явился? Гусь лапчатый. Развинтились все вы тут. Растележились, — намеренно громко произнес Урывкин и показал на дверь: — Айда давай! Он там винтит и запряжет.

В кабинете на диване сидели Альтман и Лукин, а за столом — директор. При появлении Ивана Ивановича Кокорев, не здороваясь с ним, спросил:

— Начстройа?

Иван Иванович опустил протянутую руку и молча кивнул головой.

Директор продолжал четко, точно диктуя по телеграфу:

— Требую: в кратчайший срок, пять-шесть дней, переоборудовать термический цех. Что? Как? Все старое вон! Чтобы были прекрасная вентиляция, свет, чистота, как в хорошем театре. Второе: здание цеха главного конвейера расширить так, чтобы можно было установить второй конвейер. Снимите рабочих откуда угодно. Что? Откуда? Это не мое дело. И приступайте. Понятно?

Иван Иванович намеревался было сказать: «Надо составить смету, проект, на что потребуется не меньше пяти-шести дней: не крестьянскую баню перестраиваем, а цехи. Вообще я не привык строить на глазок», — и сказал:

— Да. Понятно. Хотя...

— Без «хотя». Я не люблю это слово. Идите. Не воруйте у меня время: оно принадлежит государству.

Иван Иванович недоуменно посмотрел на Лукина — у того в глазах мелькнули озорные огоньки, как бы говорящие: «Что, налетел корабль на скалу!» Иван Иванович отвернулся, посмотрел на директора, подумал: «Нет. Такой вопреется в домик Николая Степановича, с таким надо кривить душой. Все-таки надо сказать».

— Я хочу... — заикнулся было он.

— То, что вы хотите, держите при себе. Вот когда я хочу, тогда отвечайте и делайте: я заказчик.

— Нет, — смешно тряхнув головой, пускаясь на хитрость, решил Иван Иванович. — Я беспокоюсь о вас. Вам ведь положено где-то жить. У нас есть четыре коттеджа. Верно, в городе. Но через месяц мы вам построим где укажете.

— Повторяю: держите «хочу» при себе. Я буду жить вон в той комнатке, — Кокорев показал на дверь за новой тяжелой портьерой. — Все. Идите.

«И то хорошо!» — радостно подумал Иван Иванович.

Выйдя в приемную, он уставился на Степана Яковлевича и Лалыкина, развел руками, произнося:

— Ну и ну! До свидания. — И добавил, тихо посмеиваясь: — Желаю успеха. — Затем шагнул к двери, пнул ее носком ботинка.

Как только Иван Иванович вышел из кабинета, Лукин решительно заговорил о том, что нельзя так обращаться с начальником строительства. Кокорев, опустив глаза, сказал:

— Прошу вас, всегда в таких случаях одергивайте меня: горячусь, забываюсь, сам не рад. Режьте правду-матку.

А по заводу, по строительной площадке неслись слухи. Говорили разное. Одни, приняв Урывкина за Кокорева, передавали, что новый директор высокий, вихляющий, лысый, «голова у него похожа на облупленную тыкву». Такое утверждение опровергали другие, уверяя, что, наоборот, новый директор маленький. А Евстигней Ильич Коронов, заведующий лесосплавом, свекор Варвары Короновой, сказал: «Попрыгунчик», — и это слово было подхвачено всюду: в цехах, на строительной площадке. Но вскоре заговорили по-иному:

— Мастак: термический цех приказал переоборудовать, второй конвейер ставит. Гляди-ка!

Иван Иванович буркнул:

— Что же, попробуем строить на глазок.

В тот же день, к вечеру, в термический цех нагрянули рабочие: плотники, столяры, каменщики... И рухнули запотелые стены, посеревшая, покрывшаяся ржавчиной крыша, развалились печи, как и стена здания главного конвейера...

Кокорев не выходил из кабинета; спал час-два, вскакивал ночью и снова принимался за работу. Все кипело под его руками, и казался он в это время вдохновенно красивым. Кипел около него и Альтман; этот все время носился из термического на конвейер, с конвейера в термический.

— Товарищ главный инженер! Рапортуйте: как идут дела? — вызывая по телефону, требовал Кокорев.

Альтман рапортовал:

— Прекрасно, товарищ директор. Не за шесть дней, как предполагали, а за пять дней все будет создано.

— Так и надо. На то мы и советские. А то «смету», «смету». Смета завтра будет готова, — подчеркивал Кокорев.

Альтман, поблескивая глазами, оповещал всех:

— Новый директор — голова! Ну, знаете ли, многих я видел, но такого талантливого организатора еще не встречал.

— А Николай Степанович? — спрашивали его.

Тогда главный инженер миг топтался на месте и, подумав, произносил:

— Другой стиль. Николай Степанович — организатор блестящий, но другой стиль — замедленный. Кокорев решает вопросы так: раз-два — и готово. Удивительно!

Лукин долго колебался. В минуту такого колебания к нему и позвонил Петр Роличев, спрашивая:

— Как новый директор?

— От первой встречи с ним у меня на сердце осталась какая-то заноза, — ответил парторг.

Секретарь обкома тепло засмеялся:

— Экий аргумент — заноза на сердце, да еще какая-то! А у меня такие данные: через месяц-два вы перекроете программу.

— А заноза?

Тогда Роличев более строго сказал:

— Фронту нужны грузовые машины, а не переживания. Мне передавали, что Кокорев перед вами извинился, сказал, что все это у него на нервной почве. Парторгу положено видеть главное и прощать мелочи. Звоните мне почаще.

Лукин несколько дней присматривался к Кокореву, чувствуя, понимая, как тот не только своей энергией, мастерством, но и воркующей лаской покоряет его. Парторг сопротивлялся, советовался с рабочими, инженерами... и под конец сдался,

— Ипполит Яковлевич — ничего. — Все знали, что слово «ничего» у Лукина обозначало «хорошо». — Да. Ничего директор, — продолжал он. — Даже очень ничего. Талантливый, способный, умеет дело вести... и ему мы обязаны во всем помочь. Верно, грубоват. Грубость поломаем. Мы с ним говорили. Поддается. Одним словом, товарищи, за дело! — Это была такая рекомендация, какую Лукин еще никому не давал.

После этого все члены парткома начали «создавать авторитет» новому директору, и, конечно, за это с особой яростью ухватился Степан Яковлевич — человек открытой души.

Даже Иван Иванович вскоре переменял мнение о Кокореве.

А в местной газете под редакцией Ванечки, бывшего секретаря комсомольской организации, на первой полосе появился портрет директора и биография: были указаны год рождения, место рождения и то, что «Ипполит Яковлевич Кокорев — сын донбасского шахтера, который погиб во время революционного восстания от рук жандармов в тысяча девятьсот шестом году».

И когда Кокорев снова появился в цехах, рабочие взглянули на него иначе, нежели в первый день: раньше он им, в аккуратненьких сапожках, казался чуть-чуть «шутлом гороховым»; теперь они были уверены, что с таким директором можно вершить большие дела.

8

Время летело стремительно...

Оно особенно быстро проносится у людей, увлеченных тем или иным делом, а руководители — Кокорев, Лукин, Альтман — ринулись, как выразился директор, на «расширение масштабов», вовлекая весь коллектив завода и строительной площадки: изгнали из производства варварский способ закалки деталей, установили второй конвейер, расширили корпуса цехов, прокладывали новые дороги, отводили русло

реки, разбивали дубовый парк на пустыре, тянули вторую железнодорожную ветку до станции Чиркуль, воздвигали стадион, гораздо объемистей старого — с рестораном, с открытой сценой, с директорской ложей...

Лукин хотя и был кристаллически чистым, честным человеком, но еще не обладал тем опытом, какой нужен парторгу, чтобы вовремя разгадать назревавшую беду. Он в молодые годы работал в комсомоле, потом поступил в институт, где под руководством Ивана Ивановича Казаринова получил звание инженера, затем бился с гитлеровцами под Москвой, был контужен в голову, от этого у него и тик в глазах. После демобилизации Центральный Комитет партии направил его парторгом на Чиркульский, тогда еще моторный, завод. Здесь Лукин около года проработал вместе с Николаем Кораблевым, что явилось для парторга дополнительной к институту школой: Николай Кораблев руководил заводом внешне тихо, без помпы, но продуманно, не отделяя себя от коллектива, однако и не смешивался со всеми, но упорно проводил то, что было одобрено на парткоме, на партийном собрании и активом. Иногда, отступая на время от намеченного, он говорил:

— Нам на пути попался пень. Требуется его выкорчевать и двинуться вперед.

Кокорев — директор иного склада. В стиле его работы рывки. Успех в производстве — и он, поблескивая глазами, вскрикивает: «Ого! Вот это дерзновенно!» Заминка — впадает в уныние, которое вскоре переходит в бешенство, и тогда он начинает рвать и метать, ни к кому не прислушиваясь.

Однажды в такую минуту «бешенства» Лукин сказал:

— Ипполит Яковлевич, зачем отчаиваться? Давайте соберем коммунистов, комсомольцев, актив рабочих, поговорим, выясним основную причину неудачи и двинемся вперед. Бывало Николай Степанович в крутые моменты говорил: «Нам попался на пути пень. Выкорчевать его следует — и вперед».

У Кокорева уши налились кровью. Но он порой умел сдерживать себя — и тут, улыбнувшись, ответил:

— Я очень уважаю вашего бывшего директора. — С особым оттенком подчеркнул он слово «бывшего». — Но, мне кажется, не к лицу настоящему директору корчевать «пни»: пусть по моему указанию их корчуют рабочие.

Лукин знал: как только Кокорев начнет «якать», с ним ни о чем не договоришься, и все-таки продолжал:

— Вы не так меня поняли: корчевать полагается не в отдельности вам, а со всем коллективом.

Кокорев искривил губы:

— Вы что? Хотите директора растворить в коллективе, как крупицу соли в воде? Тогда каждый рабочий скажет: «Да я такой же, как и директор: у него глаза — и у меня глаза, у него руки — и у меня руки». После этого дисциплина рассыплется, как подброшенная горсть золы. — Он, сложив пригоршню, вскинул руку, точно подбрасывая золу.

«Закусил удила. И ничем его теперь не перешибешь», — подумал Лукин.

А директор продолжал:

— Пусть корчуют рабочие, а я начертал, словно Моисей на скрижали: «Руки есть, силенка есть — зашибай. И будь уверен, заработанное получишь чисто-ганом».

Лукин уже раздраженно возразил:

— Чистоган — не опора. Так некоторые думали во времена нэпа: чистоган в основу, а социализм по боку. Только потом таких «мыслителей» партия и народ так раскритиковали, что от них и помина не осталось.

Кокорев, стремясь смять Лукина, сказал:

— А сдельщина? Разве это не чистоган? Может, переведем всех на уравниловку да вдобавок заработную плату не будем выдавать? — и, видя, как Лукин замешкался, еще нажал: — Не ссылайтесь на нэп. Я постарше вас и на своем горбу испытал «новую экономическую политику»...

— «Постарше» — это еще не доказательство. «На своем горбу испытал», — тоже не доказательство. Мы утверждаем, что голый чистоган к добру не приведет. Сдельщина сдельщиной, а главное — политическая линия. Дать правильную политическую установку, тогда и организационные вопросы разрешатся разумно.

Постоянный загар на лице Кокорева вытеснился пунцовостью: очевидно, ему было трудно сдержать себя.

— Рубликом надо подгонять, а не словцом. — И, поднявшись из кресла, он уперся маленькими ручками в стол. — Рубликом, товарищ парторг. Словцом — то мы уже избаловали рабочих: сегодня беседа, завтра производственное совещание, послезавтра митинг. Все уговариваем, уламываем, а рабочий нос отворачивает, как богатая невеста. Впрочем, — спохватываясь, благожелательно улыбаясь, воскликнул директор, — это ваша сфера деятельности — политика, идеология, заседания, совещания, митинги и прочая, прочая, прочая. Моя обязанность — дать стране машины... Социалистические грузовики, — чуть подумав, добавил он. — И поверьте мне, Москва будет судить не по количеству собраний, заседаний, а по тому, сколько машин уберут с моего завода.

— Это смотря по тому, как она еще повернется, машина, — загадочно произнес Лукин, и его синие большие с тиком глаза забежали туда-сюда.

— Не понимаю вас.

— Без правильной, принципиальной политической линии машина может двинуться против нас.

Кокорев дружелюбно засмеялся, даже подошел к Лукину и похлопал того ручкой по плечу.

— Мы с вами сегодня оба встали не с той ноги: не договоримся. Диспут наш может затянуться.

Лукин ушел в партком, сел за стол и задумался: «Ведь не глупый он человек, а иногда такую чушь несет! Может, намеренно подшучивает надо мной? Зачем шутить столь серьезными вопросами и разыгрывать из себя аполитичного человека? Но, черт

возьми, дело-то ведет хорошо: мы вот-вот и перекроем программу».

После ухода парторга Кокорев тоже задумался. Он не допускал и мысли, что в его линии, в его поведении, в его работе есть какой-то изъян. Впрочем, он мельком подумал еще о том, что за последнее время все больше и больше терзало его, но что сейчас он не высказал бы даже под самыми жестокими пытками: он мечтал стать министром.

— Прочь! Прочь! — как бы кого-то отгоняя, настойчиво проговорил он. — Надо думать о другом. Одно знаю: я талантливый, чего у меня никто не в силах отнять. Подкопаются? Снимут с работы? Ну что ж! Уйду и унесу все свое с собой.

9

Ипполит Яковлевич Кокорев несколько лет работал на танковом заводе в качестве конструктора моторов и считался в этой области новатором: ряд ведущих моторов, созданных коллективом инженеров под руководством Кокорева, был принят и в танковой и в автомобильной промышленности. В первый же год войны события выдвинули его на пост директора. Ему правительство и поручило эвакуировать танковый завод на Урал и разместить на территории тракторного.

Кокорев в кратчайший срок вывез не только оборудование вместе с рабочими, но сумел и семьи переправить в Гурьев, куда, между прочим, переехала и его жена. Затем он с такой же энергией наладил выпуск продукции и вскоре дал в Москву телеграмму:

«Танк сошел с конвейера раньше установленного срока на два месяца. Я обещаю программу перевыполнить».

Министр покосился на «я», но первый танк сошел с конвейера — это было главное.

«Радуюсь вашему успеху. От имени министерства поздравляем лично вас и весь коллектив завода», — ответил он.

Когда телеграмму министра зачитали на митинге, то рабочие, вкладывая в слово «черт» доброту, ласку и гордость, сказали:

— Ну! Директор у нас черт: у него из рук ничто не вырвется. Напористый!

Ипполит Яковлевич в самом деле был напористый.

В областной город Угрюм прибыли не только рабочие-танкисты, а и коллективы других заводов, потому не хватало жилищной площади. Заместитель Кокорева обратился к угрюмовцам, прося:

— Граждане! Потеснитесь. Пожалуйста.

Те потеснились, но скупно, потому — большинству рабочих приходилось жить в товарных вагонах, в лабазах, ходить в цехи за три-четыре километра.

— Ах ты! «Пожалуйста». Нам не до «пожалуйста». Враг приступил с ножом к горлу, а ты — «пожалуйста, потеснитесь», — упрекнул Кокорев своего заместителя и, досадуя на то, что его самого отрывают от основного дела, немедленно отправился в обком партии, по дороге возбужденно думая:

«Видимо, здесь сидят не руководители, а чаевники, ежели не понимают, что фронту в первую очередь нужны танки. Как мне поступить? Попросить, чтобы помогли?.. Они начнут заседать, преть. Любят. Ой, любят попреть...»

Ворвавшись в кабинет секретаря обкома Петра Роличева, Кокорев еще с порога крикнул:

— Почему моим рабочим не дается нормального жилища. Бюрократы! Я танки на вас выпущу.

Петр Роличев считался человеком «выдержанного характера», но тут, словно его кто стегнул плеткой по лицу, вскочил и тоже гневно крикнул:

— Кто вам позволил так говорить с обкомом!

— Война!

— Нами руководит не война, а Центральный Комитет партии.

При упоминании Центрального Комитета партии Кокорев чуточку притих... но в окно уже был брошен не камешек, а целый кирпич, и Кокорев, крутнувшись на каблуках, идя на выход, сказал:

— Я не политик. Я хозяйственник. Мне нужна жилплощадь.

Когда он вышел, Роличев долго смотрел на дверь, затем вызвал сотоварищей по работе, сказал:

— Танки! Фронту нужны танки, не то мы не так бы поговорили с ним. А теперь жилплощадь рабочим нужно предоставить.

Через две-три недели рабочие были размещены: горисполком передал им запасный фонд — семиэтажное здание партшколы, клубы, даже музей, затем потеснились коммунисты, местные жители.

— Вот так-то надо разговаривать... А то — «пожалуйста»... «умоляем». Что мы — нахлебники? Мы хозяева города, — подытожил Урывкин, говоря это всем, а Кокореву, ухмыляясь, сообщил: — Чертом вас называют, Ипполит Яковлевич. Рабочие.

— Что такое? — вначале оскорбившись, вскрикнул тот.

— «Что, слышь, наш черт захочет, то и будет. Сила! С жильем-то как перевернул: обкомовские бюрократы на цыпочках побежали от нашего, слышь, черта».

— Пусть как хотят, так и зовут, лишь бы работали, — уже улыбаясь, ответил Кокорев и с еще большим пылом принялся за выпуск танков.

Подметив, что на посещение цехов ему приходится тратить много времени, он все радиофицировал и, сидя в кабинете, вызывал того или иного начальника, инженера, передового рабочего и по радио наставлял, зная при этом: все слышат, как директор «дает вздрючку» или как хвалит того или иного работника. И Урывкин докладывал:

— О-о-о! Сегодня вы столь виртуозно отработали начальника термического цеха, что все рабочие с хоту покатывались.

— Значит, берем за жабы?! Хорошо!

Узнав от бойцов, прибывших с фронта, о том, что танки загораются от термических снарядов, Ипполит Яковлевич отправился на соседний опытный завод, вмешался в дела конструкторов, и вскоре министерство поручило ему выпуск танков «Т-34» — тех леген-

дарных машин, которые, громя врага, прошли от Орла до Берлина.

После того как танки «Т-34» непрерывным потоком стали сходить с конвейера, Ипполит Яковлевич за блестящую эвакуацию оборудования завода на Урал, за досрочный выпуск танков «Т-34» был правительством награжден званием Героя Социалистического Труда.

— Праздник! Общезаводский праздник! — возмущенно потребовали люди, окружающие Кокорева.

— Да ну вас! Какой там праздник? Работать надо, — запротестовал он. — Праздником врага не побишь. Побьем танками.

И слава о Кокореве покатила по всему Уралу.

Ипполит же Яковлевич действовал, все и всех подчиняя выпуску танков, искренне мечтая о новых наградах, прикрывая эту мечту полушуточными словами:

— Лавры. Нас ждут лавры.

И вдруг в один день лавры полетели с него, точно в бурю пожелтевшие листья с осины. Казалось, человек натягивал, натягивал пружину, и вдруг она сорвалась и дала такой обратный удар, что натягивавший ее свалился с ног.

Рано утром, выйдя в приемную, Кокорев увидел на двери крупно написанное слово «самодур», а инженеры, передовые рабочие стали избегать «объясняться» с ним по радио.

— Хватит. Наслушались, — отвечали они тем, кто приглашал их к микрофону.

Что случилось?

Никто толком пояснить не мог, а тут еще пришла телеграмма от министра со срочным вызовом директора в Москву, — все это вместе взятое не только взволновало Кокорева, но и обозлило до наивысшего предела.

— Танки, танки выпускаешь, а тут какая-то сволочь выкинула «самодур», и все твои достижения летят под откос! — кричал он, бегая по кабинету.

В тот же день Ипполит Яковлевич на самолете отправился в Москву и вошел к министру с полной

решимостью наговорить «кучу дерзостей, чтобы тот запомнил на всю жизнь».

«Я пойду в дворники, в сапожники, а у вас работать не буду, — готовясь сцепиться с министром, мысленно произносил он резкие фразы. — Уборщиком в ресторан пойду... в судомойки. — Но это были все слова, никак не вяжущиеся с его горестью, с его тоской, его обидой. Он втянулся в руководство, и покинуть это дело для него было равносильно смерти. Однако продолжал твердить: — В судомойки, в судомойки! Какой-то дурак написал «самодур», и вы уже готовы меня судить. А кто дал танки раньше срока? Кто освоил новую марку? Кто? Нет, в судомойки! В судомойки!» Но, увидев улыбающегося идущего ему навстречу министра, чуточку растерялся, как теряется рассерженный мальчик перед любовно улыбающимся отцом. Однако сказал:

— Я прибыл, товарищ министр, чтобы крутенько поговорить с вами.

— Это почему же — крутенько? Садитесь, пожалуйста. Слышал, слышал. Ну что ж? Пошутил кто-нибудь, а возможно, даже враг. Вы прекрасно наладили производство, замечательно освоили новую марку танка, самоходной пушки. Нет, кроме «спасибо», и сказать нечего. — Министру еще вчера вечером позвонили из Угрюма и рассказали про то, что случилось на танковом заводе, но министр случившемуся значения не придал, сказав: «Хулиган какой-нибудь. Кто из советских людей может такое выкинуть?» И сейчас, приветливо улыбаясь, рассматривая взволнованное лицо Кокорева, говорил: — Пустяки. Мало ли что бывает в семье. Я вас вызвал не по этому случаю. У нас просьба: помогите нам. Не понимаете? Вижу, даже удивлены: ехал, готовясь к критике, а тут — помогите. В чем дело? На Урале есть завод — автомобильный... В Чиркуле. Директор Николай Степанович Кораблев отправился на фронт... Остались после него ребята — неплохие. Но не послали им завод. Прислали письмо — просят директора.

Кокорев с обидой выкрикнул:

— Решили меня с танкового выгнать?

— Ну что вы! Выгнать. Шуточка. Грузовые машины нужны фронту. Враг отогнан за Днепр — это хорошо... но линия фронта от тылов удалилась, туда надо доставлять боеприпасы, продукты, бойцов. Понимаете? Нужда в грузовых машинах такая же, как и в танках. Чего вы дуетесь? Это же почетное. Разве кто из боевых генералов откажется от предложения Верховной ставки возглавить трудный участок? — И министр подумал: «Нет, он упрямый и обидчивый страшно. Его так не сломишь. А следовало бы его перекинуть на автомобильный».

Но тот вдруг, неожиданно произнес:

— Хорошо. Я согласен.

— Вот чудесно-то! — Министр даже поднялся, взял под руку Кокорева и, ведя к двери, спросил: — Семье не надо ли помочь? Впрочем, слетайте к ней... в Гурьев, а оттуда в Угрюм — и в Чиркуль. Самолет возьмите у нас. И еще одно — не упрек, а совет друга со стороны: будьте поспокойней... не горячитесь...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Нет, нет, Ипполит Яковлевич никаких изъяснов в стиле своей работы не видел. Наоборот, именно он и никто другой так блестяще смог эвакуировать танковый завод на Урал, за два месяца до намеченного срока выпустить танки, освоить новую марку «Т-34». А здесь, на автомобильном, — об этом говорит все — скоро программа будет перевыполнена, и Чиркульский автомобильный, закишавший было, вырвется вперед и станет примером для других заводов.

— А! Да что там! Меня сюда министр прислал как талантливого полководца, а не как папочку — покровителя бездельников! — воскликнул Ипполит Яковлевич, довольный собою, своей деятельностью, ухватками... И все-таки что-то болезненное скребло у него на душе.

Потому он вызвал Урывкина и спросил:

— Что там? На заводе? Рабочие что?

— Хорошенький кнутик придумали, Ипполит Яковлевич. Даже в частушках распевают:

Рубль-целковый с колесо
Заработать хорошо!

— Когда же распевать, если надо зарабатывать?

— Это, конечно, я сочиняю. А по правде сказать, начинают мычать.

— То есть? Телята, что ль?

Урывкин затеребил клок волос на затылке и ско-сил глаз, запуская взгляд куда-то под стол.

— Телята не телята, а мычат. Как бы снова бол-тушечки не организовали — то, что мы лицезрели на танковом.

Кокорев даже привскочил.

— Ты мне про танковый не напоминай! Два ордена у меня уплыло, да и у тебя «Звезда».

Урывкин знал: да, действительно два списка на награду было послано в правительство, по обоим про-ходил Кокорев и по одному Урывкин, — вот почему он сейчас посмотрел себе на грудь, как бы отыскивая там орден, и со вздохом прошептал:

— Да-а, улетел орден.

— Мычат! Мычат! — бегая по кабинету, не слу-шая секретаря, выкрикивал Кокорев. — Это мычание растревожили любители демократической водички. Ничего, придет время, я им покажу.

Урывкин давным-давно уже изведal, что в такие минутки Ипполиту Яковлевичу надо «подсыпать ще-потку лести», и подсыпал:

— Вы же, скромно говоря, гениальный человек. Вам бы волю дай — всех фордов спихнули бы.

Кокорев остановился, словно лошадь на скаку: в словах секретаря прозвучало что-то от Едренкина.

— Чем думаешь? Вообразил: гора! И я тебя не выпихну отсюда? — Директор даже притопнул ногой так, как это делают, когда хотят пугнуть кролика.

— Мечтаю, Ипполит Яковлевич. А так, что уж там!

— И о гениальности пересаливаешь, — сказал Коко-рев, но в голосе уже прозвенела мягкость и доброта.

«Иной раз лучше пересолить, чем недосолить», — придерживаясь своих правил, подумал Урывкин и добавил: — Да разве только я об этом говорю? Если бы один я, да еще без основания, тогда наверняка заслужил бы презренную кличку «подхалим». Все утверждают, ибо видят: дела на заводе кипят.

Дела же на заводе действительно разворачивались быстро. В январе тысяча девятьсот сорок пятого года на площадке заводоуправления, где долгое время не-сменяемо висели портреты передовых стахановцев — одни вылиняли, другие пооблезли, третьи от дождей превратились в сплошные пятна, — здесь, на площадке заводоуправления, появились новые портреты, и неожиданно на первом месте очутилась Варвара Коронова: она работала на четырех станках. Верно, за последние месяцы Варвара побледнела, стала вялая; приходя домой, часто, не ужиная, валилась в постель и спала, как спят люди после тяжелой полевой работы.

Свекор Евстигней Ильич Коронов, всюду гордившийся тем, что его сноха овладела станками, на днях сказал ей:

— Экую радость труда Попрыгунчик преподнес: денег куча, да поглядывай на них, глаза выпуча... как лягушка перед громом. Деньги, что ль, нужны? Тогда ступай на базар, спекуляцией займись — деньги домой мешками таскать будешь.

— Молчи, тятенька! Сама навязалась работать на четырех, — гневно обрушилась на него Варвара.

В другое время он непременно прикрикнул бы на нее: «С кем говоришь? С подружкой?» — а тут сел против нее, положил на стол огромные руки и, как ребенку, сказал:

— Можно и на пяти станках, Варя, только ответственную подмогу надо дать. Видела, как мы бревна из реки на берег выкидываем? Два человека станут по обе стороны, багры подсунут, ухнут — бревно на берегу. Мудрость такую народ давно придумал. Попробуй-ка без багров! Человек двадцать понадо-

бится. Иван Иванович объяснение дал мне: это рычаг. Какой рычаг, возражаю. Багор? Нет, слышь, есть такая наука — физика, там и растолковано, что есть рычаг первой степени, второй, третьей. Видала? Умственное разъяснение. Вот если бы к твоим станкам с умственной подмогой подошли, тогда у тебя от тяжести глаза не лезли бы на лоб. А Попрыгунчик что? Давай, валяй, пори!

Эти же слова Коронов произносил и вне дома, но тогда на них никто не обращал внимания: многим казалось, в том числе и Лукину, что усталость сопряжена с трудностями военного времени. Парторг сам жил впроголодь, деля свой паек с нигде не работающей женой и тещей. Так же скудно питался и Кокорев. Урывкин несколько раз пытался подсунуть ему «добавочное мясочко» или «кусочек маслица», но директор в этом отношении был до щепетильности чистоплотен. Еще более скудно жили рабочие, особенно те, у кого семьи находились в Гурьеве или в Москве. Эти ютились в холодных бараках и чувствовали себя, пожалуй, так же, как чувствуют себя солдаты на передовой: ведь кончится когда-нибудь это бедствие — война, и тогда они, если останутся в живых, отправятся домой, к семьям.

И вот, несмотря на тяжесть военного времени, несмотря на то, что многие истосковались по семьям, многие походили на грибы-сморчки, — несмотря на все это, машина стала сходить с конвейера не через десять минут, а через девять, потом восемь, и к концу апреля тысяча девятьсот сорок пятого года программа оказалась перекрыта на тысячу восемьсот два грузовика. Такая сводка, тщательно проверенная парторгом, полетела в Москву, и министр ответил директору:

«Поздравляю лично вас и весь коллектив. Спасибо вам. Спасибо».

По этому случаю страницы местной газеты были посвящены успеху на заводе. На второй полосе красовалась статья Лукина под названием «Советский патриотизм», в которой он отвел должную роль в перевыполнении программы всему коллективу, а в

конце строк тридцать посвятил Кокореву как человеку энергичному, предприимчивому и талантливому.

«Волевой и прекрасно знающий автомобильное дело товарищ», — писал Лукин.

Вечером на площади перед заводууправлением был организован летучий митинг.

2

Весь этот день, с самого утра и до митинга, Кокорев был задумчив, молчалив и сурово замкнут. В такие часы Урывкин остерегался попадаться ему на глаза. И ныне, как верный страж, охранял кабинет Ипполита Яковлевича, никого не пуская туда, даже не связывая по телефону, говоря всем, таинственно прищулив маленькие глазки:

— Мыслит. Ни-ни. Пикнуть не дам. Так, братец ты мой, одного пусти, стало быть другого пусти. А может, у него созревает новый план.

А Кокорев то ходил по мягкому ковру, не слыша собственных шагов, то ложился на диван — и тогда лицо директора расплывалось в улыбке.

Слава!

Слава, как морская яхта к пристани, неслась навстречу ему. Он уже ярко представлял себе, как завтра, послезавтра вся центральная пресса начнет расхваливать талантливого полководца в промышленности Ипполита Яковлевича Кокорева и как он сам, слыша похвалу от других, будет опускать глаза долу и стеснительно отвечать:

— Не я. Что я? Спичка, брошенная в Черное море. Море — народ, страна. И я, конечно, но...

В данное же время он о своей роли на заводе думал иначе: «Море. Море. Что такое море? Изобилие воды. А корабль-то я!..»

Впрочем иногда у него настойчиво билась и другая мысль: «Они! Они! Что ты без них? В самом деле спичка, брошенная в море, — но он тут же, как человек, у которого зажила рана, выкидывает марлю, отбрасывал эту мысль и с усмешкой, точно с кем-то

споря, произносил: «Они? Они есть и на других заводах, однако те заводы остались позади. Значит, сила не они, а я».

Когда он пришел к такому окончательному заключению, гордость его возросла и мечта, как удав кролика, потянула его с неотвратимой силой.

«Что? Как? — мысленно воскликнул он. — Ах, да. Конечно. Но я сначала стану членом коллегии министерства. А потом? А почему бы не сразу? Зачем год, два, три работать на министра — на этого улыбушку. Всем улыбается. Улыбочкой дела не поведешь. Эх, это здорово!» Он вскочил с дивана и, подбежав к письменному столу, быстро написал: «Министр автомобильной промышленности СССР И. Кокорев».

— Здорово. Звучно. Красиво, — сказал он и, словно чего-то перепугавшись, утонул в кресле.

Почему случилось то безобразное на танковом? Почему? Разве он плохо наладил производство? Разве все цехи, с огромнейшим коллективом рабочих, инженеров, не находились под его директорской властью? Разве не он всех поставил на ноги, заставил работать? Он. Да. Он, Ипполит Яковлевич Кокорев. Откуда же это безобразное слово «самодур»? Обком, министерство не наказали виновников данной провокации? Правительство до сих пор не утвердило списки представленных к награде?

Лицо директора выражало тревогу, горечь, недоумение.

«Почему такое произошло? — думал он. — Завистники — раз, — начал он быстро перечислять. — Бездельники — два, шантрапа — три. Но, видимо, и я сам в чем-то виноват. В чем? Порою я бываю груб. Но груб только с бездельниками, долгодумами. Говорят, я заносчив. Чепуха! А вот — прямолинеен. Да. Да. Надо быть более мягким, эластичным. В самом деле, разве мыслимо окружить себя только талантливыми людьми? Немыслимо. Так пусть работают и посредственности. Пусть. Людям надо прощать их недостатки, тому же Лукину или Альтману. Альтман, впрочем, ничего: моргни — и он уже готов. А вот Лукин, Черт его знает что! Носится со своей идейкой —

коллектив, коллектив. Ну, и ему следует прощать его недостатки. Веди все продуманно, Ипполит: вроде ты переходишь озеро по хрупкому льду. Понимаешь? Продуманно, Ипполит... и тогда. — Тут снова мечта, как удав кролика, потянула Кокорева к себе. — Да. Министром. Ишь ты, министром! Какие же у тебя данные? Перевыполнил программу? Эх, милый мой! Сотни директоров перевыполняют программу — так что ж, всех их делать министрами? — Кокорев даже побледнел, затем выскочил из кресла и застыл на месте. Мозг его в эти минуты работал напряженно, как у капитана морского парохода, когда пароход дает течь и грозит пойти ко дну. — Что же это такое? Что? Ах, вот что, вот путь в министры, — облегченно вздохнув, подумал он. — У рабочих стахановский метод, разработанный Стахановым и принятый всеми рабочими... Так почему же не могут принять мой, кокоревский метод руководства промышленностью? Кокоревский метод руководства социалистической промышленностью! И звучит здорово — кокоревский метод... Стахановский метод и кокоревский метод. Но как? Как продвинуть его? Эх, Едренкин! Он ведь блестящий журналист, кроме всего прочего».

Директор нажал кнопку, и в кабинет вошел настороженный Урывкин.

— Слушаю, Ипполит Яковлевич, — смиренно произнес он.

— Свяжи с Едренкиным. Ну, чего глаза на меня пялишь? В министерстве работает. Помнишь, перед вылетом из Москвы заходил ко мне в номер гостиницы?

— Знаю, знаю, — охотно ответил Урывкин. — Мигом. Если он на месте, то мигом свяжу, Ипполит Яковлевич.

— Нет на месте — предупреди, пусть сам позвонит вечером. Срочно!

— Рабочие собрались на митинг, Ипполит Яковлевич. Лукин, Альтман, актив у трибуны. Ждут вас.

— Хорошо. Чуть погодя. Занят.

Как только Урывкин вышел, Кокорев направился в маленькую комнатку, где постоянно жил, и тут через окно посмотрел на площадь около заводууправления.

Посередине площади стояла подновленная трибуна, над ней развевались красные знамена, выданные Советом Министров СССР, Министерством, обкомом партии, а по бокам трибуны трепетали, как огоньки, красные флажки.

«Отсюда путь в Москву», — мелькнуло у Кокорева, и он, чувствуя прилив сил во всем теле, твердым шагом вышел на крыльцо заводоуправления. Глянув на рабочих, запрудивших площадь, сказал Урывкину:

— Рассеки!

Тот кинулся с крыльца и, расталкивая людей, то и дело произнося: «Директор! Директор!» — зашагал по расступавшемуся живому коридору. Следом за Урывкиным, вдохновенно поблескивая глазами, весь напряженный, тронулся Ипполит Яковлевич. Как только народ расступался, взрывались аплодисменты, и так же резко они стихали, едва позади директора люди смыкались.

3

Первым на митинге выступил Степан Яковлевич.

— Наш завод — богатырь, а с богатыря и спрос не как с ребенка, — так закончил он свою речь.

Потом речи держали Лукин, Альтман. Следом за ними слово предоставили Кокореву. Он, хотя до барьера было не больше двух метров, как всегда, стремительно ринулся вперед и долго молчал, чуть склонив голову, прислушиваясь к буре аплодисментов и наслаждаясь этой бурей. И только когда аплодисменты смолкли (а это случилось тоже не сразу: они то стихали, угасая, то снова ураганом обрушивались на трибуну), Кокорев заговорил.

Звонким, юношеским голосом он через репродукторы оповестил собравшихся о том, что красные воины доколачивают фашистского зверя в самом логове — Берлине и что в приближающейся победе немаловажную роль сыграл Чиркульский автомобильный завод. Эту часть его речи рабочие снова покрыли бурей аплодисментов. Затем он заговорил о том,

какую роль в войне играли грузовые машины и как они будут нужны стране, когда война кончится... И все у него шло хорошо: аплодисменты то и дело неслись от рабочих. Но Кокоревым настойчиво владела мечта, рожденная сегодня в кабинете, и он, говоря о том и о сем, все искал возможности в какой-то тонкой форме сказать всем и о своей мечте.

— В автомобильной промышленности наш завод вырвался на передовую линию. Это не так-то просто — вырваться на передовую позицию. Так пусть наши журналисты поймут — почему! И пусть они скажут другим директорам — почему! Свои успехи, свой метод не таим. Значит, журналистам положено оповестить... — Ипполит Яковлевич чуть не сказал «о моем методе», но вовремя сдержался; однако, обозлившись на себя, что не может выразить своих мыслей, выкрикнул: — Одним словом, я всех вас зову на дерзание. Тот, кто пойдет за мной, будет жить полной жизнью, не пойдет — очутится за воротами.

Рабочие загудели, как порою гудит отдаленный гром, предвещающий грозу.

После митинга, в присутствии Альтмана, в кабинете Кокорева Лукин, хмурясь, произнес:

— Устали вы, Ипполит Яковлевич; нервы-то как расшатались.

— Я здоров. А что? — И Кокорев, переполненный довольством, засветился, точно отшлифованный хрусталик.

— Да разве можно такое говорить рабочим? «Кто со мной — тот со мной, а кто не со мной — тот за воротами очутится».

У Кокорева, чего с ним давно уже не было, вдруг уши налились кровью, и он взорвался:

— За меня выступают тысяча восемьсот машин. Вы болтать умеете, а работаю я.

Лукин опустил глаза, чувствуя, как по спине прошла зыбкая дрожь.

— Вы же просили «резать правду-матку». Забыто?

— Надоели! — еще злее кинул Кокорев. — Надое-е-ли! — нарастяжку повторил он. — И потому я ныне поднимаю меч! И пусть наши мечи скрестятся.

Посмотрим! — еще с угрозой выкрикнул он и тут же было спохватился, памятуя, что «надо быть эластичным», но Лукин поднялся и, не глядя на директора, ушел в партком.

Здесь в приемной его остановила группа рабочих во главе с формовщиком Васей Лариным.

— Что, товарищи? — все еще не придя в себя, спросил парторг, видя перед собою только иззябшего Васю Ларина.

— Жить негде. Жить, — заговорили со всех сторон.

— Ведь обещали к осени дать квартиры, — упрекнул Вася Ларин. — Бараки и землянки от плесени поседели.

Лукин некоторое время стоял молча, выслушивая рабочих, вполне понимая их законное требование: жить в бараках и землянках действительно стало невозможно. Но чем может помочь он сейчас? Ведь Кокорев заставил Ивана Ивановича прекратить жилищное строительство и перебросить всю рабочую силу на расширение цехов, на проведение новых дорог, на отвод русла реки, на разбивку парка, на строительство стадиона. Лукин хотя первое время и настаивал на первоочередности жилищного строительства, но потом, захваченный общей горячкой, отступил. Мало того, он в газете опубликовал статью, одобряющую деятельность директора.

«Забыли о людях, — мелькнуло сейчас у парторга. — Но ведь теперь невозможно начатое приостановить?» — еще подумал он и тоскливо произнес:

— Что я могу поделать, товарищи? Надо сначала закончить то, что заложили. Сами видите: все разворочено. А потом уже за дома. Непременно. Уж потерпите немного, ну, месяц-два.

— Спасибо и на этом, товарищ Лукин, — неожиданно трогательно сказал Вася Ларин. — А то к Урывкину пришли, так он вроде метлой нас.

— Так уж подождем. Понимаем: война, — подтвердили рабочие.

Когда рабочие покинули приемную, Лукин вошел в кабинет и застыл, точно его прихватило морозом. Перед ним вдруг рассеялся тот «угар», о котором он потом вспоминал не раз, раскаиваясь в своих уступках.

«Как же получилось, что мы забыли о человеке? Мы — строящие все для человека — и... забыли о нем, — с болью думал он. Пересилив неожиданно появившееся после резкого разговора с Кокоревым физическое недомогание, он поднялся со стула и заходил из угла в угол, порою останавливаясь, всматриваясь в заводские здания. — Как же? Как же так получилось? Ну! Переоборудование цехов — нужное дело? Да. Конечно. — И Лукин ярко представил себе, как весь коллектив рабочих поддержал решение дирекции. — «Машин! Больше дадим грузовиков фронту», — с гордостью подтвердили рабочие... Но вот — парк дубовый... стадион... отвод русла реки... дорога на вершину Ай-Тулак... К чему это? Зачем?..»

Когда план по переоборудованию цехов уже «был спущен» и Иван Иванович всю рабочую силу перебросил на выполнение этого плана, Лукин, находясь в кабинете у Кокорева, сказал:

— Нам не следует задерживать жилищное строительство, — на что Кокорев возразил:

— Одно из двух: или мы будем перевыполнять программу по выпуску машин, или давайте строить дворцы рабочим. Не похвалит нас за это не только Москва, но и рабочие. Они скажут: «Наши братья сражаются на фронте, живя в окопах, а мы ради квартирок прекратили выпуск машин». Так ведь? А рабочие потерпят: знают — идет война.

После таких аргументов Лукин, как он всегда это делал, отправился в цехи, даже в бараки, полагая, что рабочие запротестуют против мероприятий по расширению цехов, но те единодушно поддержали предложения дирекции и даже по-дружески высмеяли Лукина:

— Да вы что, товарищ парторг, считаете нас кисейными барышнями, что ль? Или несознательными элементами? Мы готовы жить под дождем в канавах, лишь бы отстоять свою родину...

— Ну, это так, это правильно, а парк, отвод русла, стадион? — проговорил сейчас Лукин и опять вспомнил заседание в кабинете у Кокорева и свое возражение.

— Я понимаю, переоборудование цехов, — явление

неизбежное, нужное, государственное, — говорил тогда гарторг. — Но парк к чему? Отвод русла реки к чему?

И в тот момент всех снова смял директор, приобретающий к тому времени еще больший вес в министерстве: предложения Кокорева, его неугасимая энергия, его «хватка» — все сулило, что производственная программа будет перевыполнена.

— Мы призваны украсить землю. Как это понимать? — говорил директор. — Может, украшение земли состоит в том, чтобы всюду понатыкать общественные уборные?.. Посмотрите-ка на заводской городок: коровники, свинарники, уборные, канавы, рытвины, ямы... сам черт ногу сломит. Давайте начнем с разбивки нового парка. Это, во-первых, вселит во всех уверенность в том, что мы победим врага. В самом деле, разве кто перед смертью покупает цветы? Парк новый разбиваем, значит верим в победу. А во-вторых, выдадим саженцев каждому жителю, пусть сажит у своего жилья. Пусть все зазеленеет, расцветет, украсит городок. Русло реки врезается в центральную площадь города. Да отбросим ее к чертовой матери! Построим дорогу на вершину Ай-Тулак... Пожалуйста! Ласкай свой взор с вершины горы... Смотри, какой он красивый, Урал. Какой он богатый, Урал. Возведем новый стадион. Старый — просто позор: на нем лошадей гонять и то стыдно. Стыдно. Мне стыдно за оформление нашего завода — передового во всей стране. Какой это еще автомобильный так стремительно вырывается на передовую линию?

И опять тогда Кокорев подавил всех своим авторитетом. И никто не догадывался, что у директора были свои соображения, заставляющие его поступать именно так.

Люди на земле разные. Разные в своих привычках, поведении и даже в труде. Иной, например, портной с такой энергией принимается за шитье костюма, что думаешь: «Ну, этот смастерит», — а он к концу шитья становится вялым, и, глядишь, на костюме петли не заметаны, пуговицы висят на волосках, на спине сборки. Другой портной просто «въедается» в работу: он тщательно скроит, затем приступает к шитью, весь уходя в работу, а когда костюм наденет

на заказчика, то непременно несколько минут ходит вокруг него, любуясь на костюм, как на творение рук своих, и даже скажет: «Вот так я!»

И директора бывают разные.

Один, например, вначале с такой энергией примется за дело, что, кажется, горы свернет, а потом вдруг остынет и все пустит, как челн, по воле волн. Другой изучает. Летит год, два, три, а он все изучает и изучает. Седина уже появилась на висках, а он все изучает и изучает. Третий разведет столько заседаний, совещаний, что люди, понимающие, что заседания и совещания полезны, однако начинают к их изобилию относиться так же, как здоровый человек относится к касторке. Четвертый же дело ведет без шума, без грохота, но упорно, настойчиво, согласованно.

Ипполит Яковлевич не походил ни на одного из них: он за каждое дело брался с напористой энергией и буквально ковал, чеканил его, но ковал и чеканил, сидя у себя в кабинете, а потом спускал разработанный проект в массы, вызывая шум, грохот и восклицания: «Ай да Кокорев! Ай да талант!»

Вот без этого, без последнего, он не мог жить. Ему, как для больного туберкулезом кислород, нужен был шум в обществе.

Проектная работа по переоборудованию цехов и всего связанного с этим, обещающим, что производственная программа будет перевыполнена, уже отшумела, и Кокорев несколько дней чувствовал на сердце смертельную пустоту. Находясь в таком состоянии, он оборвал связь с цехами, стал замкнутым, злым и целые ночи начал проводить вне кабинета, бродя по улицам города или у подножья Ай-Тулака... И вдруг ему пришла мысль — отвести русло реки, врывающееся в центр города, затем — разбить дубовый парк на пустыре, построить новый стадион и более нелепое — провести дорогу на вершину Ай-Тулака. И когда в его голове созрело подобное решение, он пустил в ход всю свою напористую энергию: мял и давил противостоящих, добываясь своего, вызывая решением шум в обществе, слыша зачастую лицемерную похвалу:

— Вот какой у нас директор!

— Да. Да. Это же, оказывается, страшный человек! — воскликнул парторг и сейчас. — Чума!

Он сорвался с места и, чувствуя удушье, рванул ручку рамы. Створка, заклеенная лентами газетной бумаги, с характерным шорохом отворилась. Лукин толкнул вторую раму, и в комнату хлынул весенний, но еще холодный воздух.

— Весна. Скоро весна. Неужели опять пройдет в войне? Все смешалось: зима, осень, весна, лето; все — война, — прошептал он и, вцепясь руками в наружный край подоконника, потянул, ощущая в себе молодую силу, и даже подумал: «Да я бы его, Кокорева, мог через крышу перебросить. Но ведь мы не боксеры», — и тут же высмеял себя и круто повернулся на скрип двери.

В кабинет вошел Альтман.

Пламя заходящего солнца било в спину парторга, и на фоне этого пожарища лицо Лукина, чуть скуластое, с большими синими глазами, было настолько бледно, что казалось вылепленным из снега, а плечи вздрагивали.

— Ты что, братец? — тревожно спросил Альтман.

Парторг посмотрел на него заполненными тоской глазами и с ударением проговорил:

— Стыдно!

— Перед кем?

— Перед рабочими. Как мы распинались за него, сколько векселей выдали! Да каких векселей! А он? Он обманул нас.

— Ну что ты? Уж и обманул, уж и векселей! Характер у него плохой.

— Характер? — Лукин отрицательно покачал головой. — Разве я мог бы сказать человеку, с которым выполняю одну и ту же государственную работу: «Надоел»? Говоришь, характер плохой? Нет. Натура! Представь себе, я бросаю Ивану Ивановичу, который меня учил в институте: «Надоел ты мне, старик!» Он поставил меня на ноги — и вдруг я ему: «Надоел ты

мне, старик!» Характер? Нет. Дело не в характере, а в натуре.

— Перестань, пожалуйста, выдумывать! Сойдемся, и он опять прощения будет просить, ссылаться на расшатанность нервной системы.

— Нет. Он поставил перед собой задачу — во что бы то ни стало добиться на заводе успеха. При помощи коллектива, при помощи нас, в душе издеваясь над нами, он добился: тысяча восемьсот машин сверх программы... И рванулся: «Надоели вы мне! Подите прочь!» Это не характер, это натура, весьма чуждая нам, советским людям. Он вор.

— Вот еще! — чуть не плача, вскрикнул Альтман. — И вор и натура. Еще назови его авантюристом.

Лукин долго думал, затем сказал:

— А что ж, может наступить момент, когда мы и назовем его авантюристом. Коммунист и подлец — явления абсолютно несовместимые. Пойми это, дорогой мой друг. Пойми!

— Ну уж! Ну уж!

— Да! Да! И мне не легко все это произносить. Но еще тяжелее становится, когда думаю: «С какими глазами мы выступим перед рабочими? Ведь скажут: «Вы же горланили за него, вы же рекомендовали нам его, вы же говорили: он талантливый, поддерживайте его во всем...» Хитрый, бестия! — чуть погодя, глядя куда-то очень далеко, добавил Лукин. — Хитрый. Сначала заставил нас агитировать за себя, а теперь отшвыривает и хихикает: «А ну, попробуйте выступите против: у меня аргумент — тысяча восемьсот машин сверх программы и ваши векселя: устные похвалы и статья парторга в газете. Попробуйте. Я скажу: «Вы завистники! Склочники!» Понимаешь, Альтман, или нет, в какую щель он нас загнал? Я к нему в кабинет больше не пойду.

Альтману был неприятен, как он говорил, этот скандал, и он, желая только одного, чтобы скандал не разрастался, воскликнул:

— Вот еще! Вот еще! Вот выдумал! Разве можно менять завод на личную обиду?

— Ты глупенький...

— Ну глупенький. Я всегда тебе говорил: в таких делах я глупенький. Но зачем все рвать? Уж и «не пойду», уж и «разговаривать не буду»...

— Ты вдумайся: ему на все наплевать, лишь бы был собственный успех. Он крикнул, что отныне мечи наши скрещены. Хорошо. И ты не разнимай! — решительно заявил Лукин. — А я? Я к Роличеву.

5

Часа через три, подпрыгивая на ухабах, ныряя в весенние потоки, «газик», или, как тогда называли эту машину, «козлик», дотащил Лукина до областного города Угрюма, на улицах которого весна чувствовалась гораздо сильнее, нежели в Чиркуле: здесь улицы уже были освобождены от снега, блестели асфальтом, а люди, идущие туда-сюда, разоделись в костюмы. Город и гудел по-весеннему: гулко гукали копытами кони по мостовым, по-весеннему перекликались ребятишки, и что-то особенное увидел Лукин в том, что женщины тщательно мыли окна: ведь за годы войны окна почти никто не мыл, даже редко и открывал.

Войдя в приемную первого секретаря обкома, Лукин хмуро поздоровался с помощником Роличева и сказал:

— Без вызова приехал. Извиняюсь. Но дело срочное. Прошу доложить.

— Хотя дело у тебя и срочное, но вне очереди не удастся: гляди, сколько народу к нему, — по-дружески ответил помощник, человек, чем-то похожий на тот самый щит, который когда-то наши предки применяли в боях: широкий, круглый и плотный.

— А ты доложи, — нажал Лукин. — Скажи — пожар у меня.

Помощник ушел в кабинет, а Лукин стал прислушиваться к разговору посетителей. Большинство из них шептались, только один, юркий и неусидчивый, обращаясь то к правому, то к левому соседу, громко выкрикивал:

— Пузыри! Ну, ламповые пузыри. Вот так насе-

лению нужны, — он чиркнул ладонью по горлу. — Электричества не хватает — промышленность пожирает, а с коптилками жить не хотят. Мы выпустили в массовом порядке лампы — а где взять пузыри?

— Эко что тебя тревожит — пузыри, — насмешливо ответил сосед. — У нас деталей нет: тракторы скрипят. За время войны им, бедняжкам, на стареньком пришлось работать, и сейчас, глядишь, идет трактор по полю — и боишься: дрыгнет он и развалится.

— Трактор — штука большая, — возразил юркий человек.

— А лампы из какого материала производите? — в свою очередь спросил его сосед.

— Из гильз. Для артиллерийских снарядов гильз изготовили столько, что нам сказали «хватит». Куда их девать? Не в овраг же? Так мы и пустили на лампы.

В приемной раздался одобрителный крик, какой слышат на стадионе, когда в ворота противника вбивают удачный мяч...

— Значит, сказали «хватит»? — спросил человек, сидевший в углу. — Раз сказали — гильз хватит, так мы, братец, скоро население электричеством с ног до головы зальем.

— Ну, это жди, когда ты зальешь, — гневно проговорил юркий человек. — А ныне — подавай мне пузыри!

Лукин хотел было вмешаться в разговор, но из кабинета вышел помощник Роличева и, обращаясь ко всем, сказал:

— Кто первый на очереди, товарищи? Пожалуйста! — И к Лукину: — Ты тоже туда ступай, приглашает.

Петр Роличев поднялся из-за письменного стола и, протирая уставшие глаза, стараясь улыбаться, шагнул навстречу Лукину.

— А-а! Герой! Здравствуйте! Здравствуйте, герой! — заговорил он глуховатым голосом. — Что за пожар? Что горит?

— Не что, а кто, — ответил Лукин, пожимая его руку.

— Ну, раз не что, а кто, значит пожарная команда срочно не нужна, — намеренно перевел в шутку Ро-

личев, желая, чтобы Лукин успокоился. — Садитесь, пожалуйста. Я кое-кого приму, а потом поговорим с вами о том, кто горит. Садитесь. Садитесь. Со стороны посмотрите, может не так работаем. — И, увидев на Лукине до того потертую военную гимнастерку, словно владелец ее долгое время находился в саперной роте, сказал: — Парторг! Обрядиться вам следует. Видите, какой костюм мне сшили! — На нем действительно был новый костюм цвета хаки. — Сто отрезов нам командование отпустило, — продолжал Роличев и опять пошутил: — Хоть мы и партийцы, но и на нас изнашивается.

«Большой человек, а какой чепухой хвастается, — мелькнуло у Лукина, но он тут же, снова глянув на новый костюм Роличева, подумал: — А и верно, приятно иметь такой».

Роличев продолжал шепотом, оглядываясь по сторонам, ровно заговорщик:

— Знаете что, зайдите к нашему завхозу и скажите — я прошу его вам такой же костюмчик.

— Ладно. Спасибо, — угрюмо ответил Лукин и сел в сторонке, готовясь к беседе с секретарем обкома, одновременно наблюдая за тем, как он принимает людей, как умело даже отказывает в той или иной просьбе.

Оказалось, сегодня у Роличева приемный день по депутатским делам.

Вот вошел тот, кто обещал залить население электричеством. Это инженер. Просит разрешения переехать в Москву: там; дескать, у него семья, там он привык к «воздуху».

— В Москву? Москвич, значит? Езжайте, езжайте, конечно, раз у вас там семья, раз к «воздуху» привыкли, — согласился Роличев, и на лице просителя появилась благодарная улыбка, говорящая: «Как быстро разрешено дело. Давно бы мне надо было обратиться к Роличеву». Но тот, сказав это, подошел к карте, висящей на стене, и сам весь загорелся. — Только на прощание прошу вас взглянуть вот сюда. Видите, какая часть Урала вклинивается в нашу область? Да знаете ли вы, какое строительство мы развернем скоро?

Вот здесь и вот здесь воздвигнем невиданные еще в мире домны. Проекты уже готовы. Вот здесь, и вот здесь, и вот здесь соорудим такие электростанции, каких никогда не бывало на Урале. Вот здесь и вот здесь... — Так в течение пяти-шести минут, весь сам пламенея, он рассказал просителю о перспективах строительства, и тот под конец вдруг сказал:

— Я, пожалуй... подожду уезжать, — и, довольный, пожав руку Роличеву, вышел из кабинета.

Лукин подумал: «А ведь мог сказать сухо: «Нет. Не имею возможностей вас отпустить: идет война». А он вон как не отпустил».

После инженера заходили другие посетители, каждый со своей личной просьбой — одни обращаясь как к секретарю обкома, другие как к депутату Верховного Совета, — и он с каждым находил общий язык. Но вот вошла женщина — седоватая и грузная. Роличев сорвался со стула, кинулся к ней, обнял ее и, усаживая в кресло за письменный стол, проговорил:

— Мария Петровна! Родная! Да вы-то что? Что прикажете? Позвонили бы. Да я бы к вам сам прибежал, как бывало бегал.

— Бывало-то далеко ушло, Петюша. И ты не бежишь, и я вот еле дошла, — ответила женщина. — Сердце болит. В санаторий бы меня направить.

Роличев тут же позвонил председателю облисполкома, спрашивая:

— Как дела с ремонтом санатория? Что? А вдруг опять займут армейцы? Нет. У нас вдруг не бывает. Вот что — мне бы одну путевочку. Самому? Нет. Хочу хоть чуточку отплатить за труды моей учительнице. Да. Марии Петровне Званцевой. — И, положив трубку, сказал: — Ну вот, Мария Петровна, и путевочка у нас есть. Только вы уж больше ко мне не ходите. Позвоните, и я — да, да — сам к вам прибегу, как бывало. Нет, не глядите на меня так: я еще на ногу прыткий.

— Все такой же озорной и милый, — ответила Мария Петровна, поднимаясь при помощи Роличева из кресла, затем сурово спросила: — Книжки-то читаешь?

А то ведь вы такие: как высокий пост занял, так и книги забросил.

— Читаю, читаю, Мария Петровна. Обязательно. Часа два каждый день. Маловато? Да ведь время-то военное: всех рвут на все стороны.

— Книги читай, Петюша, — идя к двери, говорила Мария Петровна. — Хорошие книги — самые лучшие друзья человека.

Последним влетел в кабинет тот юркий человек, которого еще в приемной заприметил Лукин, и Роличев, увидав его, приподнял голову, насторожился, как это делают охотники, когда вдруг в траве заметят куропатку или тетерева.

— Вы что, Любимов? По личному? — спросил он.

— Да. По личному, товарищ Роличев.

— А что у вас?

— Да вот насчет пузырей: отказывает стекольный завод.

— Какой же это личный вопрос? — Роличев неожиданно громко расхохотался.

— А уж так, решил попользоваться случаем: записался к вам по личному, — смиренно ответил Любимов, но хитроватые зайчики так и заиграли в его глазах.

Во время этих и других разговоров то и дело раздавались телефонные звонки то с танкового завода, то с металлургического, то с фабрик или из Москвы. И во всем этом — в беседах с посетителями, в телефонных запросах, в переговорах с Москвой — во всем чувствовалось, что наступает время мирного труда.

«Конец войне. Конец проклятию, — мысленно произнес Лукин. — А мы? Мы у себя на заводе начинаем войну. Как тот сказал: «Скрестим мечи». Зачем? Во имя чего? Может, мне потихонечку покинуть кабинет, да и удрать. Вот так подняться, вроде надо что-то сказать помощнику... и прощай». Он так и хотел было поступить, но его намерения перебил Роличев:

— А теперь, значит, давайте с вами. Кто же у вас там горит?.. И кто кого поджег?

Лукин, опустив голову, глядя в пол, кратко, но зло рассказал о последнем столкновении с Кокоревым.

Черные глубоко запавшие глаза Петра Роличева подернулись сначала печалью, потом гневом.

— Нехорошо. То есть Кокорев поступил плохо. «Скрестим мечи»... Экие рыцари появились!

— Я-то тут при чем?

Петр Роличев прошелся по кабинету и, чтобы дать возможность себе и Лукину еще раз обдумать случившееся, обошел длинный, для заседаний, стол.

Знал ли он, секретарь обкома, Ипполита Яковлевича Кокорева так, как знал многих, даже сотни людей, работающих в области, как он знает, например, того же Лукина? Ведь Кокорев больше трех лет проработал на танковом заводе, расположенном на окраине города Угрюма. За эти годы Петру Роличеву не раз пришлось сталкиваться с ним, и всегда только на деловой, официальной почве.

«Какой-то он весь в броне... был и, видимо, есть, — думал секретарь обкома, обходя длинный стол. — Программу выполнял и перевыполнял блестяще, что там говорить. Верно, всегда штурм. То ничего нет, нет, и вдруг начинается штурм: детали на танки ставились почти горячие. Верно, это зависело не от него — ликвидация штурма: детали подавались с другого завода, а тому вовремя не подвозили металл. Но... программу выполнял и перевыполнял. Личные качества? Неважные. Крутоват. Кичлив. Порою слишком заносчив. Иногда высокомерие выжимает из него эти негодные качества, как мороз выжимает из реки наледи: так и стреляют они во все стороны. Именно этим и вызваны были тогда «самодур» и возмущение на заводе: вовремя не удержали Кокорева, он и начал палить во все стороны наледями».

Подойдя к Лукину, Петр Роличев задумчиво заговорил:

— А может быть, то была вспышка? Все ведь за время войны измотались. В самом деле, кто это кидается с мечом на парторга Центрального Комитета партии. Такое может сделать только недалекий человек или вроде идиота. — И секретарь обкома заспешил: — Простите, не даю вам говорить, а у вас, наверно, есть более весомое против Кокорева. Оскорбил

вас, парторга? Скверно. Осуждаю. Осуждаем. Но у вас, наверно, есть более весомое?

Лукин молчал, думая: а что же «более весомое» у него есть против директора?

Видя замешательство парторга, Петр Роличев сказал:

— Давайте спокойно и просто. Что, по-вашему, надо снимать его?

— Не знаю, — ответил Лукин, хотя в тоне его голоса прозвучало: «Да».

— Ну, знаете ли, так нельзя. Это не серьезно, — мягко запротестовал секретарь обкома. — Обидчивость плохой для нас с вами помощник в работе. Скверный даже. Разум. Разум должен всюду действовать. Скажите, Кокорев производственную программу сорвал?

— Нет. Наоборот, — сумрачно ответил Лукин.

— Может, антисоветские речи произносил?

— Нет. Иногда сболтнет что-то такое похожее на политическую глупость.

— Ну, политическая глупость иногда вырывается не только у таких хозяйственников, как Кокорев... А может, вы открыли подпольную организацию, в которой он состоял?

— Нет.

— Распутник?

— Нет.

— Ворует? Обогащается за счет государства?

— Нет.

— Тогда что же, дорогой Юрий Васильевич? — с горестью спросил секретарь обкома. — Мы здесь гордимся тем, что ваш завод вышел на передовую линию... и министерство гордится. Я думал, вы приехали поделиться с нами и своей радостью, а вы...

— Грубый он, — буркнул Лукин, уже понимая, что все его доводы разлетелись, как разлетается пушок с переспелого одуванчика.

— Грубый? На такое у вас есть лекарство: партийная организация.

— Заносчивый, — добавил Лукин.

— На такую болезнь тоже есть лекарство.

— Да не верю я ему. Не верю. Что, вы хотите, чтобы я перед ним преклонялся, когда я ему не верю? — вдруг взорвался Лукин и забежал по кабинету. — Я на вашем месте пинком вышиб бы его из области. Ведь я знаю, как он оскорблял — не только меня, других там, но и вас. Знаю. Знаем. Все знаем: танки собирался на обком выпустить.

— Э! Поймите! Поймите. Вот этого нам не дано — пинком вышибать людей. Верю — не верю. Что за аргумент?! Факты, дорогой мой. Факты. Вера и невера должны быть обоснованы на фактах. А так что же? Поймите меня не плохо... А так что же? Сегодня вы заявляете, что не верите в Кокорева — и я его, по вашему методу, должен пинком вышибить из области. Завтра Кокорев заявится и скажет: «Не верю Лукину», — и тогда я вас пинком из области. А послезавтра придет еще кто-нибудь и скажет: «Не верю Петру Роличеву», — и тогда меня пинком из области. Понимаете? Должен быть анализ, а не просто — верю или не верю. — И Петр Роличев снова заговорил мягко, успокаивая разгневанного Лукина: — Мы Кокорева видим главным образом по тому, как завод выполняет или не выполняет программу. Вы видите его лучше нас и глубже: он у вас на виду во всех своих проявлениях. Мы видим главное проявление Кокорева — выполнение производственной программы блестящее. Остальных проявлений мы не видим, да и видеть не можем. Вы их видите. Так исправляйте негодные проявления. На то вы и парторг Центрального Комитета партии. Не в силах справиться — тогда идите к нам, несите доказательства, аргументы, и мы вместе возьмемся за исправление негодных проявлений вашего директора. Так ведь, дорогой Юрий Васильевич? Возможно... я никаких намеков в его адрес не делаю... Возможно, что Кокорев впоследствии окажется мерзавцем. Возможно. Но это «возможно» обязаны в первую очередь увидеть вы, парторг Центрального Комитета партии, и предупредить нас. Но с аргументами, а не просто так: «Я не верю». Тот брякнул: «Давай скрестим мечи», — и вы уже готовы: давай скрещивай. А вы к народу обратитесь, через него проверьте и себя

и Кокорева. Проверьте-ка на людях, куда движется жизнь, руководите ли вы ею или она сама по себе, то есть люди живут сами по себе, а вы заседаете и скрещиваете мечи сами по себе...

6

Так сначала появилась трещина в руководстве, но вскоре она обнаружилась между коллективом и директором, что парторг заметил только сегодня. Вернувшись от Роличева, он отправился во фрезерный, намереваясь побеседовать с Варварой Короновой. Шел и думал, сгорая от стыда:

«Скрестить мечи. Экая глупость! Экие рыцари появились. Два петуха дерутся, а коллектив трещит. — Мысленно высказав такие тревожные слова, он даже на секунду приостановился, ощущая, как на лице выступает испарина. — Да. Да. Два петуха. А интересы завода, страны — все это по боку? Да, да. Секретарь обкома, конечно, прав: надо во что бы то ни стало уничтожить рознь», — решительно добавил он и направился к станкам Варвары.

Варвару парторг не видел уже больше месяца и сейчас был удивлен: она похудела, щеки впали, губы побледнели и покрылись мелкими-мелкими морщинками, даже завиток, спадающий на лоб, и тот торчал вроде маленького рога.

— Варя. Ну что, как... работаешь? — запутавшись в словах, пораженный ее видом, проговорил Лукин.

— На мне станки работают. Тяжесть радость приглушила — вот вам откровенный разговор, товарищ парторг, — со злом, при этом пытаюсь улыбнуться, ответила Варвара.

— Что же будешь делать? Что делать? — И вдруг Лукин сказал то, за что резко критиковал других: — Война, Варя. Требуются жертвы... Многие... там, на фронте, жизнь кладут.

— С разумом ее надо класть.

Лукин снова растерялся и проговорил:

— А тебе разве без разума помогают?

— Помогают? — Варвара залилась дребезжащим смехом. — Одни чирикают, другие фырчат, как коты на горячее молоко... тот же ваш Кокорев... А вы... вам ведь все некогда... в душу-то нам заглянуть... вот вы и кидаете: «Война. Война. Ничего не поделаешь»... Знаем мы, что война идет. Знаем. И без вас знаем, потому и работаем не покладая рук, никому не жалуемся, никуда не пишем... Только ведь и на земле не все гладко: горы есть, пропасти, — загадочно закончила она.

«Я от нее никогда такого не слыхал», — подумал Лукин и пошел из цеха в цех.

И, может быть, потому, что сегодня день был особенно солнечно-яркий, более говорливо бежали ручьи с гор, задорно пыхтел разжиженный снег — весна вступала в свои силы, — быть может, потому вид рабочих поразил Лукина, а возможно, потому, что долгое время не был в цехах, проверяя рапорты о перевыполнении программы на тысячу восемьсот машин. Впрочем, как будто ничего особенного вид рабочих не представлял. Все они при встрече с парторгом улыбались, но в улыбках было что-то скорбное, придавленное и печальное.

— Что такое с ними? — встретившись со Степаном Яковлевичем, спросил он.

Тот подумал и ответил:

— Хребтюг трещит, товарищ парторг. На фронте победа полная приближается: наши фашистов в самом логове — Берлине доколачивают. А у нас... видишь чего... Гляди-ка, что с холостяками-то творится.

Холостяками называли тех, кто жил в бараках без семей. Они, это «холостяки», среди остальных рабочих, тоже обношенных за годы войны, резко выделялись своей изможденностью и главным образом страшной худобой: на ходу покачивались, то и дело зябли, потому бегали к батареям и грелись там, как иногда лесорубы греются у костров.

— Да-а-а, вот она до чего довела — война! — вырвалось у Лукина.

— Война? Война, она, конечно, не праздник, а бедствие для народа, — подтвердил Степан Яковлевич. —

У нас в цеху еще туда-сюда, а в формовочном — беда. На днях, — шепотом добавил он, — одного вынесли: забрался под батарею и застыл там.

«О людях... о людях забыли», — вдруг снова, как набатный призыв, загудело в душе Лукина, и он, не глядя по сторонам, ссутулившись, побежал в формовочный цех. И здесь, открыв дверь, увидел: по рыже-черной земле ползали люди и делали все привычными движениями — засыпали каждый в свою форму землю, пристукивали ее... — и особенно выделялся сам бригадир — Вася Ларин. В замасленном, грязном пиджаке, но, видимо, без рубашки, потому что светилась не только нагая грудь, но и втянутый живот, он все делал как-то угловато и механически.

— Вася! Что? Как жизнь? — спросил, не зная что сказать Лукин.

— Уйди-ка, — только и ответил тот.

«Программу перевыполнили... тысячу восемьсот машин сверх программы дали... А рабочие? Что с ними?» — с этой мыслью Лукин вышел из формовочного и торопливым шагом направился в партком с намерением принять самые срочные меры.

В воротах цеха главного конвейера он столкнулся с Петром Завитухиным, который здесь работал в качестве уборщика.

Петра Завитухина рабочие знали как бузотера — не вредного, но назойливого.

Сейчас он был без шапки, и потому облысевшая его, колом, голова особенно уродливо маячила над мусорным ящиком. Но вот Завитухин выпрямился, и на Лукина глянуло лицо с крупными, посиневшими губами, маленькими шныряющими глазами, низеньким лобиком.

«Урод», — мелькнуло у парторга, и он хотел было пройти мимо, как тот нагнулся и довольно громко произнес:

— Одна шайка-лейка.

Лукин задержался, спросил:

— Что за шайка-лейка?

— В мусоре. Мусору на земле много, — ответил Завитухин, идя на парторга, держа на изготове

железный лоток, сам весь напряженный, точно перед прыжком.

Лукин чуть отступил, готовясь к отпору, тревожно глядя на лоток, думая:

— Ударит? Или пугает?

Завитухин, заслыша голоса рабочих у ворот, неожиданно как-то размяк, шепча:

— Страсть охота поговорить с вами, товарищ парт-орг. Нет, не о барахле... а так: душа плачет. Я ведь существо неразумное... Червь ползет, и я ползу. Вот оно чего.

— Что ж? В парткоме много бывает людей. Заходите.

— В парткоме? Нет. Один бы на один. В горах бы... прихватил бы с собой пол-литровочку — и на травке. Чудеса.

Лукин от гнева весь задрожал и еще не нашелся что ответить, как Завитухин выпалил:

— А то и девочек можно подцепить. Вы как — не брезгуете?

— Дрянь, — вырвалось у парторга, и он, сжав кулаки, пошел на Завитухина. — Да тебя самого надо в мусорный ящик.

Завитухин отбежал, дразня:

— А вот на это вы не имеете права: тут полная власть директора. — И неожиданно закричал: — Караул! Спасайте... убить может!

«Провокация: намеренно на скандал вызвал», — пронеслось у Лукина, и он, круто повернувшись, вышел во двор завода.

Чистое темно-синее небо было усыпано дрожащими звездами. Из-за Ай-Тулака выплывала ущербленная, двурогая, бледноватая, как высосанный кусочек лимона, луна, и она, в дополнение ко всему, произвела на Лукина гнетущее впечатление: не светит, не греет... черепок какой-то.

Войдя в партком, он сел за стол и опустил голову на ладони, с мучительной тревогой думая о том, какие же меры предпринять — и предпринять срочно, — чтобы устранить виденное им в цехах, особенно в формовочном.

«Что же, — думал он, — сократить выпуск машин? Ну, это не только дико, но и преступно. Тогда что же?»

Ему было ясно только одно: нужны другие, лучшие условия для работы людей и, прежде всего, питание. Лукин встряхнулся и вызвал к себе заведующего орсом — человека солидного, с солидной фамилией, Силу Силыча Богатырева.

Богатырев, как бы предчувствуя, о чем будет разговор, привел с собой и заведующего центральной столовой, в которой столовались главным образом «холостяки». Войдя в кабинет, он, опустившись на стул и упираясь пухлыми пальцами в пухлые колени, отдуваясь, сказал:

— К вашим услугам, товарищ парторг.

«Эко разнесло тебя на советских-то хлебах», — мелькнуло у парторга, и он, чтобы не нагонять панику, спокойно произнес:

— Надо бы усилить питание рабочих... да и приодеть. Скоро кончится война и, видимо, придется праздновать победу... а они и худы и раздеты... особенно «холостяки».

— Норма, — вымолвил Богатырев.

— Рабочие норму выпуска машин перекрыли, стало быть и кушать им больше, — возразил Лукин, злясь уже на то, что и в самом деле норму, причитающуюся по карточкам, они отменить не в силах. «А раз это так, — подумал он, — то, стало быть, и разговор у нас пустой... и затея моя никчемная». Однако сказал: — Ну, а если положение бедственное? Тогда как? Пусть люди недоедают, а мы держимся за норму — и все?

— Ну, а что же, товарищ парторг? Превысить норму, а потом за нарушение в тюрьму... А я и так еле хожу.

«Вижу, что еле ходишь», — мысленно произнес Лукин и посмотрел на директора центральной столовой — тот как подсел к столу, так и начал вычерчивать карандашом на бумаге женские головки. «Занялся делом», — неприязненно подумал Лукин, а Богатырев, отдуваясь, протестовал:

— Выдам, а сам в тюрьму. Мне в тюрьму — значит в могилу: из меня каждый месяц литров восемь

воды выкачивают. Вот заработал штуку за время войны — в колодец какой-то превратился. Это ведь что во мне, — тыча в пухлые колени пухлыми пальцами, говорил он. — Думаете, жир? Как бы! Вода.

А заведующий центральной столовой, изрисовав весь лист женскими головками, неожиданно пододвинул его парторгу.

— Поглядите, красота! Мне бы в худшколу поступить: от природы дар.

Лукин глянул на листик, хотел было со злом отшвырнуть, но тут же прочитал написанное рукой заведующего столовой:

«Товарищ парторг. У Богатырева «энзе» есть, то есть неприкосновенный запас... на три месяца. Война-то кончается, вот бы и подбросить рабочим — молочка консервированного, мяса».

— Ну как, товарищ парторг, рисуночки? — спросил заведующий столовой.

— Да. Ничего, — улыбаясь ответил Лукин и снова обратился к Богатыреву: — Вы что же — уцепились за норму и ни в какую. Отказываетесь подбросить питание рабочим?

— Отказываюсь? Как отказываюсь? Что я, слепой, не вижу, что делается? Я — за, с полной душой. Да ведь своим согласием я рабочих не накормлю.

— Но ведь у вас есть «энзе»! — наконец воскликнул парторг.

— «Энзе»? «Энзе» — неприкосновенный запас, — решительно возразил Богатырев. — Это на крутую беду...

— А какая же крутая беда? — вступился заведующий столовой. — Фашистов доколачиваем: вот-вот им и крышка.

— Крышка? Милый, война, она оборотистая, — пояснил Богатырев. — Обратно и хлысть.

— Это что за хлысть? — спросил Лукин.

— А как же? Они вон где были — под Москвой... Ну, мы теперь в Берлине. А вдруг — хлысть обратно. Лукин засмеялся.

— Экая тревога у вас. Нет уж, раз мы вошли — обратно не уйдем, и «хлысть» не будет.

— Тогда вы его троньте... троньте, — тыча пальцем в телефонный аппарат, со страхом заговорил Богатырев. — Троньте. Что он скажет?

Лукин понял, к кому толкает его Богатырев, но говорить с Кокоревым ему было просто невмоготу. Однако он, пересилив себя, позвонил и сказал:

— В цехах плохо. Рабочих надо подкормить. Следовало бы распаковать запасы... Тем более, они скоро будут не нужны.

Кокорев ответил:

— Я директор завода, понять это надо, а не начальник орса. Его дело, Богатырева.

— Слава те господи, — словно деревенская баба, выпалил Богатырев. — А я боялся — шуганет. За последнее время к нему просто не подступись... как дракон стал. Ей-же-ей, дракон.

Когда Богатырев и заведующий столовой покинули кабинет, Лукин снова подумал.

«Дракон? Почему дракон? Почему даже подчиненные ему люди называют его так? Неужели только за хамские выпады, за самохвальство отталкивает его коллектив: директор — в одной стороне, коллектив — в другой? Ведь такое положение может привести к катастрофе. Вот этого допускать нельзя».

Но что Лукин ни делал в поисках общего языка и средств предотвращения разрыва с директором — вопрос обсуждали и на парткоме, — трещина, однако, ширилась...

7

Десятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года Степан Яковлевич получил из Штеттина от Ивана Кузьмича Замятина радиogramму: «К вам вылетела Татьяна Яковлевна. Встреть ее как подобает». Перед этим он же писал о том, что прочитал в армейской газете некролог о гибели Николая Кораблева в лагере под Дрезденом.

Первая и вторая весть быстро разнеслись по заводу.

Лукин по телефону посоветовал Кокореву:

- Надо бы устроить траурный митинг.
- Нам некогда митинговать, — ответил тот.
- Зря. Вы разжигаете костер под собственными

ногами.

- Не пугайте. Я не из трусливых.

А восьмого мая был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Татьяне Яковлевне Половцовой-Кораблевой звания Героя Советского Союза... И в день прилета Татьяны, к часу приземления самолета, на аэродроме появилась многотысячная толпа, да еще кто-то нарисовал портреты, под которыми было написано: «Герой Советского Союза Татьяна Яковлевна Половцева-Кораблева».

Кокорев почему-то все это воспринял как демонстрацию, направленную против него.

— Значит, все кинулись встречать... и Лукин и Альтман? — спросил он Урывкина.

— Не только они, но и начальники цехов, заместители, мастера, семьи рабочих.

— Ведь я запретил устраивать такую помпу.

— Даже ухом не повели, — задиристо ответил Урывкин.

Кокорев, взбешенный, поднялся из-за стола.

— Ага! Не слушаются. Она что... уже здесь?

— Отправилась в коттедж. Оказывается, тайно наготове держали коттедж для Кораблева. А теперь отвезли туда его мадам.

— Где коттедж?

— Налево, под горой Ай-Тулак. Провести?

— Я один. — И Кокорев вышел из кабинета.

В столовой домика под горой Ай-Тулак были Лукин, Альтман, Степан Яковлевич и Иван Иванович. Они ждали Татьяну Яковлевну, которую в это время в спальне приводил в чувство доктор Ираклий Иванович Суперфосфатов. Около нее стояла Надя и шептала:

— Вот вы какая, Татьяна Яковлевна! Да вы посмотрите на Николая Степановича... Везде он — по всем стенам... Вы и он... вы и он. Татьяна Яковлевна-а-а... — тянула она так, как иногда девчушка с другого берега зовет: «Ма-а-а-ма-а-а...»

Татьяна вскоре очнулась, глянула на стены и, увидя фотокарточки **Николая Кораблева**, погибшего сына, матери, еле слышно попросила:

— Поддержите меня. — Затем собралась с силами, сказала: — Я слышу, в соседней комнате кто-то разговаривает?

— Да, — радостно **светясь** глазами, ответила Надя. — Ждут вас.

Татьяна, поддерживаемая Надей, вышла в столовую и здесь сначала увидела незнакомых людей — Лукина, Алтмана. Но тут же глаза ее остановились на Иване Ивановиче и на Степане Яковлевиче. Это были ее старые знакомые. Она, покачиваясь, шагнула к ним, протягивая руки.

— Друзья мои!

Как раз в этот момент, не постучавшись, на пороге появился Кокорев. Видя, как Иван Иванович и Степан Яковлевич сжимают руки Татьяны, он, прищурившись, произнес:

— Ловко! Может, заводоуправление сюда перенести? — И, еще более бестактно, нагло осматривая Татьяну: — Охота же вам со старичками!

— Кто это? Кто? — вскрикнула Татьяна, прячась за Ивана Ивановича.

Лукин шагнул к Кокореву и, сдерживая себя, чтобы не ударить того, сквозь зубы процедил:

— Уйди! Не то вышвырнем! — И, глянув на налитые кровью уши Кокорева, чуть не вскрикнул: «Батюшки! До чего противны уши и весь он...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Гибель сына и матери, когда они вместе с жителями села Ливны переправлялись через болото, убегая от карательного отряда, смерть мужа **Николая Кораблева** в лагере под Дрезденом, напряженнейшая

работа в тылу Германии — все это вместе и свалило Татьяну.

Доктор Ираклий Иванович Суперфосфатов, вскинув тощий палец, выразился мягко:

— Перенапряжение нервной системы. Оно может дать осложнение.

— Какое? — спросил Лукин.

— У нас есть места, где на человека накидывают смирительную рубашку.

— Вы говорите о доме сумасшедших?

— Если хотите, назовите так. Она сейчас спит — это отлично: сон лучшее лекарство в данном случае. Пусть спит. День, два, неделю. Пусть. Но потом больная поднимется с постели, и начнутся душевные муки... Они-то и могут привести ее к смирительной рубашке, — отчеканил Ираклий Иванович. — Нужно общественное воздействие: вытеснить душевную боль интересом к жизни. Тут медицина порошков не имеет.

Друзья Николая Кораблева всполошились и, чтобы помочь больной, каждый стал предлагать свое. Альтман посоветовал отправить Татьяну в санаторий на озеро Кисегач.

— Сам отвезу, — уверял он.

Председатель завкома сказал:

— Надо ее втянуть в клубные дела. Пускай кружком самодеятельности займется: слабо у нас.

Лукин посоветовал отыскать родственников.

— Все будет какая-то замена, — уверял он.

Иван Иванович категорически опротестовал:

— Но она же, как я знаю, художник-живописец. Еще до войны ее картина была выставлена в Москве и получила хорошую оценку в печати. Художник она, понимаете! И пусть займется своим трудом — творческим, близким ее сердцу. Пробудить ее к этому — значит спасти.

Ему и поручили воздействовать на Татьяну. Поэтому он ежедневно навещал больную, шептался с Ираклием Ивановичем, с дежурной сестрой; с Надей особенно. А когда Татьяна стала постепенно «отходить», Иван Иванович, как ему казалось, умело начинал за-

говаривать о том, какова на Урале природа, пытаюсь изобразить ее во всех красках...

И вот они, Татьяна и Иван Иванович, уже на вершине Ай-Тулака.

Отсюда видно, как под ясным небом, уходя вдаль лучистыми пиками, синее необъятными просторами, Урал дремлет, точно птица на припеке. А из-под горы — сама макушка Ай-Тулака плешивая. Лениво пошевеливая мохнатыми лапами, тянутся могучие сосны, около них петушатся елочки, над поляной, заросшей травами и горными яркими цветами, носятся крупные, в ладонь ребенка, бабочки, возятся в кустарниках дикого вишенника пчелы, шмели или стремительно выскочит бурундучок, сядет на лбище белого мрамора, смешно сморщит мордочку, на кого-то фыркнет и снова спрячется в своих владениях.

Здесь все жило...

Но даль затаенно безмолвствовала.

«В этой глуши, наверно, когда-то укрывались отшельники», — мысленно произнесла Татьяна и украдкой посмотрела на Ивана Ивановича.

С Иваном Ивановичем Казариновым — ныне начальником строительства Чиркульского автомобильного завода — она познакомилась, пожалуй, лет двенадцать тому назад. Тогда он был довольно статным и крепким, несмотря на то, что морщины веером рассыпались под глазами, а седина, точно свинцовые белила, лежала на висках. За прошедшие годы Иван Иванович ссохся, стал ниже ростом, волосы на голове превратились в пушок, даже брови и те засеребрились.

Татьяна знала, Иван Иванович происходил из дворянской знати, но в первые же дни октябрьского переворота, как выражался он, откололся от нее, заявляя:

— Народ растолкал прогнившую верхушку и вышел на доподлинный жизненный путь. Не хотите идти с прогрессивными массами? Раскаетесь потом. В двери к нам стучаться будете. Не пустим.

И под влиянием Николая Кораблева и окружающей среды в первый год Отечественной войны вступил в партию коммунистов, чем очень дорожил. Однако в нем осталось что-то не от «здешнего мира»: в свободные

минуты любил попиликовать на скрипке старинные романсы и пролить слезу над погибшей бабочкой.

— Ох, какой вы еще романтик, Иван Иванович! — нередко говаривал ему Николай Кораблев.

— А разве сие вредит народу? — возражал он.

— Косвенно — да: эта дрянь, бабочка, плодит гусениц... И наверняка васильки любите?

— Чудесный цветок!

— Сорняк.

— Да разве? Тогда пусть хлебопашец уничтожает васильки, а я все-таки их в вазу.

Вот и теперь он с умиленностью наблюдал за «выкрутасами» непоседливого бурундучка.

«Седой ребенок», — думает Татьяна и негромко произносит:

— Вы для чего пригласили меня сюда?

Иван Иванович встряхнулся и горестно заговорил:

— Я, Татьяна Яковлевна, последний раз поднимаюсь на эту гору: стар. Стар и потому иногда размышляю: «Пора на покой. При помощи медицины протяну лет десяток, возможно больше, а так, на работе, сгорю». Ну, уйду... и буду скрипеть, как гнилая осина. Видели: стоит, рогульки во все стороны, в середине гнильца.

— Да-а... и я такая же теперь осина, — еле слышно прошептала Татьяна и, чтобы приглушить боль, снова посмотрела вдаль — на убегающие гряды гор.

Не слыша ее шепота и не замечая хмури на ее лице, Иван Иванович уже возвышенно продолжал:

— Но люди умирают, а Урал остается во всем своем могуществе. Урал! Он помог разгромить гитлеровские орды и теперь включился в мирное созидание. А я? Уйду на покой, и, стало быть, знания, многолетний опыт — в комнату с закрытыми ставнями... Нет! Лучше два-три года плодотворного труда, нежели тихая кончина. — И, уверенный, что «весомыми доводами» пробудил «жизненный импульс» в Татьяне, заглянул ей в лицо: оно потемнело, нос заострился, а серые глаза побелели. «Не то! Не то! Я о жизни. К шуте, ее, смерть!» — спохватившись, чуть не вскрикнул он, одновременно ругая себя: «Дурень! Ведь она больна,

а ты о кончине... еще о запахе ладана скажи. Вот и воздействовал, — с издевкой над собой подумал он. — Нет, я сейчас скажу такое, что на нее подействует, точно...»

Но пока он подыскивал «такое», Татьяна сама заговорила:

— Я ничего подобного еще не видела. Он не только величав, Урал, но и потрясающ: горы, небо, травы, краски — все зовет к себе.

— Обнять хочется! — оживленно подхватил Иван Иванович и даже раскинул руки. — А ведь когда мы приехали сюда, то всюду были леса, болота, топи, бездорожье. Мы снесли леса, оттеснили болота, построили завод, город, проложили асфальтированные дороги. Придет время — человек овладеет и этой глухоманью. Даже тут, на вершине Ай-Тулака, воздвигнут дворцы. И, поверьте мне, Татьяна Яковлевна, люди вспомнят и непременно скажут: «Первый камень здесь заложил Николай Степанович Кораблев».

Сколько тщательно обдуманного, возвышенного сказано было за эти дни Иваном Ивановичем, и ничто не подействовало на Татьяну так, как последние слова, вовсе не продуманные, не возвышенные, а просто произнесенные от всего сердца: лицо у нее озарилось улыбкой, на щеках заиграл румянец, — оно показалось Ивану Ивановичу разительно светлым.

— Вспомнят, кто заложил первый камень, — еле слышно прошептала Татьяна и так же тихо, но твердо добавила: — Да. Я должна жить!

Вряд ли сознавал Иван Иванович, что именно в эту минуту произошел перелом в душе Татьяны Яковлевны, однако радостно воскликнул:

— В нашей стране человек обязан жить! Обязан! И давайте... давайте помолимся. Нет, что я — помолимся! Просто поклянемся перед величием Урала: — Мы будем жить и творить!

Татьяна вначале растерялась, подумав: «К чему клятва?» — но, глянув на взволнованного Ивана Ивановича, невольно подчиняясь ему, вскинула руку и крикнула:

— Творить!

Эхо, перекатываясь, убежало далеко-далеко, затем вернулось и будто рассыпалось на лысине Ай-Тулака. Тогда Иван Иванович, боясь, что Татьяной внось овладеет гнетущая тоска, даже угрожающе произнес: — Сама природа ответила вам: «Творить». Так пойдемте туда, где люди творят необычайную и невиданную в истории человечества жизнь.

2

Если по эту сторону Ай-Тулака все было еще пустынно, то по другую, у подножья горы, кипела жизнь: там раскинулся завод-гигант пятилетнего возраста. Он ворчал, будто на что-то сердясь, сияя на солнце застекленными крышами корпусов, асфальтированными дорогами, площадями. Сам он, завод, уходил вправо, тесня леса, болота, а влево раскинулся новый город — из каменных многоэтажных домов, из разноцветных двухквартирных домиков, школ, больниц, бань, клубов, яслей и магазинов; а по шоссе то и дело на обкатку неслись свежие грузовики, поблескивая радиаторами, как зеркалами.

— Через восемь минут — машина. Совсем недавно требовалось десять, — произносит Иван Иванович, спускаясь по крутой тропе за Татьяной.

Она идет, ступая на носки, легко, будто с песчаного берега в прохладу реки. Ветер играет вьющимися, с золотистым отливом, волосами, вскидывает с плеча конец розового шарфика. Шарфик трепещет, словно сгнанный язык костра. Ветер ли виноват, или что другое, но румянец гуще покрыл ее щеки, а серые глаза блестят, тая, может быть, еще не осознанную надежду.

Иван Иванович шагает бочком, потому что старые ноги не пружинятся, не гнутся. Ему даже трудно дышать, и поэтому следовало бы не разговаривать, но воздержаться невозможно.

«Смирительная рубашка?! Уж этот Ираклий Суперфосфатов! На него бы ее накинуть, смирительную!» — со злорадством думает он, затем говорит:

— Восемь минут — много. Рабочие добьются: через каждые пять минут с конвейера будет сходить машина. Таких людей надо уважать. Николай Степанович их не просто уважает, но и любит.

Татьяна, втянув голову в плечи, точно ожидая удара сверху, резко остановилась. Иван Иванович, идущий бочком, чуть не натолкнулся на нее.

— Вы что? — встревоженно спросил он.

— Почему «уважает», а не «уважал»? — задыхаясь, спросила она.

— Не могу выговорить «уважал». Как-то до сих пор не верю. И жду его. А явился другой.

— Кто?

— Кокорев. У нас лесосплавом руководит интересный человек — Коронов Евстигней Ильич...

— Сегодня утром навестил меня. Кудрявенький, точно березовый пенечек?

— Он очень метко назвал Кокорева: «Попрыгунчик».

«Не в угоду ли мне они бранят нового директора? — мелькнуло у нее и тут же всколыхнулось радостно-бурное: — Явится? Коля! Бывает же иногда так! Ох, если бы!» — И она ринулась вниз по тропе.

3

Какая-то надежда на то, что Николай Кораблев жив и вот-вот явится, теплилась в душе Татьяны. Она, эта надежда, возможно в связи с тем, что крепи физические силы, с каждым днем все разгоралась, как разгорается огонек, в который то и дело подбрасывают сухие хворостинки. Очевидно, это было то самое чувство, которое охватило после войны миллионы людей, потерявших на фронте сыновей, отцов, мужей, братьев, сестер и возлюбленных. Она, эта надежда, приглушала боль от утери матери, сына — там, в болоте. Они уже не вернутся: Татьяна своими глазами видела трупик сынишки. Но ведь трупа мужа в лагере под Дрезденом она не нашла, значит могло случиться так, что Николая выкрали из лагеря англичане или

американцы и увезли с собой. Вполне допустимо. Наверно, он там заболел и потому не подал весточки.

«Но выздоровеет: он очень сильный... Ох, Коля», порою шептала Татьяна.

Сегодня, когда солнце так и лезло через окна во все комнаты, Татьяной овладела непоборимая тоска по мужу. И она, узнав от Нади, что неподалеку от завода расположен знаменитый заповедник «Нетронутый Урал», сказала:

— Я пойду туда. Это ведь рядом.

— Что вы, Татьяна Яковлевна! Заблудитесь. Знаете, что такое уральские леса, особенно заповедник?

— Да уж как-нибудь не заблужусь. Но мне надо, Надюша, надо. И не затеряюсь: исходила лесов столько, когда у партизан была, и научилась узнавать, откуда вышла, куда надо прийти. Только компас бы достать...

А поздно вечером, отчитываясь перед Николаем Кораблевым, писала в толстую черную тетрадь:

«Родной мой Коля!

Сегодня я весь день провела в «Нетронutom Урале».

Представь себе, я иду по звериной тропе. Она проложена в высоких, густых травах, и кажется, травы эти сочатся зеленью. Я нагибаюсь, рассматриваю следы диких коз, лося, волка, лисы. Вдоль тропы, по самой боковине ее, тянется вытоптанная стежка... Там, где сырость, видны узорчатые лапки птиц — мелкие и крупные. Я всматриваюсь и узнаю — это вот след тетерева, это — глухаря. Оказывается, здесь их большак — дорога. Сколько же их, если они смогли проложить свой узорчатый шлях? А деревья — великаны, да и великаны-то древнейшие. Мне рассказывали, ты бывал в этих лесах и даже однажды заблудился: старичок Коронов отыскал тебя. Ну, а раз бывал, значит представляешь себе, какие тут деревья. Микулы! Микулы Селяниновичи! Ильи Муромцы! Вот, например, сосна в три обхвата — золотистая, пламенеющая. Около нее лиственница — кудрявая и стыдливая, как де-

вушка... А вон дубы — суровые, мудрые, словно философы. И совсем недалеко от меня в ложбинке раскинулись густые заросли малинника. Я представляю себе: мы с тобой поздней осенью входим в него... Ты нагибаешься, подставляешь кепи, я трянула куст — и кепи заполнилось сочной красной ягодой. Ух, сколько его — малинника! Но я тут же поднимаю голову: вправо от меня что-то зашипело. Я резко поворачиваюсь и вижу — на сосне белка. Она держится на стволе вниз головой, словно ее прикрепили. Шерстка на спине вздыбилась, хвост распушился, как ламповый ерш. Она быстро-быстро перебирает передними лапками и, глядя на меня перепуганными глазками, шипит. Да, да. Шипит: уходи, дескать, прочь. «Кто ты такая? Уходи: съем». Я ударяю палкой по стволу дерева. Белка молниеносно взлетает вверх и все так же, перебирая лапками, шипит на меня.

— А-а-а! Мать. Где-то тут у тебя, значит, детки. Какую силу ей придало материнство: на человека кипулась. Ну, живи! Живи, родная моя, — говорю я и даже раскланиваюсь перед ней.

И не успела я отойти от белки, как из густого кустарника вылетело что-то огромное, черное, — вылетело с треском, с грохотом. Я даже вздрогнула и попятилась. Затем осторожно сделала шаг, два. Раздвинула кустарник. За кустарником поляна, усыпанная розоватой брусникой. Посередине поляны на старом, гнилом пне сидит глухарь-красавец. Шаркнув носом по коросте пня, он искоса посмотрел на меня, как бы говоря: «А я ведь тебя совсем не боюсь. Это я так себе вылетел из кустарника». И, спрыгнув, раскачиваясь, пошел по зарослям брусники, как полновластный хозяин сказочных мест.

— А я и трогать тебя не буду, — с обидой промолвила я и направилась в другую сторону, где что-то блеснуло.

Мне показалось, что блеснула река, но это было небольшое горное озеро. Оно лежало в котловане, окутанное по берегам непроглядным лесом. На зеркальной глади озера распластались широкие листья лилий, напоминая уши каких-то причудливых зверей.

А совсем недалеко от меня, опустив голову к воде, напрягая мускулы шеи, стоял пятнистый олень. Он пил долго. Затем поднял красивую голову. С поджатых губ упало несколько крупных капель. Завороженная, я долго смотрела на него молча, затем крикнула, ожидая, что он шарахнется в чащобу, но он только недолго глянул на меня и медленно пошел в гору.

— Ну, разве это не во сне? — проговорила я.

— Не во сне, — ответил кто-то.

Я вздрогнула и повернулась.

На крутой скале стоял человек в плаще-дождевике, на ногах ботинки с подковами, а горло перевязано марлей. Ему, очевидно, лет сорок, а может быть, меньше: глаза свежие, молодые, но лицо репчатое, какое-то вафельное — это его старит. А вообще-то, кажется, от всего его облика веет чем-то таежным: он и приветливый и страшный, как густой лес.

— Не во сне, — повторил он, затем спустился со скалы, взял меня за локоть и, подозрительно оглядывая, спросил: — А вы тут что, Татьяна Яковлевна?

— Да так. Ничего. Откуда меня знаете?

— Как не знать? Вместе со всеми встречал вас на аэродроме. Я инженер Лалыкин, — ответил он.

— Это хорошо, — освобождаясь от испуга, проговорила я. — Свой человек. А куда я попала?

— Куда? — Лалыкин смахнул с головы кепи, потрянул густыми волосами и даже выпятил грудь, как это делают некоторые поэты, выходя перед публикой. — Куда? В земной рай.

— Да ну вас. Шутите..

— Друг мой, — продолжал он возвышенно и так, будто мы с ним уже старинные друзья. — Да. Вы попали туда, куда стремятся все честные, благородные ученые мира. Не верите? Хорошо. Я сейчас вам покажу чудеса из чудес, — и подвел меня к котловану. — Вы, конечно, хотели бы посмотреть золото? — таинственно заговорил Лалыкин. — Вы все такие: «Покажите нам золото». Ну, знаете, тут неподалеку в долине найден самородок в два с лишним пуда весом. Вам достаточно? Но на свете есть вещи гораздо дороже золота. Вот посмотрите на это.

На дне котлована виднелась вода. От нее, от стенок котлована и даже от нас исходил какой-то ярко-голубоватый свет.

— Мне кажется, — тихо и с трепетом проговорила я, — мне кажется, мы с вами ушли куда-то в глубь времен...

— И вы не ошиблись, — подхватил он. — Эти породы, — он бережно дотронулся до стенки котлована, — эти породы выброшены сюда миллионы лет тому назад. И заметьте, они выброшены с самых глубин земного шара. — Он чуть помолчал и начал еще более возвышенно: — «Кажется, минералы всего света собраны в одном удивительном хребте сем, — и многое еще предстоит в оном открытии, — кои тем более важны для науки, что представляют собой все почти вещества других стран в гигантском размере».

— Вы заговорили на каком-то древнем языке?

— Да! Я цитирую знаменитого ученого, который больше ста лет тому назад был здесь и потом по всему миру разнес весть о том, что минералы всего света собраны в этом земном раю.

— Вот это — минералы всего света? — и я небрежно ткнула пальцем в стенку котлована.

— Это? — почти задыхаясь от волнения, зашептал он. — Это... миаскиты. Понимаете? Горная порода — единственная в таком изобилии у нас. Миаскит — показатель, что тут соседятся редкие минералы — альменит, апатит, сфен, натралит, хромит, надрагиллит, конкренит, каолин, корунд, шеелит, вольфрам. Свыше сотни! Да, да! — вдруг закричал он так, как будто только что сам все это открыл. — Хотите, я вам о каждом минерале расскажу поэму?

Но у меня уже и от того, что он перечислил, вспухла голова.

И я вяло произнесла:

— А зачем все это? Зачем? Ведь оно не воевало?

— Как? — Он даже отступил от меня и, посмотрев на меня сверху вниз, сурово произнес: — Вы человек серьезный, но и безграмотный. Вот что я вам по дружбе скажу. Вы не обижайтесь. На правду обижаться нельзя. Честнее: если не знаешь, спроси. — И, снова

подхватив под руку, он вывел меня из этого чудесного котлована. — Скажу вам прямо, ныне воевала почти вся таблица Менделеева. И это я вам сейчас докажу.

И он начал водить меня из котлована в котлован. Он показал мне копи биатита — черной слюды, копи, где преобладал солнечный камень. Он водил меня всюду. У меня отваливались ноги. А он все водил меня и говорил-говорил...

— Да, да, друг мой. Вы попали в земной рай. Вам такое название не нравится? Ну хорошо, вы попали на «Нетронутый Урал»: здесь, в этом заповеднике, все богатства Урала видны, точно на экране. Вот шеслит — то, что воевало: этот минерал идет на броню танков, — проговорил он опять сурово, показывая мне на куски каких-то, как показалось мне, отшлифованных рукой человека веществ. — А вы говорите — минералы не воюют!

— Как? Вот так берут отсюда — и прямо на броню?

— Ну да.

— То есть, — не унималась я, хотя уже чувствовала, что говорю глупость, — эту породу — и на броню?

Он рассмеялся:

— Да вы действительно в минералогии человек наивный. Нет, это все перерабатывается на заводах. Ну ничего. Даже хорошо, что вы так просто высказываетесь. Вы загляните в Златоуст, на металлургический, там и увидите. — И он повел меня в гору. — Я вам не показывал железо, уголь, платину, золото. Но я вам показал замечательные цветы земли — минералы. А теперь я вас поведу на вершину Ильмень-Тау, и оттуда мы глянем с вами на всю красоту этого чудеснейшего в мире уголка.

* * *

Мы стояли на вершине Ильмень-Тау. Семьсот сорок семь метров над уровнем моря. Гряды гор тянулись от нас в глубь Уральского хребта. Далеко, в дымке, окруженные густой стеной лесов, плескались горные

озера. И вдруг где-то на стороне раздался трубный зов. Он прокатился над горами, по ущельям, торжественно и победоносно.

— Лось. Самец, — сказал мой новый знакомый.

Трубный зов неожиданно перенесся в другую сторону... И мы увидели, как на поляну, недалеко от нас, выскочили два огромных самца. Какую-то секунду они смотрели друг на друга и разом, точно по команде, кинулись в бой. Два лося — старый, поседевший, и молодой, гладкий, лоснящийся. Старый был, очевидно, опытней: он двумя-тремя ударами сбил с ног молодого и, не глядя на него, пошел к березовой опушке. Оттуда навстречу ему вышла поджарая, сиво-серая лосиха. Она шла медленно, вяло пощипывая траву. Затем пересекла поляну. И оба зверя скрылись.

— Интересно? — спросил Лалыкин, но этот интерес у него оказался секундным. — А хотите ли, я вам покажу озеро? Примечательное озеро, — снова загорелся он своим интересом.

Через час или два мы спустились с горы, пробились сквозь густые заросли кустарника и повсюду, по ложбинам, по руслам потоков, по берегам рек, увидели изрытую землю.

— Кто это и зачем так упорно тут рылся? — спросила я.

— Старатели. Золотоискатели. Мы с вами спускаемся в Чиркульскую долину. Она славится золотом. Здесь когда-то и нашли самородок пуда в два с лишним весом. Но самородками ни одна страна не живет. Россыпи — богатство долины. ...А вот оно и озеро. Смотрите эту красоту. — Он раздвинул заросли ельника, и перед нами открылось огромное, окаймленное горами озеро. На нем сидели две башкастые, пушистые птицы и громко перекликались. — Гоголи, — пояснил Лалыкин. — А озеро носит название Тургояк, что значит в переводе: «Не ступи моя нога». Видите, оно сейчас очень спокойно, но через пятнадцать — двадцать минут на нем могут разыграться такие волны, что ни на одной лодке не удержишься, потому и название «Не ступи моя нога».

Он помолчал, затем тихо продолжал:

— Сорок семь тысяч гектаров отведено под заповедник... Сорок семь тысяч! Еще в тысяча девятьсот девятнадцатом году Владимир Ильич Ленин приказал отвести эти сокровища под заповедник, и с тех пор...

Я перебила его:

— И все это зовет к себе человека. Все это надо встряхнуть, чтобы поставить на службу человеку.

— Ну, вы немного опоздали: за всю историю Урал не видел того, что он увидел за эти годы. Люди наконец по-настоящему трянули его седины. Вы слышите?

Я прислушалась.

Откуда-то со стороны шел визг и грохот.

— Слышите? Так пойдемте и посмотрим, как народ начал встряхивать седой Урал.

Он повел меня в сторону от границ «Нетронутого Урала». И тут мы увидели лесорубов. Их пилы с визгом подпиливали вековые сосны, и те с грохотом падали на заросшую травами землю.

— Лесозаготовки, — пояснил он.

— И вам не жалко этих сосен?

— Жалеть — значит не трогать Урала. А стране надо его по-настоящему встряхнуть. Эти сосны спешно отправляются на строительство. Совсем недавно здесь был академик Ферсман. Он нам рассказал, как лет двадцать пять тому назад они, тогда еще молодые ученые, стояли на балконе одной школы и, глядя на Урал, мечтали о том, что вот здесь будут построены заводы по переработке богатств Урала. Такой час наступил с приходом Советской власти, а ныне особенно: заводы строят москвичи, ленинградцы, сталинградцы, харьковчане, киевляне, уральцы. Все строят. Вот даже то озеро, что мы с вами видели, советский человек намеревается поднять на три метра. Поднимет, безусловно, и поставит в горловине мощную гидростанцию.

Лалыкин смолк, видимо представляя себе не только будущее озера Тургояк, но и всего Урала, а я, глядя на него, спросила:

— Да кто вы? Минералог?

— Термист. Начальник термического цеха.

— Как? — спохватилась я. — У вас в лаборатории кто помощник?

— Надюша. Вы ее знаете.

Я подумала:

«До чего ж я наивная: ведь это Надя выслала его навстречу мне, чтобы я не заблудилась... Вот он мне и напел о минералах». И я, хотя ты, Коля, знаешь, я людям всегда верю, однако спросила его:

— Термист и здесь — около минералов? Что-то не верится.

— Любитель. Знаете, у нас, инженеров, у каждого есть какая-то своя загвоздка. Я вот увлечен минералами. Другой — другим.

«Говорите!» — хотелось мне крикнуть, но, придя домой, я спросила Надю, где и как живет Лалыкин. Та рассказала, что он живет без семьи в одной комнате.

— И все у него завалено образцами минералов! Вот видишь, Коля, людям надо всегда верить.

А в Златоуст я обязательно загляну. Ведь это недалеко от нас...

Родной мой.

Как жду я тебя. И думаю, как мне на полотне отразить Урал, чтобы ты, приехав, посмотрел и сказал:

— Не бездельничала здесь Татьяна Яковлевна.

Какая тоска!

Неужели ты не тоскуешь по мне, Коля?

* * *

Поезд местного сообщения тащится по лезвию хребта. Он петляет, словно заяц. Попетляет этак километров десять, смотришь, а ты почти на том же месте, только метров на сто выше: отсюда видно железнодорожное полотно, по которому мы только что прогрохотали. А поезд; и как ему не стыдно, как ни в чем не бывало, снова кряхтя, отфыркиваясь, скрежеща колесами паровоза на крутом подъеме, ползет по боковине хребта.

Я стою в коридоре вагона и смотрю через окно на чудеснейшие долины, на девственные леса, и кажется

мне, в мире нет еще такого красивого уголка, как этот уголок Урала.

И краски какие-то особые...

И небо особое...

— Ага! Вот вы где! — слышалось со стороны.

Я повернулась: передо мной стоял улыбающийся Лалыкин.

— Николай Александрович! — воскликнула я. — Вы-то какими судьбами? Ведь здесь минералов нет.

— Интересуюсь... У нас, знаете ли, инженеров, у каждого, как я уже говорил, есть своя загвоздка, — смущенно ответил он, и я поняла: сейчас-то его уже, ясно, подослали ко мне.

Кто подослал?

Твои друзья, Колюша: Иван Иванович, Степан Яковлевич, Лукин и Надя. Славные друзья!

И, конечно, я даже не намекнула на то, что догадываюсь, как очутился около меня Лалыкин, а просто сказала:

— Совет ваш выполняю: еду в Златоуст.

— Не раскаетесь. Да, да, не раскаетесь, Татьяна Яковлевна. Видите ли, Златоуст, как и большинство городов Урала, имеет свою легенду.

— Какую же?

Николай Александрович ногтем поцарапал стекло окна и тихо начал:

— Вы, очевидно, слышали про клинки из дамасской стали? Ну конечно, слышали. Что я спрашиваю! Так вот, такие клинки в былые времена передавались из рода в род; за клинки отдавали гурты овец, табуны коней, целые состояния. Про них пелись песни. И весь мир стремился постигнуть тайну клинка из дамасской стали. Но никто этой тайны открыть не мог. И вот появился некто Аносов, инженер. Он мог бы, как и все инженеры того времени, прожить свою жизнь спокойно — в семейном уюте, за картишками. Но Аносов был человек с искоркой. Он и решил во что бы то ни стало открыть секрет дамасской стали. Тут-то вот и начинается легенда. Да еще какая! Сначала он отправился в Азию. На такое путешествие ему понадобилось семь лет. Но в Азии он узнал только то, что се-

крет хранился в городе Дамаске. Вернувшись домой, он прихватил с собой слуг и под видом путешественника отправился в далекий Дамаск. По дороге на них напали разбойники. Слуги были убиты, имущество разграблено, а сам Аносов едва вырвался из лап разбойников. Но человек он был упорный. Без средств, без денег, с одним только кувшином воды, он через пустыню направился в Дамаск. И тут, в пустыне, натолкнулся на старика, умиравшего от жажды. Аносов отдал ему последние капли воды. Старик ожил и пригласил его к себе. Оказалось потом, что этот старик и есть нужный ему мастер дамасского клинка. Старик полюбил чужестранца. Так полюбил, что отдал за него свою дочь-красавицу. Семь лет проработал у него Аносов. И, умирая, старик передал ему секрет дамасской стали. Аносов вернулся в Златоуст и стал вырабатывать чудеснейшие клинки, прославляя на весь мир нашу родину. — Николай Александрович тут смолк и потом с грустью добавил: — Вот такая легенда сложена. А ныне этой легенде конец: совсем недавно наши инженеры в опытной электропечи выплавляли дамасскую сталь и определили, что она — лучшая когда-то в мире сталь — куда хуже той стали, что мы даем нашей армии. Но об этом никакой легенды, Татьяна Яковлевна...

— Ну, легенда будет сложена! А вот относительно того, что выплавляли в электропечи дамасскую сталь, — это вы шутите.

— До шуток ли теперь? Я вам все это покажу, если вы уж меня так раззадорили.

И мы с ним прямо с вокзала направились в город. Километров шесть или семь мы шли вдоль пруда. Я все время внимательно всматривалась в Николая Александровича, уверенная в том, что насчет выплавки в электропечи дамасской стали он сочиняет...

«Да, надо спросить», — решила я и уже разинула было рот, но Николай Александрович весь как-то всколыхнулся, вскрикнул:

— А вот и город! Вот и город! Чудесный старинный город Златоуст.

Город лежал в котловане, стиснутый со всех сторон высокими, поросшими соснами горами. Улицы его извилистые, кривые, усыпанные небольшими деревянными домиками, огороженные каменными заборами. Но вот и центр. В центре кое-где виднеются старинные приземистые, толстостенные дома с колоннами. Подводя меня к одному из таких домов, Николай Александрович сказал:

— Входите, — и, пропустив в дверь, повернулся к караульному: — Это со мной, Иван Егорович.

Караульный заулыбался во все лицо.

— Пожалуйста, Николай Александрович, — и переложил с одного плеча на другое тульскую двустволку.

«Странно. Его знает даже этот караульный, — подумала я. — Ну-ка, я его сразу спрошу: кто же он?» Но он так стремительно побежал по лестнице вверх, что я еле успевала за ним. А он уже ворвался в кабинет и, обращаясь к человеку за столом, проговорил:

— Вот привел к вам жену Николая Степановича Кораблева, Татьяну Яковлевну. Художник она. Не верит, что вы в электропечи выплавляете дамасскую сталь.

Человек осмотрел меня с ног до головы, затем улыбнулся, протягивая мне руку:

— Винокуров. Главный инженер. Что ж, это хорошо, когда на слово не веришь, — и повел нас в комнату с толстыми стенами и сводчатым потолком.

От комнаты веяло чем-то древним. Между прочим, чем-то древним веяло и от незнакомого старичка, который стоял рядом с огромным шкафом византийского стиля. За стеклами шкафа виднелись разнообразнейшие клинки.

— Это Киселев, Василий Андрианович. — Николай Александрович обнял старика. — Ему семьдесят шесть лет. Шестьдесят шесть лет он проработал на металлургическом заводе. Эге. Значит, видал виды. А ну, Василий Андрианович, покажите нам свою гордыню.

Василий Андрианович взволнованно открыл двери шкафа и, достав оттуда клинок, подал нам.

Клинок небольшой, весь разукрашенный рисунками.

— Это настоящий дамас, — заметил он и, достав второй клинок, заговорил уже более торжественно: — А это вот наш дамас, то есть тот, который мы вырабатывали здесь и секрет которого достал известнейший в мире сталеваров инженер Аносов. — Василий Андрианович согнул почти в дугу клинок, затем ногтем провел по лезвию, и клинок издал тончайший звук. — Вот такие, — продолжал он, — я делал и абиссинскому негусу, и японскому императору, и китайскому...

— А дайте-ка нашу шашку, Василий Андрианович, — не утерпел Николай Александрович. — Нашу последнюю.

Василий Андрианович нахмурился и с неохотой подал Николаю Александровичу шашку. Тот ткнул ее в пол и согнул в дугу. Затем быстро отдернул: шашка мгновенно выпрямилась. Тогда Николай Александрович очертил ею в воздухе несколько кругов, как это делают кавалеристы, и шашка запела — тонко и звучно.

— А ну-ка, пусть и ваш дамас так споет, — предложил он.

Василий Андрианович смущенно произнес:

— Он на такое не способен.

— Ага! Не способен? А ну, держите его крепче в руках. Вот так держите, как на рубке. — И Николай Александрович со всей силой опустил шашку на дамасский клинок. На клинке осталась зазубрина, на шашке — никакого следа. Тогда Николай Александрович воскликнул: — Все изрубит? Эта все изрубит!

Василий Андрианович сначала растерялся, как человек на скачках, который вдруг увидел, что его знаменитого коня обгоняет другой конь, а затем вздохнул:

— Да-а. Видите ли... — Он хотел было что-то возразить, но только развел руками. — Что ж?.. Ничего не поделаешь. Крепче.

Главный инженер, видя, как расстроился старичок, мягко сказал:

— Василий Андрианович, вы не сдавайтесь: слава за вами.

— Слава-то славой, — даже как-то гневно оборвал его Николай Александрович, — а раболепски преклоняться перед старинушкой просто вредно. Это присуще только старым девам. Нам же с вами надо было воевать. А ваш клинок, Василий Андрианович, ныне уже не воевал. Воевала вот эта сталь, — он снова взмахнул шашкой. — Да и то не в таком оформлении, а в другом. Идемте, я вам сейчас покажу, в каком оформлении сталь воевала, — предложил он мне и стремительно выбежал из комнаты.

Мы с Винокуровым переглянулись.

— Замечательный мужик, — проговорил он, спеша за Николаем Александровичем.

А Николай Александрович уже открыл дверь в старинное прокопченное здание. Тут все кипело, гремело, скрежетало, пахло гарью, и стоял звон, стук молотов. Из горна женщина щипцами достала раскаленный кусок железа. Сосед-рабочий подхватил у нее кусок, тиснул его в один жом, затем в другой — и кусок железа превратился в нечто похожее на клин. Рабочий перекинул это своему соседу. Тот тоже тиснул в жом. — Раз, два, три — и бросил на земляной пол.

— Здорово! — воскликнула я, предполагая, что это готовятся какие-то сложные детали для военной машины.

— Топоры! — произнес Винокуров, ошарашивая меня.

— Вот этим тоже когда-то воевали — топорами. Но если бы мы до сих пор держались за топор, нас смели бы с лица земли мерзавцы, — сердито проговорил Николай Александрович и повел нас в следующую дверь.

В помещении мы увидели, как вырабатывались шашки. Их также отжимали, тискали, мяли, точили на огромных камнях, вделывали в оправу, затем в ножны... Шашек тут было так много, что казалось, их хватит на всю нашу кавалерию.

— Это тоже воевало, — уже мягче заговорил Николай Александрович. — Но... но если бы мы держались только за них — нас все равно бы смели. Странно, но у нас иногда вцепятся в слово какого-нибудь великого полководца и долдонят и долдонят. Дескать, Су-

воров сказал: «Пуля — дура, штык — молодец». Ну, и давай наваливай на штык. А Суворов сие сказал по нужде: пуль-то у него было мало, ну, значит, и наваливай на штык. А если бы Суворов увидел вот это, он бы сказал: «Вот они молодцы!» — Николай Александрович с разбегу ногой толкнул дверь и, влетая в другую комнату, раскинул руки. — Вот они. Вот они, наши победители!

Помещение, куда нас ввел Николай Александрович, было большое, светлое. На прилавках, напоминая собою небольшие сахарные головы, стояли снаряды.

— Да-а. Вот это по-настоящему воевало и будет воевать, — проговорил Винокуров и любовно погладил снаряд. — Они пробивают любую броню.

— Тысячи вражеских танков замертво легли под ударами этих штук, — подхватил Николай Александрович.

— А где брали материал на эти штуки? — спросила я и также любовно погладила снаряд.

— Урал давал.

— Урал давал сырье? Но не из сырья же делали вы эти штуки?

— Ах, вы о том? — ответил Винокуров. — От отца. Вернее, от сына. В последние годы от нашего завода отделился металлургический. Тогда он был сынок. Но теперь он так вырос, что мы называем его отцом.

— Ну, и пошли к отцу, — подхватил Николай Александрович.

* * *

Что это такое? Куда мы попали? В широкие открытые ворота дуют страшные, пронизывающие сквозняки. Они такой силы, что чуть не валят с ног. Но вот мы прошли метров десять — пятнадцать, и на нас пахнуло таким жаром, что, кажется, сейчас вспыхнет одежда, а лицо обуглится. Жар хватает со всех сторон: и снизу, и с боков, и откуда-то сверху. Наверху, почти под переплетами крыши, движется огромный кран. Захватив двумя пальцами чушку раскаленного железа, весом в две тонны, он тащит ее как игрушку. И звенят предупреждающие звонки. Они звенят

повсюду, вносят во все здание тревогу. Кажется, от этих звонков люди должны бы шарахаться в сторону, увертываться от надвигающейся беды. Но люди спокойны. Они делают все быстро, ловко, привычно. Ловко и быстро железными крюками переворачивают раскаленные чушки, укладывают их в вагонетки и толчками отгоняют вагонетки куда-то в сторону.

— Вы что, малость ошарашены, Татьяна Яковлевна? — засмеялся Николай Александрович и повел по лесенке, добавляя: — Это не главное. Главное вот здесь.

Не успели мы еще подняться по лесенке, как на нас опять пахнуло таким жаром, что глаза невольно прикрылись, а по лицу забегали колющие мурашки. Секунда, две, три. Открываю глаза.

Так вот они, бушующие вулканы, откуда пышет этот страшный жар! Из полуоткрытых жерл печей то и дело выбивается пламя расплавленного металла. Он бушует, кипит внутри печей, белые стенки которых будто покрыты ползучим серебром. Он воюет там, этот расплавленный металл. Воюет, как великан, которому мало места, которому нужен простор... И кажется, вот сейчас этот великан вырвется на волю и зальет все и всех своим всесжигающим пламенем.

Но люди у печей, вооруженные длинными крюками, в синих очках, с синими козырьками, потные, распаренные, еще шире открывают жерла печей. И вот длинный крюк вонзается в расплавленную, кипящую массу металла, и в этот же миг из печи почти под ноги людям ползет огненное пламя.

— Снимают шлак, — проговорил Николай Александрович. — Вы видите переднего сталевара — это бригадир. На него и падает главный огонь. Смотрите, как они работают! Ни одного слова. Вон бригадир повернул руку — и все двинулись за его рукой. Кивок головой влево — и крюк пошел влево. Мы же с вами на мартене. Понимаете? Здесь варится сталь. Заметьте, сталь варят не только тут, но и в электропечах. Они здесь есть. Если хотите, посмотрим. А теперь пойдемте вот сюда. Сейчас будут выпускать сталь.

— Да-а. Это очень красиво, — вырвалось у меня.

— Красиво? Красиво со стороны, а по существу это самая тяжелая работа, — поправил меня Николай Александрович. — Вы видите, тут нет ни одного человека такого, которому надо бы лечиться от ожирения. Мартен высасывает из человека все лишнее и даже больше. Мы же с вами на мартене. Вы понимаете? Здесь варится сталь. Завод за последнее время освоил сто шестьдесят восемь марок высококачественной стали.

Мы прошли несколько метров и увидели, как тот же кран легко, будто рюмку, поднес огромнейшую бадью — вместимостью в шестьдесят тонн стали. И вот в эту бадью хлынул металл. Он вырвался как из-под земли и начал фыркать, разбрасывая во все стороны огненные брызги.

— Вы спрашивали меня, помните, на «Нетронутном Урале», воюют ли минералы. Так вот, смотрите на эту бушующую сталь, Татьяна Яковлевна, и знайте, она не была бы такой, если бы к ней не добавляли некоторые минералы.

Я почти не слушала Николая Александровича. Я смотрела на огненную лаву и думала совсем о другом и, повернувшись к нему, проговорила:

— До чего умен человек, если он овладел таким огненным потоком. Но до чего он еще и глуп, если он этот огненный поток обрушивает на голову человека же.

Николай Александрович быстро, видимо он это сам давным-давно продумал, ответил:

— Да-да. Вы правы! Мы с вами, конечно, этот металл пустили бы на пользу людей и в будущем ни одного грамма не сбросим на голову человека. Но сейчас это не от нас зависит. Сейчас даже думать об этом вредно. Сейчас нам надо как можно больше и как можно скорее сбросить этот металл на голову тех зверей, которые кинулись на нашу родину.

А я опять свое. Ты же знаешь, Коля, я в разговоре всегда перепрыгиваю с одного на другое. И тут:

— А скажите, пожалуйста, что держит рабочих здесь? Ведь это очень тяжелая работа.

— Легкой работы вообще нет. А этих держит любовь к сталеварению.

— А можно ли с ними поговорить?

— Сейчас? Во время работы? Нет. Печи не отпускают людей от себя. Проморгал — и козел. Вы вот с кем поговорите, с Козленковым. Это старый мастер. Перед войной вышел было на пенсию, но во время войны сам вернулся на завод. Физически работать не может, так наблюдает, учит, передает опыт.

— Но ведь война-то кончилась.

— Втянулся. Иван Григорьевич, — окликнул он проходившего мимо нас сухонького старичка. — Остановитесь-ка на минутку.

— Скажите, — обратилась я к старичку. — Вы любите свою работу?

Козленков хриповатым голосом ответил:

— А ежели бы не любил, то сорок семь лет не проработал бы на мартене. Вообще, кто не любит мартен — беги отсюда. А мы любим огненное море. Нам нужно, чтобы металл лился. Ну, я потом как-нибудь с вами поговорю, — и скрылся так же быстро, как появился.

Вскоре мы попали на электропечи. Они стояли в ряд. Температура в печах до трех тысяч градусов. Как такую температуру могут выдержать стенки печей? И снова на помощь мне пришел Николай Александрович. Он объяснил, что стены внутри охраняются от пламени платиной. Ба! А я думала, платина нужна только на коронки для зубов.

— Но почему вот в этих двух печах не бушует пламя? — показала я на две печи, которые накренились, как бы здороваясь с нами.

— Не хватает электроэнергии. Урал, видимо, не ждал, что от него потребуется столько электроэнергии. Вернее, он не ждал, что его так потряхнут в этом году. На электроэнергию, на нефть, на уголь сейчас такой спрос, как на хлеб в голодный год.

— Что же предпринимает Урал?

— Строятся десятки мелких электростанций. Но главное, под Челябиной строится очень мощная электростанция. Она войдет... — Николай Александрович не

договорил и кинулся в сторону, увлекая меня туда, где из электропечи хлынула расплавленная сталь. — Вот. Вот, — заговорил он оживленно. — Высококачественная сталь. Сталь — броня. И тут-то особенно минералы принимают участие. А вы говорите, они не воюют. Но вы еще не видели блюминга? Здесь самый мощный блюминг.

Да-а. Это что-то с высшим образованием. Та самая раскаленная чушка в полторы-две тонны, попав сюда, превращается в игрушку. Какие-то рычаги толкают ее по катушкам, и вот она попадает в обжимы. Через минуту-две чушка уже обжата, превращена в длинный брус... и брус этот, как мыло, на части разрезают ножи...

Но что бы мы ни смотрели, внимание наше снова обращалось к мартенщикам — к этим людям бушующего огня. Просмотрев работу самого последнего цеха — цеха серебрянки, где сталь, вытянутая в тонкие прутья, шлифуется до вида серебра, мы еще раз заглянули на мартен. Люди тут работали так же ловко, без остановок, и Николай Александрович проговорил:

— Такие люди и на фронте не сдадут: закалились здесь.

* * *

Нет, тут просто весело. Даже директор завода Иван Иванович Бочаров и тот все время смеется или улыбается, напоминая собой отца, который очень доволен своими ребятами. Про самые тяжелые времена и то он говорит с усмешкой, отмахиваясь:

— Ну, приехали мы сюда. В спешке, конечно. То не захватили, другое не захватили и стояли вот так же, как эта «эмка», — показал он нам на легковую машину, которая стояла у подъезда без мотора, без фар и без колес. — Ну, право же, вот такими явились из Москвы. А тут еще людей нет. Приехало нас человек триста, а надо тысячи две-три. Где взять людей? Да ведь людей-то каких. Мы ведь не сапожные колодки делаем. Колодки что? Раз-раз и готово. И то трудно. Ну, честное слово трудно, — и опять засмеялся. — Ну, что делать? Пошли к школьникам. Летчиков, мол, вы

любите? Любим, кричат. Та-ак. А танкистов любите? Любим, кричат. Ну вот, тогда айдайте к нам, учиться будем. И повалили. Ну, честное слово, повалили.

Но мне и без честного слова Бочарова уже было ясно, что в цехах главным образом работают подростки. Примостившись у станков на ящиках, на табуретках, они копошатся над мельчайшими деталями и тоже все смеются, особенно при виде своего директора. А он, проходя рядами, почти каждого гладит по голове, произнося:

— Ну, сынок, как дела? Шуруешь? Давай, давай. Родина и тебя не забудет.

Или вот он подошел к девушке. Она маленькая, золотоголовая, лицо все обсыпано веснушками — веснушки на носу, на щеках и даже на подбородке. Это ей очень идет. Но она-то, видимо, от этого страдает, потому что, как только мы подошли к ней, она ладошкой прикрыла лицо.

— Ах, дочка! Дочка! Молодчина ты у меня. Ну, как программу выполняешь?

Девушка вспыхнула, опустила глаза и еле слышно:

— Выполняю, Иван Иванович.

— А ты громче. Громче об этом говори. О славе ведь говоришь, о хсрошем деле. Ну и громче. На весь цех ори — программу, мол, выполнила.

— Вот когда перевыполнять буду, тогда и крикну, — еще тише говорит девушка.

Она этим даже как-то озадачила Бочарова. Он чуточку постоял около нее молча, затем подхватил:

— Ну, этак. Ой, молодчина, — и к нам: — Да они у нас тут все такие. Есть всей семьей работают. Например, Чесалкины. Мать, дочери, сыновья. Весь курень. А хотите я вам покажу наши знаменитые автоматы. О-о-о. Это чудо-машины. Это академики-ювелиры.

И вот мы в другом цехе. Тут в ряд стоят станки. Их очень много, но они какие-то игрушечные, смешные.

— Вот на этот. На этот подивитесь, — говорит Бочаров и подводит нас к одному из автоматов. — Смотрите, какой он сердитый.

И в самом деле станок работает как-то сердито, напоминая собою шенка, которому впервые попала в

зубы кость и он грызет ее, ворчит, боясь, как бы у него эту кость не отняли. Вот на нем повернулся маленький рычажок. Упал на кончик проволоки, той самой проволоки-серебрянки, которую мы видели на металлургическом заводе. Упал и вдруг резко рванул. Рванул, чуть поднялся, на какую-то секунду задержался, как бы хвастаясь перед нами тем, что он оторвал, затем перекинулся на другую сторону и что-то выкинул. И опять перекинулся к проволоке, опять рванул, опять задержался и опять что-то выкинул. Так без конца и без устали.

— Здорово! Что он вырабатывает? — воскликнув, спросила я.

— Деталь для камней, — с гордостью произносит паренек. — Это класс, а не станок.

— А ну, покажи нам эту деталь, — просит Бочаров и громко хохочет, видимо намереваясь нас чем-то ошарашить.

Паренек долго роется в стружке, пропитанной маслом, и наконец что-то достает оттуда. Достал. Несет нам на кончике пальца. Показывает.

— Вот. Вот, — говорит он весьма серьезно. — Деталь, — но и сам не видит этой детали, потому что на пальце у него какая-то черненькая крошка.

— Ну, эту деталишу надо рассматривать под лупой. — И Бочаров дает мне лупу.

Я смотрю через лупу и только тут вижу, что действительно это какой-то ободок, и тут же вспоминаем ту «деталь», какую мы видели на металлургическом заводе — огромную, тонны в две весом, раскаленную чушку. Так вот эта деталь из той чушки.

— А для чего такой ободок? — интересуюсь я.

— Для камней.

— Камней? Да какие же могут войти камни сюда, в этого младенца?

— Камни? Мы же вырабатываем часы — часы для танков, для самолетов, для кораблей. В часах есть камни. Камни агатовые, карундовые, а то и бриллиантовые. Так вот эти камушки и вставляются в эти ободки. Вот, посмотрите, какие часы.

Бочаров ввел нас в помещение, открыл шкаф — оттуда пахло морозом, и там мы увидели заиндевевшие, поседевшие часы для самолетов, для танков.

— Морозом испытываем. А тут вот жарой. — Бочаров открыл второй шкаф, и оттуда пахло жаром. — А это вот, — он осторожно взял в руки огромные круглые часы, — это морской хронометр. Даже в старинные времена такой хронометр стоил двадцать тысяч рублей золотом. Часы эти только на испытании находятся шестьдесят пять дней. Вот какие штуки мы тут делаем.

— А выполняете ли программу?

— Мы-то? С таким-то народом? Да что вы? Да если с таким народом не выполнять программы, нас просто надо с завода гнать.

* * *

Все время, пока мы были на часовом заводе, Николай Александрович почему-то молчал. Молчал он и в то время, когда мы на машине пересекли город, выбрались на снежную равнину и вскоре очутились в сосновом лесу. Освещенный фарами, лес казался богатырским и каким-то причудливым. В одном месте дорога перескочила дикая коза.

— Коза! Николай Александрович! — вскрикнула я.

— Да. Коза. — И он снова смолк.

Наконец машина остановилась у новых ворот. И Николай Александрович, выбираясь из машины, заволновался.

— Тут туляки. Ну, из Тулы, — чуть-чуть с дрожью в голосе проговорил он.

— Туляки? Что ж, тульские охотничьи ружья выпускают?

— Ну, где? До этого ли им было? Пулемет, пушку для самолета и еще кое-что посложнее.

— А что вы так волнуетесь?

— Я-то? Ну, что вы? Пойдемте-ка. Я только хочу предупредить вас. Вот вы удивились, козу увидели. А ведь тут три-четыре года тому назад козы просто разгуливали, как дома. Я даже помню, здесь уже кое-

что было построено, а дикие козы на водопой прямо через площадку. А теперь завод. Слышите?

Где-то совсем недалеко от нас раздалась пулеметная очередь. Затем вторая, третья. Смолкла и снова. А в другой стороне, тоже где-то недалеко от нас, загрохотали пушки.

— Что это такое?

— Испытание. Так вот и день и ночь, и день и ночь, несмотря на то, что война уже кончилась, — ответил Николай Александрович, вводя меня в обширное помещение, залитое светом электричества.

По всему было видно, что помещение построено совсем недавно: потолки еще светятся золотистыми переплетами из сосен. Это сборочный цех. Судя по шуму на воле, мне казалось и тут должен быть грохот. Но здесь тихо. Только слышно, как за барьером в соседнем цехе урчат, шипят, царапают станки, оттачивая нужные детали. А здесь люди работают без грохота, без шума, но методически упорно.

— Как тут просто все, — замечаю я.

— Просто? — Николай Александрович покачал головой. — О-о-о! нет. Тут все очень сложно. Ну, например, пулемет. Он имеет шестьсот выстрелов в минуту, — это значит, шестьсот раз в минуту все детали приходят в движение. Да еще в какое движение. Вы понимаете, какие должны быть детали? Ведь это то же самое, что часы, но гораздо серьезней. И вот какая-нибудь деталь на испытании заела... тогда шарь по всему заводу — кто и где наплоховал.

— А были такие случаи?

— Еще бы. Иногда у всех инженеров головы вспухнут. Ну, это и понятно: рабочие-то еще неопытные.

— Кто? Туляки-то?

Николай Александрович тепло улыбнулся:

— Туляки? На десяток туляков сотня здешних, то есть уральцев.

— И работают?

— Честно работают. Вы вон поговорите с тем рабочим. Фамилия ему Лезаров.

— А чем он отличается от других?

— Да, ничем. Но с ним в первый год войны случилось такое: надо было отработать одну деталь. Та-кую деталь, без которой мог бы остановиться весь завод. Сменщик его заболел. Поставить было некого, потому что никто не знал, кроме них двоих, этой детали. И Лезаров не ушел от станка. Он стоял день, потом второй. Начали пухнуть ноги. Тогда он разулся и стал на пол босыми ногами... а на четвертый день, когда деталь была уже готова, к парторгу завода прибежал корреспондент газеты и закричал:

— Безобразие, товарищ парторг! В цехе спит. Даже разулся и спит.

— Да кто же это? — спросил парторг.

— Я его разбудил. И он мне сказал свою фамилию — Лезаров.

— А-а-а. Ну он, голубчик, три ночи не спал. А ты накричал на него?

— Ды-ы, да... Так, постыдил.

— Ну, — говорит парторг, — пойди и извинись перед ним. Да громко извинись.

Я подошла к станку, за которым работал Лезаров. Он высокий, широкий в плечах, но с лица худ, глаза ввалились, губы потрескались.

— Устаете? — спросила я и тут же поняла, что вопрос мой наивен.

— А то как же? — просто ответил Лезаров. — Как не устать? А раньше еще больше уставали: война была. Наши братья поди-ка на фронте не так уставали, — он глубоко вздохнул и еще сказал: — В этом и есть святая обязанность наша — работай не покладая рук. Будете в столице, так и передайте, — работают, мол, на далеком-то Урале. Народ работает. И крепко работает. Вот что. Вместе с туляками работаем, с москвичами, с ленинградцами, с харьковчанами, с киевлянами. У-у-у. К нам сюда хорошего люда много наехало. И Урал мы за эти годы так встряхнули, что он аж закричал.

— Ну, что. Ну, что? — снова заглядывая мне в глаза и волнуясь, как малыш, спросил меня Николай Александрович, когда я отошла от Лезарова. —

Вот они какие у нас уральцы. Работают все. Хотя и горе от войны почти в каждой семье.

Это, конечно, он сделал намек мне, дескать, страдаешь, а не работаешь. А они вот и страдают и работают.

* * *

Коля, родной мой!

Я пробыла в Златоусте несколько дней и каждый вечер звонила Лукину, все ожидая, что он скажет мне: «Татьяна Яковлевна, Николай Степанович приехал».

С мыслью, что ты встретишь меня на пороге дома, я ехала и обратно...

А тебя все нет и нет.

Тоскливо мне.

Ужасно.

Я стараюсь вытеснить из себя крутую тоску. Трудом. Своей работой. Во время пребывания в Златоусте я смотрела не только производства: как делаются шашки, клинки, как выплавляется высококачественная сталь, — я в этом все равно ничего не понимаю и вижу только краски, только буйную силу. Но я все время всматривалась в лица рабочих. Какие это сильные лица! Здесь, на Урале, не только в природе особые краски, но и лица особые...

И я делаю зарисовки...

Я обязательно нарисую картину из жизни Урала. Обязательно... иначе умру, не дождавшись тебя.

Ох!

Мне еще надо побывать на вашем заводе, который ты строил, на котором ты работал. Надо обязательно посмотреть Чиркуль. Но боюсь, Коля: всюду будут сочувствовать мне. Ведь все считают, что ты погиб. А я не верю этому. Не верю — и все. Но мне будут сочувствовать, и сердце мое засочится кровью: не выдержит.

Родной мой, приезжай скорее.

Я сейчас попробую и что-нибудь нарисую.

Знаешь, Коля, когда наш поезд уходил, карабкаясь по хребтам во тьму Уральских гор, то позади

нас горел огнями Златоуст. Зарево огней появлялось то справа, то слева, то вдруг забегаало вперед. Мы понимали, что это петляет наш поезд, а было похоже на то, что забегает вперед город, с которым нам не хотелось расставаться.

— Да! Да! Про этот город будут сложены песни и поэмы. Народ сложит их про весь героический Урал в дни Великой Отечественной войны! — сказал Лалыкин.

Возвышенно, но и сердечно.

Я еще хочу, Коля, посмотреть углекопов.

* * *

Пыльный буран сбивал, валил с ног. Он хлестал в лицо, слепил глаза, глушил, и мы не знали, куда деваться от такого разъяренного зверя. Сквозь бушующую стену мы видели, как в стороне от нас мельтешили огоньки. И, решив, что там наше спасение, мы пробивались к этим огонькам. А буран бушевал, потешался, обрушивая на нас целые тучи песку, и странно, вместе с ревом бурана доносилась песня.

— «Во степи-и глухой... — пел кто-то неустойчивым баритоном и тут же срывался на высокий дискант, — за-а-мерзал ямщи-и-ик...»

«И кому это не тошно в такую погоду петь?» — с досадой подумала я, шагая на огоньки, прикрывая лицо от злых песчаных ударов. И вдруг столкнулась с кем-то.

— Ну вот, еще кого-то несет! — вырвалось у меня.

Передо мной стоял человек. Лица его не было видно. Я только заметила, что полы его пиджака запахнуты, а кепи сползло почти на затылок.

«Пьяный», — решила я и хотела было обойти его, но он, громко смеясь, прокричал:

— Тетенька! Гляди, утонешь в буране! Куда прешься? Айда к нам! Во-он огонек-то, — и пошел, не запахивая полы, снова затягивая неустойчивым баритоном: — «Во степи-и глухой...»

Я оглянулась и, поняв, что за это время потеряла своих попутчиков и мне, пожалуй, одной не про-

браться на огоньки, тронулась за своим случайным проводником.

Он шел, не переставая петь, борясь с ударами бурана, разводя широко руки, как бы пробиваясь в густых зарослях камыша. Вскоре он плечом толкнул дверь, и мы ввалились в хату. И только тут, отряхнувшись от пыли, я глянула на неугомонного певуна. Лицо у него пылало, как раскаленная плита. Он еще совсем молод — ему, может быть, лет шестнадцать. Глаза чуть-чуть раскосые, удивительно голубые.

«Татарин», — подумала я, глядя на его раскосые глаза и на широкие скулы. «Нет, русский, — тут же перерешила я, — глаза голубые, губы тонкие, волосы золотистые. Видимо, кто-то из его предков породнился с татарами».

— Кто ты будешь, паря? — запросто спросила я.

— Человек, — ответил он, все так же открыто улыбаясь. — Родился, конечно, как и все, что достоверно знаю.

— Ну это ты, Санька, врешь, — раздался с полатей хриповатый голос. — И откуда тебе знать, как ты родился?

Следом за этим с полатей сполз старик. Голова у него совсем лысая, только на макушке клочок волос. Потрогав клочок, он живо проговорил:

— Самовар, значит? — и скрылся за перегородкой, волоча правую ногу.

Саня кивнул на него:

— Ух! Строг дед-то у нас, — и пригласил меня за стол.

Я осмотрелась. Хата обширная, сложена из огромных постаревших сосновых бревен. И все в хате сделано на веки веков: крепкие, из широких досок полати, тяжелые, толстоногие табуретки, на стенах массивные рамы, заполненные фотокарточками, переплеты окон тоже необычайные. Но главное — стол. У него такие толстенные ножки, что, кажется, за таким столом могут сидеть только слоны. И тут же мои глаза задержались на углах стола: они неровно отпилены и закруглены.

— На углы глядишь? — Саня снова кивнул на старика: — Его рук дело. Бывало, как выпьет, да как грохнет кулаком по углу, так прочь и отвалит. Наутро новую крышку делай. Отцу надоело, он взял да и отпилил углы-то. — Саня засмеялся, добавляя: — Этакий он у нас — дед. Не зря в поселке его Бурано прозвали.

— Бураном? — проговорила я, одновременно ошупывая углы стола. — А с чего же это он отваливал так?

— Заспорит с отцом или с кем, да и тяп кулаком по углу!

— Кулачина же у него!

— У нас у всех не кулаки, а кувалды. Один раз отец мой... — Саня не договорил, потому что дверь снова отворилась и на пороге появилась девушка в брезентовом плаще, вся засыпанная пылью.

— Ух! Ух! — звонко вскрикнула она. — Весь буран на меня свалился!

Дед выбрался из-за перегородки, все так же волоча правую ногу, затем сияющими глазами глянул на девушку и, сметая с нее пыль, обогревая своим дыханием ее руки, сказал:

— Ах ты, Машенька, Машенька! Крошечка ты наша! Рученьки-то, рученьки-то как зазябли!

Машенька была очень похожа на Саню, только черты лица тоньше, румянец на щеках мягче, карие глаза светлее и с блеском. Сбросив с себя плащ, она оказалась в сереньком платье и совсем стала походить на девушку.

— Вот. А меня никогда не пожалеет, — с детской обидой произнес Саня, обметая Машеньку.

Дед через плечо сердито кинул ему:

— Ты мужик, Санька. Тебя еще надо в семи водах на морозе купать, чтобы толк из тебя получился. А она девушка — цветочек степной.

— Этот цветочек степной, деда, сегодня на экскаваторе двести четырнадцать процентов зашиб. У-ух, деда-а! — воскликнула Машенька и закружила его, но тут же, увидев меня, застеснялась и шепотом спросила Саню: — Это кто у нас?

— На дороге, в буряне, подхватил я ее, — также шепотом ответил Саня, скрываясь вместе с Машенькой за перегородкой.

Дверь снова отворилась, и на пороге появились двое. Впереди женщина, за ней мужчина. Женщина небольшого роста, круглолицая, с живыми, смеющимися глазами. Страхнув с себя пыль, она, полусмеясь, спросила:

— Дедушка! Ну, как домовничал?

— Ладно домовничал, Наташа. Ладно, — ответил дед из-за перегородки, продувая сапогом самовар.

— Ну и хорошо. — Женщина какую-то секунду смотрела на меня, затем, так же улыбаясь, проговорила: — Гостя у нас? Ну и рады мы!

А мужчина был ростом почти под потолок. Отряхнувшись, повесил свой плащ в ряд с другими, затем пятерней расчесал на голове волосы и шагнул ко мне. Я посмотрела ему прямо в лицо.

— Где-то я видела вас? — проговорила я и поднялась ему навстречу.

— Все возможно. Все возможно. Урал большой, и людей в нем уйма. Все возможно, — говорил он обветренным баритоном и, пожав своей огромной рукой мою руку, добавил: — Однако повторим: я есть Александр Александрович Лалыкин, как и мой отец, с которым вы, по всей видимости, уже познакомились, тоже Александр Александрович Лалыкин... И дед наш звался Александром Александровичем. Такой род.

«Ох ты! — воскликнула я про себя и тут же вспомнила Николая Александровича Лалыкина, с которым мы столкнулись в «Нетронутом Урале», около минеральных копей. — Очень он на того похож, только постарше, да под глазами следы какой-то черной пыли».

Я спросила:

— А нет ли у вас родственника? Николая?

Александр Александрович с опаской глянул за перегородку, затем громко произнес:

— Ох и бурлит же на улице! — И тише: — Николай — брат мой. Только вы старику про него ни гу-гу. Вроде как бы и не знаете. — И тут же рассказал о

том, как несколько лет назад старик рассорился с сыном Николаем.

— Старик у нас, как идолу, поклоняется углю. Шахтер. А Николай выучился на инженера-термиста и махнул прочь от угля. Старик рассвирепел, закричал: «Ты будь хоть профессор, но от угля ни на шаг: уголь твой кормилец!»

Забывшись, Александр Александрович так выкрикнул последнюю фразу, что старик высунулся из-за перегородки и, улыбаясь, сказал:

— Истина. Уголек — кормилец наш. И не только наш, но и всей страны. Вишь, как ноне все заговорили про уголек! Весь Урал заговорил. А я что вам долдонил? Уголек есть владыка всей жизни. — Старик сел за стол и весь засветился. — Лампочку эту уголек кормит? Кормит. Паровозы кормит? Кормит. Заводы на нем двигаются? Двигаются. Да куда ни поглядишь — уголек всему козырь. — И тут же за перегородку: — Наташа! Машенька! Саня! Идите к столу!

Мать вышла и по-старинному низко поклонилась:

— Ну вот, еще раз здравствуйте!

Саня подал на стол бурлящий самовар. Машенька — посуду, поджаренную картошку в огромнейшей сковороде, хлеб.

— Вот! — старик вскинул над столом руки. — Вот наша семья! Все шахтеры. Прадед мой Александр — шахтер был. Дед мой Александр — шахтер был. Отец мой Александр — шахтер был. Сын мой, — показал он на сына, — Александр — шахтер есть. А эти — комсомольцы мои? Санька — шахтер будет, сорви-голова. К тому же, в придачу, Машенька-шахтерка. И хозяйка наша, Наташа любезная, — шахтерка... — Старик о чем-то подумал и, взгрустнув, закончил: — Один только непутевый у нас — Николай.

— Деда, — вспыхнув, заговорила Машенька, — да ведь его перекинули, дядю Колю. И почему ты простить его никак не можешь?

— Перекинули? Эх ты, Машенька, цветочек степной! И слова-то у вас какие явились — перекинули, перебросили! Разве можно человека от кровного дела

перекинуть или перебросить? Нет. Сам захотел. Вот и слоняется по Уралу.

Я вступилась за Николая Александровича.

— Инженер он умный, — сказала я. — И вес большой имеет, один из руководителей крупнейшего завода.

— Умный? Не спору: в нашем роду дураков не было. — И старик на меня посмотрел так, будто я и была его «непутевая» дочь, затем вскинул кулак, намереваясь ударить по углу стола, но, увидав, что угол округлен, только и сказал: — Кукушка он в нашем гнезде.

* * *

Пыльная буря стихла, но все еще шевелила хвостом, как сытый кот: кое-где вдруг поднимется пыльца, побежит, побежит по равнинке и под яркими лучами солнца рассыплется.

Наутро мы всей семьей, оставя деда домовничать, отправились на уголь, и по дороге мне стала понятна ревность, бурлившая в сердце старика Лалыкина к «непутевому» сыну. Сын старика Александр Александрович рассказал мне следующую историю.

Лет сорок тому назад дед Лалыкин, по прозвищу Буран, тогда еще молодой уралец, натолкнулся в той самой долине, куда мы шли, — тогда дикой и безлюдной, — на огромнейшие пласты бурого угля. Уголь лежал почти на поверхности. И Буран вместе со своими товарищами около месяца рыл воронку, но так и не мог добраться до подошвы.

«Несусветное количество его тут», — говорил дед и пошел «долдонить» по всем местам о богатстве этой долины.

Но в те годы Урал трясла золотая горячка. Люди кинулись на золотые россыпи, и дед отался один. Его даже товарищи покинули. Так тянулись годы, десятилетия. И только в тысяча девятьсот тридцать шестом году инженеры, в полном согласии с Бураном, разработали гигантский проект. Согласно этому проекту, был произведен небывалый взрыв: в тридцати шести шахточках заложили тысяча восемьсот

пятьдесят тонн аммоналу, и аммонал выбросил около одного миллиона кубометров земли. Облака дыма и пыли поднялись на несколько километров, и образовалась траншея длиною в километр, глубиною в двадцать метров и шириною в восемьдесят пять метров... Так были отделены от земли пласты угля толщиной в сорок — сорок пять метров. Затем подошли экскаваторы и начали, как песок, черпать уголь.

Бурана малость тогда придавило землей.

Выздоровев, он сказал: «Это земля на меня обиделась. Зато страна спасибо скажет».

Но работать он уже не мог; только ходил по карьерам, показывал новые залежи угля, помогал в работе. А когда грянула война и Урал во весь голос закричал о том, что ему нужен уголь, дед уговорил Наташу и Машеньку идти на добычу угля. Сам же взялся домовничать.

— Но он очень любознательный старик, — говорил мне Александр Александрович. — Каждый вечер выпрашивает нас, сколько добыли. И всегда журит. «Мало. Давайте больше. Вы что добываете? Что вы добываете?»

— Однако, в самом деле, что вы добываете? — спросила я Александра Александровича.

— Ну, как вам сказать? Наша, например, экскаваторная бригада годовой план выполнила. Но мы этим не ограничились. За несколько дней сверх плана мы дали на-гора около двадцати тысяч тонн.

— Ну, и что же старик?

— Позавчера сказали ему об этом. Он и вскипел:

«Ага! Значит могли дать и больше плана?» — «Да ведь тяжело». — «Тяжко? А тем, кто на фронте бил, не тяжело?»

Александр Александрович тихо рассмеялся:

— Вы и не поверите, нас и министр так не журит, как дед. Любит он шахтерское дело. Сознательно любит и потому сердце имеет на Николая. Надо понять: всю жизнь дед провел на угле, а тут сын пошел по другой линии...

...Десятки экскаваторов методически поднимают свои железные хоботы и, отфыркиваясь, откашли-

ваясь, выбрасывают из зубчатых пастей бурый, сверкающий уголь. Они кидают уголь на вагонетки, а то и прямо на платформы... И эшелоны ежедневно убегают из этой чудесной долины, разнося уголь по седому Уралу.

Мы на участке, где начальником Александр Александрович Лалыкин. Здесь работает вся его семья.

Вон Машенька, голубоглазая девушка, командует экскаватором. Казалось бы, грузная и поседевшая от пыли машина не послушается тонких пальцев Машеньки. Но машина зафыркала, подняла хобот, закрипела, сбрасывая с себя седой иней, жадно впилась в пласт угля и тут же выкинула его на вагонетку.

— Пошло, Машенька? — крикнул отец.

— Пошло! — звонко ответила она.

Мать с соседнего экскаватора ласково посматривала то на Александра Александровича, то на Машеньку.

— Молодец ты у нас, Машенька! Красавица, — сказала она.

А откуда-то издалека доносилась песня — то пел Саня, расчищая своей машиной с острым ножом впереди путь для экскаваторов.

Уголь шел на-гора: ритмично, без остановки, как горная река.

И все, Коля, понимают, сознают и радуются тому, что они гонят уголь для восстановления страны.

* * *

Только что мне сообщила Надя, наш друг Степан Яковлевич заболел.

Схожу к нему».

4

Окончательно убедившись в том, что Николай Степанович Кораблев действительно погиб, чему до сих пор не верилось, Степан Яковлевич душевно заболел. От душевной боли он почувствовал физическое недо-

могание: заныло в пояснице, пробудился ревматизм ног, то и дело стало перехватывать дыхание.

«Надо бы к Ираклию Ивановичу заглянуть», — мелькнуло у него, но эта мысль куда-то сгинула, а в голове так заломило, будто по ней ударили молотком. Сказав заместителю по цеху: «Голова чего-то шалит. Пойду домой», — он отправился на квартиру и, чтобы своими вздохами не тревожить Настю, намеренно прилег на кушетку в столовой. И всю ночь то кряхтел, то поднимался, подходил к окну, смотрел на залитый электрическим светом завод, тихо произнося:

— Вот тебя и нет, Николай Степанович. Вот и все. — Он отрывался от окна, тихо шмыгал шлепанцами, полагая, что жена спит.

А та не спала, но и не тревожила своего Степана Яковлевича, понимая всю его душевную боль, и только под утро спросила:

— А он как... ваш Кукоркин?

— Не спишь, Настя? Не Кукоркин, а Кокорев.

— Ну Кокорев. У него сердце есть? Чего надумал: память о Николае Степановиче затоптать... Экий деспот выискался! — впервые произнесла она такое слово, удивляя Степана Яковлевича.

— Ишь ты... деспот! А Евстигней Ильич говорит — «Попрыгунчик».

— Попрыгунчик что? Попрыгает и перестанет. А этот — деспот.

— Да-а. Влетел в столовую к Татьяне Яковлевне, такую пакость ляпнул. Стыд... А у меня что-то руки повисли. Места не найду: вроде смерть вошла.

— Ну, вот еще выдумал! — И Настю точно ветром сдуло с кровати: быстро надев халатик, ночные туфли, она выскочила в столовую, приложила губами ко лбу мужа, так же, как матери делают с ребятами, узнавая, есть жар или нет, затем сбегала на кухню, принесла кружку с квасом и, ставя ее на стол, ласково попросила: — Ты попей. Кваску попей. Бражный нынче у меня. Попей. — А когда Степан Яковлевич без передышки выпил квас, она усадила мужа в кресло, укутала ноги одеялом и сказала: — Вздремни маленько, Степан Яковлевич.

Три дня Степан Яковлевич не выходил на работу, превозмогая тоску по Николае Кораблеве. Три дня молчал телефон: Настя заложила его подушками. Но на четвертый день кто-то требовательно постучался. Настя открыла дверь, предупредила:

— Тише. Больной он, Степан Яковлевич, — и, закрыв дверь, подала мужу письмо.

Степан Яковлевич прочитал и ахнул. В письме было сказано:

«За самовольный уход с работы уволить начальника цеха коробки скоростей Степана Яковлевича Петрова. Подлинно подписано: Директор Автомобильного завода Кокорев. Верно — Урывкин».

Степан Яковлевич пошатнулся и еле выговорил — протяжно, раздельно:

— Уво-о-оли-и-и-ть. Как? Меня? На-ка, Настенька, почитай.

Маленькая, незвращная Настя, обычно тихая, как мышь, выпрямилась, стала будто выше ростом, и, стуча кулаком по ладони, закричала:

— Я ему дам уволить... вашему Кукиркину! Я весь город на ноги подниму! Что придумал? Уволить человека за то, что он о друге душой болеет. Деспот!

Степан Яковлевич по-доброму рассмеялся.

— Угомонись! И город на ноги не поднимай: найдутся люди, заступятся.

— Ну, этак. Найдутся, — успокаиваясь, проговорила она и, жалостно посмотрев ему в глаза, добавила: — Только и ты не казни себя, Степан Яковлевич. Дай-ка я бумажку-то сожгу.

— Зачем жечь? Такой документ беречь надо. Кто-то к нам идет, Настенька. Никак Татьяна Яковлевна, — заглянув в окно, произнес Степан Яковлевич.

5

Степан Яковлевич ничего путного так и не сообщил Татьяне. Болезненно, через силу улыбался, старался быть веселым, гостеприимным, как-то суетливо говорил о ломоте в ногах.

— Да ведь всю жизнь в цехе топчемся. Ломют... А ну их к бесу, — отшучивался он, но Татьяна видела — лицо у него покрылось нездоровой синевой, глаза запали, а крупный кадык еще больше выпятился.

— Душевно потревожен, — шепнула ей на прощание Настя, но тоже ничего вразумительного не сказала.

Удрученная состоянием здоровья Степана Яковлевича, Татьяна поднялась на второй этаж домика, в построенную Иваном Ивановичем мастерскую, и тут села, упершись взглядом в зеленеющее подножие Ай-Тулака.

Снизу вверх горы бежали молодые елочки с опущенными до земли ветвями, похожие на токующих глухарей. Чем выше, тем больше елочки сгущались, образуя тугой до черноты зеленый ковер.

Она долго смотрела на елочки, на тугой ковер, затем перевела глаза на полотно, где были обозначены контуры горы, и с отчаянием произнесла:

— Нет! Я сегодня не могу рисовать Ай-Тулак.

И перешла в другой угол, украшенный фотографиями Николая Кораблева. Здесь тоже треножник, ящик с красками, кистями. Присев на стульчик, Татьяна прошептала:

— Я опять затосковала о тебе, родной мой Коля, — и взяла кисть. — Твой друг, Иван Иванович, первый вывел меня на вершину Ай-Тулака. Как там чудесно! Я видела далекие синеющие и молчаливые гряды гор, покрытые лесами. Я видела долины, впадины рек, поляны. Но... если бы... если бы ты был рядом со мной...

И вдруг перед ней все исчезает: далекие гряды гор, долины, голубое, глубокое небо, подножие Ай-Тулака, елочки, окна мастерской, кисти... Она на аэродроме, неподалеку от Кичкаса. Около самолета Николай Кораблев. В одной руке он держит шлем, а другой обнял ее и говорит:

— Ничего, Танюша. Мы строить умеем и бить врага умеем. Ты работай здесь, береги Виктора, маму.

— Да неужели война, Коля? — вскрикнула она, все еще по-настоящему не осознав, что сегодня действительно фашисты вероломно напали на Советскую страну.

— Да. Война. И так не нужна нам, — отвечает он, и Татьяна чувствует, как его рука дрожит.

Она посмотрела на него, долго, проникновенно, словно предчувствуя длительную разлуку... Ветер треплет на его голове кудлатые волосы, обнажая белый высокий лоб...

Это было двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года.

Затем эвакуация.

Они из Кичкаса попали в село Ливни, расположенное за Орлом, и поселились у директора совхоза. Славный человек: он принял их как родных... И новая волна: гитлеровцы прошли стороной, захватили Орел. Ливни оказались в тылу врага. Вскоре сюда заявился каратель Ханс Кох. Он повесил директора совхоза, занял его квартиру и стал жить рядом с Татьяной. Надо бы бежать. Но куда побежишь, когда Виктор болен?.. Потянулись мучительные дни, недели, месяцы. Наконец она связывается с передовыми колхозниками и особенно крепко со стариком Ермолаем Агаповым. Он учит ее быть смелой, решительной... Она убивает Ханса Коха, а колхозники запирают карателей в хате, поджигают и уходят к партизанам. На пути их настигает новый карательный отряд. И тут случилось самое страшное. Ночь, болото, хрупкий весенний лед, холодная, обжигающая вода, разрывы снарядов, визг пуль, душераздирающие крики людей. Татьяна при переходе через болото теряет мать, сына и впадает в тихое забытие. Она приходит в себя только через несколько месяцев в партизанском отряде Петра Хропова...

Узнав о ее выздоровлении, генерал Громадин, начальник партизанского соединения, вызывает ее в глубь Брянских лесов и дает задание — отправиться в Германию, изучать настроение людей и сообщать ему...

Вот и Германия.

И новое задание от Громадина — организовать восстание в лагере, неподалеку от Дрездена. Ей в этом деле помогает Вася, сумевший проникнуть в имперскую канцелярию, и старик Вольф. Вольф связался с военнопленным через «русского богатыря по имени Николай», как говорил он; Татьяна проникла к чехословацким партизанам... и вскоре они успешно стали переправлять военнопленных в Судетские горы. А накануне восстания она вместе с полковником Бломбергом попала внутрь лагеря... и тут, во дворе, среди тысяч глаз увидела одни глаза, большие, карие, внимательно смотрящие на нее, и только на нее. Это были глаза Николая Кораблева. Она замерла на месте, не зная, что делать, что предпринять, мучительно думая только о том: как он сюда попал? И шагнула было к нему, но он, чего-то перепугавшись, пополз от нее, прячась за других...

— Да, да, — шепчет Татьяна и сейчас, — то был он. И какой силой он обладал, если в ту минуту уполз от меня: я бы кинулась к нему — и все бы провалила. Арестовали бы меня, его, и восстание было бы сорвано. Он, конечно, узнал меня и все-таки уполз. Но ведь мы не нашли его трупа... — И она вдруг переключилась в другой мир — радостный, кипучий. Протянув вперед руки, будто перед ней стоял Николай Кораблев, она прошептала: — Коля! Родной мой! Иди ко мне. Иди, я жду тебя.

...Краски на полотно ложатся сами собой и вырываются белый лоб, кудлатые волосы... Но почему же седеют? И почему совсем не те глаза? Там, на аэродроме, они были большие, карие, ласковые и добрые. Здесь тоже карие, но в них нет доброты: окаймленные синевой, они куда-то настойчиво зовут и стремятся разгадать что-то очень страшное... Да ведь это те глаза, которые она видела там, в лагере, когда из тысячи узнала только их — глаза Николая Кораблева. Вон они смотрят на нее и стремятся разгадать: она это или не она? Они горят, зовут, они любят... И вдруг он пополз от нее, прячась за спины своих товарищей... ползет и оглядывается... и глаза уже другие — предупреждающие, даже отчужденные.

— Коля! Коля! — мысленно зовет Татьяна. — Куда ты? Зачем убегаешь от меня? Я так ждала тебя, так много думала о тебе!

И сама отшатывается; ведь рядом с ней стоит начальник лагеря Бломберг, вместе с которым она приехала сюда. Он привез приказ — всех военнопленных расстрелять. Она отшатывается и опять мысленно кричит Николаю Кораблеву:

— Нет! Нет! Я вижу, какая сила в тебе, и понимаю: если мы шагнем друг к другу, погибнем оба, сорвем восстание — и тогда всех пленных расстреляют...

Конечно, все это проносится в уме Татьяны: она работает молча, ничего не видя, кроме глаз Николая Кораблева...

Прошел, может быть, час, может, два...

Внизу раздался стук. Послышался голос Нади и еще чей-то. Эти звуки пробуждают Татьяну, выводят ее из прошлого.

— Как жалко! — промолвила она. — Но пришла Надя, славная девушка, и с ней кто-то. Они могут подняться сюда, а я не хочу, Коля, чтобы на тебя смотрели другие, — и, отложив кисть, сошла вниз и тут в столовой, рядом с Надей, увидела незнакомую женщину.

У женщины интересное лицо — в золотистых крапинках, голову она держит не заносчиво, но гордо, на лоб из-под косынки спадает завиток волос, руки хотя и не крупные, но заглубившиеся.

«Видимо, работница», — подумала Татьяна и хотела было поздороваться, как Надя виновато заговорила:

— Это Варвара... Варвара Коронова. Сноха Евстигнея Ильича. Ну, он был у вас. Просилась: допусти и допусти.

«С нее надо рисовать мать-работницу. Какая красивая!» — мелькнуло у Татьяны, и она, улыбаясь, хотела было сказать: «Что ж, я очень рада видеть вас», — но Варвара шагнула, и Татьяна увидела, как у той хлынули из глаз слезы.

— Да что вы? Что за беда у вас? — тревожно воскликнула она.

— Николай Степанович... ведь он... он ведь жизнь... новую открыл передо мной, — вырвалось у Варва-

ры. — И ждала я его: придет, зайдет в цех, посмотрит — на четырех станках работаю.

Усадив на диване рядом с собой Варвару, Татьяна еле слышно произнесла:

— Что же, давайте вместе поплачем о нем!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Числа двадцатого мая, когда страна отпраздновала уже победу над врагом и народы приступили к мирному труду, в центральной прессе промелькнуло сообщение о том, что Чиркульский автомобильный завод «добился новых производственных успехов: сверх программы выпущено тысяча восемьсот грузовых машин». В центральной прессе это было подано скромно и отмечено как достижение всего коллектива, но в министерской газете появилась статья на два подвала, за подписью Едренкина, под громким названием: «Новатор-директор». В своей статье Едренкин начал с восхваления Урала вообще, о роли Урала в победе над врагом вообще и на фоне данного неоспоримого факта несколькими фразами оскорбил рабочих Чиркульского завода, утверждая: «Все примирились с положением тихого застоя, а временное руководство в лице инженеров Альтмана и Лукина решило почтить на лаврах: программа, дескать, выполняется — и ладно, хотя она была по неясным причинам занижена и поэтому страна недополучила несколько сот грузовых машин... И вот на завод прибыл известный в промышленном мире Ипполит Яковлевич Кокорев...» После такого захода Едренкин рассыпался бисером, расхваливая «новаторство» директора Чиркульского автомобильного завода, утверждая, что «Ипполит Яковлевич Кокорев один из первых по-настоящему смог вникнуть в метод руководства социалистической промышленностью, доказательст-

вом чего — тысяча восемьсот грузовых машин сверх программы».

В министерстве появилось нечто похожее на ликование: застывший завод ожил. И люди при встрече с Едренкиным поздравляли его так, как будто он и являлся главным воротилой на Чиркульском автомобильном заводе.

— Здорово ты подметил... Талантлив, бестия, этот самый Кокорев: танковый при нем гремел... теперь автомобильный. Глаз у тебя — ох!

— Да ведь мимо брильянта только слепой пройдет, — как бы скромничая, отвечал Едренкин, однако глаза у него становились при этом масляные, как у кота, когда ему показывают кусочек мяса.

По-своему обрадовались и обкомовцы: завод, расположенный на территории их области, закисший было, ныне вышел на первое место.

— Московский автомобильный обогнал. Старика перекрыл, — говорили обкомовцы, искренне гордясь Чиркульским автомобильным заводом.

Только Петр Роличев, хотя и был доволен достижением завода, насторожился. «К чему Едренкин так расхваливает Кокорева? Уж и не директор, а вроде бегун или боксер», — подумал он.

На это обратил внимание и министр. Он сказал:

— Товарищ редактор, не строй из Кокорева автомобильного короля.

«Печать его превознесла, и теперь он засел, как в неприступной крепости, — перечитав раз и два заметки в газетах и особенно статью Едренкина, заключил Лукин. — Но у меня душа его не принимает! — мысленно воскликнул он, и тут же сердце у него так заняло, что он склонился на левый бок и с издевкой над собой подумал: — Ох! Аргумент какой — душа не принимает. Вот такое ты и понесешь в обком, в Центральный Комитет — душа не принимает? А там тебе скажут: «Это настроение, а не железная логика. Факты подавай». А факты — тысяча восемьсот машин сверх программы. «Рабочие, говоришь, устали? А кто не устал за время войны? С мнением парткома, коллектива не считается? Факты, товарищ парторг!

Факты! В таких делах, как говорил Ленин, на слово-то верит только безнадежный идиот».

Парторг выскочил из-за стола и, словно перед ним сидели люди, выкрикнул:

— Но ведь он чужой! Чужой человек. — И тут же как бы услышал возражение: «Докажи. Докажи, товарищ парторг». — Чем же я могу доказать? А вот: разве так может советский директор поступить с парторгом, как поступил Кокорев? Или с той же Татьяной Яковлевной? А что мне говорила Варвара? «Радость заглушили». Радость? Что это такое? Радость в труде? Для него, — он мысленно назвал имя Кокорева, — для него радость в чем-то другом... В собственной славе. В чем же радость для Варвары? «Хребтюк надломим». Кто это мне еще сказал? А-а-а, Степан Яковлевич. Хребтюк надломим». Так: они, рабочие, надламывают хребтюк, а Кокорев — новатор, самородок, блестящий организатор. Слава ему! Слава! Ах, ты — Едренкин! И фамилия-то у тебя — Едренкин. Да. Но это все — плохая фамилия, твои эмоции, но не факты. Факты у него. — И Лукин опустил на скрипучий диванчик, чувствуя, понимая, что Кокорев действительно загнал его в тупик.

2

Кокорев же после похвалы в прессе, после министерской поздравительной телеграммы стал походить на весеннего петушка: он теперь чаще притопывал каблучками в аккуратненьких сапожках, чаще улыбался или раскатисто-вольно посмеивался, точно актер, довольный своей игрой, и затаенно мечтал. Да, он о многом мечтал, и мечтал уверенно, порою ярко представляя себе, как въезжает в родное село на Донбассе и видит на площади около школы бюст с надписью: «Дважды Герой Социалистического Труда СССР Ипполит Яковлевич Кокорев». Мечтал он и о другом: «Еще год-два — и я министр». Но... но и чаще запылялся в кабинете.

Раздор с Лукиным вселил в Кокорева тревогу: пе-

ред ним нет-нет да и всплывало то, как на танковом заводе накануне больших заводских успехов кто-то всюду расклеил крупно написанное: «Самодур».

И теперь вот, запершись в кабинете, он думал:

«Что им, однако, от меня надо? Без меня они ведь так и кисли бы, словно огурцы в кадушке. В самом деле, что они? Альтман — трехкопеечное барахло, Лукин — ходячая мораль: всех учит, а дома черт знает что: жена с Урывкиным спуталась. Знаю ведь я. Все знаю. Навредить они мне могут... как раз ныне, когда путь для моей деятельности открыт. Министр уверен: вечно будет министром. Милый мой, чтобы быть настоящим министром, надо иметь голову. Талант надо иметь. Государственный ум... Вот что я сделаю... — Он подошел к несгораемому шкафу, достал проект новой марки машины и, рассматривая, мысленно произнес: — Выпущу эту машину. Ах, замечательная! Куда там американским. Эта машина, ежели на нас снова кинутся войной, даст врагу пить-есть! — И только сейчас он впервые заметил, что секретные бумаги, которые он укладывал всегда в определенном порядке, были как-то перепутаны. — Кто же это их трогал? — встревоженно мелькнуло у него. — Кроме Урывкина, здесь никто не бывает. Да и у него ключей нет. А там-то как? — Он открыл в сейфе потайной «кармашек», где лежал план детали, вырабатываемой в одном из цехов автомобильного завода. План находился на своем месте, аккуратно вложенный в конверт, запечатанный и залитый сургучной печатью. — Ну, наверно, я сам перепутал все... сгоряча... «Горяч не в меру ты, Ипполит», — так бывало говорил мне мой отец. Горяч. То ли горяч я, то ли слишком умен... В самом деле, какого черта им — Лукину и Альтману — нужно от меня? Ведь я мог бы их в первые же дни вытряхнуть с завода. Сказал бы министру: «Вы этих молодчиков уберите от меня: кроме склоки, от них нечего ждать». И убрал бы. Сделал людям добро, а они тебе в морду плюют. Вот теперь эта прикатила — жена Кораблева. Грубо я с ней обошелся, да ничего. — Он засмеялся, но смех получился хриплый, невеселый и не тот победоносный, какой частенько

вырывался из его гортани. — Герой Советского Союза... жена бывшего директора. Они, конечно, теперь начнут около нее группироваться, как около знамени. Не пора ли тебе, Ипполит, притиснуть знамя сие. Ведь ты сделал неосмотрительный промах там, на танковом: в зародыше не притиснул тех, кто потом восстал против тебя. Гляди и теперь!» И он, уставившись в окно, постукивая пальцем о подоконник, долго смотрел в сторону Ай-Тулака.

В эту минуту и вошел Урывкин, посмеиваясь еще на пороге.

— Что? — прикрывая планы машины новой марки, спросил Кокорев. — Смеешься чему?

— В столовой... кошек развелось — ужас! Гоняют, гоняют их, а они, задрав хвосты, скачут всюду: по коридорам, по крышам, по столам... Петр Завитухин — так, трепло... — кричит повару: «Топи котят, покуда слепенькие. А уж коль они хвосты задирают да по крышам скачут — тут их и сам бес не словит». Ловко, Ипполит Яковлевич?

Казалось, Урывкин подслушал мысли Кокорева: так удачно вклеил ему относительно слепеньких котят, что тот раскрыл рот и впервые внимательно посмотрел на своего секретаря.

— Как? Как котят-то?

— Топи, слышь, покуда слепенькие, — подчеркнул Урывкин, и вдруг глаза его, до этого всегда хитровато-глуповатые, брызнули ненавистью. — Слепенькими, Ипполит Яковлевич... Вот, промежду прочим, новость какую я вам принес. — И покинул кабинет.

— Слепенькими... котят? Мудрые слова. Народ котят топят, покуда слепенькие, а потом — черт ее потопит, кошку. — Кокорев несколько минут стоял посередине кабинета на цветистом ковре и все вытягивался, вытягивался, как вытягивается кобра. — Топи... котят, — еще раз, словно верующий слова молитвы, произнес он... И дальше все пошло так, как и должно в этом случае. «Они меня топят клеветой. «Самодур»? Что это? Самая отъявленная клевета, — весьма логично текло у него. — Я спасал страну, давая фронту лучшие танки, — а они меня за это как?

«Самодур». Почему? Зависть. Зависть гложет. Ума, сноровки, таланта нет, а зависти много — изобилие, ну и пустили в ход... Что? Клевету. Дешевое и доступное средство. И эти... Лукин со своей бражкой. А что, если их этим же мечом стегануть? Начать со знамени... с жены Кораблева», — так решил Кокорев, вовсе не думая о том, что как раз в эту минуту он перешел черту и началось его полное падение...

— Браво! Брависсимо! — тихонько взвизгивал в то же время в пустой приемной Урывкин, представляя, что делается с директором.

Из кабинета послышался обычный окрик:

— Эй!

Урывкин сжался, стал снова вялым, каким-то развинченным и вошел к директору. Здесь, увидев Кокорева опечаленным, испуганно спросил:

— Что с вами, Ипполит Яковлевич?.. Может, доктора?

— Иную болезнь даже самый знаменитый доктор не вылечит. — Кокорев прошелся, затем в раздумье заговорил: — Вот мы ошиблись в оценке Николая Кораблева: оказался славный мужик. А его жена?

Урывкин хотя и привык понимать своего начальника с полуслова, тут вытаращил маленькие глазки.

— Что ж вас тревожит?

— Сердце кровью обливается: со дня смерти мужа не прошло и месяца, а она? То со старичками, а недавно в Златоуст отправилась... С кем? С Лалыкиным. Зачем это ей?

— С Лалыкиным-то? — переспросил Урывкин, уже все понимая, мысленно произнося: «Ох, ты! Заклевал дальше». И вслух: — С Лалыкиным-то? Вольготней: на поляну выбрались... и трын-трава. На то и отпуск взял. Вот ежели рабочие узнают. Они ей!

— Не смей! Не марать! — закричал Кокорев и притопнул ножкой в аккуратненьком сапожке. — Если позволишь себе, немедленно вышвырну за ворота. Ступай! — А прокричав это, подумал: «Дурак. Даже не понимает, какую блестящую мысль подал мне: топи котят, покуда слепенькие».

Урывкин вышел в приемную, сел за стол и, может

быть впервые в жизни, задумался. Верно, он любил разносить клевету, как любит мелкий торговец по утрам разносить по квартирам редис и морковку. Но сейчас задумался: у Кокорева уши налились кровью, значит он всерьез крикнул: «Не марать!»

— Люпофь... — Урывкин иногда с каким-то особым остервенением коверкал русский язык и тут вместо «любовь» сказал: — Люпофь к жене Кораблева. Когда же произошел такой перекувыр? Отвернет он мне лысую башку или не отвернет? Сделаю — отвернет, не сделаю — отвернет.

Но вскоре он склонился к тому, что надо действовать, и, разыскав в среде тридцатитысячного коллектива пятнадцать разносчиков клеветы, пустил их «в дело».

Рабочие, слыша пакостное о Татьяне, вначале не верили. Но клевета — штука липкая, как вар.

— А шут ее знает, какая она, женушка? — появилось сомнение у иных.

— Видали мы ее на аэродроме... молодая, кругленькая, видно кипят жиры.

Не все поверили слухам, но, однако, и у честных людей появился горьковатый осадок в душе: они охраняли память о Николае Кораблеве... а тут — нате-ко вам.

Урывкин поздно ночью донес Кокореву:

— Пошло.

— Я ведь приказал не трогать, — строго произнес Кокорев, но уши у него не налились кровью.

Урывкин ухмыльнулся, довольный собой и директором, а последний уже обычным тоном приказал, чтобы секретарь пригласил главного инженера.

Когда Альтман вошел, Кокорев, усмехаясь, спросил:

— Вы что же, главинж, не осведомили, что у подножия Ай-Тулака есть особый коттедж?

— А вы меня и не спрашивали.

— А разве я обязан спрашивать?

— Существует комендант.

— На других сваливаете. Хорошо. А кто платил за коттедж эти годы?

— Никто! — ответил Альтман.

— Как никто? Вы же тут были вроде врида и должны знать, что бесплатно никому и ничего не предоставляется. Идите! — А когда Альтман, удивленный и пораженный, вышел, Кокорев вызвал секретаря, затем, изобразив печаль на лице, произнес: — Ай-яй-яй! Новое выяснилось: только что признался Альтман. После отъезда Кораблева на фронт коттедж превратили в место попойки. Да, да. Не удивляйся. Собирались тайно, прикрывали окна, тушили электричество и устраивали оргии. Альтман, Лукин... ну и старый дурак Иван Иванович. Девочки. Та же Надя. Вертеп организовали. Черт знает что! Но ты, вижу, разболтать хочешь. Не смей!

И такая клевета была пущена в ход, чему как будто и не верили, однако кое-кто стал косовато поглядывать на Ивана Ивановича, Лукина и Альтмана.

Когда все это, как зараза, было разнесено по цехам, по строительству, по квартирам, Кокорев потребовал созыва общего открытого партийного собрания.

Лукин по телефону спросил:

— Зачем вам общее, да еще открытое?

— Будет мое сообщение.

— Я должен знать, какое.

— Ну, относительно постройки Дворца культуры.

— А без «ну»?

— Да. Относительно постройки Дворца культуры.

Лукин подумал: «Надо заставить его высказаться. Послушаем, какую пилюлю преподнесет», — и ответил:

— Обсудим на парткоме. Уверен, согласятся. Готовьтесь.

3

Огромный зал был переполнен. Люди толпились на балконах, заняли места в партере, в проходах, около сцены. В первом ряду сидел Кокорев. Он быстро просматривал бумаги, проделывая все так, как будто находился у себя в кабинете. Около директора ерзал на стуле Урывкин. Этот маленькими глаз-

ками посматривал во все стороны и от безделья тербил клочок волос на затылке.

Занавес раздвинулся, и люди увидели на сцене Лукина.

Сначала приступили к выборам президиума, и все крикнули: «Партком! Партком!» Потом утвердили повестку дня: доклад о строительстве Дворца культуры... Кокорев словно всего этого не слышал: продолжал просматривать бумаги, что-то надписывая, и, только когда председательствующий Лукин сказал: «Слово имеет товарищ Кокорев», — он вскочил и стремительно взбежал на сцену.

Раздались редкие хлопки.

«Недавно меня встречали бурей аплодисментов», — мелькнуло у докладчика. И еще мелькнуло: «Все это подделал Лукин. Ну, я ему сейчас покажу!» Он передохнул, окинул тяжелым взглядом людей и, волнуясь, начал:

— Товарищи! — Его звонкий голос облетел зал, куда-то канул, и снова: — Товарищи! В Великой Отечественной войне наш героический многонациональный Советский Союз во главе с великим русским народом показал такую сплоченность, такую мощь, такую силу, какой еще не было в истории человечества. — В этом месте раздались аплодисменты гуще, и у Кокорева на лице появилась та самая улыбка, которая так же легко снимается с лица, как снимаются очки с переносицы. Он долго говорил о фронте, о боях, о победе над фашистами и под конец закруглил: — Такому народу нужны Дворцы культуры. И я буду настаивать перед министром об отпуске средств на постройку Дворца культуры. Уверяю вас — добьюсь! — Аплодисменты обрушились как гром. «Ага, — мелькнуло у директора, и подкупающая улыбка еще ярче заиграла на его лице, — вот вас чем пронять!» Казалось, на этом и надо бы закончить, однако Кокорев был тертый оратор: знал, что около хорошо установленного яствами стола можно гостей заставить с полчасика потомиться. — Но, товарищи, — с гневом в голосе заговорил он, — в нашем героическом коллективе есть какие-то скрытые подрывные

силы. Я вот иногда сижу и думаю... — Он наморщил лоб, склонил голову на правую руку. — Я иногда мучительно думаю: откуда эти подрывные силы? Например, какую только клевету мерзавцы не разносят про меня! Будто бы я живу в роскоши, пьянствую, устраиваю оргии. А я живу в кабинете — все видят. Ну, кто из вас может подтвердить, что я барствую и прочее? Прошу поднять руку.

Ни одна рука не поднялась, потому что рабочие знали: директор действительно живет в кабинете.

— Так вот, — продолжал он, — а про меня болтают всякую чушь. Да не только про меня. На днях разнесли клевету про Лукина, Альтмана, Ивана Ивановича, будто бы они тайком... тайком, заметьте, пьянствуют в домике Николая Степановича Кораблева. Вы понимаете, что это такое? Это ведь бьют нас ножом в сердце. Кто этому верит? Ну, кто? Прошу поднять руку.

Люди какие-то секунды колебались: верить или не верить? Ведь горестно даже было слышать о том, что в домике, где когда-то жил Николай Кораблев, кто-то устраивает попойки. Уловив колебание, Кокорев было возрадовался, но в этот миг из зала полетело:

— Не верим!

Когда крики стихли, он снова заговорил:

— Вот такое же возмущение проявляйте против лжи и клеветы там, в цехах. Уничтожайте подрывников. Хватайте их за руку, — и он правой рукой вцепился повыше кисти в левую. — Вы знаете, какую пакость они разнесли про Татьяну Яковлевну Половцеву! Она же святой человек: прошла всю Германию, выполнила великое дело для нашего государства. А что про нее наболтали — батюшки ты мои! Или, например... — И тут он начал выкладывать ту клевету, которую еще не разнесли молодчики Урывкина по заводу: — Ну, во-первых, будто бы у товарища Лукина на сберкнижке шестьсот тысяч рублей, — и залился звонким смехом. — Откуда такую сумму может взять Лукин? Да ведь мы прекрасно знаем: он еле-еле жену и тещу содержит. — Это был жестокий удар по Лукину: всем были известны его семейные «нелады» с женой и тещей, а Кокорев, довольный таким уда-

ром, стал призывать всех к сплоченности, к единству, уверяя: — Самое грязное дело, когда человек клевету превращает в оружие борьбы...

Но тут кто-то кинул из зала:

— Зачем Степана Яковлевича Петрова выгнал?

Кокорев смутился было, но тут же нашелся:

— А что же, премию ему дать за то, что он самовольно покинул цех? Ничего. Одумается, гонорок спадет — снова примем на работу. Только не начальником цеха, предупреждаю, а мастером: пусть все знают, что у нас в стране преступление карается не взирая на лица.

— Нашел преступника! — выкрикнул еще кто-то.

— Закон, товарищи, закон, — желая приглушить выкрики, утвердительно произнес директор, полагая, что на этом все и закончится. Но зал загудел, и оттуда полетело:

— Закон! Не коверкайте его.

— По закону и Степану Яковлевичу положено восемь часов работать.

— А он днюет и ночует в цехе!

— Вот я и говорю: коверкают закон...

— И людей ломают. Шутка — Степана Яковлевича уволить!

— Ну, разберемся... разберемся, товарищи, — тепло улыбаясь, смиренно произнес Кокорев, с досадой думая: «Это дельце со Степаном Яковлевичем черт Урывкин мне подсунул». — Разберемся. Разберемся, товарищи, — продолжал он твердить. — Однако потакать никому нельзя, в том числе и мне, — уже звонко смеясь, произнес он, вызывая этим одобрительный смех у многих слушателей.

Когда Кокорев кончил, в зале долго не смолкали аплодисменты, а он, вытирая платком вспотевшее лицо, глядел на тех, кто сидел в президиуме, и зло-радно думал: «Вот вам и Дворец культуры!» Затем, посмотрев на Лукина, мысленно прокричал: «Слышишь, как аплодируют? Нет, со мной бороться трудно, не советую!»

Лукин сидел, низко опустив голову, и весь дрожал, понимая, что Кокорев произнес демагогическую речь.

«Ведь ясно, он главный распространитель клеветы, а не уцепишься, — думал Лукин. — Закон! Если человек отрывается от коллектива, презирает его, отклоняется от генеральной линии партии, то политика у него превращается в политиканство, в ложь, демагогию. — Все это было ясно для парторга, но он понимал, что сейчас надо не просто выступать против Кокорева, его следует разоблачать, а для этого нужны факты, документы, свидетельские показания. — Куда обратиться? — продолжал он думать. — К Роличеву? Тот дал указание — ликвидировать конфликт. Но ведь не всякий конфликт можно ликвидировать. В Центральный Комитет партии, вот куда я должен обратиться», — пришла ему решительная мысль, и, когда аплодисменты смолкли, он поднялся из-за стола, посмотрел в зал и тихо сказал:

— Ничего, товарищи. Пусть директор не волнуется; мы подрывников уж как-нибудь выведем на свежую воду, а советская власть нам непременно Дворец культуры построит: заработали.

Рабочие неожиданно разразились такими аплодисментами, что задрожали стекла в окнах, и стало понятно: люди перед этим аплодировали не лично Кокореву, как и сейчас не лично Лукину, а тому, чтобы словили распространителей клеветы, и тому, что советская власть непременно построит Дворец культуры.

Поняв это, Кокорев круто повернулся и покинул сцену.

Лукин отправился в партком и тут, сев за стол, написал письмо в Центральный Комитет партии.

Парторг писал, что Кокорев «окончательно оторвался от партийной организации», что «тысяча восьмьсот машин сверх программы еще не являются показателем здоровой обстановки на заводе», что «до сих пор значительный процент рабочих живет в землянках и бараках»... Отослав письмо в Центральный Комитет партии, копию в обком, он через несколько дней вторую копию показал Альтману. Тот, несмотря на то что сам уже очутился «на побегушках» у Кокорева, сморщился и почему-то старческим голосом заскрипел:

— Опять скандал. Опять возня. Все равно ничего не добьемся: он сила — за его спиной тысяча восемьсот машин сверх программы.

Лукин посмотрел на главного инженера, как смотрят на человека, с которым впервые встречаются, но с которым предстоит долгие годы совместно работать, и проговорил:

— Да ты... поглупел?

Альтман с тоской произнес:

— Он мне все печенки отбил.

— В голове печенок нет. То, что он из тебя мозги выколол и превратил в рассыльного, это я вижу.

— Ну, а что мне делать? Что? — вскочив с дивана, закричал Альтман. — Сопrotивляться? Он меня немедленно выгонит.

— Значит, своя шкура дороже завода? — сурово спросил Лукин. — Не ждал от тебя.

— Да нет. Брось ты. Я люблю наш завод: я его строил вместе со всеми, я сжился с коллективом, с каждым рабочим... И долой! — взмахнул он раздраженно рукой. — Ты думаешь, это просто, вроде с одного такси пересестъ на другое.

— Вовсе так не думаю. Но если любишь коллектив, за него надо драться, а не прятаться в щель, как прячется таракан.

— Псих он! — с отчаянием выкрикнул Альтман.

— Мягко сказано.

— Груб?!

— Нет, не в этом суть. Я тоже груб... с врагами. А его грубость выливается в презрение к рабочему классу.

— Хамство?

— Пусть так. Но есть что-то еще в нем, Альтман. Что? Мы пока с тобой не видим.

В эту минуту раздался телефонный звонок. Говорил секретарь обкома Петр Роличев.

— Прочитал копию вашего письма в Цека. Рациональное зерно в письме есть, но много бранных слов. Это, конечно, нервы, чему нам с вами подчиняться не полагается. Я советую поразмыслить вот над чем. Когда-то у нас были спецъ. Одни из них прижились

и даже стали большими людьми, другие сошли на нет. Кокорев — современный спец.

— Да ведь у него партийный билет в кармане, — не сдержав раздражения, сказал Лукин.

Роличев эти слова как будто пропустил мимо ушей, продолжая свое:

— Имейте в виду, у нас по-разному относятся к людям рабочего класса. Есть такие, обладающие сиюминутным рабочелюбием: «Миленькие, хорошенькие». Но есть другие люди — их большинство, — которым чуждо это сиюминутное. Им оно не нужно, так как они хорошо знают, что рабочий класс, как и колхозники, как и советская интеллигенция, является основой нашего государства. Эти видят не только положительное, ведущее в рабочем классе, но и пятна прошлого, сознавая, что их надо старательно, умело и заботливо сводить. Пятна такие, как нам с вами известно, выводятся не только педагогическими, пропагандистскими мероприятиями, но и созданием материальной базы социалистического общества. Отсюда настоящий директор — выпускает ли танки, станки ли, автомашины, или сахар, мануфактуру, — он строит социализм, да не один, а вместе со всем коллективом. Нераздельно. Помните, как говорил товарищ Сталин: «...Быть руководителем хозяйства в наших условиях это значит удостоиться великой чести и великого почета, удостоиться великого доверия со стороны рабочего класса, со стороны народа».

— Это как раз против Кокорева: он презирает рабочих. Не понимаю: почему вы его так долго держали на танковом заводе, а потом прислали к нам?

— Не будьте наивным, товарищ Лукин: шла напряженнейшая война — и нам нужны были танки. Танки, поймите. Затем: были уверены — одумается.

— Может, теперь одумался? — Лукин усмехнулся.

— А вы как полагаете?

— Есть такая народная мудрость: «Никогда черепаха не станет орлом». Мне кажется, в нем ошибаются все, начиная с меня, с вас, кончая министром: мы раздували, раздуваем его авторитет, а он, Кокорев, — мыльный и весьма вредный пузырь.

— Вы так резко ставите вопрос?

— Да. Резко. Когда бы вы поработали с ним вместе, у вас появилось бы бранных слов в сотни раз больше, чем у меня, — ответил Лукин, сжав телефонную трубку так, что пальцы посинели. — Я вам еще хочу сказать: тот хозяйственник, который не считается с решениями партийной организации, с мнением рабочего коллектива, несмотря на временные успехи, все равно обречен на провал.

— Ну хорошо, разберемся, — ответил Роличев.

После этого разговора Лукин долго в раздумье сидел за столом, то и дело нервно передергивая левым плечом. Затем встал, прошелся и, обращаясь к Альтману, сказал:

— Все у Кокорева истлело: он обречен на провал! Может быть, мы не сумеем свалить его: он хитер. Свалят другие. Но это неизбежно.

4

И вдруг, словно полноводная река, бедствие обрушилось на завод.

Предшествовало этому следующее. Сегодня, войдя в кабинет и чего-то стесняясь, Урывкин доложил:

— Ипполит Яковлевич, пришли... такая рвань, упаси господи.

— Кто?

— Персон двенадцать... домой захотелось.

Кокорев налился яростью.

— А-а-! Это Лукин штучки выкидывает... за мой доклад на собрании. Там ума не хватило, так вот чем хочет пронять. Но я не имею права поддаваться котяткам, — зло заключил он и крикнул: — Зови!

Рабочие входили в кабинет робко, стеснительно, каждый думал: «А не рано ли домой-то?» Вошли, посмотрели на цветистый, раскинутый во весь пол, ковер, на мебель из красного дерева, весьма яркую при солнечных лучах. Все они, в поношенной одежонке, давно не бритые, худые, стоя на этом цветистом ковре, выглядели довольно странно.

Кокорев с презрением подумал: «Окурки».

Их было в самом деле двенадцать человек с разных концов страны.

Один из них, Вася Ларин, мастер формовочного цеха, прибыл из Москвы на завод еще в первые месяцы войны; вместе со всем коллективом в трескучий мороз сгружал с платформ оборудование, затем монтировал цех и потом работал не покладая рук, одновременно обучая молодежь, особенно женщин.

— Формовочное дело,—говорил он им,— все равно что пироги печь. Но, между прочим, есть мастерицы, а бывают мазилы: испечет такой, что в горло не лезет — глина.

Все знали Васю Ларина как человека бескорыстного: он делился с товарищами всем, что имел, никогда ничего у хозяйственников не клянчил — и, возможно, поэтому очутился в пиджачке, но без рубашки. Сейчас он стыдливо натягивал полы, чтобы директор не видел наготы.

А тот именно на него первого посмотрел, подумав: «Зараза. Тронь — как бактерии начнут размножаться», — и, петушась, спросил:

— А в Нарым не желаете?

Рабочие плотнее сбились. И та стыдливость, с которой они входили в кабинет, та мысль: «А не рано ли домой-то?» — все сразу куда-то улетело, словно пыль выдуло сквозняком. Вспыхнула несусветная обида. В Нарым? Они, конечно, прекрасно знали: советская власть не допустит, чтобы Кокорев проявил подобное самодурство. Но почему же он так разговаривает с ними, с теми, кто все эти годы не за страх, а за совесть ковал победу здесь, на далеком Урале?

Через какую-то минуту Вася Ларин, протянув сильные, жилистые руки, произнес тихо, но получилось как гром:

— На! Вяжи! Если силы хватят.

У директора уши налились кровью.

«Урывкин подобрал разносчиков клеветы, а Лукин вот этих. Так я их пинком вышибу и обезоружу Лукина», — мелькнуло у него. И еще мелькнуло: «Топи

котят, покуда слепенькие». Вот почему в следующую секунду он взвизгнул:

— Вон с завода, шантрапа!

Вася убрал руки на поясицу, видимо боясь, что они пойдут в ход, шагнул было к двери, затем повернулся, сказал:

— Стыда у вас нет. Мы здесь в трескучие морозы завод налаживали. А вы нас — шантрапой. Идемте, товарищи!

За ним гуськом тронулись рабочие, и у двери каждый поворачивался, миг смотрел на Кокорева, точно намереваясь запомнить его на всю жизнь.

Бывает так, что вода в запруде копится, копится... И вот настал момент: ковырни насыпь лопатой, как вода хлынет и разнесет всю плотину.

В этот день Ипполит Яковлевич сам ковырнул плотину.

— Нас директор обозвал шантрапой, — полетело по цехам, строительной площадке от рабочих во главе с Васей Лариным, и они, будоража таких же бессемейных одиночек, живущих в бараках, первые кинулись на станцию.

К вечеру того же дня кое-где завиднелись осиротевшие станки, пустующие места на главном конвейере, в формовочном, литейном, термическом, кузнице, в цехе коробки скоростей, а на обкатку машины стали выходить уже не через восемь минут, а через девять, затем десять.

По этому случаю было созвано закрытое заседание парткома, на которое прибыли все, в том числе Степан Яковлевич, Лалыкин и Альтман.

Лукин, пока сходились члены парткома, ни с кем не разговаривал. Он сидел за столом и сосредоточенно просматривал бумаги. Всем казалось: парторг весьма зол. А Лукин смотрел бумаги, ничего в них не видя, и гневно думал: «Почему именно у нас такой прорыв? Почему подобного нет у соседей, да и по всему Уралу? Почему? Неужели только хамское отношение Кокорева к рабочим вызвало такой взрыв? Оторвать рабочего от любимого дела, заставить забыть о своей гордости, порвать все нити с коллекти-

вом... Нет, тут, кроме хамства Кокорева, есть еще что-то. Но что? Что? Чем оттолкнул он нас, чем оттолкнул весь коллектив завода?»

Альтман, посмотрев на мрачного Лукина, решил:

«Кинется в панику. Пожалуй, мне первому следует выступить», — и попросил слова.

— Можно, — нехотя произнес парторг. — Можно, слушаем, — еще раз сказал он глухим от долгого молчания голосом.

Альтман привычным движением забросил волосы на затылок и вдруг побледнел, даже задохнулся, со страхом думая: «А ведь мы перед катастрофой, поневоле помрачнеешь. Я вполне понимаю Лукина». — И начал взволнованно, даже крикливо:

— Катастрофа, товарищи! Поймите: катастрофа! Конечно, партком не имеет права подменять функции директора... Но ведь то, что директор делает, не функции, а черт знает что... — Альтман говорил минут пятнадцать и, видя, как головы присутствующих склоняются все ниже и ниже, сам поддаваясь паническому настроению, начал нажимать еще крепче.

— Хватит, товарищ главный инженер, — прервал его Лукин и сдержанно, спокойно заговорил: — Побили такого злого врага, как гитлеровцы, спасли народы от уничтожения, унижения... а тут уж и катастрофа, и непоправимое. Чепуха! — раздельно произнес он. — Верно, бегство рабочих с производства — необычайное явление в нашей стране. Небывалое. Редчайший случай... Надо сейчас же, без прений, принять следующее: немедленно мобилизовать коммунистов, комсомольцев, беспартийный актив. Первая задача — занять пустующие места в цехах и, если понадобится, работать без перерыва две-три смены: машины должны сходить с конвейера по графику. Вторая задача... Ведь побежали бессемейные? Пойти к ним, ободрить их. Да. Да. Ободрить, сказать, что в ближайшее время выпишем сюда семьи, а Иван Иванович понастроит столько домов и домиков, что мы сможем всем дать по комнате, многосемейным — квартиры. Кончаем заседать. Все в бараки, в землянки, в цеха!

Глаза у людей посветлели, но Степан Яковлевич, поднявшись, произнес:

— И все-таки хочу сказать: на моей совести грех. Хвалил я его, Кокорева, а теперь вижу — точная ошибка.

— Ох! — горестно вздохнул Лукин, и его синие большие глаза уставились на мастера. — Такие типы, Степан Яковлевич, как Кокорев, умеют нравиться: он проникнет в душу, заставит тебя выступить за него, расхвалить его, а потом... грязные ноги на стол.

5

На заводе — в цехах, во дворе, коридорах — все бурлило, клокотало, точно выплеснутый на сырую землю расплавленный чугун. Бессемейные кучились то тут, то там, и все, начав с того, что «директор обозвал нас шантрапой», страстно обсуждали, как ехать, куда: на старые места или на новостройки — в Поволжье, Украину, Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, на Алтай, Дальний Восток? Одни, побывав во время эвакуации в Казахстане, расписывали Алма-Ату:

— Такой город, просто хочется перенести под Москву. А яблоки какие! Виноград! Арбузы-то! По барану каждый арбуз!

Другие расхваливали Алтай:

— Степи какие! Чернозем какой! В два метра толщиной. Посей пшеницу — в оглоблю вырастет, ну честное слово!

Третьи звали на Дальний Восток:

— Ведь это Крым, даю голову на отсечение!

Четвертые звали на восстановление Сталинграда, Минска, Киева. И подытоживали:

— А главное, там нет такого пса, как Кокорев.

Говоря все это громко, возбужденно, они не смотрели друг другу в глаза, и каждый затаенно думал: «Вступится партком — и Кокорева по шапке. Слыхано ли, чтобы директор обзывал рабочих шантрапой?!»

Члены парткома, коммунисты, комсомольцы, бес-

партийный актив — одни заняли пустующие места на заводе, другие ринулись в землянки, бараки и, встряхивая возмущавшихся за плечи, говорили одно и то же:

— Стыдно, товарищи! Стыдно! Тот, кто не хочет, чтобы на нас еще раз напал враг, должен вернуться к станку и бороться за мир.

Пересекая двор завода, слыша возбужденные споры, прислушиваясь, Лукин сделал неожиданное заключение:

«Стремление покинуть завод не серьезно, оно вызвано оскорбительным выпадом Кокорева... Следует выписать жен, ребятишек. Во время войны многие рабочие жили без семей, в бараках, сознавая, что идет напряженный бой с врагом. Война кончилась, значит они вправе требовать семейного уюта».

Рассуждая так, Лукин вошел в цех коробки скоростей и в полутемном коридоре, «курилке», увидел группу «холостяков». Они в табачном дыму колыхались, точно в парной бане, и страстно спорили. При появлении парторга стихли, начали смущенно мять сигарки — кто на полу ногой, а кто у себя на ладони.

Поздоровавшись, Лукин загворил:

— Ну что же? Завод хотите оставить?

Рабочие некоторое время молчали, и сразу от них посыпалось раздраженное:

— А что ж, директор нас шантрапой обозвал!

— Да еще Нарымом грозит!

Парторг внимательней посмотрел на рабочих и, видя кое на ком как попало залатанную одежонку, подумал: «Нужна женская рука».

И сказал:

— Надо выписать жен, ребятишек ваших, а не бежать с завода.

Из группы вырвался облегченный, радостный вздох, и кто-то из полутьмы произнес:

— Если бы...

— Я пока, товарищи, не могу вам сказать всего. Одно скажу: партком осуждает поведение Кокорева, — добавил Лукин.

— Осуждать стали. Не поздно ли? — Из группы выделился Егор Орехов, любимец Степана

Яковлевича, человек огромного роста, но настолько тощий, что казалось, в нем и кровинки нет. — Где жить будут, ежели жен выпишете? В бараках? В землянках? До поножовщины дойдем.

— Ну, это ты зря поножовщину вытащил, — запротестовал пожилой рабочий, и все неодобрительно загнули.

Лукин сказал:

— В ближайшее время приступим к строительству домов.

— Вы-то приступите, а позволит ли удельный князь? — проговорил, не унимаясь, Егор Орехов.

— Узду накинem.

— На бешеного коня не накинeshь, — усомнился Егор Орехов и, обращаясь ко всем, намеренно заговорил тем тоном, каким говорят деревенские тетки: — Оне парк задумали построить. Дубовый. Дорогу на вершину горы. Оне еще хотят лестницу до луны протянуть, чтобы по ей лазить романтическим возлюбленным. А коль Степан Яковлевич запротестовал — его по шапке. И еще у их, как это, святое чувство есть — любовь к жене, семье там... Дети — превыше всего. А у Васи Ларина тоже сын. Родился при папе, а живет без него. Фыррр. У тебя, дескать, энтova чувства нет — святого. У Урывкина оно есть — святое. А мы что? Мы — шантрапа. — Егор Орехов шагнул к Лукину. — Вы, товарищ парторг, забыли, зачем вас на завод Центральный Комитет партии прислал. Волю партии проявлять, а не плясать под дудочку Кокорева. Вот что напоследок я скажу, — закончил он и, круто повернувшись, пошел из курилки, произнося: — И нет такой силы, какая удержала бы нас.

Все, в том числе и Лукин, некоторое время стояли молча. Затем Лукин произнес:

— Это дезертирство... и Орехов раскается в своем поступке. Я понимаю — без семьи жить трудно... однако не следует покидать завод и бежать к семье... Надо семью переправить сюда... И тот, кто хочет бороться за мир, никогда не покинет станка, как в более трудное время он не покидал его. Даю вам слово, Кокорева будем судить самым суровым су-

дом. — Он было спохватился, полагая, что такое не следовало бы рабочим говорить, но те зашумели, одобрительно крича:

— Верим!

— Вернем бегунов.

— Только и свое слово держи, парторг.

Так дней пять коммунисты, комсомольцы, беспартийный актив не покидали барачных и землянок. На шестой день все утихомирилось, вошло в свои берега, и машины с конвейера стали сходить по графику.

«Утекли домой» во главе с Васей Лариным только те рабочие, которых Кокорев в директорском кабинете назвал шантрапой.

Кокорев последние дни не выходил из кабинета, неистовствовал, вызывая то начальников цехов, то Альтмана, и долбил:

— Восемь минут подайте мне! Восемь минут!

А когда на шестой день машины стали сходить с конвейера по графику, директор по радио оповестил все цеха:

— Вот какие мы, русские люди! Только и в будущем гоните от себя всех болтунов, подрывников и шкурников ларинского типа, — и весь успех приписал себе, своему уменью руководить заводом, своему таланту, в наличие которого верил, как в наличие собственных ушей.

В такой «возвышенный» момент ему позвонил Лукин:

— Прошу явиться на заседание парткома.

Кокорев съежился, затем гордо вскинул голову:

— Мне некогда заседать. Вы то и дело заседаете, а я завод вытащил из прорыва. Агитируете, пропагандируете, по головке саботажников гладите... того же Ларина вместе с его бандой.

«Нахал!» — чуть не вырвалось у Лукина, но он сдержался, сказал другое:

— Я с вами говорю не как с директором, а как с членом партии.

— Я не могу делить себя на директора и на члена партии. Я один.

— Смотрите, хуже будет!

— Не грозите!

— Тогда явитесь на партийное собрание, где мы намерены рассмотреть вопрос о вашем поведении.

— Санкцию на такое от Центрального Комитета партии имеете?

— Имею. Ее мне дали, когда посылали сюда в качестве парторга, о чем вы, видимо, совсем забыли.

6

На седьмой день после «взрыва» неподалеку от завода приземлился самолет, из которого вышли министр и секретарь обкома Петр Роличев.

Почти в этот же час международный вагон покинула журналистка Луиза Брэдли. Она была в костюме полумужского покроя, со взбитой, цвета мочалы, прической, на которой лепилась шляпка, похожая на тарелочку. В правой руке Луиза Брэдли держала хлыстик, точно собиралась сесть на коня. Впереди нее шел носильщик. Он все оборачивался, поглядывал на шляпку, не понимая, как та держится на голове. Выйдя из вокзала, Луиза Брэдли, увидев такси, на ломаном русском языке воскликнула:

— О-о-о! Да тут Москау: такси. Чудо-о-о! Я четыре года пробила России, Китае... и не видел такси темных углах... — И, сев в машину, умчалась на завод. Заказав в гостинице номер, передала прислуге чемоданы, потребовала, чтобы приготовили ванну и, взмахнув хлыстиком в сторону Ай-Тулака, сказала: — Я туда-а-а, — и крупным шагом направилась к горе.

Следом за Луизой Брэдли из того же вагона вышел человек маленького роста, с весьма большой пушистой бородой, в военном костюме и в сапогах на высоких каблуках; то был Пикулев, недавно переведенный из дивизии Громадина на соответствующую работу в Москву. Мельком глянув на удаляющуюся журналистку, он потрогал чемодан и подозревал носильщика.

— Очень прошу помочь хотя бы с попутной машиной добраться до завода.

— Зачем с попутной, когда к вашим услугам такси?

— Тогда еще лучше.

Носильщик с ухарством подхватил чемодан и, не видя на Пикулеве погон, спросил:

— Демобилизовался, товарищ?

— Так точно.

— Видно, родственники есть на заводе: подарки из Москвы везете? — донимал носильщик.

— Совершенно верно: родственники, самые близкие, самые дорогие.

Заняв номер в гостинице, Пикулев отправился к Лукину, отрекомендовался, затем посоветовал парторгу на полчаса вызвать из кабинета Кокорева.

Лукин позвонил и еще раз сказал директору:

— Все-таки я прошу вас... и предлагаю явиться на партком.

— И не просите и не предлагайте: мне некогда заседать.

— Слышали? Не хочет покидать своего гнезда, — сообщил Лукин Пикулеву.

— Ну и пусть его сидит там. Обойдемся как-нибудь.

В это время министр и Петр Роличев шагали с аэродрома на завод.

Роличев, высокий, в гимнастерке синего цвета (пальто он нес на руке), шагал крупным шагом, не оглядываясь, а министр, ниже ростом, семенил за Роличевым и то и дело оборачивался, во все всматриваясь.

— Я люблю так-то вот — без предупреждения, — говорил министр, всматриваясь в заводские здания. — Предупредишь — обязательно лоск наведут. А так-то вот идешь — и видишь будни.

— И каковы же будни здесь? — тревожно спросил Петр Роличев и тут же с досадой воскликнул: — Ах, какая дрянь прорвалась!

Министр некоторое время молчал, затем повернулся к Роличеву:

— По танковому заводу знали ведь мы Кокорева... Нет у него любви к коллективу, сплошное ячество.

— Да, знали. Но полагали: исправится.

— А говорят: горбатого исправит...

— ...говорят, могила.

И они оба горестно рассмеялись.

— Ну ничего, разберемся, — успокаивающе произнес министр и мягко добавил: — Так вы, Петр Ильич, идите к Кокореву, а я загляну к куме.

Роличев решил пошутить:

— Что ж у вас, товарищ министр, на каждом заводе кума?

— Нет. Здесь жена Николая Кораблева, Татьяна Яковлевна Половцева. Я обязан в первую очередь навестить ее.

Лицо Роличева потускнело.

— Я тоже намеревался однажды заехать к ней и просто не знал, как. Уж очень тяжело: потеряла мужа, сына, мать. Но мне сообщили, что коллектив встретил ее очень хорошо... однако какие-то пакостники пустили ложь.

— Ложь к ней не пристанет. — И, видя, как по шоссе то и дело несутся на обкатку грузовые машины, министр вынул часы, попросил: — Подождите немного, — и вскоре сказал: — А ведь по графику сходят: восемь минут! Писали: двенадцать. Странно!..

— Ничего странного нет: вчера звонил Лукин — с завода ушло всего сто двадцать восемь человек, а тут силой коллектива наладили график... но это далось очень трудно, иные работали подряд две-три смены.

— Вон что! А завод-то какой красивый! Смотрите: ведь его построили рабочие Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Поволжья...

— И Урала, — ревниво перебил секретарь обкома.

— И Урала, совершенно верно. А вы уже тутошний патриот? Ведь вы с Дона, слышал я.

— Где работаешь, там и патриот.

— Вот и Николай Степанович... сам с Волги, а когда работал здесь, превратился в патриота Урала. Не думайте, что я о нем так говорю потому, что вместе учились в техническом училище имени Баумана, ели из одной посуды. Мало ли таких попадалось на пути: ели и пили из одной посуды... а потом разошлись, как бурей разнесло. Нет, это был изумительный человек.

В тот же день, рано утром, из Штеттина за подписью Ивана Кузьмича Замятина на имя Татьяны пришла телеграмма, которую почтальонша передала Наде, сообщив:

— О какой-то радости пишет Иван Кузьмич. Посмотрите, Надюша. Мы все на почте переволновались.

Надя некоторое время колебалась, затем прочла:

«Татьяна Яковлевна. Ждите. Вас скоро встретит радость».

— Какая же может быть радость? — воскликнула Надя. — Она так напряженно живет последние дни: рисует и рисует... а тут ей о чем-то напоминают. Сбегаю-ка сначала к Ивану Ивановичу, — и, одевшись, выбежала из домика.

Дверь открыла жена Ивана Ивановича.

— Что так рано? — спросила она.

— Да вот, — показав телеграмму, произнесла Надя, — к Ивану Ивановичу.

— Милая! Только что лег.

— Вы только гляньте, Мария Федоровна. — И Надя сунула ей в руку телеграмму.

Прочитав, Мария Федоровна удивленно покачала седенькой головой.

— Радость? Все люди ждут радости. Не знаю, что делать. — Раздумчиво добавила: — Ну что ж, полагаю, он не обидится на нас. Пойдем.

Надя стояла в столовой и дрожала, боясь, что Иван Иванович начнет ворчать, но вскоре услышала его голос:

— Немедленно! Немедленно передать Татьяне Яковлевне! Немедленно! Впрочем, я сам... Дай-ка, Машенька, одеться. — Послышался скрип кровати, стариковское кряхтенье, затем, в новом сером костюме, при галстукке бабочкой, появился Иван Иванович. — Пойдем, Надюша. Пойдем, — проговорил он.

Иван Иванович и Надя вошли в домик и услышали, как из спальни доносится приглушенный и тревожный стон. Татьяна стонала, словно ее кто-то душил. Ей снилось: она находится в Германии, всюду

пески, растет какая-то колючка... и с окровавленными ножами носятся уродливые, не похожие на людей существа. Она прячется от них за колючками, вскакивает, бежит, падает или утопает по кслени в песках...

— Разбуди ее, Надюша. Тяжело слышать такой стон, — предложил Иван Иванович.

Надя подошла к кровати, осторожно дотронулась до плеча спящей и позвала:

— Татьяна Яковлевна! Проснитесь! Иван Иванович пришел.

Татьяна вздрогнула, затем недоумебно посмотрела на Надю.

— Страшный сон... и почти каждую ночь.

— Не вставайте, Татьяна Яковлевна. И не стесняйтесь, — входя, говорил Иван Иванович.

— Что за спешка, Иван Иванович?

— Вот телеграмма. Я ее прочту вам: «Татьяна Яковлевна точка Ждите запятая вас встретит радость точка Иван Кузьмич Замятин из Штеттина».

У Татьяны мелькнула мысль, ставшая уже постоянной: «Может, он? Может быть, он жив?»

Почти в то же время почтальонша постучалась на квартиру к Степану Яковлевичу. Ее встретила Настя, как всегда сурово:

— Степан Яковлевич на заводе... шестой день не появляется.

Почтальонша подала телеграмму.

— Вот. Что-то непонятное пишет Иван Кузьмич.

— Не всем должно быть понятное в телеграммах, — строго ответила Настя и, войдя в квартирку, прочитала: — «Дорогой мой, незабвенный друг Степан Яковлевич. Он жив. Приготовься. Иван Кузьмич».

— Батюшки! — воскликнула Настя. — О ком это? Жив? Видно, про сына своего, Сашу. Да ведь нам уже известно, погиб он в первый день войны. А тут — жив. Пойти разве матери сказать? Вот радость-то будет!

Семья Ивана Кузьмича Замятина жила по соседству в том же домике. Настя намеревалась было передать телеграмму жене Ивана Кузьмича, но по дороге задержалась.

— Самовольство будет. А может, не о Саше, а я

на-ка вот — бух! — и она осторожно положила телеграмму на письменный стол Степана Яковлевича.

— Придет, разберется. Он ведь у меня умница! — радостно улыбаясь, заключила она.

Татьяна же, одевшись, вышла в столовую и, подойдя к Ивану Ивановичу, произнесла:

— Простите меня... но я на Ай-Тулак.

— Что ж, сходите на ту вершину, где мы с вами дали клятву бороться и жить. Сходите, Татьяна Яковлевна, и верьте Ивану Кузьмичу.

— Я была у него в Штеттине. Да. Я верю в радость. Ох, если бы та радость, какую я жду! Если бы, Иван Иванович! — И, давась слезами, она хотела было покинуть домик, как в дверь кто-то требовательно постучался.

Надя открыла и, увидав на пороге министра, попятилась, а тот намеренно весело выкрикнул:

— Здесь живет Татьяна Яковлевна?

Татьяна шагнула к нему.

— Илья! — она тут же повяла, думая: «Так вот какая радость! Но почему телеграмма из Штеттина? Нет! Нет! Что-то другое...» И в ней снова вспыхнула надежда на встречу с Николаем Кораблевым, и это чувство неудержимо потянуло ее на гору Ай-Тулак. — Илья! — оживленно заговорила она, пожимая его руку. — Раздевайтесь, знакомьтесь! Иван Иванович Казаринов — начальник строительства, а это наш друг, Илья. — И Татьяна впервые так звонко и заразительно засмеялась, что засмеялись все. — Вы, Илья, — продолжала она, — располагайтесь как дома. — Надя, министру ванну! Готовьте завтрак... а я... ненадолго на Ай-Тулак...

Татьяна уже находилась на вершине Ай-Тулака и смотрела вдаль — на гряды убегающих гор-отрогов, на синеющие леса — и вдруг увидела, как полянку пересекла довольно странная женщина, похожая на наездницу. Вот она остановилась, затем вскочила на лбище белого мрамора, обвела взором дали Урала и произнесла:

— О-о-о! Богатство!

То была Луиза Брэдли.

Татьяна при виде шляпки, хлыста, полумужского костюма — всего этого чужеродного на фоне уральской природы, испуганно, словно серна, метнулась по тропе вниз...

Как только Татьяна вернулась домой, Илья, умытый, побритый, освеженный, встретил ее криком:

— Чаю! Татьяна Яковлевна, чаю! С вареньем! — И, выпив три или четыре стакана чаю, безжалостно накладывая варенье, сказал: — Ну, Надя, мастерица: такое варенье!

— Мастерица где-то на стороне, товарищ министр, — ответила Надя. — Я варенье купила в магазине.

— А я думал, сама сварила. Говорят, домашнее лучше, а ведь и это чудесное. Вот знаток варенья: сладкое — и ладно! — Он рассмеялся и попросил разрешения осмотреть жилище. Поднимаясь наверх, как бы между прочим сказал: — Постановлением Совета Министров дом сей, Татьяна Яковлевна, передается вам в пожизненное пользование.

«Вон, оказывается, какая радость меня встречает?» — увядая, подумала она.

Илья остановился на лестнице, повернулся, спросил:

— Вы молчите — вам безразлично?

— Что вы? Разве для меня безразлична забота правительства... Но... вы от Ивана Кузьмича Замятина ничего не получили? И ни о чем не говорили с ним?

— Нет. А что?

У Татьяны так застучало сердце, что ее чуть не свалило с ног, но она пересилила себя и, достав из нагрудного кармашка пиджачка телеграмму, подала ее министру.

— Вот, прочтите.

— Удивительно! — воскликнул он, прочитав телеграмму, сам радуясь, еще не зная чему. — Удивительно! — И ударил себя ладонью по лбу. — А вдруг Николай жив, Татьяна Яковлевна! Ведь война. А на войне всякое случается. У нас в министерстве, например, было такое: у одной сотрудницы муж погиб еще в первый год, ну, товарищи по оружию прислали

письмо — дескать, сами видели. Она поплакала, погоревала, а потом вышла замуж. Кончилась война, а старый-то муж — вот он, на пороге...

Татьяна заметалась по комнате, произнося:

— Если бы! Если бы! Послушайте, Илья. Мне надо побывать в городе Кудряш... и в Казахстане. Много быть там не могу: тоска позовет сюда. И сидеть здесь не могу. Помогите и поймите: мне здесь ждать трудно, даже невозможно. Буду ждать, находясь на людях и в работе.

Министр подумал, затем сказал:

— Мы, наверное, несколько дней пробудем на заводе. Возьмите наш самолет. Но не торопитесь с возвращением: уедем на поезде, ежели что. А не секрет, что у вас там?

Татьяна, чуть подумав, ответила:

— В Кудряше живут родители моего хорошего друга Левченко, с которым мы в партизанских отрядах... и там же родные погибшего Вани Крайнова... А в Казахстане мать Ураза Бузакарова. В Штеттине Иван Кузьмич просил меня обязательно побывать и в тех местах...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

День был до того солнечно-яркий, что, казалось, земля, крыши домов, заборы, палисадники — все залито сверкающей ртутью. Так апрель месяц ворвался в Германию. И, несмотря на ожесточенные бои, на людское горе, на слезы, весна шагала неудержимо буйно: вон уже зазеленела травка на пригорках, наливаются почки вишни, яблонь.

Вскоре всюду растаял снег.

Генрих Ротштейн, мучимый угрызениями совести, сегодня вышел из домика очень рано. В такую рань он не поднимался вот уже лет десять, с тех пор как покинул автомобильный завод «Хорьх». Тогда вставал

чуть свет, чтобы кое-что сделать в огорожке, на дворе: к определенному часу надо было попасть в цех. Но с приходом «наци» к власти он сказал:

— Принципиально не буду работать на Адольфа, — и перебрался в деревушку.

Здесь каждое утро с тоской говорил жене:

— Капусту можно посадить вечером — еще лучше. Салат можно полить вечером — еще лучше. Подрезать лишние ветки на яблонях, черешне можно тоже позже — еще лучше. Пусть день пролетит, как птица. Летит день, летит год — наступит же время, когда над нашей страной взойдет солнце. Я в это верю. — И не поднимался с постели, рассуждая о государственных делах, о том, что предпринимает Гитлер и куда «его безумие заведет народ». — Может быть, мне принять нацистский строй? Ведь иные социал-демократы стали фашистами. Нет, это нечестно; как я потом буду смотреть в глаза народу? Скажут: «Тебя, Генрих, не буря, а легкое дуновение ветерка сломило! Ты не борец, а пух. Пух для перины Гитлера». Но мне не с кем даже посоветоваться, и я делю себя на два Генриха: один стоит перед другим — и оба спорят. Первый доказывает: «Тебе надо сложить оружие и принять Третью империю». Второй опровергает: «Я двадцать пять лет пробыл в социал-демократии, и на двадцать шестой год ты предлагаешь сложить оружие? Нет. У меня был друг Вольф. Верно, он коммунист — человек прямого действия. Это нельзя — прямо: надо обходом, постепенно. Есть хорошая поговорка: «Тише едешь, дальше будешь». А первый возражает: «Тихо ехал и к гитлеровскому строю приехал». — «Да, но если бы около меня был мой друг Вольф, мы взвесили бы события последних лет: он уступил бы мне, я — ему, и мы нашли бы единый язык». Но Вольфа нет. Где он? Возможно, в лагере, а вероятней — погиб.

И вот осенью тысяча девятьсот сорок четвертого года во дворик Генриха ввалился старик Вольф, словно с неба упал. Они поздоровались, присели под навесом, заговорили о том о сем, прощупывая друг друга. И Генрих подметил, что Вольф стал более

осторожен, а Вольф понял, что в сердце его друга «загорелось революционное пламя».

— Надо помочь русским военнопленным организовать восстание, — под конец предложил Вольф. — Давай, старина, биться за правду.

Генрих без колебаний согласился. Он отдал картофельное поле для пленных, помог организовать восстание: поднялось около тридцати тысяч русских.

Да. Но после этого он споткнулся.

Вчера утром, когда пленные все шли и шли улицей деревушки, к нему забежал Вольф и взволнованно с порога возвестил:

— Ну, дружище, солнце по-настоящему восходит! Пойдем, и для тебя найдется дело.

Генрих дрогнул, помялся, ответил:

— Ведь ты знаешь, мне за шестьдесят.

— А мне?

— Ты на два года моложе меня. В мои лета два года все равно, что двадцать в молодости.

Но не в этом заключалась истинная причина. Генрих дрогнул потому, что перед ним встал, как часовой, вопрос: «А на кого ты покинешь домик? На одряхлевшую жену? Домик, корову, костюмы, мебель. Ведь это все осталось на обеспечение старости. И потом — куда тебя зовет Вольф? На собрание, может быть? Он зовет тебя на вооруженный бой, а пуля никого не жалует — ни малого, ни старого. Нет, ты обязан побережь себя: кроме тебя, никто в деревне так не знает историю революционного движения».

И он сказал:

— У меня больные ноги.

— Ну что ж! — зло кинул Вольф. — Когда у человека голова плохо варит, он начинает думать ногами. Ты посмотри, — и подвел Генриха к окну, показывая на русских, которые все еще шли по улице, вооруженные автоматами, вилами, топорами, ломami и даже простыми палками. Все они были изможденные, худые, в рваных одежонках, иные так ослабли, что, поддерживаемые товарищами, еле передвигались. — Смотри, старина... может быть, ты последнюю минуту для

меня друг... Смотри, некоторые не могут идти, а идуг. Прощай!

Как только Вольф покинул комнату, Генрих плотнее припал к окну, поражаясь тому, что пленные и немцы кричат, обнимаются, будто давно знакомые или родные.

— Не зная языка, понимают друг друга, — удивленно прошептал он и тут же заключил: «Конечно, это международный язык трудящихся: он передается через ласковую руку. А сколько хлеба, картофеля и даже вина несут русским! Наверное, в домах ничего не осталось».

Когда эта своеобразная тридцатитысячная армия прошла через деревню, оставляя тяжело больных, которых развели по домам, он подошел к гардеробу, намереваясь выбрать костюм и послать вдогонку русским. Открыв дверку, глянул на аккуратно развешанные костюмы и, видя, что одного — коричневого с крапом — нет, спросил:

— А где тот, с крапом? Мой любимый. — Он никогда не любил этот костюм и все-таки сказал: «Мой любимый».

— Я отдала его пленным, — смиренно ответила жена, выходя из другой комнаты. — И еще я хотела сказать, Генрих: в деревне остались больные русские. У нас нет детей. Нам следует взять больного.

— Ну что ты-ы! — даже закричал он. — Ведь среди них могут оказаться тифозные, а мы стары. Знаешь, что такое для нас тиф? Как автомат скосит. А я пригожусь народу. Я думаю, мне надо стать мэром города... Ну, хотя бы Дрездена. Пусть разрушенного. Я заслужил, — говорил он, скрывая от жены то, что закралось в его душу в минуту расставания с Вольфом.

Все это походило на болезнь, которая вначале беспокоила его, как возникающий нарыв: немного саднит, немного чешется... Но в ночь поднялась нестерпимая боль.

— Я налгал другу, а через него и народу, — наконец прошептал он и с этими словами чуть свет поднялся с постели, оделся и осторожно, чтобы не разбудить жену, вышел во дворик и тут громче произ-

нес: — Да, я налгал своему другу. Я мог бы пойти вместе со всеми. Ведь я тоже принимал участие: отдал бесплатно участок картофеля, помогал переправлять русских пленных в горы... И у меня было счастье... Одним поступком я сам уничтожил свое счастье. — И как человек, что-то потерявший, он направился к лагерю.

Бои велись совсем близко, гул канонады доносился со всех сторон — с юга, севера, запада, востока.

— Огненный вал, — рассуждал Генрих. — Странное ощущение: где бы ты ни находился, все равно кажется — огненный вал. Говорят, что советские уже взяли Бранденбург. Как упорно они идут к своей цели. Сказали: будем на Эльбе — и очутились на Эльбе. И откуда у них столько пушек, самолетов, танков, солдат? Да каких солдат! — Так, тихо разговаривая, Генрих шагал по направлению к лагерю, глядя себе под ноги, словно что-то отыскивая.

Вскоре он попал на свое картофельное поле, все изрытое, перерытое; даже ботва и та была унесена и съедена пленными.

— Это я... я, Генрих Ротштейн, бескорыстно передал русским, — с хорошей гордостью произнес он. — Да, я. — И, постояв, с грустью добавил: — Картофель отдал, а душу спрятал. Эх! — И, пройдя еще с полкилометра, увидел длинные, засыпанные песком рвы, в которых, по предварительным подсчетам, лежало до сорока тысяч военнопленных. — Вы не дождались светлого дня, — обнажив и склонив голову, вымолвил он, но тут же зло проворчал: — А ты дождался? Они погибли за социализм, а ты? Ты живой... мертвец, — и двинулся дальше.

2

До этого дня Генриху внутри лагеря русских не пришлось бывать: невозможно было проникнуть. Но вместе с Вольфом он несколько раз заходил в лагерь англичан, расположенный рядом, и сейчас направился туда. Пересек полянку и очутился на кладбище. Здесь, как по линейке, тянулись индивидуальные могилы, с

крестиками, венчиками, с дощечками, на которых написано, кто и когда умер.

— Нормально умирали,—проговорил он и немедленно поправил себя. — Говори точнее: почти нормально.

В лагере англичан никого не оказалось: пустовали обширные бараки, в которых стояли кровати, столики, увядающие цветы в банках, обезлюдели волейбольные, теннисные площадки, валялись фигуры кегельбана. От всего этого на Генриха повеяло жутью, точно он вошел в чужую квартиру и никого там не застал: хозяева в страхе куда-то убежали... и он стремительно зашагал к лагерю русских, намереваясь через проволочное ограждение посмотреть, что там творится.

«Ну да, — вспомнил он, видя смятую, втоптанную в землю, заброшенную одежкой, тюфяками колючую проволоку, — ведь это сделано по плану товарища Николая: все русские сначала хлынули в сторону англичан, а потом на просторы», — и пошел, ступая осторожно, боясь нарваться на мину... Но тут же засмеялся: «Да какие здесь мины, Генрих? Тридцать тысяч человек дорогу протоптали».

В лагере русских тоже было пусто. Кое-где лежали пристреленные пленные, видимо те, кто уполз из страшного пятнадцатого барака, куда гитлеровские молодчики стаскивали всех больных и сумасшедших. Домик же, где постоянно помещался начальник лагеря, густо обтянут колючей проволокой. На крылечке стоит часовой.

«Ага! Значит, еще существует власть», — решил Генрих и хотел было удалиться, но его остановил приглушенный стон, идущий словно из-под земли. Оглянувшись, он увидел привязанного к столбу человека, голова которого свалилась на плечо, руки повисли, и на них вздулись жилы, как змеи.

Всмотревшись, Генрих воскликнул:

— Боже мой! Да ведь это товарищ Николай. Как он попал сюда? Мучают. Нет! Я должен его спасти. Непременно. И тогда у меня появится радость. — И необдуманно, но дерзко, шагнув к часовому, крикнул: — Да чего вы тут торчите? Партизаны! Рядом, в лесу. Я только что видел.

— А-ай! — взвизгнул тот и, показывая на дверь, тоже закричал: — Идите! Идите! Скажите господину полковнику, — и с перепугу дал очередь из автомата.

Генрих ворвался в домик.

На диване, не раздевшись, лежал полковник Бломберг. Он поднялся и спросил:

— Кто стрелял?

— Смею доложить, господин полковник, — тихо, но упрямо заговорил Генрих, — я видел партизан... поблизости, в лесу. Много.

Бломберг какую-то секунду через пенсне вприщур смотрел на него, затем подошел к столу, что-то написал на уголке бумаги, позвал:

— Адъютант! — А когда тот появился, приказал: — Машину, чемодан! — И в упор уставился на Генриха, затем достал из стола запасный пистолет.

«Этого надо убрать, как свидетеля моего бегства», — решил он и хотел было спустить курок, но в комнату снова вошел адъютант. «Второй свидетель... Всех не перебеешь», — перерешил Бломберг и, взяв со стола бумагу, на которой за минуту перед этим что-то написал, подал ее адъютанту.

— Вот приказ. Расстреляйте того. — Он махнул рукой в сторону Николая Кораблева, — при солдатах, — и крупным шагом, чуть ли не бегом кинулся из домика, сел в машину рядом с шофером.

Адъютант высунулся в окно, недоуменно посмотрел на то, как взвихрилась машина, и обратился к Генриху:

— Что вы ему сказали? Почему всполошился?

— Партизаны! Рядом в лесу!

— Партизаны? — с ужасом переспросил адъютант и со злобой кинул: — А-а-а. Трус! Мне приказал расстрелять при солдатах русского, а сам удрал к американцам, — и тоже кинулся на выход, крича: — Пускай сам расстреливает! Пускай сам, полковник Фриц Бломберг...

И вот уже несется адъютант к воротам, а за ним, как собаки за хозяином, метнулась охрана, паля из автоматов куда попало...

Вскоре все стихло.

Только откуда-то доносились глухие удары артиллерии да временами стонал Николай Кораблев.

Генрих через окно выскочил из домика, садовым ножом перерезал веревки и хотел было принять на руки Николая Кораблева, но тот, несмотря на худобу — кожа да кости, — все равно оказался тяжелым. Генрих опустил его на землю, склонился и, глядя на разбитое, в синяках, лицо, на руки, залитые кровью, проговорил:

— Ты русский богатырь... Что мне с тобою делать? Один я тебя не донесу, и покинуть невозможно: те могут вернуться... — И в эту минуту увидел приближающегося к домику односельчанина, доктора Швиндта. — Доктор! Господин доктор! Как вы сюда?

Швиндт, не подавая руки, нехотя кивнул головой.

— Вызвал полковник Бломберг и держал при допросе, а когда вот этот русский терял сознание, я приводил его в чувство. Но он упрямый... и я не понимаю: как он еще живет?

— Значит полковник вам приказал?

— Оружие может принудить любого.

— А зачем к столбу?

— Бломберг применил японский способ: выставил лицом на солнце. «Пусть у него лопнут глаза, как мыльные пузыри», — так сказал полковник. Но это глупо: здесь не тропическое солнце. В Японии лопнут, в Германии — нет. Но я согласился.

— Стало быть, вы, доктор, остались хорошим человеком, хотя вас принудили силой оружия делать плохое. Что такое сила оружия? — возвышенно заговорил Генрих, но вспомнил, как за такие никчемные разговоры Николай Кораблев называл его «кружкой пива», спохватившись, добавил: — Надо вопрос решать практически. Здесь, наверное, есть носилки? Давайте положим его на носилки и отправим ко мне в дом. — И, заметив, как заколебался доктор, угрожающе добавил: — Вам ведь тоже надо иметь документ, чтобы оправдаться перед русскими: они уже рядом. Слышали? Взяли Бранденбург, Штеттин и все силы кинули на Берлин. А это, — он показал на Николая Кораблева — есть и для вас оправдательный документ.

Когда Николай Кораблев был доставлен в домик Генриха Ротштейна и уложен на диван, хозяин, облегченно вздохнув, произнес:

— Он все-таки тяжелый. Но ведь и правда не легка, доктор? Верите ли вы, что этот русский поднимется на ноги?

— Я верю только в бога. — И Швиндт, вынув из кармана евангелие, что-то прочитал.

Генрих удивленно посмотрел на него.

— Но ведь вы атеист: я помню, как вы смеялись над богом.

— За это и наказан: у меня в минском котле погибли два сына. — И Швиндт снова что-то прочитал, после чего сказал, показывая на Николая Кораблева: — Лечить его можно при помощи божьей... Но кто будет платить?

— Вы заговорили не божеским языком. Ведь не единым хлебом жив человек?

— Медикаменты не дождь: с неба не падают. Нужны марки, — сухо ответил доктор и хотел было покинуть комнату, но Генрих вцепился в него:

— Платить буду я. Я, Генрих Ротштейн. Разве вы, веря в бога, перестали верить в мою честность?

Швиндт кивнул головой.

— В вас я тоже верю.

— Тогда давайте практически: что с ним делать?

— Во-первых, надо раздеть... Затем имейте в виду... — уже расстегивая на Николае Кораблеве ворот гимнастерки, говорил доктор, — имейте в виду, Генрих, а я вам это обязан сказать, все ваши костюмы покинут гардероб.

— Я готов на все, — согласился Генрих, снимая с Николая Кораблева дырявые носки.

— Ему, — высвобождая больного из гимнастерки, продолжал доктор, — следует сделать переливание крови. Кровь дешевая на фронте, но здесь, в аптеках, она дорогая. Затем: понадобятся медикаменты, все время должна дежурить сестра. И еще: его придется хорошо кормить. Полное истощение. У него даже кости похудели. Имейте в виду, Генрих, он скушает вашу корову.

— Значит, и корову со двора за рога?

— Но потом придут из гестапо и уведут вас в тюрьму. Тут Генрих разразился хохотом.

— Вот этого... вот этого больше не будет! Никогда не будет: они подышают, гитлеровцы, как мошкар от мороза.

— Я говорю про советских.

— О-о-о! Те придут приветствовать меня! И вас, если вы поставите на ноги этого русского богатыря.

Николая Кораблева раздели. Доктор смыл с лица и рук кровь, тогда больного перенесли на кровать. Тут он, нагой, на белой простыне, на белой подушке, стал казаться еще страшнее: крупные ребра выпирали, как деревянные обручи на бочке, а живот втянулся так, что, казалось, прилип к спине.

— Он скушает у вас, Генрих, не одну, а две коровы, — проговорил Швиндт и, выслушав сердце, пояснил: — Его спасает этот мотор: слушайте, как работает. Плохи руки: Бломберг втыкал под ногти чернильное перо. Чернила — отвратительное вещество: они могут вызвать общее заражение. Так теперь нам надо организовать срочное переливание крови. Лучше бы от живого человека, хотя можно и консервированную.

— Нет! — вскрикнул Генрих. — Лучше от живого! Возьмите мою, доктор.

— Можно и вашу. Но надо помоложе. А затем — мы не знаем, какая у него группа. Ну, это легко установить. Вызовете из больницы мою помощницу Генриэтту, скажите ей, чтобы она срочно отправлялась сюда, захватив с собой все, чтобы взять у больного для анализа кровь. Постойте! Постойте! — Он остановил кинувшегося к двери Генриха. — Еще скажите — пусть доставит прибор для искусственного питания. Больного надо покормить... Приготовьте какао. У вас нет? Скажите Генриэтте, чтобы она забежала ко мне домой и взяла... Видите, для всего этого нужны марки. — Доктор снова вынул евангелие и, глядя на нагого Николая Кораблева, сказал: — Он похож на Христа.

— На Христа Микеланджело, — поправил Генрих.

— Да. На грешного Христа.

Генрих категорически отклонил консервированную кровь и уговорил девушку Марту, дочь соседа, обещающую ей уплатить столько, сколько она запросит. Марта была крупная, сильная, и Генрих решил, что именно от такой нужна кровь больному.

Когда Марту уложили на носилки и поставили их рядом с кроватью Николая Кораблева, покрытого простынею, Генрих проговорил:

— Смотрите, какие у них были бы дети!

— Вы об этом не думайте, Генрих, — одернул его доктор.

— Я не думаю. Но я полагаю, случится самое главное, когда он окажется способным производить детей. Не стесняйтесь, Марта и Генриэтта: это медицинский разговор.

После переливания крови, неоднократного искусственного питания и впрыскиваний тело Николая Кораблева стало набухать силой. Но Генриха пугало то, что, несмотря на все меры, принятые доктором, больной не приходил в полное сознание. Временами он открывал глаза, смотрел на забинтованные руки и, видимо не узнавая их, снова впадал в забытие.

Всех больных, размещенных в деревушке, лечил доктор Швиндт. По выздоровлении он подавал хозяину или хозяйке счет, в котором точно указывалось, каких и сколько медикаментов было потрачено на лечение, затем ставился плюс — за работу доктора, что всегда в три-четыре раза превышало стоимость медикаментов. Но немцы платили: складывались несколько дворов и несли доктору. Верно, не все. Иные отказывались.

— Закрыли двери, — сообщил жене Генрих. — Ждут нового Гитлера. И удивительно: люди образованные, такие же, как доктор. Господин Швиндт со всех дерет и... читает евангелие.

А события шли своим чередом...

Буйно зеленели луга, поля.

Заревел скот, требуя, чтобы его выпустили на вы-

гон, и особенно пронзительно, на всю деревню, мычал бык.

Но все это было обычное: каждую весну в такую пору тревожно и настойчиво режут коровы, каждую весну пронзительно, на всю деревню мычит бык.

Как всегда, все шло своим чередом и природа жила сама по себе. Необычным было другое: девятого мая в Берлине подписана капитуляция, Германия поделена на четыре зоны: русскую, американскую, английскую и французскую. А центры городов и крупных сел разрушены, превращены в лом, пепел. Вытоптаны поля... и миллионы пали костями: из дома в дом — покойник, а то два, три... Все это походило на какой-то кошмарный сон, потому что вначале война велась где-то там, за пределами германского государства, и геббельсовская пресса вопила на всех перекрестках о завоевании мира; с фронта шли посылки, сотни тысяч посылок: некоторые государства в течение недели-двух становились провинциями Германии... и вот уже вся Европа, Балканы покорены... Гитлеровские молодчики под Москвой, под Моздоком... Скоро вступят в Персию, затем в Индию... Япония захватит Китай... После этого Гитлер повернет оружие на Англию, на Америку. Конечно, и Англия и Америка не в силах будут сопротивляться. Весь мир у ног фашистов. Сколько посылок, сколько рабов, сколько имений, сколько фабрик, заводов! О-о-о!

И вдруг в течение только сорок четвертого года со стороны русских десять страшных ударов. Десять котлов, в которых погибла почти вся гитлеровская армия. Затем в январе сорок пятого года новый удар на протяжении тысячи двухсот километров. Рухнула Пруссия. Русские перешли Одер... И вот они в Берлине — не в лаптях, как намалевано на геббельсовских картинах, а в броне, не пастухи, а воины.

В самом деле, все это походило на какой-то кошмар.

Даже Генрих Ротштейн и тот не мог сразу очнуться, а ведь он честный социал-демократ. Верно, он был ярый противник гитлеровского режима. Но... что это такое? По автострадам, даже по проселочным дорогам, то и дело двигаются русские танки, в небе гудят рус-

ские самолеты, по улицам ходят русские солдаты. Да какие! Вон один подошел к группе ребятишек, опустился на корточки... и дети вцепились в него, как репы, а он поднялся и, шагая по улице, хохочет, кричит:

— У меня у самого дома куча таких!

Куча ребятишек, скажите пожалуйста!

Русские танки по дорогам, скажите пожалуйста!

Русские самолеты в небе, скажите пожалуйста!

А ведь Геббельс уверял, что в России только пастухи, только овечки... А танки? А самолеты? Какое гигантское количество артиллерии они выставили под Берлином! Разве это делается все из шерсти овечек или из коровьего молока?

Нет, выздоровеет Николай, и тогда Генрих поговорит с ним.

5

Николай Кораблев начал поправляться, напоминая брошенное в землю бобовое семя: сначала оно медленно наклевывается, но вдруг в какой-то день делает скачок — сбрасывает с себя землю и стремительно тянется зеленым к солнцу.

В утро тридцатого мая неожиданно без посторонней помощи он поднялся с постели, опустил босые ноги и посмотрел на дежурившую Генриэтту.

— Ну, здравствуйте! Я хочу каши. Пшенной, — проговорил на русском языке, еще не осознавая, где он и что с ним.

Генриэтта кинулась к нему и, толкая в плечи, тревожно произнесла:

— Вам надо лежать: вы больной.

— Каши! — громче проговорил Николай Кораблев, не поддаваясь толчкам девичьих рук, а увидев в дверях Генриха, по лицу которого катились слезы, произнес уже на немецком языке: — Генрих! И вы здесь? Значит, я у друзей?

— Да, товарищ Николай, вы у настоящих друзей, то есть у меня в доме, — ответил тот, давась слезами. — Но мои слезы — слезы радости. Вы, конечно,

понимаете, что слезы бывают разные: слезы горя, слезы обиды, злые слезы. А мои слезы — слезы радости. Ведь вы только представьте...

— Каши!

— Что такое — каши? — недоуменно спросил Генрих.

Николай Кораблев пояснил на немецком языке, что такое пшенная каша с коровьим маслом.

— А-а-а! Понимаю. Но у меня есть рис, а пшена нет.

— Давайте рисовой.

— Доктор позволит?

— Давайте, давайте, давайте! — ответила Генриэтта.

— О да! — воскликнул и Генрих. — Еще Карл Маркс сказал, что для рабочего самое важное — пища, одежда и жилье. — С этими словами он скрылся на кухню, и оттуда уже неся его голос — радостный, трепетный: — Дорогая моя союзница, моя жена и друг мой! Он, товарищ Николай, поднялся с постели и сказал: «Каш». Ты не знаешь русского слова «каш»? Ну, я тебе объясню: возьми рис, вымой, положи в посуду, завари водой и молоком. Затем много масла. Пусть плавает в масле. Ведь это можно: он наш друг и он поднимется на ноги...

Пока готовилась каша, Генрих не вытерпел, сбегал к соседям и торжественно возвестил:

— Радуйтесь! Радуйтесь! Поднялся русский богатырь. О-о-о! Знаете, что он попросил? Он сказал: «Дайте мне каш». Итак, его спасли: я — потому что вырвал его у паразитов, ты, Марта, — дала ему свою живительную кровь, и... «каш». Понимаете? И он теперь будет такой сильный; на нем рельсы гнуть можно. Такая сила! А что такое сила в человеке?

Его перебили:

— Но вы нам скажите... вы остались социал-демократом или краска на вас слиняла, Генрих?

— Да. Я твердо стою на земле.

— Тогда — что будет? У вас ведь на все есть рецепт.

— Солнце восходит над нашей страной.

— Солнце, оно, конечно... но... солнце взойдет, а мы зубы на полку положим? Хотя бы временно.

— Временно — не беда, — оживленно ответил Генрих. — За идею надо пострадать. — Видя, как крестьянские лица нахмурились, возвышенно добавил: — Но... это недолго... может, день, может, два... Я говорю, конечно, про исторический день. Исторический день — это не наш день. Надо драться или молиться, — сердито закончил он, понимая, что его программе крестьяне не сочувствуют.

Из другой комнаты вышел брат Марты — Рудольф, которому в «минском котле» оторвало обе руки. Посмотрев на Генриха, он сказал:

— Молиться легко тому, у кого запасы большие, например доктору Швиндту: он на плюсах и то сколько зашиб. А нам молиться трудно: нечего кушать.

— Но ведь ты был в стране социализма, — крикнул Генрих. — Сам расскажи.

— Там земля принадлежит крестьянам. Вся. Ни помещиков, ни монастырей, ни кулаков. Кто землю пашет, тому плоды ее. Ему и государству. Вот как, Генрих.

Лица у крестьян просветлели, но помрачнело у Генриха: ждал, что Рудольф будет поносить Россию, а Генрих — защищать, но тот говорит совсем другое:

— Я дошел до Моздока и всюду видел: земля принадлежит крестьянам. Верно, у них колхозы.

— Что такое колхозы, Рудольф? — спросила раскрасневшаяся Марта.

— Это — кооперативы... вместе работают: общая земля, общие машины. Все вместе.

— Нам это неподходяще — вместе работать... кооператив... или, как ты сказал, Рудольф, «колхоз», — возразил отец. — Нам подходяще — своя земля, без помещиков, без монастырей. Зачем монахам земля? Отдай нам ее, и мы согласны кормить по монаху. Пускай жрут.

Инвалиды, пришедшие сюда, соседи-крестьяне, сам хозяин — все громко и радостно рассмеялись, выкрикивая:

— Да! Да! Отдай нам землю, и пускай монахи жрут!

— Только не колхозы! Нет! Нет!

А когда гам стих, Рудольф вышел наперед и, обращаясь к инвалидам, сказал:

— Но мы с вами видели: колхозы — крепость. Мы их разгоняли, а как только уходили, они снова собирались. Помните?

— Яволь! Яволь! — подтвердили инвалиды, дымя трубками.

— Генрих! — крикнула в окно жена Ротштейна. — Каш готов.

— Готов? — Генрих вскочил и побежал к двери, говоря всем. — Я вот сейчас покормлю русского и спрошу, что нам делать.

6

Генрих торжественно внес и поставил на столик дымящуюся миску каши с маслом.

— На здоровье, товарищ Николай! А может быть, вам спирту?

— Нет, — ответил больной и начал есть быстро, по-крестьянски, обжигаясь. Вскоре с него полил обильный пот. — Полотенце! — улыбаясь, попросил он и, вытираясь полотенцем, продолжал уничтожать кашу, чувствуя, что все его тело наливается бодрящей силой. И в то же время думал: «Мне надо расспросить Генриха: как я к нему попал? Где наши? Идет ли еще война?.. Но я не знаю эту сиделку. Как бы удалить ее отсюда...»

Генрих стоял в дверях, сложив на груди руки, умиленно глядя на то, как Николай Кораблев ест кашу, а Генриэтта из угла тревожно следила за своим пациентом.

Вскоре он прилег, сказал:

— Вот так-то! Не зря русские крестьяне утверждают: «Каша — пища наша».

В это время в комнате появилась Марта. Ес слышно было еще издали: она топала босыми ногами, как молодой битюг. Войдя в комнату, раскрасневшаяся, здоровенная, спросила:

— Как живет мой брат Николай?

Николай Кораблев недоуменно посмотрел на нее — на ее курносый, похожий на картофелину нос, на креп-

кий румянец, на губы, на глаза, большие и синие, с девичьей поволокой.

— Это Марта, дочь соседа, — пояснил Генрих. — Она дала вам свою кровь... и, что поразительно, бесплатно. Я предлагал марки — отказалась.

— А теперь скажите мне, брат, — Марта пододвинула стул, села рядом с кроватью, — скажите от всей души: что такое колхоз?

— Я тебе, сестра, — сам не зная почему, заговорил он с ней на «ты», — расскажу о колхозе потом... Ведь я еще больной...

— Нет! Мне два слова. Колхоз для человека или для эксплуататора?

— Только для человека. Для честного человека, как ты, Марта.

— Пока мне больше ничего не надр. Поправляйтесь и потом приходите к нам кофе пить... и я вам тоже сварю каш. Нет, как это по-русски?

— Каши, — раздельно произнес Николай Кораблев.

— С маслом, — добавила Марта и, так же гулко стукая голыми пятками, вышла из комнаты.

— И все-таки я ничего не понимаю, — проговорил Николай Кораблев.

Генрих рассказал, как нашел его привязанным к столбу и вместе со Швиндтом перенес в домик, как Марта дала ему свою кровь, как лечил доктор.

— С плюсами: стоят медикаменты столько-то плюс услуга.

В памяти Николая Кораблева воспроизводилось: лагерь военнопленных, куда он был послан генералом Громадиным с целью организовать восстание, день накануне восстания, прибытие нового начальника лагеря полковника Бломберга. Вместе с ним приехала женщина, очень похожая на Татьяну... И вот Николай Кораблев смотрит на нее и никак не может разгадать. Татьяна это или не Татьяна. Если да, то как сюда попала и почему идет под руку с палачом? Николай Кораблев устремил на нее взгляд и вдруг пополз, прячась за спины сидящих на земле товарищей: он узнал Бломберга, с которым встречался в городе Бобер, где

тоже работал по особому заданию... И сейчас он напряженно думает: «Кто же была та женщина, так похожая на мою Татьяну? Когда ночью все пленные кинулись в сторону англичан, я решил убить ее и Бломберга. Со мною произошел припадок. Потом Бломберг мучил меня. И этот чудесный человек, Генрих, спас. Как бы поговорить с ним наедине?» Полежав минут десять с закрытыми глазами, он проговорил:

— Я хочу одеться.

— А-а-а! — радостно воскликнул Генрих. — Совсем в гору пошел наш товарищ Николай. — Кинулся в другую комнату и вскоре принес старые, заплатанные, тщательно вымытые, отутюженные гимнастерку, брюки. — Вот ваше. Старое. Я бы отдал вам свой костюм, но вы в него не влезете: мал, во-первых, а во-вторых, все костюмы ушли на плюсы доктору Швиндту.

Николай Кораблев, глядя на Генриэтту, промолвил:

— Я стесняюсь.

— Но я вас всего видела, — с откровенностью медика ответила та, — и помогу вам.

— Тогда я был больной... Ведь есть же разница?

Генриэтта вышла, и он сразу приступил:

— Послушайте, Генрих, скажите мне: что за женщина была накануне восстания в лагере? Она приехала вместе с Бломбергом.

— То была товарищ Татьяна. А разве вы ее не знали? — приготовив хомутик из гимнастерки, готовясь накинуть его на голову Николая Кораблева, ответил Генрих.

Николай Кораблев отвел хомутик:

— Татьяна? Что за Татьяна?

— Та самая женщина, о которой вам говорил старик Вольф. Она помогала нам во всем, и ей вы просили передать русское слово «пора».

«Значит, это была она, моя Татьяна», — мелькнуло у Николая Кораблева, и он почувствовал, как у него сначала онемели ноги, затем онемение пошло вверх, охватило грудь, сжало сердце, и он повалился на пол.

Вскоре Николай Кораблев стал выбираться, или, как в шутку говорил Генрих, выползать из домика во двор, садился под тем же навесом, под которым они и до этого вели беседу втроем — он, Генрих и старик Вольф.

За эти дни Генрих сделал первую вылазку: съездил в Новый Дрезден, побывал на вилле у своего друга Вольфа и привез довольно печальную весть: Вольф погиб в боях с бежавшими из Праги гитлеровцами.

— А товарищ Татьяна, знаете, что? Она выехала на Урал. — Генрих долго ходил, кружась около Николая Кораблева, не понимая, почему у того радостью горят глаза. Накружившись, он остановился и еще сказал: — Ну, это нормально: после войны все поехали на свои места. А вот в военной газете было напечатано, что вы погибли от гитлеровской руки. Ну, это, конечно, опечатка: вы передо мной — живы и здоровы.

Николай Кораблев побледнел.

— Как? Такое было напечатано?

— Да. Бывают ошибки. Я привез и газету, которую мне передала старушка Вольф. Она была бы рада, если бы с ее мужем случилось — погиб, а не погиб. Почему вас это так расстроило, товарищ Николай?

Николай Кораблев развернул газету и на третьей странице увидел свой портрет, черную рамку и некролог...

«Что с ней? Что с ней, с Татьяной?» — подумал он и впервые сообщил Генриху о том, что та женщина, товарищ Татьяна, которая помогала организовать восстание в лагере, его жена.

Генрих воскликнул:

— Это удивительно!

— Но что с ней? Вы представляете себе, она прочитала некролог... и что с ней?

— Это конкретно трудно мне сказать: не видел. Хотя представляю себе, что было с ней... Но она женщина сильная. Я ее только два раза видел и подумал:

если бы у нас все женщины были такие, то фашистов мы давно бы столкнули! Допустим...

— Я вас вот о чем попрошу, Генрих, — перебил его Николай Кораблев. — Надо разыскать пятую дивизию. Она входила в третью армию, которой командовал генерал Горбунов Анатолий Васильевич.

— Я запишу. — Генрих достал книжечку, карандашик и присел. — Слушаю, товарищ Николай.

— Третья армия. Командующий Горбунов Анатолий Васильевич.

— Есть, — сказал Генрих, намереваясь спрятать книжечку.

— Погодите. В этой армии пятая дивизия, командует ею генерал Громадин. Громадин Кузьма Васильевич. Вот он мне и нужен.

— А маршал Конев? Он здесь, в Новом Дрездене.

Николай Кораблев задумался: у него не было с собой документов, значит если он объявится в штабе Конева, где его никто не знал, то там отнесутся к нему с подозрением, даже могут для опознания в числе арестованных направить в Советский Союз. И он сказал:

— Нет, Коневу сообщать не надо.

— А маршал Рокоссовский? Он в Штеттине.

— Вот-вот. Рокоссовский. Армия Горбунова находилась в его распоряжении. Я вас прошу, разыщите.

Генрих задумался, потом сказал:

— Вы очень просто говорите: разыщите. Если я поеду разыскивать маршала Рокоссовского, меня по дороге могут пригласить в ближайшую тюрьму. Для кого разыскиваешь? Скажу, показывая на этот некролог, — Генрих взял газету и ткнул пальцем в портрет: — «Я разыскиваю маршала Рокоссовского вот для этого человека, который и умер и не умер: он живет у меня в доме». Тогда русские скажут: «Ты сумасшедший или шпион?»

— А телеграф?

— Пока все нарушено.

— Что же делать?

— Да. Что делать? Такой вопрос стоит во всей стране: что нам, немцам, делать? Вон к вам идет

сосед-инвалид, брат Марты. Он, вероятно, тоже спросит — что делать?

В калитку вошел Рудольф. У него отняты обе руки, и потому рукава рубашки ветер заносит за спину. Приблизившись к Николаю Кораблеву, он, поздоровавшись, сказал, кивая на свои обрубки:

— Мински котель.

Николай Кораблев внимательно посмотрел на Рудольфа, думая: «Попадись я ему в том же минском котле, он голову бы с меня снял. А теперь улыбается и даже бахвалится», — и заговорил:

— Да. Страшный котел. Но, говорят, в Берлине еще страшнее?

— Не знаю. Но канонаду слышал: земля дрожала день и ночь, а зарево пылало даже при солнце. Но что нам теперь делать? Вы советский человек — и скажите: что нам делать?

Николай Кораблев еле заметно улыбнулся.

— Вы лучше спросите Генриха: он социал-демократ.

Во дворик вошла Марта. Увидев под навесом Николая Кораблева, она заторопилась, намереваясь поздороваться с ним за руку, но, оглянувшись, отошла в сторонку: в калитке появился ее отец и инвалиды — одноногие, безрукие, со шрамами на лицах, а вот у того провал на голове — кулак уложится. Все они еще издали начали кланяться Николаю Кораблеву, а у того сжалось сердце.

«Значит, отодвигаются поиски Громадина», — подумал он, однако приветливо отвечал всем и хотел было встать, чтобы уступить место инвалиду, но пришедшие в один голос закричали, что этого делать не следует, а когда галдеж смолк, Марта, раскрасневшаяся, первая сообщила:

— Брат мой! Они хотят задать вам вопрос: что нам делать?

Николай Кораблев подумал и спросил:

— У вас есть земля?

— Нет, — ответила Марта.

— Почти нет, — сказал ее отец.

— Она есть, но нет, — таинственно и полушутя произнес Рудольф.

— Да. Да. Есть, но нет, — загалдели все.

— Ничего не понимаю. Если хотите, чтобы беседа носила серьезный характер, говорите правду.

— Дело в том, товарищ Николай, у них земли нет. Это все те, кого нужда оторвала от полей, бросила в города, но не пристроила на заводах... и они снова вернулись в деревню. Бродят: нынче здесь, завтра там... Как у вас называются такие?

— Батраки.

— Ну, вот... батраки. У нас немножко люмпен пролетарий. Что это такое? Если взять в разрезе исторических событий...

— На каких началах в Германии земля—община, отруба? — перебив его, спросил Николай Кораблев.

— Свои участки, — ответил Генрих. — Земля в одном месте, в одних руках. Мой участок почти рядом с лагерем. Помните, картофель оттуда брали?

Николай Кораблев внимательно посмотрел на него:

— Вы, Генрих, имеете свою землю?

— Это не мешает моим убеждениям.

— Значит, вы считаете, что земля должна быть в одних руках, то есть собственностью одиночек, чтобы на ней работали батраки?

— Это надо подумать. Во всяком случае, я уверен: у нас к социализму иной путь, чем в России. Мы Европа, не забывайте. Мы страна большой культуры, не забывайте. Культуры! Да. Культуры! У нас нет неграмотных людей.

У Рудольфа и его отца на лицах появилось что-то чопорное и тупое, как у сытого быка.

— Страна культуры родила Гитлера, — зло проговорил Николай Кораблев.

Люди погрустнели, а Генрих сказал:

— Да. Но это случайность...

— Такая случайность привела к тому, что погибли десятки миллионов людей, разрушены тысячи городов, сел, фабрик, заводов. В нашей стране тоже когда-то господствовали проходимцы, тунеядцы, эксплуататоры всех мастей. Но ведь революция, руководимая коммунистами, сбросила их, создала доподлинно

народную власть. А вы, вместо того чтобы изучать опыт русской революции, болтаете, что у вас другой путь к социализму. Какой, Генрих?

— Это надо подумать, товарищ Николай. И вы не волнуйтесь, пожалуйста: вам вредно.

— Нельзя не волноваться, когда речь идет о судьбе народа. Мне кажется, товарищ Генрих, первый шаг к социализму, если он для вас не ширма, как для Каутского... первый шаг к социализму — избрать власть из людей честных, преданных народу, болеющих за его судьбу. Второй шаг — все фабрики, заводы передать в руки тех, кто трудится на них. Третий шаг — землю отдать навечно тем, кто ее пашет. — Николай Кораблев взволнованно задохнулся.

Все некоторое время молчали.

— Шаг вперед, два шага назад — так писал Ленин о нас, социал-демократах. Вы предлагаете — три шага вперед и не оглядываться? — нарушая тишину, спросил Генрих.

— Не я предлагаю, а сама жизнь, классовая борьба.

— А банки? — спросил Рудольф.

— Они должны перейти государству.

— Значит, четвертый шаг к социализму, — серьезно добавил Генрих.

— Пусть будет четвертый. А вообще-то к социализму путь один. В той или иной стране могут быть отклонения, особенности, а в основном путь тот же, что и в России. Иного пути, Генрих, нет. Иной путь ложный: он приведет к новому Гитлеру, к которому, если разобраться, вас и подвел ренегат Каутский. Вы честный человек, Генрих, это я прекрасно знаю, но у вас в голове, — последнее слово Николай Кораблев произнес по-русски, — ералаш.

— Что такое «ералаш»? — спросил тот.

— Ералаш, — смягчив, пояснил он, — путаница. Не ищите иных путей к социализму, а изучайте и творчески перерабатывайте тот путь, по которому Советский Союз уже пришел к социализму, — вот тогда пропадет ералаш.

Такие беседы-споры происходили ежевечерне. В них были втянуты не только жители данной деревушки, но

и соседних сел. Вскоре была создана организация коммунистов во главе с Генрихом Ротштейном. Тогда всполошились другие — помещики, фабриканты — и объявили, что они под руководством доктора Швиндта влились в партию христиан-демократов...

А сегодня Марта тревожно спросила:

— Брат мой, русские не будут презирать нас?

Николай Кораблев быстро ответил:

— Советские люди не обладают этим качеством — презрением к другим народам. Еще в начале войны товарищ Сталин от имени советского народа сказал, что глупая гитлеровская политика привела к войне и что с немецким народом у нас раздора нет.

— А почему же вы нас так били? — усмехаясь и показывая то один, то другой обрубок руки, спросил Рудольф. — Ведь я — народ.

— Мы били фашистов, чтобы спасти себя и спасти немецкий народ... да не только немецкий, а и народы всей Европы.

Шел уже июнь месяц тысяча девятьсот сорок пятого года.

Вишни и черешни давным-давно отцвели, наливались плоды.

8

Армия Анатолия Васильевича Горбунова, в том числе и дивизия генерала Громадина (по поручению которого Николай Кораблев работал в лагере военнопленных), пройдя с боями Берлин, остановилась на Эльбе, неподалеку от Бранденбурга. Этого Николай Кораблев не знал, когда при помощи коменданта, только что присланного в деревушку, дал телеграмму на имя Горбунова в штаб Рокоссовского, расположенный на окраине Штеттина.

«Произошла ошибка, — сообщал он. — Я жив. Нахожусь неподалеку Дрездена деревушке Холь Генриха Ротштейна. Прошу не передавать Татьяне Половцевой и помочь мне».

Телеграмму подали Рокоссовскому. Маршал долго вчитывался в нее, затем поднял голову, произнес:

— Свяжите-ка меня с генералом Горбуновым, — и вскоре, взяв трубку, заговорил: — Анатолий Васильевич! Здравствуйте, старый солдат! Как живете там, на Эльбе? Купаетесь? Нет еще? Так вот что, генерал. У нас в практике не было таких случаев: донесли — человек погиб, а он, оказывается, жив?

— Были. А как же, товарищ маршал: война.

— Ну вот, видите. Все мы считали, что Николай Степанович... да, да... Кораблев... погиб, а он телеграмму прислал, — и тут же зачитал ее. — Помогите ему.

Затем он связался с Иваном Кузьмичом Замятиным, комендантом города Штеттина, и почти слово в слово передал содержание телеграммы, добавив при этом:

— Вот и отыскался ваш директор. Вы ведь с ним на Урале, кажется, работали?

— Не только на Урале, товарищ маршал, — ответил Иван Кузьмич и тяжело задышал.

— А где же еще?

— В Москве, товарищ маршал. А потом на Урал переехали. Так жив? Ох! Разрешите, я поеду к нему.

— Непременно. И от меня поклон. Будет в Штеттине, прошу заглянуть ко мне. А может, сначала заедете к командарму Горбунову на Эльбу. Далеко! Я передал ему содержание телеграммы.

...Анатолий Васильевич Горбунов, задумавшись, долго сидел за столом. Посидит, потом встанет, походит.

— Что же делать? Поехать ему самому? А вдруг нарвешься на провокацию. Нет! Он пошлет Галушко и генерала Плугова. Если это провокация, они арестуют провокаторов, если это на самом деле Николай Степанович, его встречает генерал и везет в штаб армии.

— Галушко! — позвал командарм, и адъютант, прошедший вместе с Анатолием Васильевичем от Ельни, через Орел, Днепр, Бобруйск, Минск, Варшаву, Пруссию, Берлин — на Эльбу, как всегда будто вырос из-под земли.

— Слушаю, товарищ командарм.

— Пригласи сюда генерала Плугова. Ах да, позови и генерала Громадина. Постой. Отбери трех бойцов — надежных. Так. Потом, он, наверное, обносился. Костюм полковника. С погонами и прочее. Сапоги, ко-

нечно, понимаешь, фуражку, носки, белье. Он ведь был в звании полковника, Николай Степанович?

Галушко молча посмотрел командарму в лицо и недоуменно заморгал.

— Ты что, глазами-то?

— Да как же... на мертвого полковника костюм?

— Вот тут и загвоздка: мертвый-то оказался живым. Зови генералов.

Галушко вышел, и вскоре в комнате появился начальник разведки Плугов.

— Чем могу служить, товарищ командарм? — громко проговорил он, пряча взгляд: всю ночь гулял с друзьями на берегу Эльбы.

— Глазки-то не прячьте, генерал. Пора бы кончать поздравлять друг друга с победой.

— Друзья, товарищ командарм, — виновато ответил Плугов.

— Друзья? Друзей и у меня много. Вот что: оказалось, Николай Степанович Кораблев жив.

— Ну? Тот?

— Самый тот. Так я прошу: вы и Громадин вместе с Галушко отправляетесь в деревушку Холь, неподалеку от Дрездена. Если это провокация, арестуйте провокаторов, если Николай Степанович жив, везите его сюда.

В это время в комнату вошел Громадин, уже поправившийся за последнее время. Он хотя и был мал ростом, но обладал мощным басом. Войдя, прогремел:

— Здравия желаю, товарищ командарм!

Анатолий Васильевич зажал уши.

— Экий горластый! Никак не привыкну.

— А в Берлине! Как стегану: «Вперед, товарищи!..» — канонаду перешибал! — в шутку прокричал Громадин, подавая руку Плугову и называя его, как звали почти все, Сашей. — Здравствуй, Саша! Слышал, как вы вчера песняка задавали на Эльбе.

— Ну, друзья, друзья, — подмигивая ему, заминая разговор, ответил Плугов. — Вот тут дело большое, Кузьма Васильевич.

— Да. Дело, — подтвердил Анатолий Васильевич и передал разговор с Рокоссовским. Громадин сначала

отступил от стола, потом, бледнея, сел на диван. — Но, может быть, это провокация, генерал, — добавил Горбунов.

— Да я за такое всю деревню сотру с лица земли.

— Деревню не тронь, а провокаторов накажи.

9

Под вечер, когда Николай Кораблев сидел под навесом, окруженный молодыми по стажу коммунистами во главе с Генрихом Ротштейном, и рассказывал им о Стране Советов, во двор неожиданно вошли три бойца, вооруженные автоматами, а за ними Галушко, Саша Плугов и Громадин.

Николай Кораблев на полуслове оборвал рассказ, протер глаза, еще ничего не понимая, но в эту минуту наперед вырвался Громадин и, на бегу протягивая руки, закричал:

— Он! Друзья-товарищи, он! Милый ты наш Николай Степанович! — и, растолкав немцев, обнял Николая Кораблева, намеренно не давая тому подняться: так удобнее было его целовать. И генерал целовал, тряс за плечи, гремя басом на весь двор: — Милый ты наш! Славный ты наш! Николай ты наш Кораблев!.. Корабель ты корабель морской, океанский!

Немцы отступили в сторонку, удивляясь и появлению русских, и тому, какой басыще у этого маленького генерала. Однако все твердили одно и то же:

— Камрад! Камрад! Камрад!

Громадин, наверное, целовал бы Николая Кораблева еще очень долго, тряс бы его, наверное, долго, гремел бы басом, наверное, долго, но Галушко приказал бойцу принести из машины сверток. А когда боец его подал, Галушко произнес, как всегда, пасмурно и сурово:

— Именем командарма, товарищ генерал, нарушаю вашу беседу: Николаю Степановичу надо переодеться... и ехать в армию.

— Дело! Дело! Дело! — подхватил Громадин. — Переодевайтесь, Николай Степанович. Переодевайтесь. Пошли в хату, — и первый тронулся в домик.

Николай Кораблев скрылся в комнатке, где он пролежал эти недели, быстро переоделся и впервые посмотрел в зеркало.

— Еще очень худ, — проговорил он, чувствуя, как яростно стучит сердце. «Надо спросить о Татьяне, — подумал он. — Как спросить?» — И, выйдя в столовую, светясь новыми погонами, начищенными сапогами, свежим кителем, улыбаясь во все лицо, сказал: — Ну, вот и я! — А узнав Сашу Плугова, с которым встречался еще под Орлом, в армии Анатолия Васильевича, протянул руку. — Здравствуйте, товарищ генерал. Вы уже генерал. Раньше все звали вас Сашей.

— Так и теперь. А вы... вы возмужали! Много пришлось перетерпеть?

— Какое там возмужал? Поседел, вы хотите сказать?

— И это.

— Ничего, — вмешался Громадин. — Седина не умаляет ума. О! Стихами шпарю.

У дверей смиренно стоял Генрих, и Николай Кораблев, все еще от волнения не владея собою, вдруг спохватился:

— Товарищи! А это мой друг Генрих Ротштейн. Он спас меня, буквально вырвал из рук палача. Потом лечил, кормил. Товарищ генерал! — обратился он к Громадину. — Костюмы я у него «съел», корову «истратил».

— Корову истратил на лечение Генрих Ротштейн? — на ломаном немецком языке спросил Громадин. — Молодец!

— Ну, а мне-то что делать? — снова спросил Николай Кораблев. — Не оставлять же в благодарность ему за все свой старый костюм?

— Корову, значит? — Громадин вцепился пальцами в подбородок, о чем-то подумал и выкрикнул: — Есть! Здесь неподалеку стоит мой друг генерал Журавлев, начальник тыла армии. Дадим. Корову Генриху дадим. Нет, две коровы. Три. Хочешь, целый табун пригоню? — и так захохотал, что задребезжали стекла в окнах.

Генрих смущенно улыбнулся.

— Я ведь коммунист, товарищ Николай... А вот если вы меня поцелуете, я буду помнить всю жизнь.

Николай Кораблев подошел к нему, три раза поцеловал, легонько похлопал по спине, взволнованно произнес:

— Я вас, товарищ Генрих, тоже не забуду. — И, встряхнувшись, добавил: — Однако корову примите: вашей жене она нужна. А еще... — и не договорил: в комнату вошел Иван Кузьмич Замятин.

Николай Кораблев покачнулся, уперся рукой в стол, оттолкнулся, шагнул навстречу и еле слышно прошептал:

— Где?

И тот, поняв все, так же тихо ответил:

— На Урале... в Чиркуле.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Петр Роличев, расставшись с министром, сначала направился было в заводоуправление, но, почувствовав, как на сердце снова ворохнулась неприязнь к Кокореву, круто повернул назад, пересек гудронированную площадь и вошел в длинное, барачного типа, одноэтажное здание, где помещались партком, профком и редакция заводской газеты. Здесь, в небольшой комнате-кабинете, обставленной чересчур уж скромно, он застал Лукина и Пикулева, сидевших за столом, сосредоточенных на какой-то бумаге.

При появлении Петра Роличева они встали, а Пикулев, уже открывший цель своего приезда Лукину, приветственно произнес:

— Демобилизовался, товарищ секретарь. Теперь к вам в область на работу. В частности, на автомобильный.

— Хорошо, — ответил секретарь обкома и обратился к Лукину: — У себя, что ль?

Лукин, поняв о ком речь, ответил:

— Окопался. Вызывали на партком, отказался наотрез: «Не могу, мне, слышь, некогда заседать».

— Свяжите-ка меня с ним. — И, приняв телефонную трубку из рук Лукина, Петр Роличев заговорил: — Ипполит Яковлевич! Зайдите, пожалуйста, сюда, в партком. Что? Что? — Секретарь обкома повысил голос, и в голосе его зазвучал металл: — А вы не разыгрывайте из себя удельного князя. Партком и есть партия. Кто говорит? Да кто бы ни говорил, но раз вам партком предлагает явиться, значит надо явиться. Пока еще вас Центральный Комитет партии не облек правами парторга. Эти права у товарища Лукина. Опять кто говорит? Роличев говорит.

— Ага! Согласился покинуть свое гнездо, — обрадованно воскликнул Пикулев и заспешил. — Так я к вам, товарищ Лукин, еще зайду.

Вскоре вошел Кокорев, разительно переменившийся: с него слетела чопорность, горделивая осанка, он уже не притопывал каблукчиками, а гостеприимно, еще с порога, протянул руки, да так, идя с вытянутыми руками, словно собираясь на них принять секретаря обкома, заговорил воркующе-ласково:

— Петр Ильич! Петр Ильич! Какими судьбами к нам? И зачем обижать нас незаслуженно: хоть бы весточку дали, я непременно встретил бы вас.

— Вы же очень заняты: даже для партийных дел и то минутки нет. — И Петр Роличев отчетливо вспомнил, как заносчиво держал себя Кокорев, когда была острая нужда в жилье на танковом заводе. А вот теперь он присел на краешек стула, то ли потому, что стул был весьма неказист и излишне поскрипывал, то ли намеренно напустил на себя смиренный, перепуганный вид посетителя, впервые очутившегося лицом к лицу с секретарем обкома. «Актер! Дешевенький актер», — подумав, усмехнулся Петр Роличев, затем сказал: — Что? Все еще продолжаете с мечом наступать на парторга?

— К чему старое вспоминать? — смиренно ответил Кокорев,

— Мы старое не вспоминаем, ежели оно не повторяется. У вас же все в точности, но более ярко повторилось.

— Очень верно, Петр Ильич: на танковом я сверхсрочно выпустил танки, сверхсрочно освоил новую марку танков, на что есть документы: правительственные телеграммы. Здесь, на автомобильном, выпустил сверх программы тысячу восемьсот грузовых машин. Совершенно правильны ваши слова — у меня все повторилось, но более ярко.

— Все «я», да «я», да у «меня». Вот почему от вас и побежали рабочие.

— Ну! Это же лодыри.

— Нет! — резко бросил Петр Роличев, бледнея. — Вы оскорбляете рабочих. Их до сих пор на заводе удерживало сознание долга перед государством, иначе они ноги бы вам выдернули. — И, глядя на аккуратненькие сапожки Кокорева, он добавил: — Я хочу сказать: вне советского строя, в капиталистическом государстве, они вас, такого, вывезли бы на тачке с завода.

— Меня на тачке? — Кокорев поднялся со стула. — Меня? Я выпустил сверх плана две тысячи грузовых машин, я первый сверхсрочно выпустил танки... и мои танки прошли до Берлина, громя врага... — и меня на тачке, мне выдернуть ноги?.. Ну, знаете ли, товарищ секретарь обкома, вы, видимо, забыли, что над вами есть Центральный Комитет партии. Вон чему вы учите своего парторга — ноги мне выдернуть, на тачке с завода вывезти. Вот и достукались: рабочие и побежали. К чему разнузданность привела!

— Неисправимый! — раздраженно вырвалось у Лукина.

Петр Роличев посмотрел на парторга, как бы говоря: «Рано решение выносишь», — и снова продолжал все так же внешне спокойно, но металл в голосе звучал все суровей и суровей:

— Не вы, товарищ директор, выпустили грузовые машины. Не вы, а рабочие. Надо зарубить на носу: без рабочего коллектива мы с вами пшик.

— Как это — пшик? — воскликнул Кокорев.

— А так. Вот они побежали от вас, попробуйте-ка

без них не только перевыполнить, но просто выполнить программу.

— Ага! Вы бегство рабочих оправдываете. Это бунт, а вы оправдываете.

— Не бунт, а протест против вашего поведения.

«И этот клеветает на меня. Ну что же, буду его бить его же мечом», — решил Кокорев и, присев за стол, опустил голову на ладони, глухо произнес:

— Характер. Характер у меня дурной. Я порою ненавижу себя за дурной характер.

— Эх, если бы только характер, — с сокрушительным вздохом произнес Лукин.

Ипполит Яковлевич, не слушая парторга, еще более глухим голосом продолжал:

— Устал. Ужас... И нервы. Расшатались мои нервы: ведь я работаю не покладая рук, за годы войны и дня не отдыхал. Я сгорю на работе. Только и думаю о машинах. У меня нет иных дум.

— Мы не сомневаемся в том, что вы думаете о машинах, иначе и разговаривать бы не стали, — видя Кокорева «рассыпанным», по-человечески вполне сочувствуя ему, проговорил Петр Роличев.

— И я... я так благодарен вам, Петр Ильич... за ваш приезд сюда, — заикаясь, не поднимая головы, говорил Кокорев. — Так благодарен... Мы тут в постоянном, напряженном труде... зарвались. Да. да. Зарвались.

— И заврались, — добавил Лукин, которого всего уже трясло от слов директора.

— Ну вот, слышите, Петр Ильич? — со слезой в голосе произнес Кокорев. — Слышите, видите, до чего у нас дошло?... До недоверия друг к другу. Нам государство поручило завод, а мы как два медведя в одной берлоге... И я... я не знаю, что делать. Я весь издергался. Я уже не человек, а комок нервов. А вчера еще получил окончательное подтверждение, что сын-то у меня погиб... на фронте погиб. Мальчик мой... шестнадцати лет... добровольцем ушел... и погиб. — И Кокорев зарыдал громко, с захлебом, выкрикивая: — Я уже... я уже... я не человек. Я... я чувствую, схожу с ума... и никому, никому никакого дела до этого нет.

Это был удар по сердцу Петра Роличева: он сам потерял на фронте сына-студента — и потому сначала побледнел, затем кинулся к графину, налил в стакан воды и, подавая Кокореву, укоризненно глядя на Лукина, произнес:

— Да что же это в самом деле... в самом деле так растрепать свои нервы... И сын... Да, да. Тяжело. Невыносимо. Знаю. Лечить... лечиться надо... Ваша забота, товарищ Лукин. Ваша обязанность.

У Лукина поднялся весь гнев:

— Он врет! — не в силах сдержать себя, проговорил он.

— Вот это грубо. Грубо и ни к чему, — запротестовал Петр Роличев.

2

В то время как Петр Роличев и Лукин говорили с Кокоревым, в кабинете директора шло своеобразное совещание.

За столом сидела Луиза Брэдли, а против нее в глубоком кресле — Урывкин.

«Луиза Брэдли. Знаю. Но не работает ли она уже у них? И такие превращения бывают», — думал он, сверля глазками статную, всю подтянутую фигуру журналистки, а та, посмотрев во все стороны, спросила:

— Надеюсь, мы одни?

— О да!

— Тогда по-деловому и откровенно. Вы ведь затерянный? Что моргаете, как сыч? В людском потоке затерянный, хочу подчеркнуть я.. И фамилию же себе придумал — Урывкин... Что значит Урывкин? Урвать, стянуть?.. Поскольку я знаю русский язык.

Урывкин побледнел, снова думая: «Какого черта этой вертячке от меня надо?» — и произнес:

— Мелите дальше: директора пока нет, делать нам с вами нечего, ну и чешите язычком.

Луиза Брэдли, пристукнув, положила на стол хлыст, и глаза ее, похожие на васильки, потемнели, казалось они покрылись даже ржавчиной.

— Вы за эти годы прекрасно усвоили жаргон уголовников... Достижение. Но приступим к делу. Вы ведь не русский. Ага. Дрогнул ваш хохолок. Не волнуйтесь: я ваш друг. И могу сообщить вам очень приятную для вас новость: с вашим братом недавно случилось несчастье. Во время автомобильной катастрофы погибла его жена, он сам получил повреждение позвоночника и лежит в гипсе. Никаких надежд на выздоровление, — каждое слово с расстановкой произносила Луиза Брэдли, видя, как то и дело меняется лицо Урывкина.

— А почему — радостная? Умирает, а вы — радостная? — наконец вымолвил он.

— У него же наследников нет... Значит, металлургический завод, принадлежащий вашему брату, целиком перейдет к вам. Разве это не приятная новость? И что вы на это скажете?

Урывкин молчал.

Он думал, он взвешивал, он прикидывал, он испытующе смотрел в васильковые глаза собеседницы и потому не заметил, как открылась дверь маленькой комнаты и в прогале показался Пикулев. Держа в руке револьвер, он мельком окинул взглядом беседующих и скрылся, не прикрыв дверь.

Урывкин вдруг смертельно побледнел. «Ловушка!» — решил он, продумав все, что было сказано Брэдли, и, напуская на себя придурковатость, смеясь, выкрикнул:

— Хе! Завод. Хе! Металлургический. Какой это там черт у меня появился — братец-миллионер! Может, свидетелей пригласить по такому случаю?

— Попов братец ваш, — выпалила Луиза Брэдли и, взяв со стола хлыст, свистнула им в воздухе. — Мне, между прочим, предсказали, что я могла бы быть прекрасной укротительницей зверей.

— Фыр-р-р! Попала небом в палец, ай пальцем в небо. Попов! — с оттенком презрения проговорил Урывкин и сделал движение, чтобы подняться.

Луиза Брэдли молниеносно оказалась рядом с ним, и хлыст со свистом опустился на спину Урывкина.

— Я ведь сказала: могу укрощать зверей, даже пантеру. — И снова села за стол. — А теперь слушайте меня, мистер Попов.

Урывкин съежился, однако подумал: «Злится, значит корня не знает. Попов! Поймала львицу за гриву. А хлыстик, оказывается, не для форса, а вон для чего».

Луиза Брэдли продолжала:

— Ваши сводки о том, какое количество танков за неделю выпускал ваш директор, какое количество самоходных пушек, секрет брони... — все это нам пригодилось. Как видите, я осведомлена. Проект новой грузовой машины нам тоже пригодился. Сведения об изготовлении одной штучки, как принято у вас говорить, тоже пригодились.

«Значит, она не у советских», — мысленно воскликнул Урывкин, но от этого ему стало вовсе не радостно, а, наоборот, грустно: сейчас эта чертова бабочка потянет из него жилы.

Луиза Брэдли снова продолжала:

— Мы вас ценим и потому решили помочь вам переправиться из страны социализма в страну капитализма. — Она громко рассмеялась. — Интересно — из страны социализма в страну капитализма...

Урывкин в эту секунду думал о своем:

«Братец. Скупой, жадный и грязный, как гиена. Хорошо, если отправится к батюшке. А ежели поднимется с постели? Я приеду, а он в силу вошел... и тогда определит меня сторожем на заводе. Нет, в Америку надо ехать с капиталом. Здесь я — при директоре, а там, при братце, зашелудивеешь».

И невольно вслух произнес:

— Безнадежное дело.

— Что безнадежно?

— Здоровье братца, — увильнул Урывкин.

— Уверена, он уже там, — Луиза Брэдли хлыстом показала в потолок. — Вижу, вы согласны... И мы согласны. Но...

«Вот тут-то и начинается издевка», — болезненно подумал Урывкин.

— Но... но вы должны увезти с собой и вашего

нынешнего патрона... то есть директора... то есть Кокорева. Что вы так таращите на меня глаза? Пятно на лице? Чернилами измазалась.

— Может, вы мне прикажете устроить переворот в России и стать во главе правительства, хотя бы временного? — сморщившись, проскрипел Урывкин.

— Мы глупости не предлагали и не предлагаем. Мы — американцы, люди здравого рассудка. Представляете себе: мы голосом вашего директора на весь мир говорим по радио. Это — гениальная пропаганда. О-о-о! Герой! Воин! Создатель победителей-танков. О-о-о! Это капитал... и тогда он входит к вам в компанию, ведет дела металлургического завода... Вы не мотайте головой: вы же не способны вести дела такого крупного завода, а он, Кокорев, талант. И еще к вам в компанию вхожу я. На равных началах: то есть одну треть акций — вам, другую — Кокореву, третью — мне. На равных началах. Я не жадная, но мне надоело писать заметки, статьи, письмишки. Верно, порою письмишко приносит такой же доход, как и металлургический завод. У меня в банках кое-что есть. Но то — мое, это, полученное от вас, — тоже мое: заработала. Согласны? Решено!

— Может, мне еще прикажете вилкой луну пропороть? — пробурчал Урывкин.

— Вам, очевидно, очень понравился хлыст. — Луиза Брэдли вскинула хлыст над Урывкиным.

— Вот что, — заявил Урывкин, поднимаясь из кресла. — Спрячьте-ка эту штучку... не то я кусаться буду — и тогда, смотришь, отгрызу ваш точеный носик... или ушко. Изуродую. Вы что, смеетесь надо мной? Увезти Кокорева. Ведь он коммунист.

— О да, да. Он коммунист. Такие коммунисты нам очень нужны: он без пяти минут... нет, без двух минут наш.

— Ну и возьмите. Попробуйте.

— Надо умело, — уверенно произнесла Луиза Брэдли. — После того, что случилось на заводе, его директором не оставят. Это обидно. Как же? Очень обидно. Но вы его подтолкните.

— Как? — Урывкин зло развел руки, словно собираясь ловить курицу во дворе. — Как?

— Заберите, мягко говоря, у него все секретные документы.

— Они забраны: вы копиям теперь не верите.

— Отлично. Сегодня, как у вас говорят, Кокореву баня будет. Была, вернее: вызвали в партийный штаб. Но завтра, послезавтра ему баня будет, как у вас говорят, на общем собрании. Эх, это такая баня! Вот вы сегодня его и спросите — дома ли секретные документы?.. Как он заскачет, когда обнаружит, что их дома нет.

— Вы не женщина, а сатана.

— Благодарю за комплимент, — ответила Луиза Брэдли и, глянув в окно, заволновалась. — Идет. Отрекомендуйте меня как журналистку...

— Убирайтесь!.. Убирайся из кресла: не любит, когда кто бы то ни было сидит в его кресле. Марш на диван!

Не успели они рассестись, как в кабинет вошел Кокорев, и такой злой, каким его Урывкин никогда не видел.

— Известная журналистка... из Америки, Луиза Брэдли. Ждет беседы с вами, Ипполит Яковлевич, — проговорил Урывкин с дрожью в голосе, уже по одному виду Кокорева определяя, что сейчас он нагрубит этой бабочке и выставит за дверь.

И верно. Луиза Брэдли растопырилась было, как индюшка, и пошла к Кокореву, но тот грубо сказал:

— Не до бесед. Потом когда-нибудь. Урывкин, останься. — А когда Луиза Брэдли, недоумевая, вышла, добавил: — Зачем разнес какую-то гадость про жену Кораблева... про эту... Татьяну Яковлевну?

— Ишь ты, ишь ты! — выпалил Урывкин и зленько посмотрел на директора.

— От Роличева мне попало... за невнимание к Герою Советского Союза. Понимаешь? Вот теперь иправляй: иди к ней, поклонись, расположи, спроси, в чем нуждается... У нас на складе кажется есть это бабье — шелк. Отнеси ей. Живо! Через пять-шесть дней партсобрание. Эти... прискакали... покопаются сна-

чала. Надо к партсобранию все уладить. Ну, поворачивайся!

— Я-то повернусь... только... только... знаете что, Ипполит Яковлевич... Как всегда, одна беда налезает на другую. Эта самая штучка — американочка намекнула мне... слышь, им известен проект новой грузовой машины... и секретные, дескать, бумажки, какие вы прячете там, — Урывкин показал на несгораемый шкаф, — вовсе не там: в пакетиках-то за сургучной печатью простые грамотки.

— Чушь! Иди.

— Не уйду, пока не буду убежден, что все на месте. А как же? Ге! С вами вместе работаю. Пропали секретные документы, а я молчу — на меня все и навалите. Давайте глядеть.

— Чушь! Ерунда! — Но тревога вкралась в Кокорева: он быстро открыл несгораемый шкаф, вынул план новой марки машины и, просмотрев его, сунул под нос Урывкину. — Вот. В целости. Натрепала твоя барынька.

— В целости ли? Я должен, Ипполит Яковлевич, убедиться... словам-то не верить. — И, почти силой вырвав план из рук директора, глянув в него, скрипуче засмеялся. — Кто-то кого-то обманывает... или вы меня, или вас кто-то. Ведь это не подлинник, а копия. Смотрите-ка, подписи инженера-автора нет... Значит, филькина грамота. Пойдите, пойдите, не кидайтесь на меня: я член партии. Кто кого обманул? Вы меня или я вас? Вопрос жизни и смерти, а он кидается. Лучше посмотри-ка, что там еще... за сургучной печаткой.

Кокорев кинулся к несгораемому шкафу, открыл потайной «карманчик», извлек оттуда пакет за сургучной печатью, разорвал, посмотрел — и опустился в кресло, как подбитый, вымолвив только одно слово:

— Пусто.

Урывкин некоторое время стоял в сторонке, смотрел на директора, затем приблизился, ткнул его пальцем в плечо, сказал:

— Ты-то что теперь думаешь? — И сам подумал: «Как жаль, что не взял у барыньки хлыст. Надо бы погонять этого шпингалета по кабинету».

Кокорев дрогнул, будто на него плеснули ведро холодной воды.

— Как? Что? Что это за «ты-то»?

— Да вот, «ты-то» и есть.

— Кто тебе позволил со мной на «ты»?

— Дружба: ты меня на «ты», я тебя на «ты». Оба отвечаем за документики. Дружба. Только ты ведь промолчишь об этом на общем собрании, а я обязан сказать. Как же? Дружба-то дружбой, а ответственность — врозь. А ну! Куда дел? Говори! — И Урывкин, всегда вихляющийся, услужливый, вдруг выпрямился, расправился и, наступая на Кокорева, который, наоборот, весь сжался, произнес: — Говори... или... или кла-няйся в ножки барыньке и просись в Америку.

Кокорев еле слышно простонал:

— Боже ты мой!.. Как все разом свалилось на меня! — Затем поднял глаза на Урывкина и, видя его смеющееся лицо, догадываясь, прокричал: — Это ты... ты змея!

— Нет. Я не змея. Я комарик... А теперь пойду располагать жену Кораблева.

3

Татьяны в домике не оказалось.

Надя, встретив на крыльце Урывкина, сказала:

— Улетела Татьяна Яковлевна... в город Кудряш. Министр дал ей свой самолет. Вас я в дом не пушу. Ну, не пушу — и все. У нас дезинфекция. Боюсь, слизистая оболочка попортится у вас...

Татьяна в это время уже находилась в городке Кудряш, расположенном в южной части Урала. И вот что писала она, заноса в толстую тетрадь:

«Коля. Родной мой.

Тоска моя по тебе гонит меня из дому.

Я вспомнила Василия Ивановича Левченко, с которым мы встретились перед концом войны в партизанском отряде чехословаков. Он в начале войны пережил очень страшное: случайно очутился в ру-

ках гестаповцев. Те его сначала уговаривали, потом били, стремясь склонить на свою сторону. Выручили его Егор Ярцев с товарищами. Но от побоев он ослеп. Вылечился и снова направился к партизанам. Вот ему-то я и дала слово непременно побывать у его родных и у родных Вани Крайнова — юноши, которого мы оба хорошо знали. И особенно настойчиво просил меня побывать у его матери казах Ураз Бузакаров.

Друг наш Илья предоставил свой самолет, и вот я уже второй день в Кудряше.

Здесь мне рассказали страшную историю.

Городок называется Кудряшом, видимо, потому, что весь в кудрявых липах, а может быть, потому, что тут когда-то поселился какой-то Кудряш — забубенная голова. Но жители этим не интересуются. Они заняты другим: одни собирают по берегам реки ракушки, другие на фабрике выделывают из ракушек пуговицы. И все в один голос говорят:

— Ну-у, у нас город промышленный!

Одним словом, городок глубоко мирный, из сосновых бревен, избы с витыми карнизами, палисадниками и пестрыми петухами на трубах. Но на центральной площади, рядом с кафе «Долина роз», говорят, красовался трехэтажный кирпичный «дом специалистов». Название такое очень нравилось жителям городка, и они ревностно относились к тому, кого вселяли в этот дом.

Первым в «дом специалистов» въехал местный доктор Иван Иванович Левченко — отец Василия Ивановича, и жители городка единогласно одобрили такое вселение: Иван Иванович пятьдесят четыре года прожил в этом городке и знал всех, как и его знали все. Многие помнили его еще малышом — вихрастым, шустрым, с задранным носом. А женщины городка помнят его юношей, когда он приезжал на каникулы и щеголял в студенческой шинели по улицам Кудряша. Ах, как тогда у девушек горели глаза и как завидовали ему парни! Но с тех пор прошло больше тридцати лет, девушки давно превратились в мамаш, да и у Ивана Ивановича сыну двадцать четыре года. Все, между прочим, ждали, что Иван Иванович сына сво-

его пустит по той же дорожке, по которой шагал сам. Но сын, Василий Иванович, на первом курсе сделал крутой поворот и через несколько лет превратился в военного политработника.

Жители городка ахнули:

— Да как же это Вася-то у вас? Придется вам уж дочку определить по докторской линии.

— Да, придется, видно, дочку, — ответил Иван Иванович и нежно улыбнулся.

Дочку, семилетнюю Нину, сероглазую, с темно-золотистым клоком волос надо лбом, очень похожую на мать, Иван Иванович любил больше всего на свете.

— Крепко-крепко! — требовала она, стараясь всем лицом приласкаться к его большим ладоням.

— Крепче крепкого, — отвечал он.

— Крепче всех пап?

— Крепче всех пап. А ты как, Нинуха?

Нинуха закатывала глаза и, встряхивая клоком волос, вскрикивала:

— Я тебя крепче-крепче и еще сто раз крепче!

Нина была самая большая радость Ивана Ивановича.

И вот грянула война.

В тот час, когда правительство сообщало о том, что в раннее утро, без предупреждения, гитлеровцы напали на Страну Советов, — в этот час дрогнули миллионы материнских сердец.

— Да-а. Война, — входя в квартиру, проговорил Иван Иванович.

Елизавета Ильинична, его жена, мать Нины и Васи, поправила седеющие волосы и, ничего не ответив, почему-то улыбнулась.

— Вы чего улыбаетесь, матушка? — спросил Иван Иванович. Он в серьезных случаях всегда полушутя переходил с ней на «вы». — Улыбочка ваша к чему? — И тут Иван Иванович увидел глаза Елизаветы Ильиничны, какие-то недвижные, смотрящие куда-то вдаль, через стены квартиры.

Он подошел к жене, обнял ее и тихо проговорил:

— Ведь не один наш. Миллионы поднимутся.

— Да. Да. Я это знаю, — ответила мать, и вскоре

во всех комнатах появились портреты сына: Вася — малыш, Вася учится ходить, Вася — школьник, Вася — юноша. Вася — военный. Портретами этими были увешаны стены, уставлены столы, а мать все откапывала новые и новые. После этого казалось, что во всех четырех комнатах живет только Вася, теперь Василий Иванович.

Ниночка каждое утро обходила портреты и разговаривала с братом на своем языке. За ней шла мать и еле слышно шептала свое:

— Мальчик мой! Мне дорога родина, но так же дорог и ты.

Так тянулись дни, месяцы. От Василия Ивановича с фронта пришло только одно письмо, из которого было ясно лишь то, что он жив, здоров, что очень хочется ему посмотреть на отца, на мать, на маленькую Нинуху.

Больше Вася не посылал писем оттуда — от партизан.

* * *

И еще мне рассказали.

День был зимний, воскресный.

Иван Иванович вышел из палаты роженицы часов в пять вечера. Роды были очень тяжелые, но молодую женщину удалось спасти. Вот так же тяжело когда-то рожала и его жена Елизавета Ильинична. Ох, сколько тогда пережил Иван Иванович! И теперь, спасая эту молодую мать, он все время думал о своей жене и о Нинухе. Ух! Нинуха! Какой у нее золотистый клок на голове! Он всегда говорит с ней так, как будто она большая, а он маленький. И сейчас он придет домой и скажет:

— Что-то уши у меня замерзли, Нинуха.

Она обязательно его поправит:

— Не уши, а уши, папка!

— Нет, уши, — заспорит Иван Иванович.

— Нет, уши!

В таком хорошем расположении духа и вышел из больницы Иван Иванович. Он спустился с крыльца и прищурился: зимнее, яркое, холодное солнце играло

на синеватой снежной парче и резало глаза. На заборе сидели две галки и звонко перекликались.

— Значит, скоро тепло: галки кричат по-весеннему, — проговорил Иван Иванович и прибавил шаг. Ему захотелось даже распахнуться. Но в ту самую минуту, как только он пальцами прикоснулся к пуговицам, где-то в небе заревели моторы.

«Что же это такое?» — подумал он и повернулся, глянув в небо.

Над городком бреющим полетом пронесся самолет.

Иван Иванович еще не успел сообразить, как вдруг самолет взвился вверх над центральной площадью, и тут же что-то грохнуло, что-то рвануло, над площадью поднялся столб щебня и густого дыма.

— Нелепость. Какая-то нелепость, — пробормотал Иван Иванович и кинулся на место взрыва...

Все было сметено.

На центральной площади валялась разорванная на части лошадь и телега без задних колес, трехэтажный «дом специалистов» как-то весь покосился, а кафе «Долина роз» как будто не существовало; казалось, не существовало и дома горсовета, гостиницы, мелких домиков с палисадниками и пестрыми петухами на крышах — все было сметено...

Иван Иванович, не замечая ни разрушений, не слыша ни стонов, ни криков, обеими руками разгоняя перед собой пыль и дым, пересек площадь и вбежал к себе в квартиру, на нижнем этаже. Как обычно, он хотел открыть дверь и протянул было руку, но на какую-то секунду замер от удивления: двери не было, в косяках торчали острые щепы и висела ржавая петля. Иван Иванович шагнул через порог. Дунуло сквозняком, под ногами заскрипело мелкое стекло. Иван Иванович шагнул во вторую комнату. Там на полу, вверх лицом, закинув руки, лежала Елизавета Ильинична, а в углу, будто от кого-то прячась, сидела на корточках Нинуха и стеклянными, мертвыми глазами смотрела на дверь.

Иван Иванович тяжело упал перед дочкой и, протянув руки, застонал:

— Нинка! Нинок! Тебя-то за что?

...Над городом опускались сумерки — зимние, густые, тоскливые. Пахло горелой соломой. Иван Иванович, улыбаясь, что-то бормоча, перебирая пальцами отворот шубы, пересек центральную площадь и свернул на окраину города. Выйдя в открытое поле, он сбился с дороги и зашагал прямо по сугробам. Навстречу ему дул холодный, пронизывающий ветер и трепал на голове Ивана Ивановича седые волосы...

А в самую рань жители Кудряша во главе с представителями местной власти, встревоженные исчезновением доктора, высыпали за околицу. Окоченевшего Ивана Ивановича нашли неподалеку от города. Одновременно с этим на снежных равнинах был обнаружен и немецкий самолет. Как выяснилось потом, фашисты сбились с пути, пронесли далеко в тыл и, видя, что горючее подходит к концу, сбросили бомбы на Кудряш. Затем за городом, в поле, совершили посадку.

Жители немедленно окружили их, не подходя к самолету метров на триста. Фашисты выкинули из кабины белый флаг, очевидно предполагая, что этого вполне достаточно. Но к самолету никто не подошел: люди стояли живой цепью и молча напряженно следили за самолетом. Фашисты вышли из кабины. Их было пятеро. Несколько минут они смотрели на людей, затем начали кричать, угрожая револьверами. Живая цепь не двигалась. Фашисты тронулись в сторону — тогда вся цепь колыхнулась, как морская волна, и подалась от фашистов. Те кинулись в другую сторону — цепь снова подалась. Так длилось до того часа, когда один из летчиков, самый молодой, упал на колени и, протянув руки к горожанам, что-то закричал, видимо моля о пощаде.

— А-а-а! Собаки! — опираясь на дубовый кол, кинул в ответ сторож больницы Егор Иванович Крайнов, мужчина лет шестидесяти. — А-а-а! Собаки! Бросайте свои пугалки. Все одно не уйдете.

Фашисты побросали револьверы, подняли руки вверх, и круг стал сужаться. Люди подходили молча,

сначала в два кольца, потом в три, потом в четыре... Из цепи выделился председатель горсовета. Он шагнул к фашистам, вытаскивая из кармана веревку, намереваясь их связать, но в эту же самую секунду с другой стороны из цепи шагнул Егор Иванович Крайнов. Гордо неся седую голову, он подошел к подполковнику и, вскинув кол, выкрикнул:

— Это тебе за Ниночку, за Ивана Ивановича, за всех сообща! — и со всей силой опустил кол.

Подполковник присел. Летчики кинулись в разные стороны и тут же были все перебиты.

Страшно, Коля, а?

Жили люди, делали из ракушек пуговицы, и вдруг жестокая беда опустилась на них. И как? Как я теперь Василию Ивановичу сообщу об этом?

Ты, Коля, очевидно, уже догадался, что Егор Иванович и является отцом Вани Крайнова. У меня было тяжелое поручение. Сын Крайновых, Ваня Крайнов, удалой гармонист, смелый боец, погиб от руки гитлеровца. Егор Ярцев похоронил его, сняв с него полевую сумку, в которой оказались фотографические карточки и недописанное письмо отцу, матери и сестре Наташе. Я лично Ваню не знала. О нем мне рассказал Егор Ярцев. Видимо, я еще не сознавала, что поручения у меня тяжелые, поэтому своему попутчику пилоту сказала, расставаясь с ним у двора:

— Погодите тут. Через десять-пятнадцать минут вернусь.

— Ну да?

— А что? Передам — и все, — и постучалась в калитку.

Калитку полуоткрыла девушка. Было видно только ее лицо, румянощекое, покрытое пушком. Девушка посмотрела на меня довольно сердито, черные до блеска брови сдвинулись, глаза метнули на меня искры, но тут же, увидав, что я не местная, мягко спросила:

— Вам кого?

— Я с фронта. Видела вашего Ваню.

— Ваню? Мама! Папа! — Девушка бесцеремонно рванула меня за руку и так, не отпуская, ввела в до-

мик, все выкрикивая: — Папа! Мама! От Вани... От Вани!

Первой навстречу вышла мать. Скрестив руки на груди, видимо не в силах вымолвить слово, она стала передо мной и, глядя мне в глаза, замерла. Судя по карточке Вани, он очень похож на нее: то же сращение бровей над переносицей, те же резкие отвороты ноздрей и такая же властность в лице.

Я даже подумала:

«Наверное, она — хозяйин в доме. Ей я и передам печальную весть».

— Мама! Ты что же? Мама! — как бы пробуждаясь, произнесла ее дочь.

— Самовар! — наконец проговорила мать и, подав мне руку, добавила: — Мария Ивановна я. Проходите-ка. Как вас-то звать? Героя поди-ка нашего хотите видеть, Егора? Герой. Шестой уж месяц не выглядывает на улицу. «Вот, говорит, не сдержал я себя. Выскочил раньше всех. Убил не знаю кого». — И тут же Мария Ивановна резко добавила: — А кто его звал, такого злодея, какой ветер занес? Жили мы и без него. А тут прилетел, дома разрушил, людей поубивал-покалечил.

Из-за перегородки вышел старичок. По рассказам, он мне казался огромным, могучим, таким, какими иногда бывают старики дубы. А тут я увидела, что он низенький, сморщенный, и борода у него спутанная.

— Бороду-то расчеши! — крикнула на него Мария Ивановна.

— Борода — что! Вот она и в порядке. — Егор Иванович расчесал рукой бороду. — Душа вот... Душу никакой рукой не расчешешь. Эх! Да ну, ладно. Ваню, значит, видели? — и опустил голову. — Опять ежели его увидите, вы про мое-то геройство ему ни-ни. А-а? Пожалуйста, прошу уж вас. И как я стукнул того, сам не знаю. Понимаете, кол-то прихватил для защиты. Думаю, ежели они на нас нападут, так я хоть колом буду отбиваться. А тут увидел его, офицера, и так во мне все вскипело... и грохнул по башке... Мать! А мать! Ты что ж! Где у тебя самовар,

закуска и прочее? Наташка! Живей! — И, весь преобразившись, стал властным, распорядительным. — А вы раздевайтесь. Раздевайтесь.

Я хотела было полевую сумку, принадлежащую Ване, передать Егору Ивановичу, но тут же подумала: «Погожу. Пускай старики придут в себя, да и Наташу жалко».

Егор Иванович мелким шажком подбежал ко мне и протянул руку к сумке.

«Узнал, — мелькнуло у меня. — Ну, это, пожалуй, и лучше».

— Давайте-ка я ее... Дайте-ка я ее... повешу вот тут, — и повесил сумку у дверей на гвоздь. — Снимайте плащик-то. Эх, Ванюшку, значит, видели? Он ведь у нас, Ванюшка... Невеста у него тут есть — Лиза. Красавица, умница.

Наташа вышла из-за перегородки и в упор посмотрела на отца.

Отец звонко засмеялся.

— Ну, ну. Зашипела. — И сейчас же ко мне: — Наташка все говорит, что Ваня лучше Лизы, а я говорю — Лиза лучше Вани. Девушки всегда лучше парней: у девушек сердце мягче — в этом корень. Если бы у всех на земле такие же были мягкие сердца, как у девушек, так войны бы сроду не было. Поверьте уж мне. — И снова затосковал. — Вы сами подумайте, вырвались, заплутались в воздухе... Что делают? Бац-бац на мирный город бомбы. Э-э-э! Не подумали, что в этом городе женщины есть, дети есть. Нинка есть. Это дочка у доктора, у Ивана Ивановича. И ее ведь убили...

— Это фашисты, папа, — сказала Наташа и ловко вскинула на стол кипящий самовар.

— Фашисты? Понимаю. Да ведь...

— Ты-то страдаешь, хотя убил мерзавца, а не девушку.

— У меня, Наташенька, сердце мягкое, девичье.

— У-у-у. — Мать тоже вышла из-за перегородки. — Мягкое. А как, бывало, начнет жучить Ванюшку, аж у меня по коже мороз.

— Ванюшку надо было жучить: он мужчина.

Жучу его, значит сердце его делаю мягче. А чего ж? Садитесь-ка за стол, — обратился он ко мне.

Откуда, какими путями все это узнается, — неведомо. Но не успели мы сесть по-настоящему за стол, как в комнату вошла девушка — розовая, на вид лет восемнадцати, и кинулась ко мне.

— От Вани? Ну, как он, Ваня?

— Лиза, — намеренно сурово заговорил Егор Иванович, — с нами допрежь надо поздороваться. Чай, я тебе вроде отец, что ль?

— А ну вас, Егор Иванович! — И снова ко мне: — Как он там, Ваня?

Я заколебалась и, покраснев, сказала не то, что хотела:

— Хорошо.

С этой минуты все и пошло у меня шиворот-навыворот. А отец за столом развернулся. Рассказывая о каком-нибудь жителе городка, он передавал его в жестах, движениях, живой интонации, как хороший актер. Иногда он притворялся, начинал изображать из себя самого отсталого, темного мужчину, и тогда поднимался спор между ним и Лизой.

Так мы просидели до поздней ночи. В разговоре часто возвращались к Ване. Я рассказывала, как Ваня играет на гармошке, как его все любят, какой он смелый. И когда я переходила на боевые эпизоды, глаза у матери наполнялись страхом, а отец пристукивал ладонью по столу и выкрикивал:

— Так и знал! Так и знал! Он не из трусов. В меня пошел.

Мать добавляла:

— Хвастаешься. А Ванюшке напиши: хоть война и кончилась, а чтобы он себя берег.

Отец поднимался из-за стола и, расхаживая по комнате, — и откуда только у него появлялся такой суровый голос? — говорил:

— Ежели бы мамыши руководили миром, ни одного героя на свете не было бы. Ну, представьте себе на минутку, мамаша посылает Чкалова на перелет. Что бы она ему приказала? Летай, сказала бы она, верхом на палке, а не на самолете. Оно вроде и летишь, и не

разобьешься. На войну я гляжу против. Да. Считаю, война шутка глупая, человеку совсем ненужная. Честному, конечно, человеку. Жулику — вот кому она нужна. Пойти пограбить, чужое добро отнять. А честному человеку взять чужое добро — это все равно, что женщине в лицо плюнуть. Вот как. Но, с другой стороны, раз на нас кинулись, бей в морду, да так, чтобы ни тому, ни другому не повадно было, чтобы другой не полез. Теперь я про сына буду говорить. Я ему долбил всегда: «Помни, трусость всегда ведет к позорному концу. Всегда. И ты не трусь и не грабь. В огонь надо лезть за честное дело — лезь. В морскую пучину надо за честное дело прыгать — прыгай. А мы страна честная, благородная, значит за нашу страну и надо лезть в огонь и в пучину морскую прыгать».

— Прыгнешь, да и не выпрыгнешь. — Мать посмотрела на Егора Ивановича тоскливыми глазами.

Егор Иванович примолк, в глазах у него тоже появилась тоска, но он тут же встряхнулся и тихо произнес:

— Что ж? Потерять сына — великая потеря. А загнать страну под пяту жуликов, превратить людей наших в рабов есть еще большая потеря. Умереть от пули, конечно, страшно... но еще страшней умереть оттого, что народ от тебя отвернется и трусом назовет.

Я взглянула на полевую сумку, висящую у дверей, и подумала: «Вот сейчас и сказать про смерть Вани», — но меня перебил Егор Иванович.

— Да ведь вот, не погиб Ваня-то: живой поклон с живым человеком прислал. И приедет. Героем приедет Ванюшка. Тогда тебя, мать, в президиум выберут, тебе поклон от всего нашего города, и народ скажет: таких сыновей надо растить, как наш Ванюшка. — Егор Иванович произнес это так трогательно, с такой гордостью, как будто все это уже происходило в городке. Мать смахнула слезы, Наташа сияющими глазами посмотрела на меня, Лиза протянула руки, обняла Егора Ивановича и молча поцеловала.

— Да меня-то за что? — Я, что ль, герой-то? Ванюшка герой, — шутливо откликнулся он и тут же сам привлек ее к себе и поцеловал в лоб. — Э-эх,

вы-ы! Жизнь еще по-настоящему не кусала вас, хоть и ученые. — И ко мне, показывая сначала на Наташу, потом на Лизу: — Наташа — врач. У меня, у больничного сторожа, дочка врач. А Лизок — учительница. У вдовы, работницы пуговичной фабрики, дочка учительница. Да когда такое чудо бывало? Эх!

...Я переваливалась с боку на бок, мучилась и никак не могла заснуть. Мария Ивановна достала чистое белье, новенькое, клинышками, одеяло, положила мне под голову две подушки, мягкие, пуховые. А когда я легла, она, не стесняясь меня, закутала в одеяло мои ноги, погладила по щеке, и тут я поняла, что всю свою любовь к сыну она перенесла на меня... А мне не спалось... Я тихо вздыхала, все думая о том, как мне передать семье печальную весть о смерти Вани... Позже ко мне снова подошла мать и шепотом, чтобы никого не разбудить, спросила:

— Что охает? Ай плохо постелено?

В темноте я отыскала ее руку, положила к себе на голову.

— У меня тоже была мать, — тихо ответила я.

— Для матери дите свое дороже всего. Под сердцем своим ведь она его выносила, дите свое.

Все в доме давно уже крепко спали. Не спали только Мария Ивановна и я. Она сидела на моей постели и что-то тихо-тихо шептала. Так я и задремала. Поздно ночью я очнулась. В комнату вошла женщина. Она под села к матери и в темноте спросила:

— Здесь, что ль, она?

— Вот тут, Екатерина Петровна. Тише. Заснула. Мать свою вспомнила, да и в дороге, видно, намоталась.

И я почувствовала, как другая рука, холодная от уличного воздуха, легла мне на голову, и Екатерина Петровна прошептала:

— Не могла я раньше-то прийти с фабрики. Лизутка забежала, сказала, что от Ванюшки женщина поклон привезла. А я уйти-то не могла.

Коля, родной! Я не могу писать: слезы застилают глаза. У таких чудесных людей гитлеровцы отняли радость..,

За несколько часов мы на быстроходном самолете пересекли казахстанские просторы... и вот мой верблюд идет первым и всему кланяется. Что ни шаг, то плавный поклон. С ним вместе кланяюсь и я — плодороднейшим полям, горячему солнцу, бурным потокам и величавым горам. Справа от нас тянется хребет Тянь-Шаня. Вершины хребта, покрытые ледниками, величаво и гордо блестят на солнце. Нет, они не угрюмые, а какие-то мудро-задумчивые. Они манят, зовут к себе, и поэтому на них смотришь неотрывно, как замороженный. Подножия гор покрыты темно-зелеными травами, выше — дикие яблони, еще выше — сочные, серебристые ели, и еще выше — буро-черные, оголенные пики, а в прогалах пик — голубые ледники.

— Зверь тут много, — поравнявшись со мной на своем верблюде, говорит сопровождающий меня Саке. — Зверь много. Орхар, козел, медведь, барс. О-о-о! А птица? Фазан, куропатка, дрофа, утка все виды, гусь, лебедь. Все есть. Много. А вон, смотри: вор сидит. У-у!

— Вор? Какой может быть в горах вор?

Саке не успел мне ответить, как тот, кого он называл вором, крупными машками, словно через что-то перепрыгивая, пошел к ущелью, и по машкам я определила, что это волк. А из ущелья выскочило не менее десятка диких коз. Они на какой-то миг остановились и тут же стремительно ринулись в горы, вскидывая белыми пушистыми, как веера, хвостами. Волк тоже остановился и, как бы с обидой посмотрев в нашу сторону, вяло поплелся прочь.

— А-а-а, не удалось схватить козел! — обрадованно закричал Саке и, повернувшись ко мне, сердито добавил: — Не люблю вор. Все живут честно — орхар, козел, фазан; а волк — вор, барс — вор. Как и человек — есть честный, есть вор. Что, не верно говорю? — Саке по-восточному загадочно улыбнулся. — Вора надо убивать, нет? Скажешь, лечить? Эге. Волка можно лечить? А есть и человек такой, как волк.

Я пристально посмотрела на Саке, все еще не понимая, к чему он такое говорит. Ему лет под семьдесят, но на верблюде он держится как юноша.

— К чему это ты говоришь, Саке?

— Зачем честному человеку война? Ответь мне. Зачем? Гляди, наш край богатый. Видишь, сколько яблонь-дички. Все горы — яблони. А там еще много-много малины, урюку, груши. О-о-о! А посмотри сюда, в низину. Твой глаз достанет края наших полей. В этих полях все растет. Яблоко растет, виноград растет, пшеница растет, овец растет, коров растет. Все растет. Зачем мне война? Мне надо работать. Много работать. И я буду богатый, сосед мой будет богатый, все будет богатый. Да. Работай только. А-а-а, нет, вор хочет все мое добро воровать — карапчать. Работать не хочет, карапчать хочет, значит его надо убивать, как волк. — И Саке вдруг о чем-то быстро-быстро заговорил на своем родном языке, отплевываясь, выкрикивая одно и то же слово: — Сволочь! Сволочь!

Я засмеялась:

— Саке, я не понимаю — о чем ты?

Саке спохватился:

— Я ругался. Крепко ругался. На фашист ругался. Фашист волк! Да? Нет?

В этот миг через тропу перебежали фазаны — сизые с огненно-красными надглазниками. Это были самцы. Они остановились и, как по команде, вытянув шеи, уставились на нас. Летчик, ехавший на третьем верблюде, вскинул ружье, но Саке крикнул:

— Не стрели: фазан играет.

— Тебе жалко? — спросила я.

— Фазан не вор. Вора стрели.

Летчик убрал ружье.

С гор спускались гурты овец. Жирные, с тяжелыми курдюками, они спускались, пощипывая молодую травку, обгоняя друг друга, переливаясь, как волны-барашки на море.

— Саке! Саке! — заговорила я. — Я хочу видеть чабана. Пастуха!

— Мужчину — трудно. Женщину — можно.

— Разве чабан обязательно женщина?

— Нет. Обязательно мужчина. Но мужчина ушел туда, на фронт, не все вернулись. Муж ушел, жена — чабан стал.

Я повернула верблюда и направилась к гуртам овец. Впереди гурта шли две женщины. Одна из них, прикрыв лицо рукой, в щель между пальцами посмотрела на меня.

— Здравствуйте! — сказала я.

— Здравствуйте, пожалуйста, спасибо! — обе враз ответили они и громко засмеялись.

Ничего не понимая, я повернулась к Саке. Он тоже захохотал, выкрикивая:

— Они по-русски знают только три слова: здравствуйте, пожалуйста, спасибо.

А женщины все смеялись, сверкая карими чуть-чуть раскосыми глазами, и что-то часто-часто говорили на своем языке, все время показывая на летчика.

— Что они говорят, Саке?

— Они говорят: приходи вечером, чай будет, крепкий чай, и ты будешь гостем. Они видят — он военный, значит брат родной. Может, ты увидишь ее мужа, так скажи: жена его хорошо стережет овец от волка. Ого! Слыхал, что говорят наши женщины?!

Я заставила верблюда лечь и, сойдя с него, направилась к женщинам. Они примолкли. Мне показалось, что они примолкли потому, что застеснялись, но в то же время я увидела, что они смотрят в другую сторону, а одна из них проговорила:

— Председатель.

По склону горы скакал всадник, держась так, как будто был влит в седло. У коня по ветру развевалась грива. Всадник сидел чуть-чуть боком и, казалось, совсем не управлял конем. Но вот конь на всем скаку остановился, всадник соскочил с седла, и тут мы увидели, что это женщина лет сорока пяти, смуглая, загорелая. Подойдя к летчику почти вплотную, осмотрев его с ног до головы, она сердито проговорила:

— Шалтай-болтай нет. Наш женщина чист. Зачем пришел?

Это было так неожиданно, что мы растерялись.

— Муж на фронт. Женщина чист. Зачем пришел?

— Марьям Бузакарова, — шепнул мне Саке. — Ты к ней в гости ехала, а она тебе навстречу,

— Марьям, — сказала я, — я привезла тебе поклон от твоего сына Ураза.

Строгое, суровое лицо Марьям дрогнуло, золотистые, такие же, как и у ее сына, глаза увлажнились, и она протянула ко мне руки:

— Ураз! Сын мой! Ураз! А ты прости меня за нехорошие мысли. — И, взяв за обе руки, подвела меня к своему коню. — Садись на коня. Тебе надо на коне скакать. Садись. А я сяду на твоего верблюда.

Я повиновалась ей.

Она привела нас к себе в хату. Хата была саманная, покрытая камышом, довольно мрачная. Нас встретила огромная стая собак-волкодавов, с острыми шипами на шеях. Но когда мы вошли внутрь хаты, нас поразила не только необычность обстановки, но и чистота, опрятность. В передней комнате на полу были разостланы ковры, посередине комнаты стоял круглый стол на низеньких ножках, в стороне — кровать, и на кровати множество одеял и кошм. Мы сели на ковры. Марьям кинула нам две подушки. Мне показалось, она предлагает нам прилечь с дороги, но Саке шепнул мне:

— Садись. Такой обычай: почетный гость должен сидеть на подушке.

Я села. Марьям вышла из хаты, и вскоре послышался во дворе ее звонкий голос. Перед окном вспыхнул костер. Около огня появились две девушки с длинными смоляными косами и стали хлопотливо что-то делать. Вскоре в комнату вошел старик. Он поклонился нам и сел около стола. Следом за ним вошла старуха, низенькая, полная, с вытянутым лицом, и, тоже поздоровавшись с нами, села около стола. Они некоторое время смотрели на нас молча, затем старик заговорил:

— Когда Уразу было шесть лет, отец его Абдильда посадил его на коня. Подхлестнул коня плеткой и пустил в степь. Мужчина должен с шести лет управлять конем. Конь помчался в степь, стараясь скинуть со своей спины мальчика. Но молодой Ураз держался за гриву, и, когда взмыленный конь прискакал к табуну, тут я Ураза снял с коня и сказал: «Крепкий будешь: настоящий мужчина!» Ураз ответил: «Я это знаю»,

— Ого. Откуда он знал, что он будет настоящий мужчина?! — И старик громко засмеялся, показывая крепкий белый ряд зубов.

— Какой он там, на фронте, Ураз? — обратился ко мне Саке.

— Крепкий: настоящий мужчина.

— Ого. Я это знал, — авторитетно заметил старик и, кивнув головой старухе, сказал ей: — Он, Ураз, такой же крепкий мужчина, как и твой сын Абдильда, отец Ураза. — Старик посмотрел на меня и сказал: — Абдильда тоже пошел на фронт — к сыну.

Он обнял старуху и закачался, тихо напевая. Он пел о том, что он, старый Сабит, и его жена, теперь старуха, а тогда молодая Аше, родили на свет Абдильду — сына степей, сына гор. И пока рос Абдильда, кости Сабита и Аше черствели...

— «Живость, струнность наших костей уходили к сыну нашему. Абдильде. Но мы не завидовали ему, мы радовались с тобой, мать, что у нас растет такой могучий сын и сын этот забирает наши молодые силы. Потом у Абдильды появился Ураз... И мы с тобой, старуха моя, опять радовались тому, что наши силы переходят в Ураза. Нынче Абдильда и Ураз защищают степи наши, горы наши, покой наш... и я вместе с тобой, моя старуха, гордо поднимаю голову. — И, повернувшись ко мне, он громко запел: — Ты наш гость. Ты приехала из большого города. Счастливая ты: ты видела самого мудрого человека на земле. Увидишь еще, скажи ему: далеко, в Казахстане, у гор Тянь-Шаня живет старик Сабит Бузакаров и его жена Аше. Нам вместе сто девяносто лет, и мы кланяемся ему, самому мудрому человеку на земле. Скажи!» — Он протянул мне руку, и я еще не успела крепко пожать ее, как он поцеловал мою. Я растерялась. А они втроем запели другую песню — просторную, как степь.

Песню оборвали девушки: внесли и поставили на стол два блюда. В одном лежали куски вареной баранины, в другом — что-то похожее на огромные подсушенные блины. Вскоре вошла Марьям, раскрасневшаяся, помолодевшая, и положила около старика

баранью голову, одновременно ставя на столь огромный кувшин с вином.

Старик вымыл руки, затем огромным ножом очистил мясо от костей, мелко изрезал его, наломал блины, все это перемешал в огромном блюде, полил соусом и взялся за баранью голову. Торжественно отрезал ухо и подал мне.

Саке сказал:

— Кушай. Ты почетный гость.

Старик отрезал второе и подал его Саке.

Марьям разлила золотистое вино, девушки подали ложки. Отпив вина, я сказала:

— За здоровье матери Ураза — за Марьям!

Но за столом все молчали. Девушки взяли было ложки и потянулись к блюду. Старик что-то сказал на своем родном языке, глядя на меня.

Саке шепнул:

— Это кушанье есть биш-бармак, что значит — пять пальцев. Можно кушать и ложками, но сейчас торжественный день, и они хотели бы...

Я не дослушала Саке и поддела пальцами кушанье... За столом раздался взрыв восторга; все потянулось к блюду, ловко поддевая кушанье пальцами.

Марьям пододвинулась ближе и, глядя мне в глаза, тихо проговорила:

— Ты кушай, кушай. Ты друг Ураза. Когда увидишь его, скажи: отец его тоже пошел туда. И еще скажи: мать его работает в колхозе. Эта рука, — она показала маленькую обветренную руку, — эта рука не может держать винтовку, но она может вести хозяйство. Скажи ему: когда народ нашего колхоза узнал, что с фронта приехал его друг, то есть ты, народ сказал мне: «Марьям, возьми дочек своих и иди угощай гостя. Скажи ей, что мы бы пришли все, но надо быть в поле». А ты кушай, кушай!

...Мы уснули, уставшие с дороги, сытно поевшие, выпив порядочный кувшин натурального вина, самовар чаю... Но сквозь сон я слышала, как неподалеку от меня что-то шептала Марьям, то и дело упоминая имя сына и мужа.

...Я открыла глаза. У моих ног Марьям. Глядя

куда-то в сторону, сжимая мой большой палец на ноге, она шепчет:

— Дорогая гостья, родная, как сын, люди собрались в поле. Они зашли, чтобы посмотреть на тебя.

Я быстро вскочила с постели и вышла во двор.

Вдалеке виднелись горы. Солнце играло на пиках, и казалось — оно сходит с гор. А во дворе стояли люди, смуглые, загорелые, и молча смотрели на меня, а я — на них. Так длилась какая-то минута. Молчание нарушила женщина. Она крикнула мне:

— Расскажи нам про Ураза!

Я рассказала о том, как однажды Уразу было приказано переправиться за линию фронта и достать «языка». Он ушел с вечера, утром явился очень пасмурный и сказал: «Я подкрался к часовому ночью, ударил его прикладом по голове, схватил, понес, но увидел, что немец мертвый: такой сильный был удар, что каска вмялась в голову».

Командир ему заметил: «Зачем же так сильно бить! Надо полегче». Ураз ответил: «Я не хотел так бить. Сама рука ударила». — «Ну что ж. Придется послать другого». — «Нет, нет, — запротестовал Ураз. — Я пойду. Я только приклад оберну мешком».

И пошел с вечера. Рано утром видим: Ураз несет «языка». Принес, положил. Подошли, посмотрели — немец был мертвый.

«Мертвый, Ураз», — сказали ему. Ураз растерялся: «Нет. Я его не сильно ударил. Он был живой, когда я его схватил и понес. Но я, наверно, так крепко его сжал, что задушил. Рука отяжелела, товарищ командир».

Так закончила я свой рассказ.

В этот миг, сжав кулаки, вскинулись десятки рук, и люди в один голос крикнули:

— Передай Уразу, у нас тоже рука отяжелела на врага. Но враг побит, и мы Ураза ждем.

А я жду тебя, родной мой Коля.

Ведь идет уже июнь месяц.

Перед вылетом сюда я получила телеграмму от Ивана Кузьмича. Кажется мне, ты ее писал... и я... я сейчас же отправляюсь в Чиркуль».

Июнь ворвался на Урал...

Сосновые леса запахли пряностью кашки, отцветающих завязей шишек, травы погустели, налились сочной зеленью, ранние цветы уже разбрасывали семена, а грачи со своим потомством выбрались из гнезда на сучки, а потом и на поляны...

На них, на молодых грачей, было смешно смотреть: сядет где-либо на просторе, растопырит крылья, трясет и орет, орет, пока мать, исхудалая за время сидки, не положит ему что-нибудь в рот.

— Вот оболтус!

Татьяна после поездки к матери Ураза Бузакарова замкнулась и почти не выходила с верхней веранды, заставленной треножниками, полотнами, красками. Через Надю она знала, что на заводе происходят большие события, видела — Надя взволнована, слышала, как та часто по телефону с кем-то горячо спорила о том, что происходит на заводе... но от всего намеренно отталкивалась.

Сегодня Надя сказала:

— В клубе на собрании поведение Кокорева будут обсуждать. Вы хоть и непартийная, но вас пустили бы.

— Нет, Надюша, я уйду в свой монастырь: отныне оглохну и ослепну ко всем другим делам.

Жизнь начала диктовать ей, художнику, с той же непреложной силой, с какой старость сулит человеку, смерть: не вывернешься.

Веранда обнимала домик со всех сторон, и по ней можно было делать бесконечное число кругов. С одной стороны открывался вид на новый город, залитый морем огней; с другой стороны лежал всегда гудящий, воркующий завод; третья сторона веранды упиралась в елочки, очень похожие на токующих глухарей; четвертая казалась самой красивой: отсюда видно, как громоздится в небо гора Ай-Тулак.

Сейчас Татьяна, нарабоавшаяся за день, сидит именно на этой стороне веранды, укутавшись в шаль.

Сидит и смотрит на то, как причудливо меняются на Ай-Тулаке деревья, обрывы, тропы. Тропы чернеют, напоминая стекающую нефть. Небо становится темно-голубым. Кажется: вместе с сумерками оно спускается на гору, готовое укрыть ее воздушным одеялом, как мать укрывает нашалившегося за день ребенка.

Татьяна смотрит на все это, но сама находится у полотен, прикрытых простынями. На полотнах зарисовки, контуры, наброски... и Татьяна там, в глуши «Нетронутого Урала», в Златоусте, около электропечей, рядом со сталеварами, лица которых возбуждены, покрыты отблесками клокочущей стали. Татьяна там — в городке Кудряш. Бедный Вася! Как ему будет тяжело, когда узнает, что его отец, мать, сестренка погибли. Вообще страшно, когда идешь в квартиру, а пришел — видишь: дома нет, место пустое... Но еще страшней, когда вдруг не стало семьи. Бедный Вася! И это сменяется другим — семьей Крайновых, а затем и родными Ураза Бузакарова.

«Какие чудесные люди! — думает Татьяна. — Я должна написать картину о людях Урала. Трудно? Очень трудно переложить на полотно то, что видела я, что взволновало меня... А надо. Я пока перекладываю на полотно то, что записала в тетрадь». И снова Татьяна оторвалась и мысленно перелетела туда — в Златоуст, в семью Лалыкиных, Крайновых, Ураза Бузакарова.

— Татьяна Яковлевна! — донесся снизу голос Нади. — Я пошла. На собрание. Вернусь — расскажу.

— Хорошо, — ответила Татьяна и подумала: «Как жаль, Коля, что я сейчас же не могу приступить к своей работе: нужен дневной свет».

5

В эти дни и Кокорев замкнулся. Он фактически устранился от руководства, вернее — его устранили, не объявляя об этом в приказе. Сам он, погруженный в собственные болезненные мысли, уже не мог чем бы то ни было руководить, а рабочие, инженеры, начальники цехов к нему не обращались.

Завод работал самостоятельно, как заведенные часы.

Кокорев заперся в маленькой комнатке, и в приемной дежурил молчаливый и весьма мрачный Урывкин, которого беспокоило: «Куда делась эта кукла Брэдли? Попов, Попов! Какой я Попов? Нет, она всего не знает. Но вот покинула меня... И все покинут, крысы. Увидят, мой корабль собирается пойти ко дну, так и убегут, а может, уже убежали: нет ведь ее... который уже день. Значит, спастись надо и мне...»

Так тревожно думал Урывкин.

А в маленькой, полутемной комнатке бегал из угла в угол Кокорев.

...Он в самом деле являлся сыном шахтера, погибшего на баррикадах. После гибели отца его усыновил друг отца телеграфист Симочкин. Его жена, Вера Павловна, женщина большой сердечной доброты, фантастических перспектив, решила Ипполита воспитывать по-новому, «разумному».

— Пусть мальчик развивается вольно. Пусть он не знает слова «нельзя». Все можно. Смотри, Троша, — обращала она внимание мужа, — ему нет и пяти, а как читает! Пусть читает. Все. Все. Пусть читает.

— Но, Верунька, — протестовал Симочкин, — ведь жеребенка и то прежде времени не запрягают в телегу.

— Ах, ты груб: жеребенок — и ребенок.

Ипполит действительно оказался мальчиком редких способностей: в пять лет он уже прекрасно читал, декламировал басни Крылова не только дома, но и со сцены, изумительно для его возраста играл на пианино. И Вера Павловна при Ипполите всем говорила:

— Это растет гений. Поверьте мне — гений.

— Березовой каши ему почаще надо давать, — возражал Симочкин.

— Ах, груб. Ах, какой ты грубый! — обрушивалась на него Вера Павловна.

И вот Ипполит Кокорев вступил в комсомол, затем в партию коммунистов, блестяще окончил институт, стал конструктором моторов, потом директором

танкового завода и теперь руководитель крупнейшего автомобильного завода.

Все шло хорошо.

А тут?

И, останавливаясь посреди кабинета, Кокорев спрашивал вслух:

— Что им надо от меня? Что? Этому Лукину, Роличеву? Что? Завидуют? Хотят меня смешать с толпой, стереть мою индивидуальность? И все это подвешкой: «демократия», «коллегиальность» «коллективизм». Смешать меня можно, но ведь завод зачахнет. Чудаки. Хотят пастуха превратить в состояние любой овцы, которую он пасет. Нет. В моем поведении ничего греховного нет. Я отвечаю за завод. Я им руковожу. Все остальные должны подчиняться моей воле. Меня и прислали сюда, чтобы я проявил волю Центрального Комитета партии... Но... — И тут Ипполит Яковлевич становился маленьким-маленьким, а сердце у него так сжималось, что ему хотелось не просто кричать, а выть. — Урывкин! Урывкин! Какая дрянь оказалась около меня! — восклицал он. — Ведь это он выкрал документы. Он, он. Он! Его следовало бы немедленно арестовать. Но скажи я об этом... сейчас... потребуй ареста его... и... и на меня свалится новая глыба. Тогда я ничем и никак не докажу свою правоту, свою преданность партии, советской власти. Никак! Я этим самым оторву собственный язык. Нет. Я сначала разобью своих противников — Лукина, Альтмана... ну, этот пух... Роличева, министра. Я покажу рабочим, чего мы достигли на заводе, и после этого потребую ареста Урывкина, заставлю добиться у него признания в преступной деятельности.

Вот так, разработав план действий, Кокорев и направился на партийное собрание.

Зал уже был почти заполнен, когда появился Кокорев и, как обычно, сел в первом ряду, на свое постоянное место.

Рабочие, начальники цехов, инженеры входили группами, иные рассаживались в первом ряду, но, увидав директора, вскакивали и уходили на задние ряды.

«Презируют, боятся или уж так Лукин их накачал? — кривя губы, думал Кокорев. — Ничего. Я вас всех, голубчиков, скоро в горсть соберу». Но одному, да еще в первом ряду, сидеть было неудобно, и он хотел подняться и уйти, как занавес раздвинулся.

На сцене за столом, рассматривая бумаги, разговаривали Лукин, Илья и Роличев.

«Видимо, какой-то документ откопали. Ну, на меня ключи подобрать трудно... А не секретные ли это бумаги?» — мелькнуло у Кокорева.

Из коридора в дверях появился Степан Яковлевич. Окинув взглядом людей в зале и смутясь, что поздно пришел, быстро прошел и сел рядом с директором.

Кокорев ухмыльнулся:

«Нарочно подсел... подхалим все-таки».

А Степан Яковлевич весь потянулся, словно увидав рядом с собой змею.

«Ишь ты, в какую компанию попал», — подумал он.

— Есть предложения, товарищи, относительно президиума? — спросил Лукин.

— Партком! Партком! Партком! — закричали со всех сторон.

Лукин проголосовал, сказал:

— Членов парткома прошу занять места в президиуме, — и продолжал: — На повестке дня один вопрос: антипартийное поведение Кокорева.

Зал напряженно задышал.

Напряженно, покрываясь легким потом, задышал и Кокорев.

6

Как раз в этот час на станции Чиркуль из вагона выбрался Николай Кораблев. Он не пошел через вокзал, избегая встреч со знакомыми, а, держа в руке небольшой чемоданчик, торопливо вступил в ворота и, выйдя на привокзальную площадь, чуточку оторопел: когда уезжал на фронт, здесь все было взрыто канавами, колеями, а теперь заасфальтировано.

Сразу же за площадью тянется старый бор.

Отблески предвечернего солнца будто по невидимой лестнице взбираются на верхушки отдельных сосен.

Скрывшись в бору, Николай Кораблев присел на пенечек и только тут услышал, как сильно бьется сердце. Подчиняясь бурному чувству, он опустился на колени, поцеловал землю, ощущая, как из глаз упали слезы, а к губам пристали иглы хвои.

— Я тебя целую, родная моя Таня, — прошептал он, снова усаживаясь на пенечек, и тревожно посмотрел в гущину бора. — А вдруг она куда-либо уехала? А вдруг с ней что-нибудь случилось? Выжил бы я, узнав о ее гибели? Нет, это ужасно: потерять самого близкого человека. Столько лет не видеть его... и потерять в дни победы. Иван Кузьмич передавал, как она кричала: «Это были его, его, его глаза!» — и Николай Кораблев улыбнулся, вспомнив, сколько труда они с Иваном Кузьмичом положили на составление телеграммы. Сначала написали: «Николай Степанович вылетает в Чиркуль». Но, прочитав, оба перепугались.

— Да ведь она, получив такую телеграмму, с ума сойдет, — произнес Николай Кораблев.

— Верно, — подтвердил Иван Кузьмич, — подобное сообщение сразит ее.

И под конец составили ту телеграмму, которую несколько дней тому назад получила Татьяна.

Вспомнив все это, Николай Кораблев вскочил с пенечка и пошел по направлению к заводу, но тут же прошептал:

— Куда? К ней? Вот так, без предупреждения и ввалишься? Да ты что, рехнулся? Представь себе: тебе сообщили, что она погибла, и вдруг она перед тобой. Нет, нет! Надо как-то предупредить ее.

И снова опустился на пенечек.

Так он просидел больше часа, все думая и думая о Татьяне, о том, как с ней встретится и что скажет ей.

Сумерки наступали медленно, словно их кто-то придерживал, а ему хотелось, чтобы тьма разом пала на землю. Но ночь подступала вразвалку: менялись

краски на папоротнике, чернели стволы сосен, кустарник, заполненный тьмой, казался более густым, непролазным, стихали птицы, а ветер, уходя на покой, плавно раскачивал верхушки деревьев. Покачает, покачает и остановится, точно о чем-то раздумывая, затем тряхнет и снова, убаюкивая, раскачивает туда-сюда, туда-сюда. Вот уже поползли по земле предночные шорохи: день стелет себе постель.

7

На резных наличниках лежало лунное серебро. Николай Кораблев стоял перед окнами, вспоминая, как когда-то вместе с Иваном Кузьмичом, Степаном Яковлевичем и Евстигнеем Короновым они в этом домике отпраздновали новоселье.

— Может быть, зайти на половину Ивана Кузьмича? Но там только женщины. Пожалуй, лучше к Степану Яковлевичу. Посоветуюсь с ним, как оповестить Таню, — решил он и постучался.

Настя, не открывая дверь, спросила:

— Кто барабанит?

— Знакомый Степана Яковлевича.

— Мало ли у него знакомых! К тому же его дома нет.

И Николай Кораблев, слыша, как она удаляется, крикнул:

— Да вы откройте! Я и вам хорошо знаком. С фронта вернулся.

— А кто знакомый?

— Николай Степанович, — тихо произнес он. — Только вы, пожалуйста, не шумите.

— Скажите-ка еще раз — кто?

— Кораблев.

— Батюшки! С того свегу, что ль? — И, полуоткрыв дверь, через щелку увидав Николая Кораблева, Настя отшатнулась. — Батюшки! — в страхе повторила она. — Действительно Николай Степанович. Да вы проходите, проходите, — и, маленькая, а перед ним крошечная, осторожно взяла его за рукав, повела в

столовую, удивленно заглядывая в лицо, шепча: — Радость, а и не верится. — А когда он, сняв фуражку, поставив в уголок чемоданчик, сел на стул, Настя тихо спросила: — Да вы что к Татьяне Яковлевне-то? — И более сурово: — Ай другую нашел? Ноне иные с фронта с молоденькими являются. Навоевались! — осуждающе закончила она.

— А Таня здесь? — еле передохнув, прошептал он.

— Тут. Видела я ее. Говорит: «Вечной вдовой останусь», — и слезу ручьем.

Николай Кораблев положил отяжелевшие руки на стол и, глядя на хозяйку, произнес:

— Вот что, тетя Настя, я уж буду вас звать по-старому. Где Степан Яковлевич? Ух, сердце что-то заходит.

— Двенадцатый день на заводе... аварию ликвидируют, — с гордостью произнесла она и заторопилась: — Да что это я балясы-то точу? Чайком угостить вас... яичницу-глазунью... — и, уйдя на кухню, гремя чайником, сковородкой, продолжала оттуда: — Авария у нас большая была, Николай Степанович: народ с завода домой побежал. Ну, уgomонились. И еще — к нам беркута прислали. Ну, просто деспот. Степана Яковлевича уволил. Надо ведь додуматься до этого! И теперь идет партийное собрание... Степан Яковлевич намеревался там истину сказать. Я-то не пошла: недомогание у меня, голова кружится, и доктор велел дома сидеть.

— Вот что!.. — нетерпеливо прервал он. — Бросьте там все... ничего я не хочу. Лучше сходите к Татьяне Яковлевне и приготовьте ее... Ну, понимаете, так осторожно. Ведь если я сразу-то ввалюсь — перепугаю.

— Уж и не знаю как... тут ведь политика да политика. Вот бы Степан Яковлевич, он мастер. Я схожу за ним. Пускай уж истину при себе держит, другие скажут. — И, накинув летнее пальто, идя к двери, добавила: — Вы сами последите за чайником. Заварите и пейте.

Вскоре Настя вошла во двор завода, куда ее охотно пропустил сторож.

На улице стояла уральская духота, поэтому окна в здании были открыты, и через них из зала валил пар и дым.

— Курят, и курят, и курят. Палилы, — недовольно прошептала она. — Мой-то Степан Яковлевич не только не пьет, но и этим не балуется. — Затем взглянула в одно окно, в другое и, видя только макушки голов, взобралась на поленицу.

Стулья, проходы, подоконники — все было занято людьми. Они кучились и у двери, около сцены. Только пустовал первый ряд. На нем восседал один Кокорев. А за трибуной стоял, занеся кулак над головой, Степан Яковлевич и, будто камни, кидал в зал слова:

— Пропасть! Сам директор образовал пропасть между собой и нами. Глядите: он — по одну сторону, мы — по другую. Нормально? Ни в коем случае. Мы готовы ненормальность стереть с лица земли — в этом наша истина, потому что для нас завод превыше всего. Но ведь он не хочет уничтожать пропасть. А мы готовы: для нас всякая канитель — беда. — Гром аплодисментов обрушился на Степана Яковлевича. — Слыхал, товарищ директор? Заодно со мной народ думает. Народ! Народ никогда лжи не скажет.

Кокорев, весь пунцовый, вскочил и оборвал Степана Яковлевича:

— Дайте, наконец, слово для справки. Я выслушал многих, и мне надоела болтовня, инспирированная Лукиным и Альтманом.

— Экий гаденыш! — прошептала Настя.

Из-за стола поднялся Лукин, спросил:

— Степан Яковлевич, вы кончили?

— Да, пожалуй, — растерянно и задумчиво ответил тот. — Пожалуй. Раз он называет то, что идет из глубин наших душ, болтовней... тогда — крышка! — и удалился с трибуны.

— Слова прошу! — снова выкрикнул Кокорев.

— Сейчас мы вам его дадим. — Парторг нагнулся к Роличеву, о чем-то с ним пошептался, затем обратился к собравшимся: — Товарищи! Уже многие высказались, многие собираются высказаться. В списке ораторов такие товарищи, как Варвара Коронова, ин-

женер Лалыкин и другие. Но, видимо, Кокорева ничем не проймешь: после своей плаксивой речи он снова набрался нахальства. Так вот, у нас есть вопрос к директору. Нам стало известно, что у него из сейфа исчезли секретные документы и уже переправлены за границу Урывкиным.

Зал замер.

Люди, как и Степан Яковлевич, после первого выступления Кокорева, по доброте своих сердец, смягчились. Плохой характер у Кокорева. Что и говорить. Но ведь выступил, раскаялся, даже заплакал. Вишь ты, до чего довел скверный характер. Да и то — всю войну не отдыхал. К тому же у него сын погиб на фронте. Молодой, мальчишка еще совсем: шестнадцать лет. Эх, да у кого из сидящих в зале близкие не погибли на фронте: то брат, то отец, то сын, то муж. Много людей погибло за родину. И, конечно, нервы за эти годы у всех растрепало. А Кокорев тоже человек. Грубый. Ну что же. Ведь дал слово исправиться... Вот почему так сердечно выступил Степан Яковлевич, выражая общее настроение. А тут — секретные документы выкрадены и ушли за границу.

И зал, затаенный, притих.

Лукин уставился холодным взглядом на Кокорева и сказал:

— Вы, может быть, расскажете нам, если знаете, о цели встречи в вашем кабинете Луизы Брэдли с Урывкиным, оказавшимся мистером Поповым?..

Все ахнули, затем поднялись невообразимые крики. Руки рабочих потянулись к первому ряду, к Кокореву, к человеку, который их только что обманул своей убаюкивающей речью, и присутствующие уже готовы были растерзать эту маленькую фигурку, как Лукин крикнул:

— Тихо!

Лукин ждал, глядя на Кокорева.

А Кокорев сначала, словно его кто невидимой пикой поразил в сердце, накренился на левый бок, затем повернулся и, падая со стула, громко стукнулся головой о паркетный пол.

Люди выходили из клуба. Следом за ними через открытую дверь вырывался пар. И все возбужденно говорили:

— Вот подлецы!

— Для них народ — быдло.

— Вот и наравались на «быдло»!

— А товарищ Лукин-то... здорово его разыграл. Тот слова попросил, а партторг: «Сейчас мы его вам дадим». И дал!

Раздался хохот.

Настя прошептала:

— И чего смеются... Деспота словили и смеются.

Она отошла в сторону, поджидая Степана Яковлевича, а когда тот появился, гудя: «Ай-ай-ай! Стервец во главе стоял. Ай-ай-ай!» — Настя легонько потянула его за рукав, говоря при рабочих с ним на «вы»:

— Степан Яковлевич, извините уж меня, но такое срочное дело... такое срочное, — и шепотом добавила: — Николай Степанович приехал.

— Да ты что? Какой такой Николай Степанович?

— Тише, Степан Яковлевич. Он сказал: не шуметь. Идите-ка домой. Сидит у нас... Худущий... седой, щеки провалились, а глаза прямо по кулаку. Гневно война-то с ним обошлась.

— Это тебе приснилось — по кулаку?

— По кулаку не по кулаку, а большие.

— Большие и были у него, — все так же недоуменно прогудел Степан Яковлевич.

Николай Кораблев сидел в столовой и весь дрожал. У него дрожали ноги, руки, спина. Дрожали мелко-мелко, точно он прозяб.

— Ну вот, Танюша, скоро мы и встретимся... И как много... как много во мне скопилось для тебя... только для тебя, — шептал он.

Сначала раздался резкий звонок, потом послышался стук. Николай Кораблев открыл дверь и тут же увидел Степана Яковлевича и Настю. Степан Яковлевич почти не изменился: такой же высокий, сухой, с большим кадыком, который прикрывала бо-

родка. Волнуясь, трогая пальцами кадык, он проговорил:

— И то он! А я: «Не померещилось ли тебе, голубушка?» А передо мною и есть он, Николай Степанович.

— Вы проходите. Проходите-ка, Степан Яковлевич. Тут дело-то какое, — хлопотливо заговорила Настя.

— Ну, приму вас в объятия свои, — гаркнул Степан Яковлевич и, обняв Николая Кораблева, почувствовав ответное пожатие, давясь слезами, воскликнул:— Ух! Радость! Вот ведь оно чего!—и хотел было еще что-то сказать, но Николай Кораблев прервал:

— Степан Яковлевич, прошу вас: идите и предупредите Татьяну Яковлевну. Я не могу дольше ждать.

— Айда, Настя! Ежели что, подтолкнешь меня. Конечно, это все надо дипломатически, тонко. Телеграмму-то прихвати с собой. Да. Айда! — и тронулся к двери.

Николай Кораблев снова остался один.

Чайник на плите засвистел, да так и продолжал, словно крича:

— Уберите меня, мне жарко!

...Около домика у подножия Ай-Тулака Степан Яковлевич приостановился и пробасил:

— Дело надо провести, я бы сказал, деликатно. Ты смотри у меня, не ввались. Как только начать-то? Издали ай вблизи?

Татьяна, сидящая на веранде, глубоко втиснувшись в кресло, очнулась от говора у парадного и прислушалась.

— Трудно, конечно, Степан Яковлевич. Да ведь ты у меня разумный. Найди слова такие. Поищи-ка. Вон какую истину на собрании сказал.

— Звони, — решительно приказал Степан Яковлевич.

Татьяна, ничего не поняв из разговора, попросила:

— Надя! Откройте, пожалуйста. Кто это там? — и сошла в столовую.

Первым через порог шагнул Степан Яковлевич, за ним, как подпасок за пастухом, Настя. Степан Яков-

левич осмотрелся, откашлялся, затем огвесил поклон:

— Ну, здравствуйте, Татьяна Яковлевна... и ты, Надек... Да-а-а.

— Что такое? — тревожно спросила Татьяна и, видя, что глаза у Степана Яковлевича хотя и нахмуренные, но ласковые, подумала: «Значит, не с бедой... Этого сегодня так не надо».

— Да-а-а... — снова прогудел он и бухнул: — Вроде сватов мы к вам, Татьяна Яковлевна.

— Каких еще там сватов? Зачем вы нехорошее-то говорите? — возразила Татьяна. — Посидеть пришли — рада я. Сейчас чайком угощу.

— А вот как есть сваты. Даже под матицу сядем. Где она у вас? — И он посмотрел в потолок. — Видно, тут. — Затем, взяв стул, сел под матицу. — Садись, Настя.

— Не надо. Разве можно мне такое говорить? Хотя бы и в шутку, — снова возразила Татьяна, и лицо ее болезненно передернулось.

— До шуток ли? — И, подмигнув Насте, Степан Яковлевич достал из кармана телеграмму от Ивана Кузьмича, затем снова подмигнул Насте, как бы говоря: «Гляди, какой дипломат твой Степан Яковлевич!» — и подал телеграмму Татьяне: — Читайте. И безоговорочно давайте согласие: срочно играем свадьбу.

Татьяна, прочтя, прошептала: «Он жив», — и, оттолкнувшись от стола, пронзительно вскрикнув, точно подрубленная опустилась на диван.

Надя кинулась к ней и, придерживая ее, укоряюще проговорила:

— Что вы наделали, Степан Яковлевич?

Татьяна плакала. Она плакала навзрыд, захлебываясь, всхлипывая, повторяя одно и то же:

— Жи... жив. Жив... Жи-и-ив... жив.

— Пусть выплачется. Радость тоже иногда с ног сшибает, — заключил Степан Яковлевич, убирая стул из-под матицы.

Выплакавшись, глядя на всех просветленными глазами, Татьяна торопливо произнесла:

— Где он? Где? В Штеттине? Я поеду к нему. Министр ведь еще здесь? Попрошу у него самолет... Он даст. Непременно даст. Надя, пожалуйста, сбегайте за Ильей.

— А куда лететь и не надо, — снова бухнул Степан Яковлевич, несмотря на то, что Настя дергала его за руку. — Незачем бежать к министру, некуда лететь, Татьяна Яковлевна: Николай Степанович у нас. Вот я его позову, раз вы приготовились, — и, шагнув к двери, удивленно произнес: — А он как раз тут.

Вначале Николай Кораблев хотел было дожидаться возвращения Степана Яковлевича и Насти, но все эти минуты показались такими длинными, будто годы, и он, забыв о «дипломатах», зашагал по направлению к домику под горой Ай-Тулак. Взобравшись на пригорок, остановился, видя через открытое окно, как Степан Яковлевич сел под матицу, как Татьяна повалилась на диван, затем поднялась, о чем-то заговорила... и, не выдержав, кинулся к парадному, с силой рванул дверь и очутился в столовой.

— Коля! — вскрикнула Татьяна и шагнула к нему, но ноги у нее подкосились, и она опустилась на колени, протягивая руки, ища поддержки у него — только у него.

От волнения не в силах произнести слово, он тоже опустился перед ней на колени, обеими руками обхватывая ее голову...

Степан Яковлевич торопливо шепнул Насте:

— Пойдем, — и вышел из столовой.

На улице Настя хлопотливо сказала:

— Дверь-то Николай Степанович в квартире небось захлопнул, а ключи там... и чайник на плите.

— Откроем! — радостно успокоил Степан Яковлевич. — По такому случаю все можно открыть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

После собрания Петр Роличев, Илья, Лукин, Альтман в парткоме заслушали Пикулева. Тот, сидя за столом, разложил перед собой бумаги и приступил к сообщению, заранее решив не говорить о главном.

— Нам удалось установить, во всех подробностях вражеский разговор Луизы Брэдли с Урывкиным-Поповым...

— Это в то время, когда я вел беседу здесь вот с Лукиным? — спросил Петр Роличев.

— Точно. Если желаете, я могу привести из этого разговора выдержки... Но, думаю, не следует на это тратить время. Луиза Брэдли предлагала Урывкину отправиться в Америку, где находится при смерти его брат, владелец крупнейшего металлургического завода.

— Да ну?! У Урывкина... завод... металлургический? — воскликнул Альтман.

— Чему удивлены? — перебил его Пикулев. — Вы удивляйтесь другому: она же дала указание Урывкину увезти в Америку и Кокорева.

— Неужели он в самом деле передал документы американцам? — спросил министр, тоже внутренне дрогнув, думая: «Вот сволочь... и на меня вина падет! Чего смотрел? Такого врага не распознал! Ведь

сигнал был еще на танковом: видимо, не случайно тогда появилось «самодур».

— Видите ли, в микробиологии есть закон: для всякой бактерии нужна своя питательная среда. Такие, как Кокорев, являются великолепной питательной средой для шпионов, — ответил министру Пикулев.

— Известно, — подчеркнуто и несколько развязно высказался Альтман и этим выдал себя. Он тоже со страхом думал: «А я, поддерживая Кокорева, случайно не оказался ли той же питательной средой? Как прав, как прав тогда был Лукин!» — и посмотрел в сторону парторга, который насупившись сидел в углу:

— Если бы вам, товарищ Альтман, сие было известно, то, я полагаю, вы рядом и то не сидели бы с Кокоревым... Не умаляйте нашей работы, — возразил Пикулев и продолжал: — Из допроса Луизы Брэдли выяснилось, что когда-то в Москве жил «король чая», некто «Попов с сыновьями». В первые же годы революции он вместе с сыновьями сбежал в Америку и там приобрел металлургический завод, — Пикулев так заулыбался, что все его маленькое лицо превратилось в сгусток морщин. — У меня к вам загадочный вопросик: легко чаеоторговцу переключиться на металлургию? Вы, может, опять скажете «это известно»? — обратился он к Альтману.

— А что же? — торопливо ответил тот. — Акции. Ведь капиталисты не руководят предприятием: акции стригут.

— Стригут? И наших простаков порой стригут. — И Пикулев посмотрел на министра, ожидая от него ответа.

Илья, подумав, сказал:

— Капиталисту трудно, а подчас и невозможно такое — от чая к металлу: знание специфики производства играет огромную роль, затем связь в кругах данной отрасли промышленности, торговли.

— Так вот, товарищ Альтман, возможно, что Урывкин вовсе и не Попов, а какой-нибудь пройдоха, носящий другую фамилию... настоящую. А для вас,

видите ли, все ясно. Распутаться в этом мне и поможет Едренкин, товарищ министр. У вас в аппарате работает.

Илья снова побледнел, думая: «Вот, черт побери, и в аппарате окопались шпионы».

— Инженер, — по простецки глядя в глаза министру, говорил Пикулев. — Рвется он сюда. Но время такое: надо достать пропуск на выезд, билет... Ведь правила военного времени еще не сняты. А вы, товарищ министр, позвонили бы да приказали отправить Едренкина сюда на самолете.

— Что ж, если это так надо, — согласился министр и тут же попросил, чтобы заказали Москву, затем обратился к Пикулеву: — А что вы намерены предпринять по отношению к Кокореву?

— К директору? Пусть погуляет да подумает. Он еще не осознал внутреннего краха и рассуждает так: «Программу не только выполнял, но и перевыполнял, документов врагам не передавал, даже соприкосновения с ними не имел. Случилась беда — выкрали секретные документы... Ну, выкручусь». С Кокоревым еще придется возиться да возиться. Он... — И Пикулев смолк, видя как дверь открылась и через порог переступил Степан Яковлевич Петров.

— Прибыл, товарищи, — взволнованно проговорил тот и опустился на старенький диванчик.

— Кто? — спросил Лукин, предполагая, что речь идет о Кокореве.

— Николай Степанович, — ответил Степан Яковлевич, задышавшись и хватаясь рукой за сердце.

Все недоуменно переглянулись, затем сочувственно улыбнулись, как улыбаются человеку, когда думают о нем: «Переработался старина».

А министр, ласково глядя на Степана Яковлевича, посоветовал:

— Вам бы отдохнуть. Езжайте-ка на курорт. Можно и с женой. Я путевки вышлю. Знаете ли, у нас замечательный санаторий в Сухуми. Предоставят вам отдельную комнату... машину прикреплю. Сам все мечтаю туда попасть, но некогда... так я других направляю.

— Да вы что, товарищ министр? Дескать, старик с ума спятил? Истину говорю, вернулся Николай Степанович: сам его к Татьяне Яковлевне отвел.

Рука Лукина потянулась к телефонному аппарату.

— Надо позвонить.

Степан Яковлевич удержал парторга:

— Не тревожьте их: четыре года в разлуке. Шутка!

— Фу-у! — вваливаясь в кабинет, зафыркал Иван Иванович и, всегда степенный, тут вдруг озорно закричал: — Явился! Дорогие товарищи! Явился! А кто?

— Да ведь знаем, — ревниво перебил его Степан Яковлевич.

— Вот я и говорю, — уже радостно подхватил Лукин, — следует позвонить, а мне не советуют.

— Знаете, значит? Очень хорошо. И хорошо то, что он здесь. У меня сердце чуяло — вернется. Не верите? Недавно я Татьяне Яковлевне на вершине Ай-Тулака говорил об этом.

Лукин снова потянулся к телефону:

— Все-таки позвоню. Давно ли он прибыл?

— Часов в двенадцать, — ответил Степан Яковлевич. — А сейчас — скоро утро.

— Кроме того... — вмешался Иван Иванович, произнося каждое слово все так же взволнованно и возвышенно. — Я тоже не рекомендую. Звонил. Татьяна Яковлевна попросила: «Пока не тревожьте: вернулся в худшем состоянии, чем я».

— Да и вообще, товарищи, грех их тревожить. Пусть побудут вдвоем: поплачут, посмеются, порадуются, — произнес Илья и тут же, написав записку Николаю Кораблеву, добавил: — Сейчас все равно не уснешь: все взволнованно. Давайте-ка в цеха! — И, выйдя на крыльцо, глядя на восходящее солнце — чистое, желтовато-яркое, будто только что сорванный апельсин, сказал, обращаясь к Лукину: — Если Николаю Степановичу потребуется медицинская знаменитость, пожалуйста, сообщите мне.

— Ничего. Татьяна Яковлевна вылечит. — И парторг неожиданно потряс за плечи Альтмана. — Вот мы с тобой и дождались директора. Товарищ министр, утвердите Николая Степановича?

— Да уж как-нибудь, — отшутился тот.

Альтман с грустью сказал:

— Надо было нам терпеливей ждать.

— Камешек в мой огород! Я все время торопил: директора да директора нам давай! — с обидой проговорил Степан Яковлевич.

— Ну что вы! — воскликнул Альтман. — Даже мысли такой не было. Одно есть: всем наука.

— Страшная наука, — поддержал Петр Роличев.

— Я виноват... — с горечью проговорил Лукин.

— Многие. Не вы один: полагали, одумается, — обобщил секретарь обкома.

— Вы-то политики. А вот как я поддался — на глазок все стал строить, — сокрушенно произнес Иван Иванович.

— Началось всеобщее покаяние, — уже входя во двор завода, заговорил министр. — А дело не в покаянии. Положено докопаться: почему от него хлестнуло чужим, как сквозняком?

— Чужим? Ведь он из рабочего класса? — осторожно вступился Альтман.

— Рабочий класс — носитель нового. Но разве мало примеров, когда человек вышел из рабочей среды и очутился в стане злейших врагов? Что я хочу сказать? Дурное может незаметно подкрасться к каждому из нас. Украдкой! И вдруг, смотришь, дурной ты. Характер, например. Знаете, куда может завести директора дурной характер? — подчеркнул министр, намекая на Кокорева, вполне веря, что именно «дурной характер» завел последнего в объятия Урывкина. В такое заключение верил он еще и потому, что оно успокаивало его самого.

— А мне вот однажды мой друг Иван Кузьмич Замятин сказал: «Если ангелу дать власть, у него рога вырастут». На что я ответил: «Какой ангел? Умный поймет: народ власть дает, он и отнимает», — добродушно сообщил Степан Яковлевич.

— И потому положено нам ежедневно, ежечасно оглядываться: не растут ли у кого рога... да и у себя лоб прощупывать. Знаете ли, один ученый, когда стал знаменит, сшил себе ремень с гвоздиками внутри.

Как начнут его хвалить, он, чтобы не зазнаваться, ремень нажмет. Нам такие ремни не нужны: у нас есть самокритика, — смеясь закончил Илья и, вступив в цех коробки скоростей, обратился к Степану Яковлевичу: — Ну, товарищ начальник, показывайте дела. Что так смотрите? Вчера мы приказом восстановили вас на старой работе. Мне некоторые доказывали, что вы уволены справедливо: нарушили закон. Я ответил: «По форме правильно, по существу — издевательство». Советский директор послал бы человека к вам на квартиру и заботливо осведомился, что такое случилось с заслуженным рабочим. Вы ведь сверхурочные не получаете, а частенько дни и ночи проводите на заводе. Однако и такого «прогула» не повторяйте больше. Позвоните, записочку пришлите.

— Я не повторяю, — опуская глаза, виновато ответил Степан Яковлевич. — Но тогда кому было звонить? Урывкину, что ль? К врачу пойти — бюллетень мне не дал бы: душевно я заболел, уверовав в смерть Николая Степановича.

— Ну вот и все. Вот и все, — первый подытожил Альтман, и улыбка благодушия, разлившаяся по его лицу, немедленно передалась другим.

Только у Ильи в глазах еще дрожала тревожная грусть. Он думал:

«Им хорошо: на заводе все ликвидировано. А у меня? В министерстве завелся червячок — Едренкин. Ну что же, министерство большое... и червячок может быть. Обязательно может быть, — успокаивая себя, мысленно произносил он, однако тревога нарастала: к Едренкину присоединилась Луиза Брэдли. Это уже не червячок... а гнездо свили. В министерстве гнездо. Ужас-то какой! Здесь-то что — Кокорев? Сняли его — и делу конец».

Так, полагая, что «канитель на заводе ликвидирована» и что руководство заводом теперь перейдет к Николаю Кораблеву, они, с разглаженными морщинами на лицах, даже розовея от утренней прохлады, особенно Альтман, прошли из цеха в цех, видя одно: своеобразную вялость рабочих, объясняя это утренним

часом, когда вообще работа идет в цехах не так, как в дневные часы, а несколько замедленно.

— Типично, — заметил министр, сгоняя с лица хмурь, — в этот час всюду — в цехах, на железных дорогах, в шахтах... да где угодно — люди проявляют свою энергию сдержанно: закон природы.

И никто из них не увидел, не понял основного и главного, как иногда врач, прекрасно настроенный в личном, не замечает, что у больного не мигрень, а опухоль мозга, требующая немедленной операции.

Кокорев же в эту ночь метался по кабинету, неслышно ступая по ковру густого ворса, и только временами, когда заходил за кромку ковра, словно борец за установленную линию, он, слыша стук каблучков, отпрыгивал на ковер и снова бегал, бегал.

Временами останавливался, вскрикивал:

— Нет! Я работал честно: не срывал программы. Наоборот, тысяча восемьсот грузовых машин сверх программы. Ведь это мои машины. Ведь это достигнуто моим умом, моими бессонными ночами. Я работал как вол — вез и вез... спина трещит, а я везу, везу, везу. Они тут без меня работали так, что сгноили завод... Главное — подай на-гора! И подай как можно больше.

И он снова принимался бегать по ковру, нога в котором утопала, как в приболотных весенних мхах.

Порою замирал, словно неожиданно наталкивался на опрокинутую вверх зубьями борону: перед ним вырастала фигура Урывкина, и бывший директор шептал:

— Змея. Дрянь... Да еще какой-то Попов! У меня с ним ничего общего нет: выводы — и я не моргнув выпущу в его поганый лоб пулю... Но... Но он сам выпустил в меня пулю. Да еще какую. Ах, сволочь! Ах, гад! Своровал документы, влетел в петлю... и по пути прихватил меня. Ну, нет! — решительно восклицал он. — Я документы не передавал, связи с мерзавцами не имел, — и снова принимался бегать по ковру, гоняясь за своими быстрыми мыслями, как иногда молодой щенок гоняется за собственным хвостом. — Теперь они возликуют: Кораблев приехал. Нет. Надо

бежать в Москву! — Он боялся, что в приемной, у парадного, дежурит «негласная» стража Пикулева, и потому ошупью — в кабинете было темно — отыскал задвижки, тихо раскрыл раму и через окно юркнул во тьму ночи.

2

Николай Кораблев, поднимаясь наверх, неся на руках Татьяну, говорил:

— Вот так... вот так, родная моя, я желал унести тебя, когда был один. Так я желал всюду.

Вернее, он этих слов не произнес: они промелькнули в его уме, потому что Надя, в ту минуту находившаяся в столовой, не слышала их. Она только видела, как в полумраке лестницы светилась седая голова и колыхалась широкая спина... Вскоре прокатился звонкий, заразительный смех Татьяны. И вдруг разразилось глухое мужское рыдание. Надя в испуге присела на диван, не зная, что предпринять, — позвонить ли Лукину, или немедленно бежать за врачом.

А глухое рыдание все несло, то спадая, то снова нарастая, заглушая женский плач.

Наверху случилось следующее. Николай Кораблев вошел с Татьяной в свой кабинет, усадил в кресло, провел ладонями по ее голове, щекам, как бы убеждаясь, что это действительно она, затем сказал:

— Ну вот, я и около тебя!.. Столько лет... Страшное время, — и в этот миг увидел свой портрет, написанный Татьяной.

Со стены смотрел седоголовый человек. Лицо у него испещрено страдальческими морщинами, щеки впалые, под глазами сине, но глаза карие, большие, зовущие, любящие, предупреждающие... И Николай Кораблев зарыдал. В ту же секунду, обнимая его, заплакала Татьяна, все вскрикивая:

— Такого!.. В лагере я видела тебя! Такого!.. И все время жила тобой. А его нет, нашего маленького Виктора! Нет мамы! Какая ужасная смерть!

Потом все смолкло...

Заря врывалась в окна...

Послышались шаги: по лестнице вниз спускались Николай Кораблев и Татьяна. На нем полосатая пижама и домашние туфли. Глаза у него далекие, седые волосы раскудлатились... Но до чего же он был сейчас красив!

Надя намеревалась было кинуться навстречу ему, поздравить с возвращением, но заметила, что он идет к двери, ничего и никого не видя.

«Может, ослеп!» — подумала она и в страхе попятилась.

Татьяна, весьма оживленная, свернула к ней, на ходу поцеловала, шепнув:

— Он не тутошний, Надюша. Не сердитесь.

— Да что вы? Я просто хотела поздравить, — тихо ответила та, не отрывая взгляда от Николая Кораблева.

— Потом! Потом! — И Татьяна, нагнав мужа, подхватила его под руку, говоря призывно, словно пробуждая его от забытья: — Сегодня твой день; и веди меня! Веди, родной мой! Куда хочешь!

— Туда, где я однажды так тосковал по тебе, — глухо сказал он и открыл дверь.

— Но ведь ты в шлепанцах. Застудишь ноги.

— Я был в лагере-аду и закалился.

Татьяна предполагала, что Николай начнет взбираться на Ай-Тулак, но тот тронулся по извилистой тропе вдоль подножья горы. Через несколько минут они скрылись за выступом скалы, и перед ними влево расхлестнулась обширнейшая заболоченная луговинная долина, местами заросшая диким кустарником, а вправо поднимались гряды Уральского хребта. Сразу же от кромки долины тянулся древний бор, кое-где раздвигаясь, образуя полянки.

— Вот здесь, — произнес Николай Кораблев, показывая на бор.

— Что здесь?

— Был всеобщий праздник. Мы в труднейших условиях не только выполнили программу, но и сверх программы дали четыреста моторов. Товарищ Сталин прислал нам телеграмму, поблагодарил от имени родины и потом мне по телефону сказал, что рабочим

надо отдохнуть. Мы пришли сюда все — с женами, ребятишками, с самоварами...

— И с вином?

— Ну конечно. В ночь вспыхнули костры — сотни костров. Небо, освещенное пламенем, низко спустилось над землей. В зареве летели птицы: они не в силах были пробить окружающую тьму. А на полянах под деревьями всюду группами сидели люди — русские, казахи, татары, узбеки — и пели песни, танцевали, прыгали через пламя. Им было радостно, весело. Я их всех любил и знал: никто не отгонит меня... Но около них не было тебя, родная моя, вот почему я вскоре покинул свой круг и со стороны невольно стал искать тебя среди людей других костров. Вон мелькнуло серенькое платьице, и мне показалось: это ты. Где-то раздался звонкий, заразительный женский смех, и мне показалось: это твой смех. Я бежал на смех и видел чужую. Иногда над костром мелькала изгибающаяся спина, и мне чудилось: это твоя спина... Но тебя не было, и я не знал, где ты, что с тобой.

— С ума можно сойти, — тихо произнесла Татьяна.

— На заре я оторвался от людей и пошел напрямую в лес, в горы, сам не зная куда. Шел и чувствовал: ты растворилась во всем — в этих могучих соснах, в травах, в скалах, в кусках розовеющего глубокого неба... Во всем, во всем была ты, даже в горном озере, на которое я вскоре попал. Оно было тихое, только иногда откуда-то вырывался ветерок и шаловливо шлепал по воде листьями лилий. Я присел на берег и вскоре сам как-то растворился во всем: в этом озере, в лилиях, в камыше, в скалах, в розовеющем небе. Я видел, как из камышей выплыли утки со своими золотистыми шариками-утятами. Потом откуда-то из глубоких зарослей выбрались селезни — робкие, трусливые: на них в это время года нет пера. Утки подплывали к моему берегу и играли с утятами. Никто и ничто не боялось меня, потому что на берегу лежало застывшее существо, сам же я был там — в природе, около тебя, рядом с тобой, в единстве с то-

бой... И вдруг низко пролетел орел. Он летел медленно, поводя головой, издавая клич-клекот. Все живое на озере мигом попряталось. Откуда-то дунул ветер... Я выключился из природы и потерял тебя... Тогда я глубоко вздохнул и, ощутив, как по моему лицу катятся слезы, встал и пошел как слепой.

— Но сейчас я около тебя! — переполненная чувством к нему, проговорила Татьяна и, отделившись от него, выйдя вперед, положила руки на его широкую грудь, а он обеими ладонями сжал ее побледневшее, с затуманенными глазами лицо и еле слышно произнес:

— Да. Теперь мы навсегда вместе.

3

— Сегодня мой день, — проговорила Татьяна, снова проснувшись на заре. — И я поведу тебя на свое место.

Они сошли вниз так же, как и вчера, — он в пижаме, туфлях на босу ногу, она в сапожках, в сереньком платье.

— Вон туда, — выйдя на парадное и беря мужа под руку, проговорила Татьяна, показывая на вершину Ай-Тулака.

Он поднимался по тропе не боком, как Иван Иванович, а ступал твердо: ноги пружинились, в такт шагу покачивалась седая кудлатая голова, и Татьяна, глядя на него, радостно думала: «Какой он у меня сильный!»

Здесь все было покрыто серебристой, отражающей в себе раннюю зорю, росой. Она лежала повсюду: на листьях липы, осины, на иглах сосен, на травах и даже на тропе. А с горы навстречу им сбегала полноводная золотистая река. И когда эта река окутала их, Татьяна увидела, как на спине мужа заиграли лучи солнца.

— Подожди... не поворачивайся! — попросила она и стала тихонько целовать спину, ловя губами трепетные блики.

— Что ты там делаешь? — спросил он.

— Я на тебе целую солнце.

Он повернулся к ней и, засмеявшись, неожиданно произнес: — А я тоже видел твои глаза там... в лагере.

— Ты узнал их? — дрогнув, спросила она.

— Да, я узнал их... Но я хотел убить тебя.

— Но почему же ты уполз от меня? — продолжая свою мысль, вымолвила Татьяна.

— Я признал Бломберга, с которым встречался в городке Бобер, на белорусской земле.

— А-а-а! Теперь я понимаю. — И только тут слова Николая Кораблева: «Но я хотел убить тебя», — дошли до ее сознания, и она, бледнея, спросила: — Коля, за что ты хотел убить меня?

— Ты шла под руку с палачом и походила... как бы это тебе мягче сказать... — Он вприщур посмотрел вдаль на восходящее солнце. — Ты напоминала ветреную женщину.

— То была игра, родной мой. Но разве ты не заметил, я чуть было не кинулась к тебе... И сейчас содрогаюсь: хорошо, что не кинулась, иначе погибли бы оба, сорвалось бы восстание... и теперь мы не стояли бы на этой тропе. Дай мне твои руки! — И, рассматривая изуродованные пальцы, целуя их, прошептала: — Сколько тебе пришлось перетерпеть!..

На вершине Ай-Тулака ветер сдул росу, и потому лбище горы походило на обглоданную кость. Необъятные просторы, гряды убегающих гор — все было залито солнцем, а в долинах еще плавали лебеди-туманы. Казалось, они живые: перемещались с места на место, кучились, то приподнимаясь, то снова падая, прячась в глубинах ущелий.

— Вот здесь мы с Иваном Ивановичем поклялись жить, — произнесла Татьяна. — Он твой самый близкий друг. Хотя нет: лучше меня друга тебе во всем мире не найти.

— А я и не ишу, — ответил он, притягивая ее к себе. — Пойдем... на озеро.

Озеро Мурмышка лежало по ту сторону Ай-Тулака. Одним берегом оно примыкало к горе, другим ухо-

дило в далекую степь. Посередине его то тут, то там виднелись каменистые островки.

Только что Николай Кораблев и Татьяна сошли на берег, как из камышей выскочили гагара и ее птенцы. Гагара приподнялась и низко-низко понеслась над водой, а за ней, еще не умеющие летать, кинулись питомцы, брызжа коротышками-крыльями, будто глиссеры.

Татьяна не выдержала и смеясь закричала:

— Ай-яй-яй! Да куда это вы? Кто вас тронет? Вернитесь!

Вся стайка, отбежав от берега с километр, присела и спокойно поплыла к островку.

— Купаться! — проговорил Николай Кораблев и, потрогав воду, добавил: — Теплая... очень... и соленая. — Он сбросил с себя пижаму и через голову потянул рубашку, говоря: — Давно не купался в уральских водах. Лучше, чем на Урале, воды нигде нет: как будто сила гор через нее передается человеку, — и зашагал, раздвигая уросшие травами, высокие камыши.

На его спине желваками играли мускулы, и Татьяна, видя его таким — сильным, могучим, быстро сбросила сапожки, платье и доверчиво пошла за ним.

Вот кончились камыши. Под ногами оказалось торфяное, мягкое и прохладное, как гуттаперча, дно. Сверху оно покрыто тонким слоем налета, и поэтому на него ступать было еще приятней.

Взяв за руку, Николай Кораблев повел жену дальше. Иногда им на пути попадались водоросли, растущие густыми пучками. Их отдельные побеги походили на змей. Он не решался ступить в заросли и вел Татьяну, обходя их.

Вскоре они очутились почти на середине озера. Во все стороны далеко тянулась водная гладь. Временами по ней пробегал ветер, чеканя ее. Здесь Николай Кораблев, вдруг ухнув, окунулся с головой, пробуждая Татьяну из той задумчивости, в какую впадает человек от необыкновенной обстановки. Она дрогнула и тоже окунулась, а вынырнув, зашлепала ладонями по воде, крича:

— Блины! Блины! Пеку блины! — И голос ее понесся над озером туда — к камышовым берегам, к подножью Ай-Тулака.

Николай Кораблев вскинул ее и губами придавил крик. Ощувив что-то необычайное, она на миг смолкла, затем, увидав, что муж лег на спину и течение относит его, шагнула к нему, подсунула под него руки, чуть приподняла, изумленно произнеся:

— Легонький!.. Какой ты легонький!..

Потом они, задумчивые, вышли на берег, оделись и, отойдя в лес, на полянку, легли в густые травы...

Прошло часа два, а они, никем не тревожимые, все еще спали.

Татьяна проснулась первой и посмотрела на мужа.

Он лежал, широко раскинув богатырское тело, мерно дыша, только чуть-чуть подрагивали его сомкнутые ресницы. Правая рука его находилась под головой Татьяны, а левая отброшена, словно он собирался кого-то ударить.

Татьяна осторожно провела ладонью по его щеке, затем так же осторожно поцеловала кончик носа, потом мочку уха, но уже более настойчиво, желая этим разбудить мужа, потому что солнце уже скрылось и с озера потянула зябкая прохлада.

Он проснулся, повернулся к ней, обнял и неожиданно сказал:

— Есть хочу.

— Миленький мой, кушать захотел! Ну пойдем... пойдем, я накормлю тебя! — обращаясь, как с малым, произнесла она, помогая ему подняться.

К домику они добрались уже в поздний вечер.

4

Весть о прибытии Николая Кораблева быстро долетела до Московского моторного завода, оборудование с которого было эвакуировано на Урал в начале войны, и первым вернулся на Чиркульский автомобильный завод Вася Ларин. Он пришел в формовочный цех и, стыдясь при людях стать на свое место,

некоторое время тайлся в темном углу, поглядывая на землю коричневатого цвета, как смотрит голодный на приготовленный стол.

Земля!

Нет, это не та земля, по которой ходят люди, которую они пашут, роют, добывая из ее недр металл, уголь, нефть. Нет. Это совсем другая земля: она создана руками человека. Часть ее, например желтую глину, привезли за триста километров, другую часть — особый песок — из далеких специальных карьеров. Затем все это на заводе прогнали через сита, добавили льняного масла, угольного порошка, потом все перемешали, перетерли, и только после этого она стала такою, какой была сейчас: с рыжим отливом, а в руках скрипит, точно шелк.

Вот по такой земле и по коллективу, по своим ученикам и ученицам стосковался Вася.

Когда он, в пиджаке, но без рубашки, грязный, серый от бессонных ночей, приехал в Москву и вскоре ввалился в комнату, жена Груня, встретив его на пороге, ахнула. Ахнула и пала на его обнаженную грудь, произнося только одно:

— Васенька! Солнышко мое!

Сынишка Никита еще спал. Он добирал четвертый год: родился в день объявления войны. Тогда был еще совсем маленький: уставит глаза в потолок и, не мигая, смотрит, смотрит. А теперь? Вон от шума проснулся, поднялся в кровати, протер кулачками глаза и, видя, как мама обнимает кого-то, целует чье-то грязное лицо, вдруг по-своему возревновав, крикнул:

— А я? А мне?

— Никитка! — сквозь радостные слезы проговорила Груня. — Это папа! Приехал твой папа!

Она изо дня в день, из часа в час говорила ему про отца, — вот почему он перекувырнулся в кровати, затем перевалился через решетку, блеснув заднюю, и, топая босыми пятками, кинулся к отцу.

Но папа? Какой он, папа! Выставил вперед руки, загнул ладони и сказал:

— Потом, Никитка! Умоюсь. Видишь, я грязный.

И мама стала мыть папу в корыте, в котором папа никак не мог уместиться, и все смеялся, говоря:

— Перерос, Грунечка, перерос я корыто!

Никита топтался около, иногда пальчиком тыкал отца в спину и тянул нараспев:

— Па-а-апа! Большой па-па-а-а!

Груня знала доброту мужа — он всегда и всем делился с товарищами — и тут подумала, что, наверное, кому-то по дороге отдал рубашку. Не упрекая его, а даже как-то поощряя, подавая запасную рубашку, ласковым голосом спросила:

— Кому рубашку-то подарил? По дороге, что ль?

— Нет. Еще на заводе... сползла с плеч. Не носить же один воротник? У нас там Попрыгунчик: не нам, а с нас рубашки дерет, — сказал Вася, подготовляя жену к объяснению.

Так он два дня прожил около Груни и сына. Ел, пил, спал, играл с Никитой, ласково посматривал на Груню, но иногда в глазах у него появлялась мутная грусть: «Живу на волчьих правах, — думал он. — И куда пойду? Сбежал. А стыдно-то! Обратно махнуг? Ну, Попрыгунчик, наверное, на всех перекрестках меня вдребезги разнес. Заставит канавы чистить».

Вскоре к нему зашел его друг, тоже сбежавший с завода, и сообщил:

— Николай Степанович Кораблев вернулся... на завод. Вот как.

— Ну-у! — И Вася все рассказал жене.

Та даже всплакнула.

— Да как же это ты — нож в спину государству, Васенька? И себе позор. А я ведь думала, в отпуск ты

— Поедем. Забирай Никиту и поедем.

— Да я бы с радостью, только жить где будем?

— На горе. Землянку построим и будем жить, как на курорте. А осенью помещение непременно дадут. — И, увидев, как жена осматривает вещички, добавил: — Ничего. Соседи сберегут. Поедем.

Жене Вася достал пропуск, билет, сам же прицепился к товарному поезду, затем на одной станции прилип к скорому, потом к паровозу и прибыл на станцию Чиркуль на два дня раньше Груни. У под-

ножья Ай-Тулака он вырыл землянку, украсил ее сосновыми ветками, смастерил широкую деревянную кровать, полочку для посуды, стол, вставил окно — «византийское», выпросив его у Ивана Ивановича, перетащил из барака вещички, купил на рынке зеркало, портреты, все это развесил — и получилось хорошо: было чисто, пахло сосной и землей.

Встретив Груню и сына на станции, Вася отвез их в землянку и тут в шутку сказал:

— Вот — дворец имени моему.

Груня ласково улыбнулась:

— Для меня с тобой, Васенька, везде дворец!

Проспав в этом «дворце» ночь (а спали они крепко, особенно Никита), Вася рано утром отправился на завод и, никем не замеченный, пробрался в формовочный цех. Подождав смены, в перерыв, когда в цехе никого не оказалось, он стал на свое место, затем опустился на колени, обеими руками сгреб землю и сжал ее так, что она захрустела.

5

А в кабинете Альтмана шла своя работа: здесь Пикулев днем и ночью распутывал тугой клубок.

Временами казалось, что дело закончено: Урывкин-Попов — шпион. Но у Пикулева в душе все росло и росло подозрение: он после каждого допроса все больше и больше сомневался в том, что старик Попов поменял торговлю чаем на металлургическое производство.

— Что-то я не верю в это. Не верю, — и снова принимался распутывать тугой клубок. — Скажите, вы видели металлургический завод Попова? — задал он сегодня вопрос Луизе Брэдли. .

— Нет, — ответила та.

— А на основании чего вы сообщили об этом Урывкину? Будем пока звать его так.

— Так мне сказал его старший брат.

— Где вы с ним в последний раз встречались?

— В Китае.

— А после автомобильной катастрофы?

— Он мне прислал письмо.

— И подписался Попов?

— Да.

— А не обманул он вас?

Луиза Брэдли считала себя самой даровитой шпионкой в мире и потому обиженно вскинула голову:

— Ну, меня обмануть трудно!

— Положим! — усомнился Пикулев, одновременно думая: «Наверное, эту бабу надули!» — и снова задал вопрос: — А скажите, Урывкин бывал в Москве у Дэвинсона, вашего знакомого?

Луиза Брэдли задумалась и, решив окончательно утопить того, чтобы хоть как-то выгородить себя, решительно заявила:

— Да. Два раза. Первый — в начале войны, второй — совсем недавно, перед поездкой сюда.

Вызванный Урывкин, услышав такое, взорвался:

— Ложь! Мерзавка!

— Не бранитесь, — грубо прервал его Пикулев. — Бранные слова не доказательство. Чем вы можете опровергнуть то, что говорит Луиза Брэдли?

— Я ни разу не был в Москве.

— Ну уж, — и Пикулев впервые засмеялся. — Вы были в Москве, когда Кокореву поручили эвакуировать танковый завод на Урал, и второй раз, когда его назначили директором вот сюда.

Урывкин сбился, поняв, что произнес глупость, и снова выкрикнул:

— Я хотел сказать: ни разу не был в Москве у какого-то неизвестного мне Дэвинсона.

— Другой разговор, однако и это не доказательство. — Пикулев порылся в папке и, достав оттуда письмо, издали показав его, спросил: — Ваша рука? — Урывкин долго молчал, будто его наглухо придавило глыбой: с него полил обильный пот, крупными каплями он вдруг выступил на щеках, на носу, на губах и струйками покатился на горло. — Ваша или не ваша? — Пикулев сказал с нажимом: — Вы уверяете, что Луиза Брэдли лжет, но ведь в этом письме вы пи-

жете в Америку своему брату, что вам «все в Советской стране опостылело», что вы уже «три раза были у мистера Дэвинсона».

— Как к вам попало письмо? Оно мною было написано в минуту раздражения. Это — мое черное пятно, — под конец вырвалось у Урывкина.

— То, что это — черное пятно, нам понятно, а в какую минуту писано — в минуту ли раздражения, или радости, — нас не интересует.

— Я вас ненавижу!

— Вы повторяетесь. — И Пикулев обратился к Луизе Брэдли: — Вы не знаете, под какой фамилией работает в министерстве Дэвинсон? — Та замялась. — Ну, тот, от кого вы узнали, что Урывкин — не Урывкин и что он находится вот тут, на заводе?

Луиза Брэдли, как опытная шпионка, видела, что перед ней не простачок следователь: вон какое обличительное письмо достал.

— Трудная фамилия, — не сразу заговорила она. — Редкая... Такой — глаза большие серые, лицо бледное... особенно бледный лоб. Красивый мужчина.

— Нас не интересует красота, интересует фамилия... Вспомните.

Луиза Брэдли улыбнулась.

— У вас иногда так ругаются... Вспомнила. Едренкин. Едренкин — инспектор.

— Знакомая фамилия. — Пикулев засмеялся, косясь на Урывкина. — Вы через него передавали сведения за границу и через него получали мзду. Делились ли с Кокоревым?

— Я ничего не получал... Я как патриот... — воскликнул Урывкин и сам даже застеснялся, очевидно, первый раз в жизни.

6

На следующий день к вечеру на аэродроме приземлился самолет, из которого вышел Едренкин. Все на нем было с иголочки и все заграничное. Заграничное пальто-клевш, фетровая шляпа, заграничные ботинки-утконосы, заграничный костюм и галстук. В левой

руке он держал палку с позолоченным набалдашником, в правой — небольшой и тоже заграничный чемоданчик.

Едренкина встретили Лукин и Пикулев, чему тот удивился.

— Да что же это вы, товарищи, я бы и сам добрался.

— У нас дело. Большое. Ипполит Яковлевич заболел и сказал, что надо вызвать вас... чтобы вы помогли. Вы ведь инженер и хорошо знаете автомобильное производство, — пояснил Лукин.

— Еще бы: пятнадцать лет вожусь с автомобилями. Но как Кокорев мог показать на меня, он ведь меня лично не знает.

— Министр подсказал, — буркнул Лукин, усаживая в машине рядом с собой Едренкина.

— В заводоуправление! — приказал шоферу Пикулев.

— Нет, — чуть-чуть дрогнувшим голосом возразил Едренкин. — Вы сначала заведите меня в гостиницу... Зачем я буду таскаться с чемоданчиком?

«Значит, что-то везет», — догадываясь, подумал Пикулев и тоже возразил:

— У нас весьма срочное дело. Через полчаса мы вас отправим в гостиницу: номер заказан, и самый хороший — люкс. После полета ведь надо отдохнуть. Наверное, качало?

— Да. Особенно над самарскими степями: воздух разреженный... самолет иногда падал метров на двести — триста.

— Ну, вот видите. Мы все понимаем, — согласился Лукин.

Машина подкатила к парадному заводоуправлению.

Пикулев вышел первым, и, взяв под руку Едренкина, помогая идти по ступенькам, заговорил:

— Чудесно. Мы вас недолго задержим. Только познакомим ближе с директором. Он, видите, больной и из кабинета не выходит. Такая забота, такая забота о заводе... Просто не знаем, что с ним делать. И вы помогите уговорить его: пусть едет на курорт.

— Да, пусть едет на курорт, — авторитетно заявил Едренкин, крепко держа в левой руке чемоданчик.

— В самом деле, пусть едет на курорт, — заботливо сказал Лукин.

Войдя в кабинет, Пикулев вырвал из рук Едренкина чемоданчик, торопливо произнеся:

— Давайте, давайте. Вам он мешает. Раздевайтесь, пожалуйста. Познакомьтесь.

Едренкин сначала увидел Урывкина с протянутыми к нему руками, и еле заметный румянец вспыхнул на его белых, крепких щеках. Затем, глянув на чемоданчик, сокрушенно вздохнул.

Это уловил Пикулев и как бы между прочим спросил:

— Ах да... а как ваша фамилия?

— Едренкин, — ответил тот. — Вы же знаете... К чему такие шутки?

— Нам шутить некогда. Это вы занимаетесь шуточками, — кинул Пикулев, оглядывая чемодан. — Заграничный. Ловко делают там чемоданы!

— Не откроете, — покачнувшись, вмешался Едренкин.

— Тогда дайте ключ.

— Забыл в Москве.

— Ну ладно. Откроем как-нибудь. Да, кстати, ваша настоящая фамилия?

— Едренкин же.

— Не клеветецте на себя: Едренкин — спекулянт. А ваша фамилия? Забыли? Так Луиза Брэдли напоят. Она здесь.

— Не надо! — умоляюще закричал Едренкин.

— Ну вот, видите, мы вам хотим помочь, а вы «не надо», — улыбаясь, сказал Пикулев и, достав из кармана перочинный нож, осторожно стал отпарывать дно чемодана, приговаривая: — Экое несчастье: забыл ключ в Москве, забыл свою фамилию. Не беспокойтесь, я кожу не попорчу. Разве можно портить такую культурную ценность! Ведь это не чемодан, а культура! Так вы забыли не только ключ, но и свою настоящую фамилию? Пригласить Луизу Брэдли?

— Не надо! — снова взмолился Едренкин.

— Почему же не надо? Ох, что это? — Из чемодана на стол вывалились пачки американских долларов. — Не в министерстве ли вам все это дали? — как бы перепуганно спросил Пикулев.

— Там, — еле выдавил Едренкин.

— На какой же предмет, господин Дэвинсон? Ага! Теперь вы знаете свою фамилию!

Едренкин сделался совсем белым, даже каким-то мутно-прозрачным, а Лукин, не сдержавшись, насмешливо произнес:

— Америкэн?! Ну!

— Да-а. Самый настоящий янки, — подтвердил Пикулев, следя за Едренкиным. — Дэвинсон да еще Хьюз, — и, как будто ничего не случилось, задумчиво спросил: — Не понимаю: на какой предмет послали доллары?

— Я все скажу... все... но...

— Ага. Понимаю. Вы боитесь Луизы Брэдли: она о вашем поступке передаст в Америку, и там те, кто послал вас в Советский Союз, прихлопнут ваши денежки в банке.

И Едренкин, потоптавшись, вытягивая из себя слово за словом, рассказал о том, что существует организация по отправке «бывших» людей в одну из капиталистических стран.

— Нам, господин Хьюз... А может, у вас другая фамилия? — вдруг спросил Пикулев.

Едренкин позеленел, затем вскрикнул:

— Не-ет! Это моя самая настоящая фамилия.

— Ну ладно. Это посторонний вопрос. То, что вы рассказали относительно отправки «бывших» людей, нам все это известно. А на каких ролях вы?

— Так, сбоку припека.

— Ишь ты! — И, повернувшись к Лукину, Пикулев захохотал. — Сбоку припека! Ишь ты! — И снова к Едренкину: — Ну, а если вы «сбоку припека», тогда откуда же вам известен Урывкин? — У Пикулева заискрились глаза; казалось, они вот-вот брызнут смехом, тем смехом, который сбивает с ног врага.

Едренкин смешался, присел, потом встал, потом посмотрел на дверь, на окно. Лицо у него постарело, большие глаза стали стеклянными и до того мутными, будто искусственными.

— Молчите? Вы думаете, мы так вам и поверили, что эти доллары прислали из министерства? Нашел глупеньких? Ну, не финтите! — прикрикнул Пикулев. — Выкладывайте! Сразу все на стол. Зачем привез доллары? Умел блудить — умеи отвечать... Хьюз! Какой ты, черт, Хьюз! То — Хьюз... то — Едренкин... а потом черт знает кто! Это твоя кличка в организации — Хьюз. А ты не Хьюз, а хлюст! — И Пикулев, впервые за дни следствия, выскочил из-за стола и, маленький, как взъерошенный воробышек, забежал по кабинету, затем остановился, прикрикнул: — Ну, Едренкин! Такая фамилия больше к лицу. Или я позову Луизу Брэдли.

— Не надо! — со страхом воскликнул тот.

— Тогда говори сам.

И Едренкин рассказал, что доллары присланы для Урывкина, который собирался бежать в Америку через Сибирь.

— Но доллары велено передать при условии, если с ним отправится в Америку и Кокорев.

7

Николай Кораблев и Татьяна все это время — а прошло уже больше двух недель — были отгорожены от внешнего мира людской заботой. К ним в домик никто не заходил, не звонил: все знали, что они не виделись с первого дня войны, оба многое перенесли на фронте, в тылу Германии и что по закону Николаю Кораблеву положен двухмесячный отпуск. Но вчера, поздно вечером, когда Кораблевы вернулись из очередного путешествия, Татьяна, готовя ужин, глянула в окно и, отшатнувшись, позвала:

— Коля! Коля!

Тот сбежал вниз и, видя, как она вся содрогается, обнял ее.

— Да что ты, Танюша? — спросил он, осматривая углы комнаты. — Наверное, опять жук. — Он знал: она, смелая во многих делах, даже дерзкая, почему-то боится жуков.

— Нет! Я видела... в окне... страшное лицо, с толстыми губами.

— Может, почудилось?

— Ой нет! Я с этим уродом встречалась в Ливни. Он привел карательный отряд вместе с Гансом Кохом.

Николай Кораблев вспомнил ту минуту, когда его года три тому назад кто-то у парадного ударил молотком по голове, и вдруг перед ним замелькало уродливое лицо Петра Завитухина. Он, подойдя к телефону, позвонил.

В трубке послышался звонкий, радостный голос телефонистки:

— Николай Степанович! Поздравляем с возвращением! Очень рады! Все рады!

Он взволнованно повернулся к Татьяне:

— Слышишь?.. — И опять в трубку: — Мне бы товарища Лукина. Где? В парткоме? Соедините, пожалуйста. — И через какие-то секунды заговорил: — Здравствуйте, Юрий Васильевич. Да. Я. Дело у меня к вам вот такое: нет ли фотокарточки Петра Завитухина?

— Наверное, есть. А вам зачем?

— Татьяна Яковлевна хочет посмотреть. Пришлите, пожалуйста.

Минут через двадцать прислали фотографию Петра Завитухина... Татьяна глянула и, снова бледнея, еле слышно произнесла:

— Он. Такое лицо забыть невозможно. Смотри: низкий лоб, широкие ноздри, толстые губы и глаза — преступные.

— Значит, он был там... в Ливни?

— Да. И отправился куда-то на немецком танке.

— В качестве проводника? Понятно.

Николай Кораблев написал Лукину:

«Татьяна Яковлевна утверждает, что Петр Зави-

тухин был в Ливни в начале войны. Привел карательный отряд. И я теперь ярко вспомнил, что именно он тогда ударил меня молотком по голове».

...А сегодня, не дожидаясь конца обеда, Татьяна поднялась из-за стола и, сияя, тихо произнесла:

— Коля... нас трое.

Николай Кораблев вскочил, привлек ее к себе.

— Родная моя!.. Спасибо!.. И береги — сын или дочка. Береги. — И, глядя куда-то очень далеко, как бы про себя сказал: — Бедный Виктор!.. Бедная мама!.. Ну, мы ведь их никогда не забудем. А теперь? — он выпрямился. — А теперь пора выходить в мир.

У Татьяны навернулись было слезы, но она сдержалась и радостно спросила:

— Звать?

— Звать.

— Вечером? Кого?

— Кого хочешь: ты хозяйка.

— Всех?

— Открой дверь — пусть идет кто не брезгует нами.

8

Татьяна хотела было сама наладить стол для гостей, но Николай Кораблев запротестовал:

— Нет. Ты еще успеешь. Надя, Петр Петрович здесь?

— Повар-то? Здесь.

— Вот его и надо попросить. Пусть каждый занимается своим искусством. А мы с тобой, Танюша, еще раз на Ай-Тулак! — Он надел серый костюм, резко пахнувший нафталином, полуботинки, которые за эти годы, лежа в чемодане, ссохлись, и подхватил Татьяну под руку...

Он вел ее совсем иначе, нежели вчера: обходил канавки, рытвины, мелкий кустарник. Он вел ее так бережно и осторожно, что казалось: она была переполнена чем-то неоценимо-драгоценным — и он боялся, как бы это неоценимо-драгоценное не расплескаться. Она, радостно смеясь, прошептала:

— Ты уж очень нежно сегодня ухаживаешь за мной.

— Ведь вас двое... и любовь моя удвоилась.

Она задумалась, затем тихо спросила:

— А ты его любишь?

— То, что во мне, не вмещается в слово «любишь». Я бы мог сравнить «любишь» вот с этим овражком, а то, что во мне, — с Ай-Тулаком: не уместить Ай-Тулак в овражке.

Они еще не успели подняться на половину горы, как в домик прибыл главный повар Петр Петрович, а с ним девушки в белых халатах и голубых косынках. Петр Петрович был не толст, хотя полнота уже одолевала его: румяные щеки вздулись, как хорошие пышки, уши начали тонуть в жирке, талия пропадала, но он еще быстр на ногу и проворен, как медведь.

— На сколько персон? — требовательно спросил он у Нади, знающе осматривая столовую.

— Да, на сколько, Петр Петрович? А кто знает: кто придет, тот и придет.

— Угу. Значит, по-русски: ворота открыты. Люблю. Ну «чёрты»! — так ласково он окликал девушек, когда находился в высшем поварском возбуждении. — Ну, «чёрты», раздвинуть стол! Принести сюда еще два. Поставить буквой «П»! Доставить стулья! Скатерти разные. На большой стол — ту, белую, ту, что стелили министру; на малые — розовые. Готовим по меньшей мере на тридцать персон.

Часа через три столовая приняла совсем другой вид. На столах красовались закуски, а сделаны они были до того причудливо, что на них хотелось только смотреть. Салаты были не просто салаты. Нет. Одни из них походили на сплошные розы, другие — на фиалки, третьи напоминали анисовые яблоки. А колбасы! Нет, это не просто ломтиками нарезанная колбаса. Куда там! Разве Петр Петрович допустит такое: это же полное оскорбление его творчества! Нет. Колбасы то вились как стружки, то торчали причудливыми узелками, или высились, словно башенки. Даже черная икра — ну что с ней можно сделать? — и та красовалась пирамидками, глобусами. Уже не

говоря о масле. (Тут, конечно, Петр Петрович переборщил.) Оно поблескивало на столе в виде фигурок — все это были известные герои труда на заводе. Вон Варвара Коронова — ну да, это она: пышная, здоровая, вот-вот захочет.

На кухню был доставлен холодильник, и его заполнили шампанским, винами, коньяками и водкой в графинах.

— Водку-то зачем холодить? — спросила Надя, тоже захваченная поварским круговоротом.

— Никому не даю объяснений во время работы, потому что это отвлекает от процесса. По четвергам читаю лекции. Прошу, если не трудно. Однако тебе скажу: настоящая водка — со слезкой.

— Разве она плачет?

— Да еще как! Вот постоит графин на льду — и по стенкам поползет слеза. Такая водка и называется «со слезкой».

Увидав приготовленный стол, Николай Кораблев и Татьяна ахнули.

— Батюшки, что тут такое?! — закричал он.

— Матушки, что тут такое?! — в тон ему закричала Татьяна.

Оба они кинулись поздравлять Петра Петровича, который от волнения не мог произнести ни слова: он долго пытался, искоса поглядывая на стол, и только под конец сказал:

— Красота должна быть во всем.

...Пир открылся ровно в десять вечера.

Николай Кораблев и Татьяна сидели на самом видном месте. По правую сторону от них — Степан Яковлевич с Настей. На нем новый костюм — коричневый в полоску, ярко-красный галстук, мастерски завязанный руками Насти. На ней тоже новое платье — горошком, а гладко причесанные волосы поблескивали: она украдкой от Степана Яковлевича все-таки смазала их коровьим маслом, как мазала когда-то в девушках, живя в деревне. По другую сторону — Иван Иванович с своей женой Марией Федоровной. На Иване Ивановиче любимый костюм — синий шевотовый — и галстук-бабочка. Мария Федоровна

одета просто, но изящно. На шее у нее переливалось аметистовое ожерелье, то самое, которое вручил ей Иван Иванович в первый день свадьбы. Эх, сколько же лет назад! Пожалуй, уже лет сорок. Они так счастливо жили и живут, что не считают убежавшие куда-то годы.

Дальше сидели Альтман, Надя, Лукин, инженер Лалыкин, вместе с которым Николай Кораблев разрабатывал когда-то метод закалки деталей токами высокой частоты, потом Ванечка, бывший секретарь комсомольской организации, ныне редактор местной газеты, бородатый Пикулев, начальники цехов, мастера.

Перед тем как сесть за стол, Петр Петрович привез из клуба радиолу, установил ее за ширмой в коридоре, выбрал пластинки — самые боевые марши, а Татьяну и Николая Кораблева попросил, чтобы они стали по обе стороны двери и встречали гостей. Радиола гремела так, что разговора не было слышно; казалось, люди только пожимают друг другу руки, иногда обнимаются, целуются и шевелят губами. Верно, видны были еще слезы, особенно у женщин, но и Степан Яковлевич тоже выхватил платочек из кармана.

После такой взволнованной встречи гости расселись и, глянув на убранство стола, особенно на фигурки героев труда из масла, ахнули.

У каждого блеснула мысль: «А как же их есть?.. Значит, режь героя ножом!»

С минуту все сидели, не начиная. Тогда Степан Яковлевич повернулся к Петру Петровичу и укоряюще произнес:

— Ты что же это, братец!.. Как же я буду кушать, когда передо мной не масло, а герой завода? Съем героя, а он завтра узнает, встретит и скажет: «Ну что, Степан Яковлевич, слопал меня?» — Все засмеялись, соглашаясь с ним, а он, видя, как Петр Петрович дрогнул, сказал: — Пересол! Пересол! Однако мастерски ты это умеешь: глядите, на столе красота неопиcуемая. Но, конечно, в каждой красоте есть изъян.

Петр Петрович понял, что действительно «переборщил», и тут же, только по одному взмаху его руки, появились куски масла, а бокалы были заполнены искрящимся вином, водкой со слезой, коньяком — кто что хочет. Радиола же снова заиграла марш. Все поднялись, поздравляя с приездом Николая Степановича и Татьяну. Но поздравляли еще трезво, без того крика и шума, какой вырвался у всех потом, когда пошли в ход и фигурки из масла.

Татьяна подметила, что у Лукина какое-то особое отношение к Наде: вон он подал ей икру — и рука чуть-чуть дрогнула. Да и вообще-то он все делает как-то робко. Но и она взволнована: горит румянец, глаза залиты необычайным светом, и свет этот она украдкой кидает только на Лукина. Ну да. Вон к ней обратился Альтман. Надя глянула на него, и необычайный свет погас.

Татьяна хотела было обратить внимание Николая Кораблева на Лукина и Надю, но гости поднялись, быстро выпили по бокалу вина, а когда были налиты новые, над столом, как глыба, повис Степан Яковлевич.

— Венчаем! — проговорил он басом. — А что, Татьяна Яковлевна? Когда сватать к ней пришел, так она меня так отработала, что хоть с ног вались. А я не отступаю. Под матицу сел и дипломатически веду: «У нас жених есть» А она свое: «Вечная вдова». А вот теперь отработайте-ка меня.

Татьяна звонко смеялась. Смеялся и Николай Кораблев, слыша, как со всех концов стола кричат, поздравляя его и Татьяну «с законным браком». А в столовую набивались все новые и новые люди — шли рабочие, комсомольцы, комсомолки. Комсомолки ворвались вихрем, налетели на Татьяну, засыпая ее лесными цветами, травами, молодым папоротником... Потом почтальонша принесла несколько телеграмм. Это поступили поздравления с возвращением на имя Николая Кораблева из обкома, с соседних заводов... Вскоре она доставила отдельную телеграмму и торжественно вручила ее адресату. Вручила и не ушла, ожидая, какое впечатление произведет вновь доставленная телеграмма.

Николай Кораблев распечатал телеграмму и, когда в столовой водворилась тишина, прочитал вслух:

«Николай Степанович и Татьяна Яковлевна! Рад я и готов снова стать вашим кумом. Сообщаю еще: сегодня тебя утвердили директором Чиркульского автомобильного завода. Еще раз поздравляю. Илья».

— Ура-а-а-а! — гаркнули все так, что абажур над столом закачался, словно на пароходе во время сильной бури.

Николай Кораблев намеревался что-то сказать, но с улицы ворвался Евстигней Ильич Коронов.

— Шуруй, ребята, шуруй! — завопил он, только переступив порог. — Король уральский явился! Туз наш неоценимый. И разреши, Николай Степанович, на миг назвать, как говорят, на «ты». Не могу от души, как говорят, на «вы». — И не дожидаясь согласия, снова завопил: — Кланяемся мы тебе все земным поклоном и просим, — нет! требуем: бери бразды правления! — И, вдруг повернувшись, крикнул: — Иди, Варвара, подавай!

В столовую вошла Варвара, держа на подносе большой торт, на котором написано: «Живите сто лет. От рабочих сплавлеса».

Варвара подошла к Николаю Кораблеву. На ней было платье-сарафан. С плеч свисали крылышки. Ветер, дующий в окна, то приподнимал, то опускал их.

Склонив красивую, оплетенную толстыми косами голову, она еле слышно прошептала:

— Примите, Николай Степанович, Татьяна Яковлевна.

Он смутился, растерянно посмотрел на Татьяну. Та заметила это и сама приняла от Варвары торт.

А Евстигней Ильич уже насккивал на Петра Петровича:

— Что, мастер первой руки? Обставили мы тебя! — И вдруг, повернувшись на стук двери, еще громче возопил: — И-и-иох! Козыри-пики!..

На пороге стоял в форме майора Иван Кузьмич Замятин, прикрывая левой рукой ордена на груди, а за ним, нависая и переламываясь над ним, словно

журавель над колодцем, виднелся высокий, худой Звенкин.

— И-и-и! — вопил Евстигней Ильич, выкинув обе руки по направлению к Ивану Кузьмичу. — Прибывает... армия мирного труда! — и кинулся было к Ивану Кузьмичу, но Степан Яковлевич опередил его: он ринулся к своему другу и, приняв того в свои могучие объятия, начал тискать, давить, вертеть, выкрикивая одно и то же:

— С неба ай из-под земли? С неба ай из-под земли?

В эту минуту в комнату ворвалась ватага родственников Ивана Кузьмича и Звенкина, уже где-то подвыпившая, и, гремя песней, вскриками, смехом, до отказа заполнила столовую... И все перепуталось, перемешалось: люди обнимались, целовались, плакали, смеялись, словно впервые празднуя победу над врагом.

9

Первым незаметно покинул стол Лукин.

Казалось, радость Николая Кораблева и Татьяны должна бы благотворно отразиться на нем, но ему в середине торжества стало невыносимо тоскливо.

Лукин был один из тех людей, кто никогда и ни в чем не кривил душой. Кого-то обмануть, кого-то оболгать — это он считал таким же преступлением, как убить ребенка. И парторг свою душевную чистоту всегда старательно оберегал. Да, собственно, ему и не приходилось применять особых стараний: моральная чистота являлась его органическим свойством. И все у него шло хорошо, он ни в чем не мог себя упрекнуть. Наоборот, на вечеринке у Николая Кораблева сказал Альтману:

— Не якшался я с Кокоревым. А мог бы! И теперь было бы стыдно!

Но в семейной жизни... Об этом даже тяжело думать.

Женился Лукин на Елене в первый год войны, когда вернулся с фронта, где был контужен в голову.

До войны Елена училась в педагогическом институте, но за это время в ней открыли новое дарование — призвание к музыке. Мать, жена давно умершего мелкого торговца, женщина высокая, сурового склада, весьма скупая на ласку, настояла, чтобы дочь немедленно поступила в консерваторию...

— Я нашла себя. Понимаете, нашла — говорила Елена, с оживленной радостью встретив Лукина, однако скрытно с удивлением поглядывала в его синие, большие, но с тиком глаза.

Заметив это, он опустил голову.

— Теперь вы меня разлюбите... с такими глазами...

— Да что вы! Разве можно то большое, что есть у нас, менять на мелочь... тем более, что с глазами это случилось на фронте?

— Дома, конечно, ничего, — вступилась мать. — Но на улице...

Тогда Лукин на такое не обратил внимания: слишком большим чувством к Елене переполнена была его душа. Но вспомнил потом и жестоко обругал себя. Тогда же думал:

«Пустяки. Теща не любит людей. Нет-нет, да и вырвется у нее злая фраза. Что она сказала? «До войны-то жили с горем пополам, а тут еще война». Пустяки, конечно. Обломается. Да и не с ней же мне жить! Прошное тяготит? Но ведь Елена осталась без отца четырех лет. Вряд ли на ней прошлое сказалося. А мать? Что же мать?»

И он женился,

Елена и ее мать Екатерина Елизаровна переехали к нему на новую квартиру, которую он получил через Моссовет.

Первые две недели все шло очень хорошо. Лукину даже показалось, что он реально, по-настоящему впервые начал ощущать мир. Довольна была и Елена: ласка из ее глаз лилась изобильно. Если она уходила в консерваторию, а он оставался дома, то непременно в перерыве звонила ему и спрашивала, как чувствует себя, сообщая:

— Соскучилась. Да что это за чувство захватило меня?

Если он уходил куда-нибудь, а она оставалась дома, то просила:

— Хоть через часок позвони мне!

И вдруг все начало трещать, как трещит слабенький мост под напором ледохода. За ведение хозяйства взялась Екатерина Елизаровна, и Лукин почувствовал, что его сводят на положение жениха, принятого в дом: вещи покупали, не советуясь с ним, а заработная плата, получаемая им, тратилась в течение двух-трех дней. Как-то за обедом он робко произнес:

— Вы что-то со мной даже не советуетесь.

— В бабьи дела вмешиваетесь, — ответила Екатерина Елизаровна.

— Бабьи-то бабьи, — впервые почувствовав, как в его душе поднимается раздражение, но сдерживая себя, даже улыбаясь, проговорил Лукин. — Бабье-то бабье, но ведь деньги-то я зарабатываю.

— А зачем женился? — воскликнула мать и демонстративно покинула стол.

Он и Елена долго сидели молча, затем Елена подняла на него злые глаза:

— Ты оскорбил маму.

— Чем?

— А вот тем. Поди и извинись.

— Ну, знаешь ли, это уже чересчур. Я всегда готов извиниться перед человеком, если сознаю, что оскорбил его.

— Значит, толстокожий! — и Елена тоже демонстративно покинула стол.

10

Вот как начал трещать слабенький мост под напором ледохода. Сначала семейные раздоры были еще туда-сюда, затем они стали зреть, как зреет нарыв, принимать оскорбительную форму и наступила отчужденность,

Елена перестала при Лукине заниматься музыкой. Она садилась за пианино, барабанила «Чижик, пыжик» или цыганскую песенку, напевая при этом:

В красной рубашончке,
Хорошенький такой...

Однажды Лукин сказал:

— Как тебе, Елена, не стыдно: вся страна напряженно работает, а ты даже заниматься не хочешь! Чижик да пыжик!

Она на стульчике повернулась к нему и, ласково глядя на него, произнесла:

— Я при тебе не могу работать.

— Тогда что ж — может, мне уехать?

— Ну нет... зачем же? — и заплакала.

Он растерялся, подумал: «Искренне, ведь слезы».

И все-таки он уехал вот сюда, на Урал. Ему было радостно и грустно, когда он получил назначение парторгом ЦК на завод. Радостно: это была живая, крайне нужная работа; грустно: он расстался с Еленой, может быть, навсегда: его всю дорогу преследовало «Чижик, пыжик».

С завода Лукин через каждые три-четыре дня посылал Елене письма. Она весьма неаккуратно отвечала на них, но он аккуратно высылал ей две трети своего заработка, буквально во всем ограничивая себя. Издали ему казалось, что он любит ее еще больше, сильнее: временами он тосковал по ней, как тоскует юноша по возлюбленной. Иногда ему казалось, она неожиданно постучится в дверь и войдет к нему. Она не стучалась. И отвечала быстро только тогда, когда он ей писал: «Нам, вероятно, следует разойтись. Не надо мучить меня».

Она слала письма воздушной почтой, уверяя, что любит его, предана ему, что как только кончит консерваторию, так «Навсегда приеду к тебе, дорогой мой, синеглазый!»

И вот месяца полтора тому назад она приехала, заранее предупредив его длинной телеграммой, в которой кроме всего прочего, было сказано: «Теперь

я навсегда с тобой. Только, если можно, достань пианино».

В клубе стояли два пианино, и во втором не нуждались.

— Временно поставьте одно ко мне на квартиру, потом приобретем — вернем, — попросил он заведующего клубом. — Ведь Лена окончила консерваторию... говорят, даровитая... и ей надо работать. — Он так и говорил: «Ей надо работать».

Первый вечер был хороший, такой же, как вечера тех теперь уже далеких недель: она ласкалась к нему, затем садилась за пианино и играла что-то сложное, бурное. Он в этом ничего не понимал, хотя и уважал «сложность». Но на третий день Елена встала с постели чуть свет, и Лукин, проснувшись, услышал тихое наигрывание довольно пошленькой песенки:

Чубчик, мой милый чубчик...

Потом все смолкло... И вдруг басы, дисканты заревели: видимо, она обеими руками облокотилась на клавиши. И тут же у нее вырвался вздох:

— О, боже мой!

— Да. Она кого-то любит, — еле слышно прошептал Лукин, не поднимаясь с постели и не давая знать Елене о том, что он не спит. — Любит? Так зачем же ехала? Разве я бы смог лежать с ней в постели, если бы любил другую? Ведь это хуже проституции: целовать меня и думать о другом!

Он оделся, прошел мимо Елены, которая сидела за пианино и разбирала ноты, умылся, молча позавтракал и, уходя, сказал:

— Я, наверное, сегодня не ночью дома: такие дела на заводе. — Он не лгал, потому что в самом деле вступил в самую яростную борьбу с Кокоревым.

— Ну вот, видишь, — ласково целуя его, проговорила Елена, и глаза ее заволокли слезами. — Ты теперь пропадешь, а что я одна буду делать?

«Опять слезы... ничего не понимаю!» — с болью подумал он и хотел было остаться, чтобы побыть с ней хотя бы еще часок, уверить ее в своем большом

чувстве и в неизбежности быть все время на заводе и в парткоме, что все же он непременно скоро придет домой, как в этот миг в памяти зазвучало: «Чижик, пыжик», затем это пошленькое: «Чубчик, мой милый чубчик...» — И он ушел.

А часа через три она разыскала его по телефону и произнесла:

— Ты пропадаешь, а я одна. Я выпишу маму.

— Ну что ж... выпиши маму, — ответил он, сдерживая раздражение.

— Ты пойми, мне тут скучно.

— Есть поговорка, Лена: с милым и в шалаше хорошо.

...Приезд Екатерины Елизаровны убил все. Пропало к Елене не только то большое чувство, которому так радовался Лукин, но и всякое уважение: Елена и ее мать опустошили в нем все, как иногда саранча опустошает поля.

— Тяжело жить без чувства. Тяжело, — проговорил как-то он, укладываясь на диване в своем кабинете, куда переехал почти на постоянное жительство. — Тяжело. — В это время раздался звонок. Лукин взял трубку, услышал веселое пение, смех, музыку и голос Елены. — Милка! — сказала она нежно. — Я у Урывкина на квартире. Тут пир такой! Разреши мне потанцевать?

Лукин зло проговорил:

— Разве я тебе когда запрещал? Танцуй на здоровье, только разбирайся, где и с кем, — и положил трубку, остервенело думая: «Куда потянуло! Ох, куда потянуло! Чижик да пыжик», — и в этот момент понял, что такая семья для него не только позор, но и страшная обуза; в то же время он где-то в глубине души еще жалел ее, Елену, жалел и тосковал о той любви, которая жила в нем до семейных скандалов.

— Эх! — вздохнув, проговорил он тогда. — Напиться, что ль? Пить не умею... да и нельзя в такое напряженное время!

А недавно, в тот день, когда обсуждался на партийном собрании вопрос о Кокорева, в Лукине нео-

жиданно вспыхнуло то чувство, которое он утерял к Елене.

Огромный зал клуба был переполнен людьми. Лукин вел собрание, готовясь нанести разительный удар Кокореву, — вдруг ощутил, что на него с балкона кто-то смотрит. Он вскинул глаза и увидел, как Надя улыбнулась ему. Улыбнулась и спрятала лицо за барьер. Он сурово отвел глаза в сторону, но через минуту снова поднял их на Надю, но та уже серьезно смотрела не на него, а вниз, на зал. Он еще поднял глаза, поймал ее взгляд — она глядела на него... но без улыбки...

«Какая славная!» — думает и сейчас Лукин, шагая по тропе у подножья Ай-Тулака.

Пройдясь в такой задумчивости метров триста, он неожиданно натолкнулся на новую землянку, всю утыканную ветками сосен и елей. Вскоре к ней подошел Вася Ларин. Изнутри землянки послышался ласковый голос:

— Вася! Пришел? Иди скорее, солнышко мое! Иди!

«Ну вот ведь! — с завистью подумал Лукин. — С милым и в землянке хорошо. А почему я так не могу жить или так, как живет Николай Степанович с Татьяной Яковлевной?» Он чуточку постоял, и вдруг перед ним мелькнули глаза Нади, заполненные необычайным светом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

После вечеринки Николай Кораблев почему-то начал мрачнеть и на пятый день к ночи совсем замкнулся: ходил от окна к окну и барабанил пальцами по стеклу, произнося весьма неопределенное:

— Да. Да. Так-то вот.

Татьяна, чуткая во всем, а здесь особенно, сразу

заметила перемену в муже, но не могла понять, что с ним, и, не желая быть навязчивой, некоторое время молчала. Но сейчас, когда уже легла в постель, а он все еще ходит и барабанит пальцами, в ней вдруг вспыхнула подозрительная мысль:

«Варвара разволновала его? Ну да. Как он растерялся. Торт не мог принять: руки тряслись... Мне пришлось вступиться. Неужели у них что-то было? — И она вся загорелась от стыда и оттого, что ей на ум пришла такая пакостная мысль. — А тогда что же? Что?» — напряженно думала она, из-под одеяла одним глазом наблюдая за ним. И всполошилась: «Его мучает то, как я шла в лагере под руку с Бломбергом. «Я хотел тебя убить... потому что ты напоминала ветреную женщину», — сказал он мне на Ай-Тулаке. Бррр... От одной мысли, что будто бы я находилась в близких отношениях с Бломбергом, кидает меня в дрожь. Если это тревожит его, надо сейчас же развеять». И она, все так же не открывая всего лица, позвала:

— Коля! Ты опять не тутошний!

Он повернулся к ней, и его далекие глаза заполнились тем светом, который принадлежал только ей, чем успокоил и порадовал ее.

— Колюша! — еще раз позвала она.

Он подошел и сел на кровать.

— Ты не забыл меня?

— А разве это возможно?

— Да ведь как сказать...

— Как ни скажешь, но невозможно. Ну, что он — действует?

— Еще только так: одно хочу кушать, другое маме не позволяю. Очень просит свежей брусники. А где ее сейчас достать? Объясняю: «Рано». А он свое: «Давай свежей брусники!»

Но пока она говорила, Николай Кораблев снова стал каким-то далеким, и она, приподнявшись, тревогой произнесла:

— Ты разлюбил меня?

— Новое дело — поп с гармошкой. — И, видя, как лицо у жены передернулось, заспешил, намереваясь

поправиться: — Ведь, правда, смешно? Поп с гармошкой? Ряса, косицы — и гармошка.

— Шутись... А у меня, знаешь, что на душе?

— Пусть ничего, кроме радости, не будет. Видишь ли, — чуть погодя снова заговорил он, — сегодня получено официальное уведомление от министра о том, что я утвержден директором завода. Стало быть, обязан завтра принять его. И меня волнует...

И в самом деле его волновало все: и то, как он покинет в домике Татьяну одну, и то, как выглянет на улицу, встретится с рабочими и те глянут на него как на «чудо-юдо рыбу кит».

Тревожили его, казалось, вот все эти мелочи, и в то же время его беспокоило гораздо большее: надо было, по выражению Евстигнея Ильича Коронова, «брать в руки бразды правления». Легко сказать — брать бразды. Ведь Николай Кораблев не принадлежал к той категории людей, которые, вернувшись с войны, заявили: «Давай рубль побольше. Ну, какие тут трудности? Мы на фронте фашистов бивали».

— Гордиться тем, что ты бесстрашно бил врага, — все это, конечно, понятно, — говорит он теперь, когда Татьяна прихорашивает его: одергивает полы пиджака, что-то невидимое снимает с рукава, поправляет галстук. — Однако правительство за фронтовое геройство с тобой полностью рассчиталось: наградило. А кроме того, там, на фронте, ты мог бы быть прекрасным командиром, даже отличным, однако здесь надо знать другое. Не знаешь — сыграешь впустую, если не больше. К примеру, когда я покинул завод, вы выпускали моторы, ныне — грузовые машины. Значит, изменились соотношения людей в производстве, технологический процесс. А я сяду за директорский стол — и давай все мерить на старый аршин. И не возражай: я-де был на фронте. — Так рассуждая, он, часов в одиннадцать утра, полагая, что в это время редко кого встретишь на улице, в сопровождении жены вышел на парадное.

Посмотрев на чистое небо, затем на пригорок, откуда в первый вечер наблюдал за тем, что делается

в домике, Николай Кораблев повернулся к жене. Та была в легком шелковом цветистом халате, свежая, как весеннее утро после дождя. Теперь она вполне понимала состояние мужа и потому, положив обе руки на отвороты его пиджака, подбодряюще упрекнула:

— Зачем же тучи?

— Боюсь. Ох, боюсь!

— Ты? Боишься? При всеобщем уважении к тебе? — чтобы поддержать его, уверенно произнесла она, хотя сама дрогнула, понимая, что ему предстоит не только принять завод с тридцатитысячным коллективом, но и руководить им.

— Уважение трудно заработать, но легко промотать. Я всегда боялся нового дела — это ты хорошо знаешь. Теперь особенно: а вдруг отстал лет на десять.

— Но ведь сладишь! — уже менее уверенно произнесла она.

— Попробую!.. А Надя где? — спросил он. — Я ведь там без нее не смогу ни кабинета открыть, ни стола.

— Она чуть свет ушла туда. Славная девушка!

Он нахмурился: ему показалось, что в голосе Татьяны прозвучала ревнивая нотка.

— Я могу секретаря подыскать другого.

— Вроде Урывкина? — Татьяна засмеялась, затем поцеловала его. — Зачем же обижать Надю?

— А бес... бес не зашевелился в тебе?

Она, склонив голову, ответила:

— Если мы с тобой в разлуке не расплескали друг друга, то как же это может случиться теперь, да еще когда нас трое?

2

Дорожка, усаженная по обе стороны молодыми липами, тянулась к заводууправлению. Тени от лип, причудливо разрисовывая асфальт, ползали будто живые,

«Как радостно жить! — думал Николай Кораблев, шагая быстро, косолапая, не глядя по сторонам. — И какая она у меня хорошая!.. «Если мы с тобой в разлуке не расплескали друг друга, то как же это может случиться теперь, да еще в то время, когда нас трое?» Да. Да. Я так переполнен ею.. А Надю, конечно, не надо обижать...» — Но тут же все это было забыто, и мысли его целиком сосредоточились на заводе...

Надя явилась в кабинет рано утром и до прихода Николая Кораблева все прибрала: стерла пыль, стопочками уложила письма, поставила на стол лесные цветы. Проветрив кабинет, она вышла в приемную и тут стала поджидать директора. Ждала директора, а все мысли были около Лукина. Думала Надя о нем робко, иногда пугаясь нового, впервые вспыхнувшего чувства, старалась временами приглушить его, но оно жило независимо от ее воли, как живет в человеке мысль. И, словно фонарик во тьме, перед ней то и дело мелькал тот миг, когда она с балкона по-иному глянула на Лукина.

— Но что со мной? Мне надо с кем-то поговорить. Ну конечно, с Татьяной Яковлевной. А может, с Николаем Степановичем? До меня ли ему теперь? Кажется, он? — прошептала она, кидаясь в коридор, и тут действительно столкнулась с Николаем Кораблевым.

Но он был не один: девушки, служащие заводоуправления, окружив его, шумно приветствовали.

Надя гневно вскрикнула:

— Я ведь вам сказала: и не думайте! Зачем же вы?

Девушки разом притихли, а директор шагнул в приемную, передохнул и произнес:

— Не надо. Этого, Надюша, не надо. Что я им — тенор? Никогда не надо. И если они повторяют, я ругаться буду. Нет, я буду кусаться.

— Ну уж и кусаться...

— Буду, — решительно проговорил он, входя в кабинет, ярко представляя себе ту обстановку, которую оставил здесь перед отъездом на фронт: дубовая мебель, синее сукно на столе, не совсем свежий диван,

простые занавески на окнах, — но вдруг круто повернулся к двери, как человек, случайно попавший в чужую квартиру: в кабинете блестела мебель красного дерева, на полу лежал цветистый ковер, на окнах висели тяжелые гардины. Николай Кораблев нахмурился и даже опустил голову, словно собираясь кого-то боднуть.

— Убрать! И вернуть старое! — сказал он резко.

— Почему, Николай Степанович? Ведь это красиво, — возразила Надя.

— Вовсе не красиво. Даже безобразно.

— Не понимаю, — часто мигая, проговорила она.

— У нас иные рабочие еще живут в землянках, бараках, а директор наташил в кабинет мебель красного дерева, ковер, гардины. Вот почему это некрасиво, вот почему безобразно. «Директор имеет роскошный кабинет, а мы в бараках, мы в землянках». Года через два-три можно будет сюда поставить такую мебель, когда мы всех рабочих хорошо оденем, расселим в домиках, в домах. А сейчас — прочь! Ну, а что за письма на столе?

— Я вскрыла — от тех, кто недавно ушел с завода.

— Ну-ка, дайте.

«Дорогой, многоуважаемый Николай Степанович! — писал рабочий. — Сбежал я с завода, в чем извиняюсь до бесконца. Но, услышав, что вы вернулись, прошу меня простить, утвердить на старое место и я буду вечным кадром».

Николай Кораблев достал еще письмо, прочитал, потом еще и еще, затем поднялся, походил по кабинету и заговорил:

— Надя, вы напишите: «Николай Степанович очень просит вас вернуться на завод». Не упоминайте о бегстве, а просто так — убедительно: мол, просит вернуться на завод. Понимаете?

— Понимаю.

— Чтобы у рабочего и соринки на душе не осталось. Дескать, я не бегал, а ушел и ушел: имею на это право. Но директор завода пригласил на старую работу, и я возвращаюсь полным гражданином.

— Ведь и в самом деле они не виноваты: Кокорев

дурными поступками вынудил их покинуть завод, — подтвердила Надя и, перенеся письма в приемную, хотела было сесть за стол, как директор попросил:

— Вызовите Альтмана.

— И Лукина? — чересчур торопливо спросила она.

Он внимательно посмотрел на нее, не понимая, почему она вспыхнула. В эту минуту требовательно зазвенел телефон. Николай Кораблев протянул руку, помедлил, говоря:

— Вот кто-то уже барабанит. Пожалуй, надо послушать. — Взял трубку, приложил к уху, и Надя увидела, как его лицо молниеносно осветилось радостным внутренним светом. — Что? Что? — заговорил он мягко. — Соскучилась? Да ведь всего-то прошло минут двадцать.

И Татьяна ответила:

— Двадцать? А мне уже кажется, я целый день не вижу тебя. Что делаешь?

— Приглядываюсь. А ты?

— Буду работать. Хочется работать. Сейчас отправлюсь в мастерскую. С балкона помашу тебе рукой. Посмотри, пожалуйста.

Он, положив трубку на рычажок, словно юноша, кинулся к окну, открыл его, наполовину высунулся и вскоре увидел, как с балкона Татьяна замахала обеими руками.

— Да, да. Позовите и Лукина, — проговорил он, обращаясь к Наде, когда Татьяна скрылась. — Да и про Ивана Кузьмича не следует забывать, — добавил Николай Кораблев.

— У них идет такое гулянье, кажется конца-краю не видать, — сообщила Надя.

3

Это была для Лукина та самая «безумная» ночь, какие случаются в семьях, где между мужем и женой давным-давно все порушено: остались воспоминания о прошлом, да и то, что казалось когда-то

радостным, повернулось обратной стороной и превратилось во что-то тягостное, отвратное. Все это подкапывает не сразу. Сначала тот и другой с тоской произносят:

— Как такое могло случиться?

Затем:

— Почему я раньше не разгадал ее (или его).

И под конец самое страшное:

— Будь проклят тот час, когда мы встретились с тобой.

Лукин вернулся с работы поздно и ждал обычное: холодный ужин. Тихо раздевшись, чтобы не разбудить домашнюю работницу, он направился в столовую, неприязненно думая: «Сами ничего не делают, а работницу завели», — и хотел было сесть за стол, но увидел, что на нем ничего нет, удивленно остановился: «Значит, какой-то новый фортель? Может, лучше отправиться в партком?»

Из спальни вышла Елена.

Глаза у нее красные, лицо не намазано (она каждую ночь покрывала его желто-белой мазью, похожей на сметану). Вышла, глянула на него, словно на назойливого квартиранта, и грубо:

— Что, жрать захотел?

Она все это выпалила до того неожиданно, что он в первую минуту даже не рассердился, а просто спросил:

— Разве я не имею права на ужин?

— Права? Ты все кичишься своим правом. Коммунист. Тоже коммунист...

И он, всегда сдержанный, не повышающий голоса даже в борьбе с Кокоревым, взорвался:

— Ну... знаешь ли... не тебе судить, коммунист я или не коммунист. И прошу не трогать! Не трогать! Не трогать! — несколько раз одно и то же с хрипотой выкрикнул он, чувствуя, как в нем все кипит.

— Не трогать? Тебе можно, мне нельзя? Тебе можно ревновать, мне нельзя ревновать? — частила она.

— К кому? Когда?

— К Урывкину... Он только потанцевал со мной, а уж ты... запрятал его.

Взрыв в Лукине пронесся, как порыв бури. Услышав про ревность и Урывкина, он, успокаиваясь, произнес:

— Я не о танцах тогда говорил, а о том — с кем? Знаешь ведь, где он теперь, Урывкин? И не я его запрятал.

Но Елена, словно взбешенная лошадь, которая, закусив удила, сломя голову несется по бездорожью, выкрикивала что-то глупое, пошленькое. А он сидел на стуле, обхватив голову руками, и с внутренним стоном думал только об одном: «И как... как все это случилось?»

Но Елена вдруг брякнула:

— Ты тут без меня путался с этой... как ее... с Половцевой. Ты ее водил сюда... на квартиру!

Сначала Лукин ничего не понял, потому что ни с кем и никогда и никакой посторонней связи у него не было. А тут про какую-то Половцеву. Что за Половцева?

«А-а-а... это она про Татьяну Яковлевну», — догадался он и весь позеленел. «Гадина!» — хотел было бросить в лицо Елене, но только процедил:

— Урывкин подкинул такое дрянцо. Впрочем, тебе ведь безразлично, водил я сюда кого или не водил.

— Безразлично? Как безразлично, раз ты меня хочешь выгнать, как нищую, на улицу!

— Вот именно. Измусолил девушку, а теперь — ступай куда хочешь, — проскрипел заспанный голос за спиной Лукина.

Он повернулся и увидел Екатерину Елизаровну в старом, засаленном халате. Новый, который ей в первый же день приезда подарил Лукин, теща запрятала в сундук.

— Настоящие коммунисты, — скрипела она, — делают иначе: не сошлись сердцем — по-доброму разойдись и слабых не обижай, а женщина испокон веков слабое существо. Еще в священном писании сказано: не убий, так же в коммунизме.

Лукин невольно рассмеялся: ему показалось, что он находится где-то на базаре, и вот старая, прожженная спекулянтка, переворачивая все по-своему, рассуждает о коммунизме.

— А что надо, чтобы не обижать испокон слабое существо? — спросил он, перестав смеяться.

— Отдайте ей все, — и теща повела рукой, показывая на мебель.

— Возьмите... Все возьмите, а я уйду в чем есть. — Лукин быстро оделся, направился к двери, слыша, как заворковала теща:

— Вот славно-то! Славно. Славно.

Но Елена, видимо, не поверила, что он все покидает им, и потому закричала вслед:

— Ты врешь! Врешь! Врешь! Ты всегда врал!

Лукин повернулся, хотел было сказать: «Ты сама образец клеветы», — но промолчал, вышел на улицу и зашагал по асфальтированной дорожке.

От асфальта еще исходило дневное тепло, а от лип тянуло прохладой. Листики их, покрытые росой, поблескивали на электрическом свете, будто смазанные мелом. Почти весь город спал. Только кое-где в окнах виднелся свет — это значило: или лежит больной, или вечеринка, или кто-то засиделся над книгой, а может быть, вот так же, как и Лукин, только что вернулся с работы.

«Куда же мне теперь? — тоскливо подумал парт-орг. — Пойти в партком, но возможно ли в таком состоянии что-либо делать?..» И он повернул к домику под горой Ай-Тулак: может быть, Надя еще не спит. Зайти к ней и все рассказать?

«А она мне: «Что ж, хочешь жалость вызвать?» Нет. Я посмотрю в ее окно. И в окно Николая Степановича... Ах, да! — припомнил он вечеринку на квартире у Николая Степановича Кораблева. — Что-то он тогда нам сказал? Жду кума Ивана Кузьмича Замятина. Почему кума? А-а-а. Значит, им скоро понадобится кум. Это хорошо. Очень хорошо. А вот Елена... Сколько раз я ей говорил: «Нам нужен ребенок». Отказывалась, ссылаясь на то, что сначала следует кончить консерваторию. Потом: нет подхо-

дящей квартиры. Появилась квартира. Елена другое: ей, вишь ты, прежде необходимо выбиться в люди. Это к Урывкину-то? — Лукин остановился. — А что, если теперь появится ребенок? Ну нет. Ни за что! Ведь она все равно от меня уйдет, и начнутся вымогательства».

Домик под горой Ай-Тулак дремал в предутренней рани и был до того тих, спокоен, что казалось — обитатели покинули его несколько лет назад. Но Лукин знал: там живут три человека, близкие и родные ему. Близка и родна Татьяна Яковлевна, дорог ему и Николай Кораблев, но, пожалуй, последнее время в его сердце всех оттеснила Надя. Да, Надя.

Он открыл калитку, вошел во двор, усмехаясь: — Забор высокий, а калитка не заперта. — И тут же забыл об этом, думая о Наде: «Вот ее окно. Разбудить? Подойти, легонько постучать, и она проснется. Проснется и спросит: «Что вам надо, товарищ Лукин?» — «Тяжело мне, Надя, — скажет он. — Душа болит, Надя». Да-а. Вот, скажу, да, скажу. А она что скажет?

И с силой — рука тянулась постучать в стекло — он оторвался от окна и, выйдя со двора, зашагал по узкой и скользкой тропе. Идти по ней было неудобно, но Лукин шагал именно по этой: она вела к землянке Васи Ларина.

— Хочешь посмотреть на чужое счастье? — не то с упреком, не то с хорошей завистью проговорил парторг.

Коротка ночь июльская...

Только наступит, как уже день смахивает ее солнечной пригоршней. Вон протянулась она из-за гор. Какая мощная! Пальцы — стрелы, длинные-длинные. Они закопошились на макушке Ай-Тулака, как иногда копошатся пальцы матери в голове сынишки.

Вскоре Лукин очутился рядом с землянкой. Перед дверью посыпано золотистым песочком, размечено и вкривь написано: «Вася, жду».

«Вася, жду», — еще раз прочитал Лукин. — «Да.

Она ждет только его, хочет быть только с ним, любит только его и готова жить где угодно, даже в пещере», — взволнованно подумал он и заторопился: ведь утро, и вот-вот вернется Вася Ларин.

Так и есть, вон поднимается по тропе, покачиваясь, точно грузчик с кладью: работа в формовочном тяжелая, и потому Васе трудненько шагать в гору.

«Почему он в ночной смене? — мелькнуло у Лукина. — Надо перевести в дневную. А может, ему так удобно?»

4

Лукин завернул за выступ скалы и отсюда увидел, как к землянке подошел Вася. Прочитав надпись «Вася, жду», он вскрикнул:

— Выдумщица моя! Где ты там во дворце имени мому?

Лукин знал, что Вася человек молчаливый. Про него так и говорят: «Раскаленными клещами из него слова не вытянешь». А здесь весь переменился: выпрямился, стал еще выше, глаза у него загорелись, и он снова с шуткой выкрикнул:

— Где ты там, дачница моя, живущая во дворце имени мому?

— Сейчас, сейчас, имени мому! — слышался голос из землянки, затем на волю вышла Груня.

В простеньком ситцевом халатике, жена Васи походила на девчушку. Смеясь всем лицом, радостно поглядывая на мужа, она несла таганок и кастрюлю, заполненную уже начищенной картошкой.

— Баранины я тебе приготовила, хозяин. Ступай в ванну, — и показала на умывальник, висящий под деревом. — Только, смотри, газ не упусти. Вечор газ нам провели, и теперь с примусом возни нет.

Он, сбросив с себя пиджак, рубашку, весь мускулистый, принялся из умывальника плескать воду на шею, на грудь, покряхтывая от стужи, говоря напыщенно серьезно:

— Это здорово — газ провели! Погоди, вот еще паровое отопление сварганят — тогда жить станет совсем гоже.

— Ладно будет, — с той же серьезной шутливостью ответила Груня, раздувая под таганком костер. — Только другое плохо — трамвай от нас далеко. Говорят, метро станцию рядом построят, — неожиданно закончила она.

Ну, тут Вася не выдержал: весь в брызгах холодной воды, повернулся к жене и так расхохотался, что даже присел. Хохоча, достал полотенце, быстро и кое-как вытерся, затем закинул руки под колени и запрыгал на ладонях, крича:

— А вот эту штуку ты не видела? В детстве научился. Поглядел, как в балагане виртуоз прыгает, и научился!

Груня посмотрела на него, прыгающего по-лягушиному, сдерживая смех, сказала:

— Мы за тебя по пятаку брать будем: балаган откроем. Никита — кассир, я — директор, ты — виртуоз...

— Нет, — давась клубком взволнованных слез, который подкатил к горлу, проговорил Лукин. — На такое нельзя смотреть, — и лег на траву.

Проснулся парторг, когда солнце уже припекло. Лукин поднялся, смахнул ладонью обильный пот на щеке и, спускаясь с горы, напряженно подумал: «Что я хотел сделать? А-а-а... Надо поговорить с Васей и, если согласится, перевести его в дневную смену. И обязательно достать ему комнатку. Лучше бы две с кухней. Семья-то ведь какая! Такую надо беречь да беречь».

Вскоре он вошел в свой маленький, скромный, но чистенький кабинет, сел за стол и произнес:

— За работу, брат! Работа вытряхнет из тебя «весь семейный мусор». — Но он не успел закончить фразу, как раздался резкий телефонный звонок.

Лукин взял трубку и, услышав голос Нади, даже задохнулся, даже не смог сразу сказать обычное: «Да. Я. Что надо?» И только чуть погодя, когда она тревожно спросила: «Что с вами?» — ответил:

— Так. Ничего. Как-нибудь расскажу. Здравствуйте! С добрым утром!.. Что? Что? — воскликнул он. — Николай Степанович в кабинете? Лечу, лечу, Надюша! — и стремглав понесся в заводоуправление.

В приемной, не отдавая себе отчета, он протянул обе руки Наде, и та сделала то же самое.

— Радость-то какая! — В эти слова он вложил и то, что ему радостно видеть Надю, и то, что Николай Кораблев вышел на работу.

Надя поняла все, но главное — первое, и в глазах у нее снова загорелся тот необычайный свет, который горел, когда она за столом у Николая Кораблева сидела рядом с Лукиным.

— Ну и хорошо. Идите. Альтман уже там.

— Идти? — спросил Лукин, не отпуская ее рук, желая в эту минуту только одного: чтобы необычайный свет из ее глаз бесконечно лился на него. — Идти, Надя? — переспросил он, точно она задерживала его, а когда она улыбнулась ему, в замешательстве прошептал: — Спасибо, — и, отпустив ее руки, сунулся в дверь боком и нелепо споткнулся о порожек.

5

В кабинете парторг сначала увидел седоватую голову, которая, казалось, одна высилась над столом, и подумал, что сейчас, как и тогда, в первый вечер встречи, Кораблев тронется, подойдет к нему, обнимет и расцелует. Но тот только протянул руку, приветливо улыбнулся, сказал:

— Садитесь, Юрий Васильевич.

Лукин чуточку смешался, затем, садясь в кресло против Альтмана, проговорил:

— Рад видеть вас, Николай Степанович, за этим столом.

— Радости мало. Во-первых, стол этот надо отсюда выкинуть... Нет, нет, это не ханжество! А просто — мне будет неприятно в таком кабинете принимать рабочих. Во-вторых... — Николай Кораблев передернулся в лице и, подумав, продолжал: — Видите

ли; в детстве я случайно вместо первого класса попал во второй. Недели две просидел, ничего не понимая. Потом до меня добралась учительница и перевела в первый класс. Боюсь, не попадаю ли я и теперь сразу во второй класс.

— Ну что вы, Николай Степанович! С вашим опытом и знаниями! — воскликнул Альтман, забрасывая волосы на затылок и поправляя их так, как это делают модницы перед зеркалом.

— Какой опыт? Вы ведь, кроме мотора, выпускаете еще и грузовую машину, а я на ней только кататься умею.

Но Лукин настолько верил в способности Николая Кораблева, что, даже не задумавшись, произнес:

— Пойдемте в цеха, там все станет ясным. Нам тоже первое время было страшновато, но оказалось — справились. — И внимательно всмотрелся в директора: морщины на его лице стали резче, будто следы после пореза ножом, щеки впалые, под глазами сине, но глаза большие, карие и молодые. Кажется, он совсем пришел в норму, успокоился; однако левая щека во время разговора вдруг начинает подергиваться. «Результаты пережитого», — подумал Лукин и снова предложил: — Пойдемте в цеха.

— Нет, товарищи. Я обязан сначала изучить схему технологического процесса... И вы, товарищ Альтман, помогите мне.

— А я? — ревниво спросил Лукин.

— Ох да, вы ведь тоже инженер. Оба помогите. Глядишь, недельки за две мы эту премудрость прошибем. А главное — состояние рабочего коллектива. Мне вчера многое рассказали Лалыкин и Степан Яковлевич. Немало рабочих, говорят, намеревалось покинуть завод? — недоуменно спросил Николай Кораблев.

Альтман всегда стремился стереть острые углы — и сейчас, чтобы внести успокоение, сказал:

— Домой захотелось. Рыба — где глубже, человек — где лучше.

— У советского рабочего основной дом там, где любимый труд, — резко возразил Лукин.

«И чего рану разъедает?» — мелькнуло у Альтмана, и он, раздраженно взглянув на парторга, воскликнул:

— Любимый труд? Любимый труд по всей стране: на Урале, в Сибири, Москве, Казахстане и даже на диком Севере.

— Неужели для вас все равно... где бы ни работать? — с ноткой укоризны спросил директор.

— Что вы?! Я люблю наш завод, наш коллектив...

— А рабочему все равно? — кольнул Лукин.

Наступила неловкая пауза.

— Вы, — чуть погодя, обращаясь к Лукину и Альтману, заговорил Николай Кораблев, — изучили то, что настряпал здесь Кокорев? О предшественниках грех плохо говорить, но ведь он не предшественник, а какой-то паразит, после которого следует произвести такую же дезинфекцию, как после чумы. Кстати, такие штукарки не могут жить без вредительства и без того, чтобы не вербовать свои кадры.

— Пятнадцать распространителей клеветы, в том числе и Петра Завитухина, выловили, — сообщил Лукин.

— А вредительских аварий за это время не было, — добавил Альтман, все еще находясь в состоянии неловкости. — Нет. Нет. Не было. Ни поджогов, ни взрывов, ни ломки станков, — как бы все взвесив, заключил он.

— Всякие вредительства бывают, — явно обращаясь к Альтману, проговорил Николай Кораблев. И неожиданно спросил: — У вас план строительства есть? Давайте-ка с него и начнем пока без Ивана Ивановича.

Альтман поднялся, вышел из кабинета и вскоре принес папку с планом.

— Вот, за это и возьмемся... или, как на фронте говорили, штурмовать будем, — пошутил Николай Кораблев, и они втроем склонились над планом.

Изучали они его почти молча. Только иногда директор задавал тот или иной вопрос, что-то записывал в тетрадочку, покачивая головой, или цокал языком, точно маня поросят, — тогда Альтман и Лукин

вскидывали на него глаза, не понимая, почему он издает такие звуки.

Вскоре Николай Кораблев, как опытный инженер (ведь он за свою жизнь построил не один завод), подметил, что в плане есть какая-то разухабистость, ни на чем не основанная удаль.

— Послушайте, — под конец обратился он к Альтману, и его карие глаза заиграли огоньком, — разве есть неотложная необходимость расширять цех коробки скоростей? Помещение достаточно просторно: строилось в расчете на тройное увеличение выпуска моторов... Признаться, и тогда у нас билась мысль: в будущем выпускать грузовые машины. Вы полагали, такая идея с неба свалилась? — сердито закончил он.

Альтман закинул волосы на затылок, ответил:

— На общем фоне расширения всех цехов данный будет выглядеть смешно: как деревенская хата перед дворцом.

— Ого! Каким высокопарным слогом заговорил. Нам, инженерам, таким слогом не положено говорить. Ну, а разве обязательно расширять, например, здание фрезерного? Что, у вас станков прибавилось или вы думаете прибавить?

— Нет. При тех же станках. Но, Николай Степанович, — весьма неуверенно воскликнул Альтман, — раз расширяем все, нельзя и эти цеха оставлять в старом виде?

Директор снова зацокал языком, потом сказал:

— Для пальм, что ль? У нас ведь есть такие хозяйственники: пальмы в цехе — для них все. И писатели есть такие: увидит в цехе пальму — значит все. Ну, давайте дальше... — Через некоторое время он подметил другое: кроме перестройки зданий цехов, прокладывались новые дороги, иные даже неизвестно для чего. Вот одна извивается у подножья Ай-Тулака и змеей вползает на самую макушку. И он опять спросил Альтмана: — А эта дорога к чему?

— Для экскурсий.

— Та-ак! А зачем тянете вторую ветку со станции? Я вижу — старая не загружена,

— Видимо, на всякий случай, — растерянno ответил Альтман.

— Чудненько: инженер стал говорить — видимо... А это уже плохо. Ну, а новый стадион? Разве на старом не умещаются «болельщики»? Да еще с директорской ложей. И, наверное, ресторан? Ну, да, и ресторан. Молчите, товарищ главный инженер?

— Молчу, Николай Степанович.

— Отводится русло реки. Разве оно кому мешает? — И вдруг Николай Кораблев так расхохотался, что привалился к спинке кресла, а из глаз покатались слезы. — Парк! Дубовый парк разбиваете!.. А рядом прекрасный сосновый бор... И-и-и... Батюшки ты мои! Парк имени Ипполита Кокорева! — И, хохоча, он выкрикивал: — Товарищ Лукин! Дорогой мой Юрий Васильевич! Может, поменяем: парк имени Урывкина.

Лукину было стыдно: ведь он сам, увлеченный строительной горячкой, подхватил план, разработанный Кокоревым, провел его через партком, общее собрание коммунистов, комсомольцев, а они донесли его до всего рабочего коллектива. И сейчас парторг молчал, думая: «Безобразие: парк имени Ипполита Кокорева». И проговорил:

— Все увлеклись. Всех увлек.

— Да-а, — печально протянул Николай Кораблев. — После такого действительно остается одно — удрать с завода: строится не материальная база для основы моей жизни — рабочего, а какое-то имение гоголевского Манилова. В этом плане, друзья мои, — забвение интересов рабочих, а стало быть и государства.

— Но ведь программу-то мы перевыполнили, — с оттенком обиды, даже гнева вмешался Альтман.

— Вы не смешивайте Кокорева с «мы». Вы и Кокорев весьма далеки друг от друга. Перевыполнить программу — это значит дать государству продукцию, но одновременно улучшить жилище рабочего, его быт, учить его детей, помогать рабочим осваивать культуру и так далее. Мне кажется, Кокорев об этом не думал; наплевать ему на государство, на

нужды рабочих. А вот я сам, мол, форсану так форсану. Таково мое предварительное заключение. Ошибусь — буду рад. Но сейчас давайте-ка пригласим Ивана Ивановича.

6

Иван Иванович явился в черном с синевой костюме. Волосы гладко причесаны, видимо он только что побывал у парикмахера. Увидев, как из-за стола поднялся Николай Кораблев, он, кладя палку на диван, сам заспешил, говоря:

— Здравствуйте! Здравствуйте, Николай Степанович.

— Здравствуйте, Иван Иванович! — ответил Николай Кораблев, крепко пожимая руку. — Садитесь.

Начальник строительства сел в кресло и вприщур посмотрел на директора.

— А вы бы меня по-другому назвали.

— Это как же?

— Гусь лапчатый.

— То есть? — недоуменно спросил Николай Кораблев, видя, как на лице Лукина появилась улыбка, а у Альтмана в глазах заиграли искорки.

— Когда первый раз я сюда пришел... без вас, конечно, то Урывкин меня встретил так: «Ага! Явился? Гусь лапчатый».

Николай Кораблев, еще не зная, как к этому отнестся Иван Иванович, сдерживая смех, проговорил:

— И вы обиделись?

— Да... но... Сначала, конечно. Что ж вы думаете — «гусь лапчатый»? Действительно, гусь — птица лапчатая и хорошая птица. Однако...

— Действительно, птица хорошая, и все-таки обидно! — Николай Кораблев уже смеялся.

— И в суд не потянешь. Оскорбили, мол, меня, гражданин судья, назвали «гусь лапчатый». А тот спросит: «Где это вы гуся видели без лап?» Понимаете? — тоже смеясь, закончил Иван Иванович и чуть погодя спросил: — От кого у вас столько писем? Там, у Нади.

— От тех, в ком Кокорев хотел затоптать человеческое достоинство, — вместо Николая Кораблева ответил Лукин.

— Возможно, что Кокорев стремился затоптать человеческое достоинство в рабочих. Ну, он-то иначе поступить и не мог: в характере, уверяют меня, у него сие заложено. Ну, а вот вы, Иван Иванович? — спросил Николай Кораблев.

— То есть как я? — растерянно проговорил Иван Иванович и, вынув платок, вытер вспотевшее лицо. — Я? Как это я?

— А так. Некоторые рабочие живут в бараках, землянках, а вы дорогу на Ай-Тулак строите, русло реки отводите, вторую ветку со станции ведете, парк дубовый имени Кокорева разбиваете, стадион возводите, здания цехов расширяете. Что ж, может быть, мы с вами их тесноватые когда-то построили?

— Ну-у-у, милый Николай Степанович! — воскликнул Иван Иванович. — Да я что? Я исполнитель. Заказчик был Кокорев.

— Не всякий заказ мы должны выполнять. Вам давали такие заказы, которые шли вразрез с интересами государства, а это значит — и рабочего коллектива.

— Ах, вон что! Где нам было разбираться в тонкостях: он нас гнал без передышки, даже оглядываться не позволял! Вы знаете, как мы переоборудовали термический цех или здание конвейера? На глазок! Планы, сметы, слышь, потом составите.

— Вот что, — невольно прерывая начальника строительства, думая о своем, заговорил Николай Кораблев, всматриваясь в Лукина. — Теперь заказчик — мы. И полагаем: русло реки оставьте в покое — знаем ведь, оно никому не мешает. Парк разбивать прекратить. Прекратите строительство стадиона и особенно дорогу на Ай-Тулак. Приостановить вести вторую ветку. Приостановить...

Но тут его перебил Иван Иванович:

— Невозможно: утверждено министерством!

— И с вашим и с нашим министерством, разрешите, я сегодня вечером переговорю. А вы освобож-

денную рабочую силу немедленно перекиньте на жилищное строительство. Я бы приостановил и переоборудование цехов...

— У-у-у! Там все так разворочено! — взмолился Альтман.

— Я бы приостановил и переоборудование цехов, — как бы не слыша его, продолжал директор. — Но об этом надо подумать. Вообще, товарищи, весь план надо пересмотреть и продумать. Впрочем, о дороге на Ай-Тулак, о парке, об отводе русла реки, о стадионе думать нечего. Это не связано с производством, поэтому мы сразу решаем: сие прекратить. И мне кажется, за таким разрешением даже в министерства обращаться стыдно.

В кабинет вошел Пикулев. Лицо у него настолько усталое и измятое, что казалось, он за эти дни постарел на несколько лет. Даже борода, всегда тщательно расчесанная, теперь спуталась, напоминая скомканную кудель.

Он сел на диван, затем громко вздохнул и проговорил:

— Наконец-то!

— Что — наконец-то? — недоуменно спросил Лукин и подсел к нему.

— Клубок окончательно распутан... Действительно, когда-то в Москве жил торговец чаем Попов с сыновьями. Он и его два сына сбежали от революции в Америку. По дороге сам Попов умер. Сыновья в Америке впали в нищенство и, нанявшись матросами в далекое плавание, продали документы братьям Нильсон, которые до революции владели металлургическим заводом в России.

Все присутствующие удивленно ахнули, а Лукин воскликнул:

— Так Урывкин...

— Вовсе и не Попов, а самый настоящий Нильсон. Старик Нильсон, умирая, отказал металлургический завод в Америке старшему сыну; младшему, то есть Урывкину, — завод в России, так как младший детские годы провел у нас и хорошо знал русский язык. В восемнадцатом году Нильсон-младший, то

ссть Урывкин, с паспортом Попова через Дальний Восток пробрался в Сибирь и в расчете, что советская власть просуществует «две недели», стал лелеять надежду на возвращение прежних порядков и, конечно, металлургического завода.

В кабинете опять наступила тишина; все с большим вниманием смотрели на бородатого Пикулева, и каждому хотелось узнать, как же он «раскопал Урывкина», но такого вопроса никто не задавал, понимая, что этого делать не следует. Только чуть погодя Лукин спросил:

— А как же Луиза Брэдли? Ведь она утверждала, что Урывкин настоящий Попов!

— Они и ее надули.

— Но почему же ему понадобилось менять Попова на Урывкина?

— Узнал, что фамилия чаеоторговца Попова популярна. — И лицо у Пикулева посветлело, как светлеет оно у борца после того, как тот уложил своего противника на обе лопатки.

Лукин подчеркнуто произнес:

— Молодец же вы: раскопали все.

— Все ли? — серьезно спросил Николай Кораблев. — А роль Кокорева в этом деле? Помню, когда мы жили в Москве, то у соседей был кот... сибирский. Любили они его, да и мы тоже ласково относились. Только однажды этот самый сибиряк забрался ко мне в кабинет, пролил чернила и весь стол исследил. И... боюсь, что и Кокорев так наследил на заводе, что нам с вами придется очень долго сдирать эти следы...

— Кокорев не сибиряк-кот, а вор, — мрачно заключил Лукин.

Все на какой-то миг притихли; у каждого уже сложилось неприязненное мнение о Кокореве, но никто еще не мог выразиться так кратко и жестко, как Лукин. Иван Иванович долго вынашивал в себе отвратное чувство к Кокореву, но, как всегда, даже отвратное вылилось у него в мягкую форму: «Нахрапчик». Так он определил бывшего директора. Альтман же, внутренне побаиваясь, что его, как не-

посредственного исполнителя воли Кокорева, Пикулев «возьмет за жабры», воскликнул:

— Опять за старую песенку. Вор. Какой он вор? Характер у него скверный. А ты уж — вор.

Николай Кораблев подумал, сказал:

— Парторг, пожалуй, крутовато выразился.

— Крутовато? — Лукин ткнул пальцами в план строительства. — А вот здесь — что это такое, как не воровство?

— Вор-то ворует материальную ценность, — возразил Альтман.

— Нет, можно воровать и духовную ценность, — в свою очередь возразил Николай Кораблев. — Например, приписать себе славу коллектива, достижения всего коллектива — вот вам и воровство духовной ценности. Парторг своим суждением наводит меня на тяжелые размышления. В самом деле, что это такое, вся эта разухабистость в плане, как не воровство рабочего труда?! Но во имя чего воровал Кокорев? Вы уверяете, — обратился он к Альтману, — что вредительства на заводе не было... Не было вредительства частного порядка, но ведь возможно вредительство более глубокое, вначале даже незаметное. Мы об этом потом. А теперь, товарищ Пикулев, расскажите нам: что же с «самородком»?

— Рассыпался «самородок», — ответил тот и почему-то сокрушенно, даже с сожалением, вздохнул.

7

Немедленно же, как только поезд тронулся со станции Чиркуль, Кокорев надел все ордена — а их у него было шесть — и даже прикрепил золотую звездочку. До этого он ни орденов, ни звездочки не носил, считая: «Не надо дразнить гусей».

Теперь прикрепил — и почувствовал: это ему придало еще большую уверенность в своей правоте.

Таким он и заявился в Москву, остановившись в лучшей гостинице. Здесь обратился к прислуге все

в том же, характерном для него, тоне — резком, приказывающем:

— Приготовить ванну! Через час ужин... и никого ко мне до утра не пускать!

Приняв ванну, посвежевший и порозовевший, он два дня, распивая коньяк, разрабатывал план действий. В Москве его знали почти все министры, начальники главков, трестов, крупные партийные работники. Перебрав в памяти всех, зная у каждого сильные и слабые стороны, он решил начать с министра и протянул руку к аппарату, говоря:

— Сейчас я сведу к пустякам обвинения, выдвинутые против меня бездельниками вроде Лукина, — и позвонил своему министру, полагая, что тот немедленно же откликнется, но секретарь, пробормотав: «Погляжу, тут ли», — вскоре вернулся и сказал:

— Министр передал: вам следует явиться к товарищу Шарову. Там разговаривайте, а нам звонками не мешайте работать, — строго закончил секретарь министра.

— Ба-а-а! — Не отпуская трубки от уха, хотя в ней уже слышались гудки отбоя: — Ба! Они министра настрополили. Они. Шлепанцы-Лукины. Так я позвоню своему другу. — И позвонил министру тяжелого машиностроения, но тот ответил:

— Зачем же ко мне-то? Ты иди к Шарову. К Шарову, брат. Он разберется.

— Трусишь принять меня? — со свойственным нахальством подчеркнул Кокорев.

— Нет. Зачем же? Не трушу... а просто — не люблю прикасаться к пакости, — ответил министр и положил трубку.

Итак, к кому бы ни позвонил Кокорев, все «загоняли его», как хоккеисты загоняют шайбу в ворота, к Шарову...

Через несколько дней, уже понимая, что старая «связь» лопнула, что надеяться на «друзей» безнадежно, он, набив портфель приветственными телеграммами, сводками, цифровыми материалами, автобиографическими справками, отзывами с мест работы, направился в Центральную комиссию партийного контроля, думая о Шарове:

«Он из рабочих. Столкнемся. Ну, даст вздрючку. Оно и вздрючку от него получить нехорошо». — Кокорев поморщился и даже с презрительной ноткой проговорил:

— Начнет мне прописную мораль читать. Не люблю! Впрочем, я его объегорю, как чудачка. — Он тут же спохватился, говоря: — Слова-то какие у меня появились — объегорю. Ну ничего: в драку вступил — пускай все средства в ход, — и обворожительно улыбнулся человеку, который через окошечко подал ему листик-пропуск, одновременно думая: «Наверное в приемной придется ждать очереди: на повестке обязательно сорок вопросов. Ох, любят...» Но, войдя в приемную, он был несколько удивлен: никакой очереди, а секретарь Шарова, пристально посмотрев через роговые очки на Кокорева, сказал: — Идите. Ждут.

Кокорев вошел в кабинет и попятился: ему казалось, Шаров примет его и поведет разговор с глазу на глаз, а тут за столом сидело человек десять.

— Здравствуйте! — растерянно произнес он и, сев на стул, быстро глянул в лицо Шарову.

«Целый парламент созвал. Что-то он хочет со мной сотворить? — мелькнуло у Кокорева, и он только теперь заметил, что у Шарова шея обвязана марлей. — Компресс. Пропишет и мне компресс. Ничего, выдержу». И быстро начал вытаскивать из портфеля и раскладывать на столе бумаги.

— Вы эти грамотки оставьте. Скажите-ка лучше: как секретные бумаги попали за границу? — спросил Шаров.

«Так. Сразу с козырного туза пошел — а шестерки куда девать будет? Приму туза, а потом им же к нему и пойду», — сообразив, мысленно воскликнул Кокорев и, опустив глаза, смиренно заговорил:

— Виноват. Доверял. Людям доверяю. Люблю советских людей и доверяю им. А тут... тут оказались шпионы.

— Э-э-э, — протянул Шаров. — Оказались? Почему же не оказались около меня или около товарищей? Пытались оказаться... А как же? Школу про-

шел шпион: во что бы то ни стало прилепиться к тому или иному ответственному работнику. Обязательно. Как ракушка к днищу корабля. Так вот к вам прилепился, а к другим не смогли, а пытались к тому же Лукину.

«Вон с чего пошел — с козырного короля!» — подумал Кокорев и снова смиренно произнес:

— Виноват. Люблю людей и доверяю им.

— Но ведь это не люди, а шпионы.

«Ох! Оказывается вот когда он с туза-то пошел!» — мысленно произнес Кокорев и впервые за свою жизнь почувствовал, как у него по спине побежали мурашки, и он, моргая, жалобно посмотрел во все стороны, затем пролепетал:

— Так уж... этак уж... — И тут же взвился: — Но ведь я не передавал документов!

— Если бы передавали, мы бы с вами не разговаривали. С теми, кто передает, разговаривают другие организации, — резко отвел оправдание Кокорев Шаров и поднялся из-за стола. — Любит людей, не разбираясь, хорошие или плохие. Любит людей, как и своего погибшего на фронте сына? — Шаров прищурился, затем открыл глаза, и из них брызнул такой гнев, что Кокорев весь сжался. — Так, значит, любите людей, как... погибшего своего сына, которого у вас вовсе и не было... Это вы к чему пустили в ход гибель несуществующего сына? А? Дабы поиграть на бедствии народном? Так, что ль? А говорите, любите людей. Нет. Такие, как вы, любят только себя, только свое... Гитлеровцы этакие! Нужна война — ну что ж, организуйте войну, дабы утопить в крови миллионы. — И Шаров обратился ко всем: — И этот! Себя только любит, для себя все делает. И забыл, в какой стране живет. Ведь не случайно его американские шпионы приглашали управлять металлургическим заводом. Не случайно. Настоящий коммунист им не нужен: он придет на завод и поведет рабочих на бой с капиталистами, а этот не повел бы. Нет. Этот не усвоил простой истины: где гниет, там и паразиты. Загнил сам и гнойником своим привлек таких паразитов, как Урывкин,

Едренкин, мадам Брэдли. Вишь ты, Едренкин что о нем написал... — Шаров достал из папки газету, надел очки, посмотрел в статье какое-то место, затем снял очки и, тыча ими по направлению к Кокореву, снова заговорил: — Вишь ты, оказывается, он единственный усвоил социалистический метод руководства промышленностью, его, дескать, на первое место. Новый Стаханов. Понимаете, новый Стаханов появился... — Шаров говорил и говорил, все больше и больше вскрывая тайные помыслы Кокорева, удивляя и пугая этим последнего. — Стахановское-де движение в производстве, а теперь-де кокоревское движение в руководстве социалистической промышленностью. Видите, куда ударился. Не спорим, сложное это дело — правильно руководить социалистической промышленностью. Не спорим. Да вы-то тут при чем! — Шаров задумался и вдруг сказал: — Рабочие на танковом заводе вежливые были, назвав вас самодуром. Вежливые. Это что — самодур? Нежное название для вас. Нежное. Вы-то, наверное, воображали, что вы Форд. И забыли, что у нас в стране не только фордов выбросили, но и фордиков не терпят. Что ж? — И опять поднял глаза на Кокорева: — Орденов-то вы нахватили... Придется обратиться к тем, кто их давал, и просить, чтобы обратно взяли. Герой Социалистического Труда! Да какой же вы герой, коль от вас не только друзья отвернулись, но и рабочие побежали? Герой-то вы, оказывается, для Едренкина. Придется просить правительство, чтобы оно сняло с вас звание Героя... Еще вы генерал? Тоже недоразумение... А уж партийный билет совсем вам ни к чему. Совсем ни к чему. Совсем, совсем. Надо и тех, кто вас рекомендовал в партию, предупредить, чтобы оглядывались, когда дают рекомендацию... Иначе так и партию засорить можно...

Заседание длилось часа четыре. Несколько раз выступал Кокорев, оправдываясь, даже два раза навзрыд плакал; выступали члены коллегии, иные пытались отметить ценное в работе Кокорева, иные обвиняли его еще резче, нежели Шаров, однако

то, — что вскрыл Шаров, осталось неопровержимым...

...«Все! Все! Все! Все!» — идя глухими переулками, сторонясь людей, мысленно кричал Кокорев. Временами он останавливался: перед ним мелькала его жена, забытая им в Гурьеве, и с упреком смотрела на него, говоря: «Ты и не думай приезжать ко мне. Кролик-самец». Да. Да. Она, при последнем посещении ее Кокоревым, так и сказала: «Кролик-самец». «Но ведь меня обидели! Обидели! — мысленно взывал он к ней. — Обидели, Лиза!» Но, взывая, он чувствовал, что у него на сердце нет теплоты к ней, а есть то, что у утопающего, — хвататься даже за соломинку.

Рассуждая, жалуясь, взывая, он не заметил, как вышел на Театральную площадь Москвы, и тут на миг задержался. Перед ним во все стороны широким потоком неслись машины, поблескивая радиаторами, заполняя площадь гудками.

— Мои! Моторы мои! На моих моторах скачете! На моих! Мои! — зло прокричал он. Крик его, как писк синицы, утонул в московском гуле. Тогда Кокорев, раскинув руки, как бы собираясь загresti моторы, ринулся в непрерывный, густой людской поток и затерялся в нем, будто булавка, брошенная в бурную реку.

Так, не зная подробностей разбора дела Кокорева у Шарова, Пикулев и рассказал присутствующим о печальной судьбе бывшего директора.

Все долго сидели молча: трудно было воспринять, что человек, с которым еще совсем недавно велась такая напряженная борьба, ныне уже разоблачен.

— Ужасный конец, — нарушая тишину, проговорил Альтман, и в голосе его прозвучала скрытая радость, как бы говорящая: «Ну вот, все и стало ясно!»

Эту нотку уловил Лукин и, внимательно посмотрев на него, сказал:

— Заслуженный конец.

Когда Николай Кораблев тронулся от домика к заводууправлению, Татьяна долго смотрела на его широкую удаляющуюся спину, на сильную шею, на седой затылок, выделяющийся из-под коричневой шляпы, и думала: «Оглянется или не оглянется? Батюшки! Я словно девчонка! Ведь может и не оглянуться: он так занят сейчас». И он действительно не оглянулся, и это ее совсем не обидело. Она только подумала: «До шести часов я не увижу его... это так долго, так долго!»

И медленно, тихо, как бы боясь нарушить тишину, вошла в домик, ожидая, что ею сейчас овладеет та самая беспросветная тоска, которая порою овладевала до приезда Николая Кораблева. Но, войдя в столовую, она позвонила мужу и неожиданно почувствовала, как настойчиво, словно любимая мать ребенка, позвала ее к себе мастерская, расположенная наверху домика.

В мастерской пахло пылью, точно в заброшенном, безлюдном помещении. Краски на палитрах присохли: в ту ночь, когда в домике появился Николай Кораблев, Татьяна не успела почистить палитры.

Оскоблив палитру, Татьяна намеревалась было смахнуть пыль с окон, подоконников, но тут же забыла об этом, села за мольберт, взяла свежую кисть и задумалась... И вдруг все перед ней исчезло: пыленные окна, полотно, кисти и даже вот этот солнечный свет. Татьяна очутилась уже где-то вне этой мастерской.

До поездки в Златоуст, до полета в городок Кудряш и в Казахстан она представляла себе Урал таким, каким впервые увидела его с вершины Ай-Тулака: сочный в своих разнообразнейших красках, заросший густыми лесами, он казался ей сурово-неприступным. Теперь она парит над ним и видит самое главное — людей. Людей Златоуста, Кудряша, Казахстана, особенно мать Ураза Бузакарова и деда Сабита. Но вот откуда-то сорвался злой ветер, и пыльный буран овладел станцией, поселком. Ветер

сбивает с ног. Перед глазами в темной почти серые пыльные волны. Через эти волны временами пробивается тусклый огонек. Куда идти? Татьяна затерялась в буране, как теряется одинокий человек в разбушевавшемся море... И неожиданно из свирепствующего бурана выныривает парень с расстегнутым воротом рубашки. Парень — брат инженера Лалыкина. Вскоре в хате собрались его сестра, мать, отец, хромой дед — все поклонники угля. И другая картина. В печах клоочет сталь. Она кидает обжигающее пламя на лица, руки людей, орудующих около. Татьяне кажется страшно даже подойти к печи, но люди — поклонники клоочущего металла, овладели им, так же как пекарь овладевает выпечкой хлеба...

Рука работает сама собой, сами собой ложатся на полотно краски, и именно те, которые нужны, — Татьяна этого даже не замечает: она парит над Уралом и видит, как он, дымясь хребтинами, раскинулся вдаль и вширь, преграждая путь из Европы в Сибирь. Она ярко представляет себе, какие богатства таятся в его недрах! Руды и минералы всех видов. Это из богатств Урала создаются самолеты, паровозы, железнодорожные рельсы, опутывающие просторы страны. Создаются людьми — поклонниками стали, чугуна, угля, руды, минералов.

— Вот эти люди должны войти в мою картину, — шепчет Татьяна и не слышит своего голоса...

9

Из кабинета вышли Николай Кораблев, Лукин, Иван Иванович, Пикулев и Альтман. В былые времена Николай Кораблев еще не успевал собраться, как Надя бежала в домик под горой Ай-Тулак, готовила там стол. Теперь она почему-то задержалась. И еще он подметил то, что, признаться, поразило его: глаза Нади, направленные на Лукина, горели необычайным светом.

«Но ведь Лукин женат, — подумал он. — Бедная!

Верно говорят: сердце девичье не знает преград», — и, выйдя на крыльцо, спросил Лукина:

— А у вас семья? Здесь или еще в Москве?

Тот, хмурясь, ответил что-то неопределенное:

— Да. Конечно. Более или менее ясно, — и зато-ропился, чтобы перевести разговор: — Мы вас проводим, Николай Степанович. А то кто-нибудь встретится — и пошло...

Николай Кораблев глянул на дорожку, ведущую к домику, на площадь, которая уже пустовала, на флажки, трепещущие по углам трибуны, и сказал:

— Видите, друзья мои, никого нет. Зачем вас утруждать? Я один... Итак, через два часа увидимся, — и быстро пошел, чуть косолапя.

Солнце уже было за полдень.

Тени от лип укоротились, стали походить на зонты: шевелились только у подножья каждого деревца и не разрисовывали асфальтированную дорожку, как в утренние часы. Всюду скакали дрозды — молодые, с желтизной около клюва, видимо первого выводка. При приближении Николая Кораблева они не вспархивали, а жались к земле. Вот один спрятался в ямочке, и директору пришлось обнести ногу.

— Кошки на тебя нет! — проговорил он и еще быстрее зашагал к домику под горой Ай-Тулак.

«Ну, как она меня теперь встретит, моя художница? Работала или все переживает?.. Боюсь, не повредит ли это ребенку?» И в этот миг он вспомнил первые роды Татьяны.

То было что-то невероятно тяжелое и мучительное: она, несмотря на помощь опытного врача, два дня не могла разродиться... Потом с месяц не поднималась с постели.

«Вот и теперь не случилось бы то же самое, а может, и хуже: сколько перенесла за эти годы!» Он так разволновался, что даже не заметил, как приблизился к парадному.

— Здравствуйте, — услышал он полушутливое и вскинул голову.

На ступеньке парадного стояла Татьяна. Солнечный свет падал на нее со спины, потому ее волосы

просвечивались рыжиной, словно в ночном горел не-
большой костерик.

— Есть хочу, — по-ребячески и тоже в шутку про-
говорил он, а поднявшись на парадное, обнял жену,
затем тихо произнес: — Слышишь, как мои руки лю-
бят тебя?

— Я слышу тебя всего, — еле слышно ответила
она, но, почувствовав, что руки его вдруг стали от-
чужденными, чуть вздрогнула и посмотрела ему в
глаза: те устремились куда-то вдаль. Татьяна дога-
далась: «Думает о заводе», — и проговорила, на-
меренно пуская в ход волжское слово: — Оробел ай
не оробел?

— Малость, — ответил он серьезно. — Малость, —
повторил, шагая к умывальнику. Умывшись, он вы-
шел в столовую, сел за стол и, намазывая масло на
хлеб, произнес: — Восемь минут — это, конечно, не
плохо.

— На что восемь минут? На умывание, — недоу-
менно спросила Татьяна.

Тогда он «вернулся» и, смеясь, глядя на нее, ска-
зал:

— Я разговариваю с тобою, как с Альтманом и
Лукиным. Машина сходит с конвейера через восемь
минут. Я уже со многим познакомился... в кабинете.
В кабинете да на бумаге иногда кажется все пре-
красно: людей-то не видать. А производство — это
живые люди. Чтобы правильно руководить заводом,
надо наладить главное — контакт с рабочими. Ну, а
как у тебя дела? Рисовала ли сегодня? — переменив
разговор, спросил он.

— Конечно. Маленько. — И она, показав кончик
мизинца, снова заинтересовалась: — И ты что же,
отыскал контакт?

— Ищу, — ответил он, не переставая думать о ее
работе. — Нет, ты не скромничай. В самом деле, что
рисуешь сейчас?

— Потом, Коля, — нетерпеливо перебила она. — Ты
говоришь про контакт. Но ведь тебя рабочие любят.

— Любовь, вернее уважение, за мои поступки
там, на поле брани, никакого отношения к производ-

ству не имеет. Если я не найду настоящего контакта с рабочим коллективом в производстве, они могут сказать: «Да. Герой. Еще бы: такое перенес на фронте, особенно в лагере. Хороший был мужик и до войны: неплохо руководил заводом. Как же, помним! Но, видимо, износился, вышел в тираж!» Знаешь, страшное это у нас — в тираж вышел. Поэтому надо всегда искать, совершенствоваться.

— Совершенствоваться, конечно, всем надо. Ну, а разве очень сложно найти контакт?

— Очень, Танюша. Рабочие директора видят гораздо лучше, чем он их. Ты можешь работать, и тебе кажется — хорошо... но ты не продумал направленность своей деятельности и... пошел в одну сторону, рабочие — в другую. Ну ладно. Это история длинная. Ты сама расскажи: как у тебя дела?

— Ищу контакт, — серьезно и задумчиво произнесла она.

— Тоже контакт?

— Да. С природой, с людьми. Но я не понимаю сущности твоего контакта, — с еще большим интересом проговорила Татьяна.

Он задумался, отодвинул от себя опорожненную тарелку. Татьяна впервые заметила, что он ест весьма тщательно, не оставляя ни кусочка хлеба, ни капельки супа, ни крошечки от картофеля или мяса.

«Это привилось там, в лагере», — решила она, намереваясь подлить еще супу, но муж отклонил и заговорил:

— В первый год войны мы из Москвы переправились сюда... почти на пустырь. Ты еще не знаешь, что такое трескучие уральские морозы: они сжигают все, будто огнем. И вот представь себе: приехали рабочие, прибыло оборудование на открытых платформах. И рабочие сами начали сгружать, сами монтировать завод. А у них ни варежек, ни перчаток. Дотронуться голый рукой до станка на платформе было невозможно: моментально кожа оставалась на металле. Так рабочие, закутав во что попало руки, приступили к разгрузке. И разгрузили. Затем большинство станков поставили на фундамент, но под

открытым небом. Цех без стен, без крыши. Около каждого станка печурка. Но она согревает не рабочего, а эмульсию. Стоит около такого станка рабочий, тоже закутанный во что попало, и работает. Да как! Дает больше нормы. Что тогда было, Танюша! Контакт: рабочие вполне сознавали, что фронту нужны моторы, и, несмотря на тяжкие условия, моторы выпускали. Вот и теперь следует найти контакт, — уже развивая те мысли, которые появились у него при беседе с Лукиным и Альтманом, с жаром продолжал Николай Кораблев. — Надо сделать так, чтобы выпуск автомобилей увеличился, но чтобы и рабочий жил гораздо лучше, чем в довоенное время. Шла война — и было не до кино, не до семьи. Сейчас рабочий может сказать: «Война кончилась, товарищ директор, мы хотим жить не только в цехе. А ну-ка, шевельни по этому поводу мозгой! Программа? Программу мы тебе выполним и перевыполним, если ты с умом подойдешь к выполнению ее... а ежели ты ее просто хочешь возложить на наш горб... то мы с тобой поговорим. Да еще как поговорим. Знаешь ведь, как поговорили с Кокоревым, будь он не тем поманут! Найти теперь контакт с рабочими в производстве — это значит не срывать программу, наоборот — перевыполнять ее; но и не взваливать все только на горб рабочего. Надо многое продумать — и продумать так, чтобы труд был радостным. Шутка сказать, Варвара Коронова работает на четырех станках... Сколько километров за смену пройдет, да каких километров! Поэтому, мне кажется, движение вперед на нашем заводе сейчас заключается не в том, чтобы прибавить Варваре Короновой еще два станка, наоборот — при четырех облегчить ее труд, и облегчить так, чтобы она давала еще больше продукции. Тогда будет найден контакт между руководством и рабочим коллективом. Ну, а все-таки: что ты делала?

— Летала.

— Куда? На Ай-Тулак? Будь осторожней, — подчеркнул он. — Тебе, конечно, к тому надо готовиться. Ты свяжись с доктором — хороший доктор есть, Су-

перфосфатов. И, может быть, физкультурой заняться. Беда, если роды будут такие же, как первые!.. Ты... А впрочем, об этом рано. Ну, куда летала?

— Не на Ай-Тулак. Я вообще летала. Над Уралом. Рисовала и летала.

— Орлица моя! И как же ты летала? Зачем?

— Орлица твоя летала вот зачем, — смеясь, продолжала она, — чтобы найти контакт с природой, с людьми. Я поднималась над Уралом и парила, парила. Ну, как во сне. То взвивалась очень высоко — и тогда весь Урал лежал передо мной... то опускалась на полянки, в глухие ущелья, где, очевидно, никогда и никто не бывал.

— Одна-то? И не боялась? — безобидно пошутил он.

— Нет, — она тряхнула головой. — Даже ты мне в это время не нужен был. Одна. Парю и парю. Парю и вижу горы, красивейшие долины, заводы, домны... и ничего не понимаю, — неожиданно закончила она. — Может, я глупенькая.

— Чем я могу помочь?

— Видишь ли, — почти не слушая его, продолжала она, размахивая вилкой, точно кистью. — Трудно. Можно, конечно, нарисовать пейзаж, и есть у кого поучиться — у Шишкина, Левитана и у других. Но разве нашему народу надо только елочки, только березки, только сосны, может быть и с медведями? Верно, Левитан создал «У омута» — не оторвешься от этой картины. Но я-то ведь намереваюсь нарисовать другое — ту силу, которая победила. Я бы хотела... Эх, Надя идет!

Николай Кораблев оглянулся на дверь.

— Знаешь ли, я сегодня подметил: она неравнодушна к Лукину.

— А разве ты тогда, на вечере, не видел, как она смотрела на него, а он на нее?

— Нет. Я тогда был как токующий глухарь: ничего не видел и ничего не слышал. — И чуть погода добавил: — Беденькая!

— Почему? — настороженно спросила Татьяна.

— Ведь Лукин-то женат. Жена у него в Москве.

— А во мне уже бес шевельнулся: подумала, не ревнуешь ли?

— Эх, грохнула! — и Николай Кораблев так расхохотался, что своим хохотом напомнил генерала Громадина.

— А ты с генералом Громадиным после лагеря встречался? — спросила она.

— Конечно. А какое это имеет отношение к Наде?

— Да вот засмеялся ты — и я вспомнила Громадина: сам маленький, а захохочет так, что всех перепугает и удивит. Да, кстати, — быстро заговорила Татьяна. — Жена Лукина здесь, и живут они, как я слышала, ужасно.

— Значит, дрянь попалась. То-то сегодня я его спросил, приехала семья или нет, — он мне что-то неопределенное проямлил.

Дверь отворилась, и на пороге появилась Надя.

Они ждали, что она сейчас ворвется в столовую, словно ветерок, и начнет передавать новости, какие слышала на заводе, в заводууправлении, а таких новостей у нее всегда было очень много. А Надя вошла тихая, точно луна на чистом небе. Вошла и остановилась, будто не зная, куда же дальше идти.

Татьяна кивнула мужу, и тот, быстро доев второе, поднялся и торопливо ушел наверх.

— Садитесь, Надюша. Что это вы к обеду опоздали? — спросила Татьяна, наливая тарелку супа.

Надя присела и сказала будто сама себе:

— Не знаю, что со мной. Это впервые.

Они обе долго молчали. Надя смотрела куда-то через окно, Татьяна — на ее молодые, точно смазанные свежим воском, ободки губ, на густые брови, на нос — точеный, с еле заметными отворотами ноздрей, на всю на нее — юную и красивую. Смотрела и вспоминала свои первые встречи с Николаем Кораблевым там, в Кичкасе, на берегу Днепра. Ведь она тогда, во второй день знакомства с Николаем Кораблевым, пришла к матери и произнесла почти те же слова:

— Что со мной? Это впервые!

Вспоминая, она смотрела на Надю и думала:

«У Надюши это впервые. И, наверное, ее совсем не тревожит, что Лукин женат».

Татьяна поднялась со стула, подошла к ней, положила руку на голову, рука так и утонула в пышных волосах.

— Надюша, — заговорила она. — Берегите то, что появилось у вас. Имейте в виду, такое дается только раз в жизни. Вот почему надо беречь, как до сих пор вы берегли чистоту своего сердца.

— А разве можно потерять? — со страхом спросила Надя и вскинула глаза на Татьяну.

— Трудно потерять... но можно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Николай Кораблев со свойственным ему упорством изучал технологический процесс производства грузовых машин, что давалось не так-то легко. Ему хотя и было известно, сколько деталей имеет машина, из какого сплава каждая деталь, и знал он это так же, как дегустатор знает вино, однако определить качество вина — еще не значит уметь его производить. Вот почему он обложился книгами, изданными в Германии, Англии, Америке, выписав их из министерства. Во всех заграничных трудах почти на каждой странице мелькали цифры, чертежи, схемы...

Татьяне казалось все это весьма скучным, и она не понимала, почему муж целыми ночами просиживает над какими-то чертежами; схемами; мало того, выскакивает из-за стола и начинает взволнованно ходить по комнате, произнося: «Да-да. Так-так», — и снова садится за чертежи и схемы.

Однажды она спросила:

— Коля, что тебя так тревожит? Даже похудел.

— В чертежах и цифрах есть своя душа, Танюша, — не сразу ответил он.

— В этих? — она ткнула пальцем в бумаги.

— В этих? Да еще какая! Вот я изучаю основные труды немцев, англичан, американцев и вижу — все построено в отрыве от интересов тех, кто фактически выпускает машину, другими словами: те, кто создает машину, превращены в нечто побочное, вернее, в своеобразную деталь. Капиталисты, конечно, за время своей эпохи сумели создать четкую структуру производства автомобилей. Нам положено многое принять, но не раболопски, а творчески переработать. А если я в основу нашего завода положу целиком и полностью один из этих вариантов, то сие, независимо от моего характера, моего сознания, превратит меня в капиталиста номер второй. Вот и похудеешь, — полушутливо закончил он,

— Ну уж! Капиталистом ты никак не станешь.

— Видишь ли, Танюша, в жизни, как и в науке, есть законы, существующие независимо от нашего сознания и воли.

— Не понимаю. Разве не от моей воли зависит написать или не написать картину?

— От твоей воли зависит — усадить себя за краски. Но если ты уселась, а у тебя нет жизненных богатых наблюдений, то ничего не напишешь... или напишешь что-нибудь пригодное для плаката Гостраха. Так ведь? Значит, и у вас есть закон: надо глубоко изучить жизнь, природу, только тогда, при наличии соответствующего таланта и всех прочих данных, создашь прекрасное полотно. Этот закон существует ведь независимо от твоего сознания. Или — нельзя вырастить пшеницу вот на этом столе. Требуется комбинация питательных веществ, такое-то и такое-то количество солнечной энергии, влаги. Закон? Конечно, закон. И он существует независимо от человеческого сознания. Нам дано познать этот закон, подобные законы и заставить их служить человеку. Такие же законы, верно, не вечные, существуют, существовали и в любом обществе: первобытном, рабовладельческом, феодальном, капиталистическом и социалистическом.

Татьяна присела против него, охватила ладонями вспыхнувшие щеки и, как всегда, откровенно сказала:

— Милый мой... я ведь глупенькая. Ну, глупенькая. А знать-то мне надо.

— Обязательно, — ответил он. — Не только нам, но и вам, художникам, надо знать общественные законы. Ну, давай попроще. Представь себе, вот здесь заседает американский президент, окруженный своими, назовем их соратниками. На воле они говорят о мире во всем мире, о том, что война — противоестественное явление, и прочее, прочее, прочее. Но... у президента есть акции крупнейшей компании, как, например, «Трест уголь», у его заместителя есть акции, например, такой организации, как «Трест сталь», у другого — акции «Трест нефть», у четвертого акции «Трест медь», у пятого — акции «Трест автомобиль», и так далее, и так далее. А у трестов огромнейшие запасы нефти, стали, меди, автомобилей и так далее. Откуда все это капиталисты достали? Сами сделали? Нет. Они владеют орудиями производства и благодаря этому воруют у трудящихся нефть, сталь, медь, машины, хлеб и так далее, и так далее. Куда же девать все это сворованное? Продать внутри страны нет возможности: рынок перенасыщен. Продать на рынке соседней страны? Но там тоже капиталисты, и у тех тоже склады ломятся. Те капиталисты сами намереваются сплавить свои запасы на рынке соседней страны или на рынках колоний. Понимаешь? И тогда...

— Тогда начинается война, — обрадованно подсказала Татьяна и тут же перепугалась. — Глупость?

— Нет. Правильно. Империалисты одной страны идут войной на империалистов другой страны, чтобы завоевать рынок для сбыта. И как ни крутится президент вне заседания, какие он речи гуманного порядка ни произносит здесь, на заседании, он уже во власти монополистов, и они диктуют ему: готовь войну. Значит, империалистическая война — явление, порожденное капиталистическим миром.

— Понимаю, — произнесла Татьяна. — Ну, а у нас?

— У нас все иначе. Разве ты когда-нибудь слышала, чтобы я говорил: «Нам надо захватить рынки такой-то и такой-то страны, колонии»?

— Ты? Но ведь ты не правительство.

— Как не правительство? Я депутат Верховного Совета Союза. Так вот, ты от меня не слышала, но ведь и я ни от кого подобного не слышал, хотя бывал и на сессиях Верховного Совета и на заседаниях Совнаркома, Политбюро. Везде и всюду большие и малые руководители главным образом и озабочены тем, как вместе с народом создать изобилие материальных и духовных ценностей. Причем, добываем ли мы нефть, уголь, выплавляем ли мы сталь, чугун, выпускаем ли мы самолеты, машины, строим ли новые текстильные фабрики, дома, театры, клубы, университеты, — все, что производится и строится в нашей стране, — все это идет на благо всех трудящихся... и потому...

— Потому нам не надо воевать, — снова подсказала Татьяна.

— Правильно. Незачем нам воевать: мы любим труд и хотим своим трудом производить изобилие и сверхизобилие материальных и духовных благ.

— Вот хорошо-то: поумнела я маленько, — тепло улыбаясь, проговорила Татьяна и снова показала на бумаги. — Ну, а тут, как ты назвал... в этом технологическом процессе. Разве производство машины... Технологический процесс... цифры... вот все эти... — путаясь в незнакомой терминологии, потому не в силах высказать свою мысль, говорила Татьяна.

— Понимаю тебя. Хочешь спросить: разве в самом технологическом процессе производства у них и у нас есть разница? Да. Конечно. И колоссальная. Их технология тоже ведь продиктована основным законом — барышом. И потому, повторяю, если я целиком перенесу их технологический процесс к нам на завод, то, независимо от моего характера, моего сознания, непременно превращусь в своеобразного капиталиста номер второй.

— Умница ты у меня, — искренне произнесла она. — Ты даже и не представляешь себе, как помогаешь в моей работе.

Он задумался и, чтобы не обидеть ее, сказал:

— Вчера Альтман, выслушав мои соображения на эту тему, сказал: «Изумительно зоркий глаз у вас, Николай Степанович». Я ему ответил: «Не зоркий глаз... а надо нам всем не просто читать труды Ленина, а изучать их». Ведь то, Танюша, что я тебе сказал... верно, в упрощенном виде я тебе сказал, обосновано в трудах Ленина. Беда наших работников: мало и не вдумчиво изучают они эти труды. Ну, давай работать, моя художница. Марш в мастерскую! Кстати, когда ты меня туда допустишь?

— Потом. Потом. — И Татьяна скрылась.

Николай Кораблев снова заходил по комнате.

Изучая процесс производства автомобилей в капиталистических странах, он невольно думал и о Кокореве, стремясь познать его метод руководства, дабы через это вскрыть то, что «настряпал» Кокорев на заводе.

«То, что он, подобно капиталисту, с презрением относился к рабочим, видно по его дурацкой удали. Разбивка нового парка, строительство второго стадиона, отвод русла реки и даже расширение зданий цехов — все это купеческая удаля, движимая собственными интересами, стремлением захватить славу. Раз это так, то и в производство он внедрял чужеродное». Так рассуждал Николай Кораблев, изучая процесс производства машин, видя перед собой не только схемы, чертежи, цифры, но и тридцатитысячный коллектив завода.

Вскоре он затребовал материалы с Московского автомобильного завода и, ознакомившись с ними, воскликнул:

— Вот это то, что нам надо, Танюша! Здесь все строится во имя человека и в его интересах. Знаешь, кто директор? Бывший электротехник. Да, да. Что ты так удивленно смотришь? Лет двадцать, пожалуй, тому назад он предложил организовать ремонтные мастерские. Из мастерских сначала вырос маленький заводик, теперь — заводиче и целый город.

— А он техник?

— Крупный хозяйственник, инженер и политический деятель. Эх, хотя бы одним глазом посмотреть, что у него в цехах! — Николай Кораблев тут же спохватился, думая: «Как же это я с таким восторгом? Она обидится и скажет: «Уже потянуло на сторону!» — и с испугом торопливо добавил: — Чепуху мелю: у меня достаточно материала, чтобы понять технологический процесс.

Татьяна покачала головой.

— Не обманывай себя. Я по твоему восклицанию поняла, что тебе надо побывать там. Ну и слетай.

Тогда он с благодарностью посмотрел на нее и, однако, с тревогой произнес:

— Но как же ты останешься одна?

— Не расколюсь. Только ты недолго!..

— Зачем же? На все хватит три дня.

Испросив разрешение у министра, он на следующий день вылетел в Москву и прямо с аэродрома направился на автомобильный завод.

2

Завод раскинулся на окраине столицы.

Николай Кораблев был здесь еще до войны: его с заседания у наркома директор завода Иван Петрович Усов пригласил к себе и повел по цехам. Но тогда Николай Кораблев сам являлся директором моторного завода и, вполне естественно, все свое внимание сосредоточил на моторном цехе. Через час или два он воскликнул:

— Да у тебя, Иван Петрович, не цех, а целый завод!

— А как же, — не без гордости подтвердил тот, — у нас и кузница — завод, если в отдельности брать, и фрезерный — завод, если в отдельности брать, да и каждый цех — завод, если в отдельности брать.

И сейчас — низенький, круглый, с торчащими пепельными усами — директор Московского автомобильного завода встретил Николая Кораблева у па-

радного. Сначала он поздоровался за руку, затем, посмотрев в глаза гостю, вдруг взволнованно произнес:

— Давай поцелуемся, — и трижды поцеловал того. — Все слышал... и даже некролог читал. А теперь что ж? Директор автомобильного? Хорошо. Прибыл, чтобы поучиться у нас? Чудесно. Так и надо — не кочевряться. Иной ведь нос задерет и пыхтит: мы-де сами с усами и у Усова не думаем учиться. А ты правильно поступил: ведь вашему заводу всего два года?

— Пять.

— Нет: три года выпускали моторы, два — машины. Так вот, а нашему молодчику скоро стукнет двадцать.

Говоря все это, Иван Петрович ввел гостя в обширный кабинет.

Судя по убранству, никак нельзя было сказать, что кабинет принадлежит директору автомобильного завода. В углу стояла этажерка-шкаф из красного дерева, вся заполненная хрусталем — вазами, кубками, золочеными грамотами — призами футболистов, хоккеистов, конькобежцев, и потому казалось: в этом кабинете работает руководитель физкультуры. А на стенах всюду висели проекты домов, новых улиц, Дворца культуры — и по этому можно было судить, что кабинет принадлежит не директору завода, а начальнику строительства. В углу виднелись экземпляры березок, дубков, сосен, лип и тополей, что говорило о том, что здесь заседает лесовод.

«У Кокорева в кабинете висел только график, у этого — быт, — мелькнуло у Николая Кораблева. И еще мелькнуло: — Не увлекся ли он пальмами, как некоторые... Тогда чему же у него учиться?» И он снова окинул взглядом стены кабинета, этажерку, переполненную хрусталем.

— Что? Уже изучаешь? — спросил Усов. — Это, — показал он на этажерку с хрусталем, — призы: наши заводские физкультурники заработали. Но давай сначала позавтракаем. — И, приказав, чтобы подали завтрак на двоих, спросил: — Может, коньячку?

— Не научился, вот беда, — смеясь, ответил Николай Кораблев и, стесняясь, добавил: — От тебя, Иван Петрович, можно по телефону связаться с нашим заводом?

— Эх, удивил! Хочешь, с Берлином свяжу? С Парижем? — И Усов вызвал секретаря: — Соедините-ка нас с Чиркульским автомобильным.

После завтрака они было направились в цехи, но в эту минуту задребезжал телефон, и секретарь предупредил:

— Междугородная.

— Потом поговоришь, Николай Степанович, — желая как можно скорее поразить гостя красотой цехов, недовольно сказал Усов.

— Ну что ты, Иван Петрович! — Николай Кораблев торопливо вернулся в кабинет, затем взял трубку и, бледнея, чего вначале никак не мог понять Иван Петрович, заговорил: — Это Кораблев. Да. Здравствуйте. Соедините меня с квартирой. — Чуть подождав, он воссиял, произнося: — Ну, как ты там? Да. Хорошо. С завода говорю, из кабинета Ивана Петровича. Да. Да, — глядя на Усова, подтверждал он. — Бывший электротехник. Поклон ему? Передаю. Вечерком еще позвоню. Ну, целую тебя.

Когда он положил трубку, Иван Петрович, усмехаясь, произнес:

— А я думал, ты по заводским делам. — И тут же вспыхнул, предполагая, что таким замечанием обидел гостя. — Прости, пожалуйста: ведь у тебя жена — Половцева, Татьяна Яковлевна? И о ней все знаю... — А выйдя во двор, добавил: — Вижу, крепкая у вас любовь.

— А у тебя?

— Огонек горит в груди... неугасимо, — полусерьезно, полушутя ответил Усов, пересекая наискось асфальтированную площадку. — Я, дорогой гость, думаю: двинемся прямо к «диктатору».

— Это куда ж?

— На главный конвейер. Уверен, такого в Европе нет.

— Почему называешь «диктатором»?

— Если какая-либо заминка на главном конвейере, то это становится немедленно известно всем цехам: он не принимает или ему недодают.

...Здание главного конвейера было обширное, светлое и чистое, как зал крупнейшего театра.

Войдя в такой зал, Николай Кораблев сжался, с обидой думая: «А у нас не такой. Верно, тоже чистенько, но...»

Его мысли перебил Усов:

— Капиталист ни за что не показал бы тебе всего. А мы ведь с тобой не конкуренты и должны друг у друга учиться. Видишь, здесь два конвейера. Номер первый смонтирован по американскому образцу. Барахло, прямо говорю. Номер второй — в голосе Усова слышались и ласка, и любовь, и хорошая гордость, — номер второй разработан и сконструирован коллективом наших инженеров. Его-то и следует познать... и перенять.

К конвейеру номер два со всех цехов шли детали, агрегаты. Вначале показалась рама.

— Давай проследим за этой рамой. Отметь секунды и минуты. Мы когда-то боролись за минуты, теперь — за секунды, — проговорил Иван Петрович, сам с напряженным вниманием следя за рамой; она какой-то миг покачивалась в воздухе, словно примеряясь, затем легла на место, готовая принять на себя все, что потом образует машину.

Глянув на часы, Николай Кораблев двинулся за рамой. Не прошло и двух минут, как уже появилось сердце — мотор, затем ноги — ошинованные колеса. Рабочий привинчивает гайки электроприбором; толкнет им в гайку и тут же молниеносно перебрасывает его на другую.

А по конвейеру все двигается, двигается... шуршит, порою повизгивает или шлепается, как иногда шлепаются друг о друга гребни мелких волн, а руки рабочих действуют быстро, расчетливо.

Не успел Николай Кораблев по-настоящему рассмотреть во весь этот согласованный ритм, как очутился на конце конвейера.

Водитель включил мотор. Тоѣ загудел. И мертвый металл — рама, шасси, колеса, коробка скоростей и еще сотни деталей и агрегатов — разом ожил, и машина, оторвавшись от конвейера, побежала к другим таким же, которые сгрудились около ворот, дожидаясь паспорта.

— Глянь-ка на часы! Глянь! — И Усов уперся в гостя, преграждая тому путь.

Николай Кораблев посмотрел и ахнул:

— Да слушай, Иван Петрович, за такие минуты даже в Америке машины не сходят с конвейера.

— Вот то-то и оно, — по-хорошему хвастаясь, протянул Усов. И чуть погодя: — Крепыш у нас «диктатор»! Сами создали. Сами-и! — уже с гордостью подчеркнул он. — Ведь это показатель нашей культуры.

— Но, дорогой мой, я еще только видел мелькающие руки, а всего рабочего не рассмотрел. Погоди хвалиться: может быть, твой «диктатор» опустошает человека, делает его механизмом, как у Форда?

— Полагаешь, ты первый так ставишь вопрос? Ты хоть с душой, а иностранцы с иронией, со злобой говорят: «Что ж вы, советские, когда-то проклинали конвейер, теперь сами завели». А мы, то есть сами-то, делаем вот что: больше года, ну, от силы, двух лет рабочего на конвейере не держим. Здесь для него своеобразная школа: он в течение года познает все процессы на конвейере, а потом становится или водителем, или переходит на другую работу — в кузницу, механический цех, в цех коробки скоростей и так далее. Вот почему «душу мы из него не выколачиваем». А так, конечно, поработай он на конвейере лет десять — и превратится в механизм, — пояснил Усов, когда они подошли к рабочему, который электроприбором завинчивал гайки на колесах.

Николай Кораблев остановился: у них на заводе такого ввинтителя не было, делалось все примитивно, а потому около каждого колеса копался отдельный рабочий.

Здесь человек работал быстро, с неуловимыми порывами, но, оглянувшись и увидав рядом директора,

видимо застеснялся, и два раза сунул ввинтителем мимо гаек.

— Ага! — закричал Усов, как-то радуясь. — Промазал! Вот сейчас поймешь, Николай Степанович, какой у нас контроль: этого немедленно засигналят!

В самом деле под потолком вспыхнул красный свет, указывающий, в каком звене на конвейере и на сколько секунд дело «застопорилось», а к «виновнику» подбежали два человека, хватаясь за запасные электроприборы.

— Кто же это? — спросил Николай Кораблев.

— Скользящие рабочие, то есть те, кто прекрасно изучили все процессы на конвейере и в любую секунду подспевают туда, где они нужны.

— Подари, — попросил Николай Кораблев.

— Кого? Скользящих рабочих? — недоуменно спросил Усов.

— Нет. Такую бригаду мы сами создадим. А вот этот электроприбор.

— Дарю.

— И еще подари чертежи конвейера номер два.

— Ну, на это нужно разрешение министра! Жаден же ты, братец: мало — посмотрел, еще и чертежи давай!

— В тебя жадный, — ответил гость.

— Оно так: все мы на новое жадные.

Потом Николай Кораблев вместе с Усовым побывали в термическом цехе, в формовочном, в механическом, в кузнице. И уже поздно ночью, когда и у того и у другого не двигались ноги, гость сказал:

— Спасибо за науку, Иван Петрович. Теперь, прошу, отправь меня на аэродром.

— Да ты хоть пообедай.

— Некогда. Перекушу в дороге.

— Останься. Переночуешь у меня.

— Не могу, — тепло и устало улыбаясь, возразил Николай Кораблев, показывая рукой на сердце. — Здесь огонек и тревога. И еще... она... ну... скоро у нас...

— Догадываюсь. Поздравляю и одобряю.

Вернувшись из Москвы, Николай Кораблев коротко о виденном рассказал жене, затем отправился в заводоуправление. Татьяна хотела было часа на два задержать мужа, чтобы отдохнул, но, поняв, что этого сделать невозможно, отпустила его.

3

На Московском автомобильном заводе Николай Кораблев подметил одно и весьма для него важное: рабочие на конвейере ли, в кузнице ли, в цехе моторов, или в цехе коробки скоростей — всюду при виде Усова, задорно поблескивая глазами, помахивали рукой или кепкой, и по всему этому уже было видно, что между коллективом и директором существует неразрывный контакт.

«Значит, о контакте можно узнать даже по глазам рабочих», — еще тогда заключил Николай Кораблев, и вот теперь, не заходя в заводоуправление, он отправился в цехи, дабы здесь попытаться по глазам рабочих познать то, что так волновало его все эти дни.

За годы отсутствия Николая Кораблева состав рабочих обновился, и многие в лицо его не знали, потому не обращали на него внимания. Но именно они, вот эти рабочие, не знавшие в лицо Николая Кораблева, всем своим видом и вселили в него особую тревогу. Обтрепанные, исхудалые, они делали все так, как положено делать людям, физически переутомленным: выполнить порученное — и на постель. Те же рабочие, которые знали Николая Кораблева по временам строительства данного завода, восстановления и пуска тогда моторного завода, при встрече с директором вдруг словно пробуждались от глубокого, болезненного сна и весело кричали:

— Здравсте! Здравсте, Николай Степанович! За руль взялись. Ну, значит, корабль на подводную скалу не сунется.

Но только он отходил от таких рабочих, как глаза у них снова тускнели, а движения рук становились вялыми, деревянными.

— Да. Все разрушено, — с острой тревогой, с какой отец говорит, понимая, что сын или дочь действительно при смерти, произнес он и, увидав Степана Яковлевича, направился к нему. Подойдя и указывая на рабочих, невольно строго спросил: — Что? С ними что?

— Черная кошка пробежала, Николай Степанович. Нет энтузиазма. Помните, как Иван Кузьмич говорил, если рабочие только слушаются директора, то они, конечно, выполнят задание, но если любят, тогда скажи им: «Сверни гору», — две сдвинут. Ясно, кошка — Кокорев. Убрали его, но, однако, болезнь разъедает коллектив. Какая? Умом своим постигнуть не могу. — И Степан Яковлевич от волнения потрогал большой кадык.

Побывав в некоторых цехах, удрученный виденным, Николай Кораблев пересек двор склада, через задние ворота вышел к подножию Ай-Тулака и тут услышал пронзительный, захлебывающийся крик ишака. Директор вздрогнул, остановился и только теперь увидел: все подножье горы, вся долина и даже склон горы изрыты и разукрашены землянками, огородами, сарайчиками.

Дело в том, что сюда, на завод, ехали люди со всех концов страны и селились около землянки Васи Ларина... и вот уже заговорили на все голоса женщины, всюду забегали ребятишки. Сколько ребятишек, батюшки мои! Замычали коровы, залаяли собаки. Собак-то откуда достали? Некоторые даже на цепи. И кто-то уже завел ослика, самого настоящего ишака. Этот каждую ночь ровно в двенадцать часов, будто выполняя свой долг, извещает жителей протяжным рыдающим криком. Но орет и вообще, когда захочет. Не заткнешь же ему паклей глотку! Вот и сейчас: вздумалось — и заревел. Чтоб его разорвало! Кончил и снова начал.

— Гудок. Наш гудок, — горестно смеясь, произносили жители землянок, а Вася Ларин говорил своей жене:

— Настоящий курорт около нас открылся... имени моему.

Глядя на землянки, слыша рев ишака, Николай Кораблев мысленно произнес: «Индустрия... при ишаке. Черт знает что!» — и направился в заводоуправление, переполненный сокрушающей злостью.

В кабинете его поджидали Иван Иванович, Альтман и Лукин. Поздоровавшись, они сразу начали расспрашивать о виденном на Московском автомобильном заводе, а директор произнес, показывая пальцем в сторону Ай-Тулака:

— Слышите? Нет? Ну, слушайте. Ишак орет. Ага. Слышите, Юрий Васильевич? К нам взывает ишак! Дожили. Не это ли главная причина усталости рабочих?

— Что? Крик-то ишака? — спросил Альтман, готовый по-дружески высмеять директора.

— Да, товарищ главный инженер. Разбивали дубовый парк имени Кокорева и забыли о том, что в первую очередь надо переселить людей из землянок в коммунальные дома, — невольно зло прорвалось у Николая Кораблева. — Как у вас со строительством жилищ? — обратился он к Ивану Ивановичу и, пересиливая бурлившую злость, улыбнулся. — Надо людей вселить в квартиры, и как можно скорее.

— Скорее, — заворчал Иван Иванович. — Скорее — значит плохо. А плохо — вы у меня не примете.

— Не примем, верно. Но надо скорее. И к осени землянки срыть. Вот я и прошу вас троих, — обратился он к Лукину, — подсчитайте все ресурсы, все возможности и разумно поверните силы на строительство жилищ.

— Это коренное решение вопроса, — согласился Лукин. — Пойдемте в кабинет главного инженера. Подсчитаем и потом доложим Николаю Степановичу.

Как только они вышли, Николай Кораблев, отяжелев, словно на нем возили дрова, опустился на стул и почувствовал, что сердце у него так заныло, что если бы он был по характеру слабее, то, наверное, закричал бы.

«Что же мешает работать коллективу? — подумал он. — Живут в землянках, неважно питаются, плохо одеты, не ко всем прибыли семьи. Мы это устроим.

Но только ли это является причиной? Почему у рабочих нет той удали, которая веселит труд? Черная кошка пробежала? Что за кошка?»

Он нажал кнопку, вошла Надя.

— Попросите ко мне Степана Яковлевича и... и Ивана Кузьмича, — проговорил он. — Иван Кузьмич как... отгулялся?

— Отгулялся, — ответила Надя.

Вскоре в кабинет вошли Степан Яковлевич и Иван Кузьмич — уже в гражданском костюме, такой же простой и стеснительный, каким его знал Николай Кораблев до войны, работая с ним вместе на моторном заводе в Москве и вот здесь, в Чиркуле. Но сейчас появилось что-то новое: в былые времена всегда Иван Кузьмич как бы вел за руку Степана Яковлевича, ныне — его ведет Степан Яковлевич.

«Поменялись ролями. В чем дело?» — подумал Николай Кораблев, всматриваясь в смущенного Ивана Кузьмича, еще ничего не понимая, только видя, как Степан Яковлевич, первый шагнув к столу и обращаясь к директору, словно рекомендуя новичка, сказал:

— Вот, еще один подросток у меня прибавился. Говорит: «Отстал, разучился». Придет в цех — и то ему расскажи, то ему покажи.

«А-а-а! — мысленно воскликнул Николай Кораблев. — Вот в чем дело. Конечно, за четыре года войны, несмотря на все провалы, завод двинулся вперед... и для Ивана Кузьмича не все ясно. До чего он умный, не гнет нос: «Я герой, и мне все нипочем».

— Учусь, Николай Степанович, — тихонько смеясь, сказал Иван Кузьмич. — Далеко упороли тут без меня. Далеко. Заходил к Варваре Короновой... Ну что? Простая женщина была: щи варить умела, белье стирать умела... еще — песни петь мастерица... А тут — на четырех станках орудует. Я не справлюсь, а она справляется.

— Одно неладно — жалуется: «Ноженьки отваливаются», — вмешался Степан Яковлевич.

— Жалобы-то идут... По всем цехам идут, — добавил Иван Кузьмич, осторожно садясь в глубокое кресло; затем потер большим пальцем правой руки

ладонь левой, как бы что-то там пробуя, и сказал: — Уж всегда откровенный я с вами. Верно, однажды вы мне подметили, что откровенность еще не истина... истина — анализ ума. Только я ведь по цехам-то расхаживаю как гость и все доподлинно слышу. Гудом все гудит. Вроде как бы все болеют недугом. А каким? Знать не знаю.

Степан Яковлевич положил на стол огромные руки и, глядя в лицо директору, подтвердил:

— Такова и моя точка зрения.

— Где-то большущую гайку закрутили весьма туго... и тормоз, — пояснил Иван Кузьмич.

— Да. Но где? — спросил Николай Кораблев. — Я не допрос вас чиню, Иван Кузьмич... не подумайте плохо. А просто прошу помочь мне. Степан Яковлевич тоже говорит — кошка пробежала. Где пробежала? Что нам делать, чтобы вселить веселье, радость в коллектив? Свалить все на Кокорева — ныне дело легкое... Надо познать и изгнать кокоровщину — это дело сложнее. Мы с вами вроде консилиума. Нельзя лечить больного, не определив болезнь.

Иван Кузьмич снова потер пальцем ладонь и, вскинув на директора глаза, произнес:

— Боеспособность армии познается в бою, Николай Степанович. На параде-то он может шаги отчеканить и то и се. А в бою?

— Не совсем понимаю вас, Иван Кузьмич.

— Болеет чем-то коллектив, а вы его в бой поведете, дайте задание какое-нибудь — крупное... в деле коллектив все покажет.

...Иным же из руководства казалось, что теперь, после снятия Кокорева, завод работает нормально: машины одна за другой через каждые восемь минут сходят с конвейера и бегут на обкатку, детали из всех цехов поступают исправно, здания цехов обновляются и расширяются. Все шло как будто блестяще. Но Николай Кораблев с каждым днем становился все более сурово-задумчивым, синева под глазами легла еще гуще, а щеки совсем провалились,

Лукин, обеспокоенный, тайно держал совет с главным врачом завода, Ираклием Ивановичем Суперфосфатовым.

— Что с ним? — спросил парторг, не упоминая имени директора.

Ираклий Иванович догадался, о ком речь, ответил.

— Следы, дорогуля. Следы. Шутка, почти год в лагере, да еще терзание на столбе! Жизнь по человеку частенько царапает так же, как алмаз по стеклу.

— Тогда следует отправить в санаторий.

Ираклий Иванович, имевший много дел с ответственными работниками, глядя на обшлага своего белого халата, криво усмехнулся:

— Отправить? Я бы и вас отправил... ну, хотя бы на остров Диксон, где нет ни вредных бактерий, ни... тем паче собраний. Годика на два. У вас нервишки растрепались ой как! Но я власти не имею. Власть — вы: парторг Центрального Комитета партии. Прикажете: пусть едет в Анапу. Поиграет на берегу галькой. Чудесная там галька!

Однажды, оставшись наедине с Николаем Кораблевым, Лукин начал издали:

— Вам жирку следует немного накопить, Николай Степанович.

— Это зачем же жирок? Для солидности, что ль? Плохой вы дипломат, Юрий Васильевич. Полагаете, что я болен? Нет. Другое. Изучив технологический процесс немцев, англичан, американцев, я его отбросил: не наши методы, не наши приемы, не наша линия. И вдруг у нас на заводе вижу: все сокрушено, разорвано и повернуто в чужую сторону.

Лукин вскинул голову:

— Но ведь беды-то нет?

— Только плохие руководители после потока жалоб видят беду. Искусство руководства прежде всего заключается в том, чтобы предвидеть беду.

— А в чем она, беда?

— В перенапряжении физических сил рабочего коллектива: Кокорев «две минутки» выбил за счет перенапряжения физических сил рабочих,

— Если мы рабочих из землянок переселим в квартиры — это исправит дело?

— Исправит, но не совсем, — ответил директор.

— Если усилим питание, оденем людей — это исправит дело? — снова спросил парторг.

— Исправит, но не совсем.

— Тогда что ж, отступить? Пусть через десять минут сходит машина с конвейера? — со скрытым упреком произнес Лукин.

— Нет.

— А что же? Наступать?

— Пожалуй.

— Не понимаю вас: то перенапряжение физических сил, то наступать.

Николай Кораблев долго смотрел через окно на завод, затем сказал:

— Вот тут-то анаповской галькой никак не поможешь.

— А он уже вам сообщил?

— Сообщил.

— Экий!

4

И сегодня, когда мокрый октябрь свалился на Уральские хребты, Николай Кораблев на совещании инженеров, заслуженных рабочих, созванных парткомом, предложил:

— Нам надо заработать на конвейере еще «минуточку».

Это поистине походило на гром среди ясного неба: ведь он сам не раз утверждал, что Кокорев «две минуты на конвейере выбил за счет перенапряжения физических сил коллектива», а тут — нате-ка вам — еще «минуточку».

«В гальку поиграть следовало бы», — решил парторг, внимательно всматриваясь в лицо директора, отыскивая следы болезни и, кроме синевы под глазами да больших, ясных, еще молодых глаз, ничего не находил. — Хотя, — думал он, — это такая болезнь: кажется, человек совсем здоров, а на чем-то помешался».

Первым выступил Альтман, высказав то, что думало большинство.

— Это будет безумие, — под конец своей речи почти свирепо заявил он и, видя, как Николай Кораблев улыбнулся, еще резче кинул: — Да! Безумие!

Его решительно поддержал Степан Яковлевич. Он подошел к столу, за которым рядом с Лукиным сидел Николай Кораблев, и запротестовал:

— Николай Степанович, конечно, рабочие нераздельны от советской власти. Скажи им: растопи льды полярные — растопят. Но меру надо знать. Война! Что война? Ого! Ведь тут тоже был фронт, да еще какой! И следовало бы рабочим отдохнуть, а вы снова — «минуточку». Легко сказать — «минуточка», дескать, шестьдесят каких-то секунд. Однако в действительности секундочки такие глыбой на плечи рабочих обрушатся. А затрещат плечи у рабочих — что делать будем?

Николай Кораблев поощрительно думал: «Пусть поспорят, тогда придут не на готовенькое, а потому каждый будет считать, что новое решение — его решение: оно станет родным».

Степана Яковлевича продолжил Иван Кузьмич, ныне занявший свое старое место на заводе, снова став начальником цеха большого конвейера:

— Конечно, нам надо шагать вперед крупными шагами. Почитайте газеты: всеобщий подъем в промышленности, в науке, в сельском хозяйстве. Небывалое дело! Помню, в прошлую империалистическую войну всеобщий упадок, нищета и голод. А ныне подъем. И мы не имеем права отставать от других. Грош нам цена, ежели отстанем. Тут я целиком поддерживаю товарища директора. Но поразмыслить надо: прав или не прав Степан Яковлевич? Затрещат плечи у рабочих, что делать будем? Ведь и без «минуточки» кряхтят. Однако я за то — в бой нас следует повести. Может, крепость поменьше штурмовать, но... в бой.

Николай Кораблев слушал их, любовался ими, намереваясь сказать: «Ясно, нашу «минуточку» следует приложить к тем двум кокоревским, которые основа-

ны на перенапряжении физических сил. Стало быть, в нормальный вид следует привести две старые и еще заработать одну. Трудное дело, понимаю. Но надо. И во что бы то ни стало надо».

Альтман, Степан Яковлевич и Иван Кузьмич как бы открыли шлюз: после них стали выступать инженеры, старые рабочие. Они говорили откровенно, страстно, подчас грубовато критикуя предложение директора относительно «минутки», временами пугаясь, а не обидится ли Николай Кораблев; но тот слушал внимательно, кивал головой и что-то записывал в тетрадочку, думая: «Очень хорошо: спорят. Будто в затхлый подвал ворвался свежий ветер. Самое опасное на заводе — когда люди играют в молчанку. Так. Так. Очень хорошо. Спорьте, деритесь, — мысленно одобрял он, одновременно изучая новых инженеров. Старые, знакомые ему, одни ушли на фронт и не вернулись, другие перевелись в министерство, третьи — на соседние заводы. И он жалел их: то все были люди с творческими задатками. — Ну, ничего. Постараемся разбудить творческие начала и в этих: человек — не камень».

В конце заседания, все еще не высказав полностью своих подтверждений относительно «минутки», директор заявил, что следует восстановить инженерно-технический совет.

— Без такого совета, товарищи, мы с вами зачахнем, покроемся плесенью, — сказал он. — Во главе совета рекомендуем поставить Альтмана: он человек энергичный.

У Альтмана задорно блеснули глаза.

«Все еще юношескует. Ну, чего глаза-то заблестели, словно мы его приглашаем на лодке кататься!» — мелькнуло у Николая Кораблева, и он более сурово добавил:

— Альтману надо понять, что мы ему поручаем очень большое, очень важное дело: нам придется во многих разбудить творческое начало и подхватить, развить то, что уже проявили передовые инженеры, рабочие в цехах. — Заговорив об этом, он уже не мог удержаться, чтобы не высказать все. — На нашем за-

воде, как мне кажется, в силу ряда причин стахановское движение пошло вширь, а нам положено направить его вглубь: меньше горбом, больше умом и умением... Тогда «минутка» не свалится глыбой на плечи рабочих.

Тут не выдержал и немедленно выступил Степан Яковлевич:

— Истина, и благородная: меньше горбом, больше умом и умением. Если такой курс возьмем, тогда плечи не затрещат. Безусловно, — закончил он полюбившимся ему словом, однако спросил: — А как? Какими силами, Николай Степанович?

— Однажды наш парторг, — продолжал Николай Кораблев, — назвал Кокорева вором. Нам тогда показалось — это что-то несуразное. Но пристальное изучение деятельности бывшего директора подтверждает, что, к сожалению, парторг прав. — Николай Кораблев смолк, видя, как люди недоуменно нахмурились. — Вас удивляет: я сказал «к сожалению». Да. К величайшему сожалению.

В этом месте все вскинули удивленные глаза, а Лукин даже спросил:

— Почему же — к сожалению, да еще величайшему?

— Потому что он в коллектив внес такой недуг, на устранение которого нам с вами придется немало положить труда.

Лукин ниже склонил голову, думая: «В тебе самом какой-то недуг», — но сказал другое:

— Не слишком ли много мы уделяем внимания кокоровщине? Нам следует коллектив ставить на ноги.

— Опять парторг прав... Но в одном направлении — надо коллектив ставить на ноги, — согласился Николай Кораблев и, чуть подумав, снова заговорил: — отыскать врага, понять его, затем разгромить и двинуться вперед... Это сказано в широком смысле: не только разгромить персону, носителя враждебного, но и то враждебное, что персона посеяла в народе. Персону-то разгромить, выходит, гораздо легче, чем устранить то, что персона натворила в том или ином

деле. Давайте сначала рассмотрим персону спокойно и рассудительно, даже весьма объективно, отбрасывая все и всяческие личные обиды, неприязни к данной персоне. Я думаю, мы сначала спросим товарища парторга, почему он назвал Кокорева вором!

Лукин от неожиданности быстро встал.

— Кокорев все делал во имя личной славы.

— Что это значит? Например, актер разучивает роль... тщательно, подчас мучительно, затем выходит на сцену и игрой потрясает зрителя. Разве он это делает для славы своего соседа — пьянчужки, мота, бездарного трепача? Что такое слава? Это значит: человека за его дела хвалят, ободряют, почитают. Если тот или иной стахановец во имя государства, но и для личной славы добивается успеха в производстве — разве мы его порицаем, разве мы вывешиваем не его портрет, а портрет бездельника?.. Ой! Простите, товарищ парторг, я перебил вас, — спохватился Николай Кораблев.

— А я рад тому, что вы перебили меня, — серьезно произнес Лукин. — Слава славе рознь. Кокорев стремился выполнить и перевыполнить программу выпуска машин, не считаясь ни с чем, а только с собственной славой.

— Глубже... глубже, товарищ парторг, — проговорил Николай Кораблев так, как говорит ученый своему любимому ученику. И хотя это было сказано только в адрес Лукина, все почувствовали, что директор заставляет их в данный момент думать напряженно. — Глубже... глубже, — еще раз подчеркнул он.

— Да. Действительно, глубже, — передохнув, начал было парторг, но Альтман, видя, в какое затруднительное положение попал его друг, и все еще считая, что Лукин «по горячности» называет Кокорева вором, желая выручить парторга из беды, сказал:

— Почему он вор-то?

— Почему вор? А вот почему: любой капиталист ведет дела на фабрике, на заводе во имя прибавочной стоимости, то есть во имя воровства у рабочих материальных благ.

— Ну! — со смехом выкрикнул Альтман. — Машины... грузовики, что ль, он воровал? Вот еще, уцепился и не отцепишься.

— Альтман не знает законов политэкономии, потому рассуждает, говоря мягко, наивно. В нашей стране уворовать материальную прибавочную стоимость невозможно. Ее даже никуда не сбудешь. Кокорев воровал у рабочих другую прибавочную стоимость — духовную, иными словами — славу рабочего коллектива, а стало быть, их труд. Отвод русла реки, строительство нового стадиона, разбивка дубового парка, расширение зданий цехов... — все это стряпал Кокорев во имя собственной славы... Но ведь даже эту славу добывали ему рабочие руки — вот почему он вор, — закончил Лукин и присел, вытирая вспотевшие виски, тихо смеясь. — Глубже? Оно глубже-то весьма трудно, Николай Степанович.

— Да. А нам надо только глубже. Правильно вы охарактеризовали персону Кокорева. Но нам следует еще добратся до кокоревщины, вскрыть ее в самом производстве, в быту — это гораздо сложнее. Люди нашей страны устремлены к тому, чтобы труд из проклятия превратить в радостную потребность человека. Потребность! С этих позиций давайте и подойдем к тому, что такое кокоревщина... Вы, Иван Кузьмич, как-то мне говорили — в цехах гудом гудит?

Иван Кузьмич, как всегда, поднялся степенно и, прежде чем сказать «весомое слово», начал большим пальцем правой руки растирать ладонь левой, но его опередил Степан Яковлевич.

— Истина! Та же Варвара Коронова. На четырех станках взялась орудовать, а ныне — волосы на себе рвет!

— Да, да. Физическое перенапряжение. Что? Такое сами рабочие создали? Не думаю. Так, Иван Кузьмич, поведем весь коллектив на бой. В бою вскрыем кокоревщину и уничтожим ее.

— Истина! — снова басом грохнул Степан Яковлевич. — Но как?

— Надо, — продолжал директор, — в каждом цехе изучить процесс работы самого передового человека. Например, работу той же Варвары Короновой. Она,

как мне говорили, почти самостийно захватила четыре станка. Можно, конечно, ей дать шесть, потом восемь. Но такое движение пойдет не вглубь, а только вширь. Следует изучить процесс работы на четырех станках, да изучить так, чтобы облегчить труд Варвары и одновременно выдать больше продукции, и опыт Варвары Короновой внедрить в массы. Или в формовочном. Кто у нас там впереди?

Лукин быстро ответил:

— Вася Ларин.

— Чудесный человек! — подхватил Николай Корблев. — Требуется изучить метод Ларина, да изучить так, чтобы облегчить его труд и одновременно выдать больше продукции. Таким образом следует пройтись по всем цехам, разработать и направить стахановское движение вглубь, чтобы меньше горбом, больше умом и умением. Мне могут возразить: дескать, нужно все механизировать. Я считаю: наш завод пока что достаточно механизирован. Следует то, что есть, перевернуть с головы на ноги и кое-что взять из практики Московского автомобильного завода: у них есть чему поучиться. А учиться никогда не грех.

Люди ободрились, и директор, решив еще больше поднять настроение актива, сказал:

— Мы с вами, товарищи, строим коммунизм и потому обязаны заботиться о людях. Кокорев разорвал контакт между руководством и коллективом. От нас же требуется, чтобы мы контакт восстановили. И мы его восстановим, когда устраним физическое перенапряжение, не снижая выработки продукции, а, наоборот, увеличивая ее. В этом суть нашей деятельности.

Тогда Ванечка, редактор местной газеты, с юношеским пылом обратился к директору:

— Николай Степанович, разрешите дать шапку?

— Какую шапку? — недоуменно спросил тот.

— Шапку в газету, то есть вот здесь, наверху, жирно. «Меньше горбом, больше умом и умением». Ведь это крылатые слова.

Директор помедлил.

— Посоветуйтесь с парторгом. Может, подождать... как вы сказали... с шапкой? Может, лучше

картуз? — пошутил он, но тут же серьезно: — Не преждевременно ли? Рабочие прочтут и встанут в тупик: что редактор выдумал?

— Повременим, — скупое кинул Лукин. — Сначала поставим вопрос перед коммунистами, комсомольцами... а потом шапку, товарищ редактор.

После этого было намечено, кому из инженеров надлежит изучить и обобщить работу и достижения передовых людей. Затем люди долго не расходились: перед ними открылась перспектива, и все переговаривались, а Лалыкин сел у подоконника, что-то записал в блокноте, затем прокричал:

— Товарищи! Подождите! У меня есть предложение.

Директор, радуясь тому, что у людей появилось хорошее настроение, сказал:

— Подождем с предложениями, товарищ Лалыкин. Пойдемте-ка лучше на конвейер. Вы, — спросил он Альтмана, — все, что подарил нам Усов, доставили?

— Все на месте, Николай Степанович!

— Так вот с вас начнем, Иван Кузьмич, — обратился директор к Ивану Кузьмичу.

Ночь была темная и свежая. Во тьме особенно ярко горели электрические фонари.

«Чудесный какой он у нас, наш пятилетний ребенок!» — глядя на огни завода, по-особенному любя сегодня завод, подумал директор и, взяв под руку Лукина, тихо заговорил:

— А вы хотели меня отправить в Анапу... галькой играть! Не время, Юрий Васильевич: ведь мы с вами разгромили Кокорева только с трибуны, а его надо громить главным образом в производстве... Пойдемте-ка сначала наверх, — пригласил он, когда все вошли в здание главного конвейера.

Здесь, на верхней площадке, Николай Кораблев подвел всех к тому месту, где «обувались» колеса в резину. Это делалось примитивно, так же, как делает шофер в дороге, когда лопнет покрышка или камера.

— Видите, товарищ, какой адский труд, а на московском заводе вот что есть. Покажите, — обратился он к Ивану Кузьмичу.

Тот с охотой указал на угол, где около весьма несложного станка стоял рабочий. К нему по транспортеру двигались колеса, на диск которых был приспособлен металлический ободок. Рабочий одним движением руки все это сталкивал на станок, и за несколько секунд путем нажатия рычага колесо заправлялось и по транспортеру шло дальше; затем оно соскакивало, попадало под шланг и моментально накачивалось.

— Видали? — сказал Николай Кораблев, слыша возбужденные голоса присутствующих. — А ведь это не чудо. Чем строить второй конвейер, надо было подумать о том, как ускорить процесс на старом конвейере. Показывайте дальше, товарищ начальник.

Иван Кузьмич свел всех вниз и, подойдя к одному из пролетов на конвейере, как бы показывая на слона, сказал:

— Вот.

В пролете, через который двигалась еще «мертвая» машина, но уже с колесами, стояли по обе стороны двое рабочих и электроприбором молниеносно завинчивали гайки.

— Так, вместо четырех рабочих, двое и в три раза быстрее, — резюмировал Иван Кузьмич.

— Но все это еще мелочи. Мы получили чертежи главного конвейера Московского автомобильного завода. Вам, инженерам, и следует сконструировать, не останавливая процесса, и у нас на заводе такой же конвейер... тогда, может, второй-то и не понадобится. Посмотрим. Одна деталь: на московском заводе у конвейера пол движется. Как будто пустяки. Но это экономит и минуты и физическую силу рабочего. Затем надо создать скользящую бригаду: вдруг где какая-либо заминка — рабочие из этой бригады немедленно бегут туда и помогают. Я, пожалуй, сам встану во главе инженеров, и вместе с ними мы произведем реконструкцию нашего конвейера...

Директор около часа рассказывал о том, что он видел на Московском автомобильном заводе, после чего снова всех пригласил в свой кабинет, где и была создана группа из инженеров, мастеров, которую воз-

главил Николай Кораблев, а под конец, глядя в туманенное ранней зарей окно, сказал:

— Утро уже, товарищи. Нас, наверное, дома заждались.

«Кого заждались, а кого и не ждут», — с грустью подумал Лукин, но слова Николая Кораблева пробудили в нем и другое: мысли о рабочих семьях, о самих рабочих, о том, что он видел ежедневно в цехах — усталость людей. — И он заговорил:

— Я думаю... может быть, ошибаюсь... перенапряжение физических сил коллектива настолько велико, что вряд ли даже самый лучший проект пройдет в жизнь. Надо бы... надо бы... особенно активу... отдохнуть, подкормиться. Я уже говорил с министерством — нам дают пятьсот путевок в дома отдыха, санатории... — Лукин не закончил, боясь своим предложением сорвать то боевое настроение, которое только что создал директор, и был уверен, что Николай Кораблев запротестует сейчас, а тот даже радостно воскликнул:

— Очень хорошо! А мы за это время наши мероприятия еще и еще раз продумаем. И вам бы надо отдохнуть, Юрий Васильевич.

— Нет! Где уж! Мне разрешите съездить с группой товарищей на московский завод. Посмотрим там — поучимся.

5

Николай Кораблев первый вышел в приемную, где через открытую форточку врывался свежий воздух, и за столом увидел Надю. Она, положив наискось руки, словно собираясь куда-то плыть, опустила на них голову и крепко спала.

«Как же это я не догадался раньше ее отпустить!» — подумал он и позвал:

— Надюша!

Та вздрогнула, распрямилась, наивно произнося:

— А я и не спала. Нет, нет, Николай Степанович. Только так, маленечко.

— Шла бы домой! Иди, иди! А то народ сейчас повалит. Прокурили там, страх!

— Ну вот, видите, проветрить я должна.

Он понял, зачем ей надо «проветрить», улыбнулся и добавил:

— Ну, ну! Проветривай, — затем вышел на улицу. — Славная девушка! Только как-то у нее с Лукиным сложится жизнь?

Он уже видел жену Лукина Елену и ее мать Екатерину Елизаровну: они на днях, несмотря на то, что Надя их не пускала, ворвались к директору.

— Да что это за парторг?! — скрипела Екатерина Елизаровна. — Какой такой парторг, если не может для меня пайка выхлопотать! Разве я, мать его жены, талантливейшей пианистки, не имею права на литер «А»? (Тогда еще пайки делились на литер «А», литер «Б».) Если бы он мне достал литер «А» на тысячу рублей в закрытый магазин, я бы лишнее продала на рынке — вот Леночке и деньги. А ведь она молодая, ей и то и се надо, — говорила она, как о самом нормальном.

— Нет, не то, не то, — перебила ее Елена, стараясь по-женски заглянуть в глубину глаз Николая Кораблева. — Я не мешанка. Мама упрощает. Мне нужен муж... а он, Лукин, не появляется на квартире. Что ж делать, товарищ директор?

Он, хмурясь, ответил:

— Я семейными делами не занимаюсь.

А сейчас, сходя по ступенькам крыльца заводоуправления, подумал:

«Молодая еще туда-сюда, а мать — просто мегера! Что она сболтнула про Лукина: «Бессовестный человек». — Это Лукин-то?» — И, покачав головой, он тронулся по асфальтированной дорожке, усыпанной увядающими листьями лип.

Осень на Урале Николай Кораблев не любил: она была тут совсем иной, нежели в Поволжье. Там в предзимнюю пору лист желтеет, краснеет, становится оранжевым. Смотришь на лесистую гору и видишь, как пятнами разукрашена она: где клены — одни краски, где березы — другие, где липы — третьи,

где дубы — четвертые. Здесь осень морозами сжигает лист, и он становится грязно-коричневым. Такой лист не возьмешь в руки и не будешь изумляться тому, как осень разукрасила его. Нет, ему не нравилась осень на Урале. Тут, правда, красивые зимы: глубокие снега, много солнца, яркого, холодного. Иногда так морозно, что солнце окружается венчиком.

У подножия Ай-Тулака закричал ослик — протяжно, с заиканием, — и директор, шагая по дорожке, не только дрогнул, но и приостановился: крик напомнил о том безобразном, что творилось около завода и на заводе.

Уже осень, а люди живут в самодельных землянках под горой Ай-Тулак. Вновь построенный жилищный фонд просто не поймешь, куда девается: тает, как сахар в кипятке. То ли комендант плох — не умеет распорядиться, то ли жилищный отдел транжирит — не успеет Иван Иванович сдать тот или иной дом, как он уже заселен.

«Следует самому взяться и ни одного метра без моего разрешения», — решил Николай Кораблев.

А ишак орал и орал.

— Чтоб тебя разорвало! — проговорил директор, поднимаясь на парадное, а открыв дверь и войдя в столовую, разом притих. «Таня, очевидно, недавно легла. Замучаю я ее: прихожу под утро, а она меня все ждет и ждет. Ночью ждет меня, днем работает», — подумал он, видя на столе прикрытую подушечками кастрюлю, чайник под «бабой».

Месяца два-три назад, наголодавшись в лагере, Николай Кораблев немедленно съел бы все, что было в кастрюле, а теперь, легонько отмахнувшись, он шагнул в соседнюю комнату.

Татьяна спала разметавшись. Одеяло сползло с кровати, легло на коврик валунами. По валунам бежали лучи раннего солнца, точно что-то отыскивая в глубоких шелковых складках. Лучи, лаская кровать, ползли и по Татьяне.

«Как все-таки ужасно: радостное на свет появляется в таких муках. И врачи наши ничего не мо-

гут придумать, чтобы облегчить страдания матери», — подумал он, раздеваясь, затем осторожно поднял одеяло и, прикрывая жену, тихо поцеловал в плечо, но и таким прикосновением разбудил ее.

— Пришел? — еще не совсем проснувшись, проговорила она, протягивая руки на подушку, видимо предполагая, что он уже лег, и, не найдя его, снова сказала: — Мне показалось, ты уже здесь. Покушал? — хлопотливо, окончательно просыпаясь, спросила Татьяна.

— Ого, — неопределенно буркнул он, не желая ее тревожить: скажи «нет», она непременно поднимется и заставит сесть за стол. — Прости, бужу тебя каждое утро. Может, мне на отдельную кровать? — добавил он, в то же время пугаясь согласия.

— А что будут делать мои руки? Видишь, как они соскучились по тебе. — И она обняла его.

6

Лукин из кабинета директора решил выйти последним, чтобы не встретиться с Надей: за последнее время ему стало тяжело. Тяжело не потому, что она ему была неприятна; наоборот, все свободные минуты он тосковал о ней и видел только тот необычайный свет, который лился из ее глаз. Особенно первый свет оттуда, с балкона в клубе, когда она улыбнулась и скрыла лицо за барьером. Но за последнее время ему было просто мучительно встречаться с нею. Он бледнел, терялся, словно юноша, не знал, что сказать, а когда заговаривал, то путался в словах: фразы получались неверные, слова произносились неграмотно, исковерканно, с пропуском той или иной буквы. Ну, например, на днях Надя заговорила о погибших людях на фронте, и он сказал: «Да, смелть», — вместо «смерть».

«Позор! Еще не хватает, чтобы я ей шоколадки таскал. Распустился! Что, у тебя силы воли нет?» — думал он сейчас, намеренно задерживаясь в каби-

нете, ожидая, что Надя уйдет следом за Николаем Кораблевым, и машинально рисовал на бумаге зайчиков.

Через полуоткрытую дверь из приемной дунул ветер — приятный, пахнувший соснами. — И Лукину стало совсем не по себе.

— Черт возьми, — прошептал он, — как я стремился, чтобы жить с Еленой хорошо! Что только не делал! Все. Все, что ей надо. Но получался какой-то чертов круговорот. А тут еще Надя. Ну вот, не зашла ведь. Значит, не интересуется мною: все покинули кабинет, и она не заметила, что среди них нет меня.

В эту минуту на пороге появилась Надя, бледная, с опущенными глазами. Вначале она замерла, затем шагнула и через силу произнесла:

— Проветрить. Мне тут надо проветрить.

— Ах, вон что вас беспокоит, — пробормотал Лукин и заторопился, закрывая папку. — Я сейчас уйду. Я мешаю вам. Я могу быстро покинуть кабинет. Я ведь... — и обозлился на себя: заякал.

— Нет, не уходите, — снова через силу проговорила она и подняла на него глаза: в них грусть, раздумье. И вдруг Надя робко, застенчиво предложила: — Пойдемте в горы. — И тут же, чуть не плача: — Я сама не знаю, что со мной.

Вначале Лукин растерялся.

«А дела? А проект Николая Степановича? Но ведь такого от нее больше, пожалуй, не услышишь. Может быть, в этом мое счастье?» И он, пристально посмотрев на нее, краснея, сказал:

— Пойдемте. Я папку оставлю здесь, чтобы не заходить в партком. Потом вернемся за ней.

— Да. Папка. Это — важное. Очень. Папка с бумагами... — проговорила она, уже улыбаясь, радуясь тому, что он так решительно согласился отправиться в горы.

По асфальтированной дорожке они не прошли, а пробежали. И торопились смешно: то Надя оказывалась впереди, то Лукин. Он все больше смотрел себе под ноги, не смея поднять на нее глаза: может, она

пошутила. Вот сейчас добежит до домика Николая Кораблева, расхохочется и скажет: «Ну, до свидания, товарищ Лукин!»

Надя так же быстро пробежала, минуя домик, поднялась на подножье Ай-Тулака и стремительно, легко, без передыха, стала подниматься по крутой тропе в гору. Но откуда у Лукина взялась такая прыть? Ведь по этой тропе он еще в первые годы войны ходил вместе с Николаем Кораблевым, Альтманом и Иваном Ивановичем на озеро купаться. Тогда были передыхы, даже одышка, во всяком случае сердце колотилось. А теперь? Оно и сейчас колотится, только не от напряжения, а от переполненного чувства к Наде.

Вот уже и облысевшая вершина Ай-Тулака. С нее в утренней синеве видна далекая снежная макушка горы Мартын. Она блещет на солнце, как серебро. Это редкость: считается счастливым тот, кто отсюда увидит ее.

— Мы с вами родились в рубашке: видим Мартына? — проговорила Надя.

— Я... — начал было Лукин и сбился. «Опять за-якал!.. Снова пойдешь молотъ — я да я», — одернул он себя и посмотрел на Надю. Лицо ее разругалось, ободки губ обтянулись, словно воском. И до того она казалась хорошей, что ему захотелось подойти к ней и сказать: «Люблю ведь, Надя». Но он этого не решился произнести и, присаживаясь на белый, обкатанный мрамор, сказал совсем другое: — Я слышал, как вы пели в клубе. Спойте.

— А вы что хотите? — она присела на тот же мрамор, только спиной к Лукину.

— А вот ту... «Степь да степь...»

И она запела раздольно-широкую волжскую песню о том, как в степи замерзал ямщик. Голос у нее мелодичный, грудной. В иных местах он так взвивался, что неся по горам, и Лукин уже слушал не ее, а то, что пело вдали. В середине песни, когда она слова кинула с особой силой, он повернулся к ней и, взяв ее за плечи, только и проговорил:

— Надя! Слышишь? Вон где ты — в горах!

Николая Кораблева разбудил протяжный, заикающийся крик. Директор поморщился.

— Нет, надо самому взяться за распределение жилищного фонда, а коменданта заставить слушать ишачий рев. — С этими словами он быстро оделся, умылся и пошел наверх — в мастерскую Татьяны, будучи уверен, что жена там.

Открыв дверь в мастерскую, балагурия, крикнул:

— А ну, моя художница! — Ему никто не ответил. «Да где же Танюша-то? Может, в кабинете?» И хотел было покинуть мастерскую, но невольно задержался.

Всюду — на подоконниках, на стенах, в углах, около треножников — всюду виднелись рисунки, наброски, то сделанные карандашом, то углем, то красками. Все это напоминало детали весьма сложной машины, но каждая деталь в отдельности еще не доведена до конца: вон что-то пылает, рвется, а там вон что-то нагромождается, уходит куда-то в горы, вон люди что-то несут... нет, не несут, а толкают, вон какая-то женщина едет на верблюде, а навстречу ей кто-то скачет на коне. Вон два человека рубятся на шашках. А вот фигура старика — он, очевидно, прихрамывает на одну ногу. Дальше девушка на экскаваторе. Парень с открытой грудью пробивается через что-то... Ветер ли ему мешает, или ураган! Странно: отдельно — с узловатыми пальцами, рука, она же — сжалась в кулак. Глухарь на поляне. Белка вниз головой на сосне... А вот это уже приковало внимание Николая Кораблева...

На полотне, пожалуй, ничего особенного. Стоит вышка на фоне гор. Около вышки шахтер в брезентовом костюме, с фонарем, на голове шлем. Такое не раз видел Николай Кораблев. Но почему же все это притягивает его? Ах, вот что, горы! Они величавые и свинцово-суровые. Да нет, и это не раз он видел. Тогда что же? Ага, вот что — шахтер! У него могучая фигура, в лице упорство, уверенность в победе... Такое выражение, пожалуй, у каждого передового рабочего. Ну да, Татьяна сумела схватить именно вот

это — характерные черты рабочих: уверенность в победе. Внизу полотна она написала: «Эскиз». Затем — «Владыка». Зачеркнула и снова написала: «Человек».

— Человек! Да еще какой человек! — проговорил Николай Кораблев и услышал за спиной:

— Подсматриваешь? Ну как не стыдно?

Он повернулся и смутился: ведь договорились, что без ее разрешения мастерскую посещать не будет... а тут вишь ты как получилось.

— Невзначай. Право, невзначай, — виновато заговорил он. — Я думал, ты здесь. Прости.

— Нехорошо. Нехорошо, товарищ директор, — говорила она, но глаза ее требовали совсем другого: «Ну, скажи, хорошо или плохо я работаю? Ну, скажи».

— Хорошо. Очень, — ответил он на ее требовательный взгляд. — Молодец ты у меня! Сначала, когда подошел к эскизу, как ты называешь, я не мог понять, что же пленило меня. И только потом разобрался: вот этот человек! Ты смотри, какая сила в нем! Кажется, трудовую силу всех своих предков он впитал в себя и сейчас говорит: «Только сунься на меня, повергну». Такие и победили врага, Танюша.

— Не хвали. — Она зарылась лицом у него на груди, и он ладонями ощутил, как жена тихо-тихо вздрагивает. — Ведь я не тенор, — полушутя произнесла Татьяна. — Это только начало. А мне так много предстоит сделать!

— Прекрасное начало, — говорил он, ведя ее к себе в кабинет. — Ну, а где же ты пропадала?

— Мне захотелось брусники: он просит.

— И нашла?

— Как коза наелась.

— Тетерев ест бруснику, а не коза.

— Ну, как тетерев. Ты, конечно, еще не завтракал? А вчера мне сказал — ужинал. Жалко было меня будить?

— Ну конечно. Да и не хотел: на заседании меня всего прокурили.

— Может, и сегодня кушать не будешь?

— Нет, буду! — шутя закричал он.

— Где ты Надю потерял? Так и не приходила, — спускаясь в столовую, спросила Татьяна.

— Не может быть. Она осталась там, в приемной, когда я ушел... решила проветрить.

...После завтрака, все еще находясь под впечатлением виденного эскиза Татьяны, Николай Кораблев снова направился в заводоуправление, предполагая тут застать Надю, думая, что та просто прикорнула на диване. Но ни в приемной, ни в кабинете ее не было. На столе лежит папка Лукина. Директор развернул ее, посмотрел — там были протоколы, конспект доклада и лист бумаги, разрисованный зайчиками.

«Неужели парторг при обсуждении столь серьезного вопроса рисовал зайчиков?!» — подумал он и не успел закрыть папку, как в кабинет ворвалась Надя и тут же растерянно попятилась, говоря:

— Проветрить. Я хотела проветрить, — пробормотала она.

— Вижу, вижу, — безобидно засмеявшись, сказал он. — Проветрить! Чего уж там проветрить! Лукин-то здесь?

— Папку ему.

— И с зайчиками?

— С какими зайчиками?

«Зачем это я ей?» — мысленно обругал он себя и, подавая папку, добавил:

— Возьмите, Надя. Татьяна Яковлевна беспокоится о вас. Разве трудно позвонить?

— Я была... — у Нади вспыхнули глаза.

— Не надо. Где была, там и была. Вижу, вам плохо. Позовите Ивана Ивановича, коменданта и отдохните.

Надя вызвала Ивана Ивановича, коменданта, затем вышла из заводоуправления и направилась в партком, чтобы занести папку Лукину. Она несла ее бережно и с такой радостью, как будто это была не папка, а что-то такое, чего ни у кого на заводе нет. На пути у нее даже мелькнула мысль: «Мужу несу», — и остановилась, слыша, как громко застучало сердце. «Да неужели такое может быть?» Она быстрее зашагала к парткому, все повторяя и повторяя: «К мужу.

К мужу...» И вдруг, войдя в приемную, Надя услышала то же слово: стоя рядом с Еленой, Екатерина Елизаровна, чуть не толкая зонтиком помощника парторга, кричала:

— Она к мужу! К мужу! К мужу!

Но тот получил распоряжение от Лукина «не пускать их ко мне», стоял спиной к двери кабинета, раскинув руки, как на распяты, говоря одно и то же:

— У него заседание. У него заседание.

— К мужу! К мужу! К мужу! — хрипела Екатерина Елизаровна, остервенело направляя зонтик в грудь помощника.

Надя сникла и, положив папку на стол, еле слышно прошептала:

— Передайте. — И вдруг слезы обиды начали душить ее.

Выскочив на улицу, ничего не видя, она побежала сначала к домику под горой Ай-Тулак, затем свернула, кинулась в заболоченную долину, обливаясь слезами, с горечью произнося:

— Вот тебе и к мужу! Вот тебе и к мужу!

После этого, выплакавшись, она долгое время не смотрела на Лукина, не разговаривала с ним, отворачивалась от него, клала трубку, когда он звонил ей, не читала записок: она их рвала, мелко-мелко, и бросала в корзину.

— Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! — всякий раз шептала она, но ненависти совсем не чувствовала, а ощущала другое: как с каждым днем в ней растет непоборимая любовь к нему. И временами она еле сдерживалась, чтобы не сказать Лукину: «Так ведь нельзя. Разве я виновата в чем?» Но этого не позволяли ей вымолвить девичий стыд и гордость.

Лукин был просто потрясен. Ему казалось, что она не смотрит на него, отворачивается и не хочет разговаривать с ним потому, что оскорблена: не развязавшись с Еленой, он потянулся к Наде.

«И та, старая, орала: «К мужу! К мужу!» Да кой черт я ей муж?» Он знал, Елена намеревалась уехать в Москву, но мать запротестовала, стремясь как можно больше выколлотить с Лукина. Ему было известно:

они продали часть мебели, разбазарили мелкие вещи, кроме сундуков: эти так и находятся под крепкими замками.

— Горы золота были бы у меня — все бы отдал им, лишь бы уехали, — говорил Лукин, находясь один на один, обращаясь к отсутствующей Наде. — Понимаешь, Надюша? Горы золота бы отдал: омерзели, — вспомнил он слово, произнесенное Евстигнеем Короновым; и с тех пор, думая о Елене и ее матери, всякий раз повторял: «Омерзели. Ну, просто омерзели!..»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Первый снег выпал с вечера. До этого земля, овраги, глухие балки, лесные полянки и самый лес — могучие сосны, горделивые дубы, тоненькие, кокетливые березки и ели — все было окутано глубокой осенью, и всюду горели костры из листьев — оранжевые, рыжие, голубые, лиловые. А тут с вечера выпал первый снег. Он погасил костры, прикрыл тропы, тропинки и густо пристроился на ветках.

И все изменилось...

До снегопада тетерев отыскивал зерна трав, склевывал кислую клюкву; теперь он кинулся на деревья: его пища до весны — коричневатые сережки березок. Зайцу стало просто страшно. Ну-ка, в самом деле, все покрылось такой белизной! И он прилег под кустиком, вздрагивая, озираясь. Если кто спугнет его, он с великим страхом метнется в сторону и вернется обратно по тому же следу, боясь сойти с него: кто знает, что там на этой белизне?

Все изменилось в лесу...

Ушел куда-то вдаль, в теплые края, вальдшнеп. Следом за ним отправился и сере́нький перепел. Говорят, он переправляется через Черное море, устроившись на спине дрофы.

Все изменилось.

Изменилось и притаилось.

Одно только неугомонное существо бродит — лиса. Для нее первый снег — прямо-таки праздник: заяц лежит под кустиком; тетерев с вечера еще упал в траву и тоже, согреваясь собственным теплом, прикорнул; притулилась где-нибудь к пенечку куропаточка. Вот тут-то лисе и пожива: подкрадется — и цоп!.. Ну да, вон и лисий след. Он четко отпечатался на сыроватом снегу. Идет в гору. Свернул. Тут лиса под кустиком что-то нюхала, тыкая длинной мордой. Сбежала в овражек. Затем снова по дну овражка тянется след — прямой стезжкой... И вдруг след пропал. Куда же она делась? Не на дерево же забралась.

Степан Яковлевич, придерживая ружье так, чтобы в дуло не попал снег, опустился на колени перед оборвавшимся следом и стал сосредоточенно всматриваться, поводя глазами то в одну, то в другую сторону.

Были еще сумерки, когда Степан Яковлевич покинул «Домик на Каширке». Он покинул его тайком, спрятал ружье под полу пальто, а патроны — в карманы брюк и вышел будто для ранней прогулки, заискивающе улыбаясь дежурной у дверей.

Дежурная спросила:

— Куда это вы в такую рань?

Степан Яковлевич, все так же заискивающе улыбаясь, ответил:

— Люблю раненко вставать. Привык. Подышать воздухом хочется.

И пошел тихо, вразвалку, но, отойдя метров сорок, скрывшись в старинном парке, он кинулся во всю прыть под уклон и тут сразу же натолкнулся на лисий след. Дрожащими руками вытащил из-под полы ружье, сложил его и двинулся в горку, забыв обо всем на свете...

И вот след оборвался. Куда же она делась, лиса? Вправо следа нет, влево — тоже. Обратно ушла! Не может этого быть.

— Экая хитрющая! — тихонько произнес он и тут же неподалеку от себя увидел лобастого, широкоспинного самца-лиса.

Лис лежал за пнем, чуть приподняв черную мордочку, потягивая носом, что-то вынюхивая. Степан Яковлевич хотел было вскинуть ружье, наметив точку — ухо, но тут же перерешил: далеко, дробь не достанет, а шагнешь — спугнешь. И что тот вынюхивает? Ишь приподнялся, но приподнялся так, что видна только широкая спина да вытянулся, как полено, хвост. Как хорошо стоит-то! Вскинуть ружье и шарахнуть? Нет, нет! Пустой будет выстрел. «Даже глупый», — мелькнуло у Степана Яковлевича.

Лис сделал еще шаг, осторожный, будто боялся попасть лапами в раскаленную золу... Потом — прыг!.. И в ту же секунду раздался отчаянный крик, похожий на крик ребенка, а из-под куста выскочил заяц. За зайцем метнулся лис... И оба они утонули в вихре снежной пыли.

— Эх! — еле слышно вскрикнул Степан Яковлевич и ударил себя кулаком в лоб. — Охотничек! Чучело ты, а не охотник: прозевал! — И сердце у него защемило, в коленях появилась мелкая-мелкая дрожь, на глаза от напряжения навернулись слезы. — Эх! — вскрикнул он еще раз и, уже не остерегаясь, поднялся из овражка на полянку, к кусту, из-под которого выскочил заяц.

Да-а! Вот еще совсем теплая от заячьего тела лежка. А вот клочок кожи с шерстью. Это лис выдрал у зайца. Беды в том большой для зайца, конечно, нет; наоборот, в этом было его спасение: лису достался клочок кожицы, а на зайце бочок зарастет. Но тут Степан Яковлевич заторопился: ведь заяц непременно вернется по старому следу сюда, на пригреющую лежку. Возможно, следом за ним вернется и лис.

Степан Яковлевич отбежал в сторону, забрался в густой куст дубняка, с которого еще не спал рыжий лист, и притаился. Долго ли он так стоял и ждал? Кто знает! У охотников время бежит незаметно.

В куст он вскочил разгоряченный, а тут немного продрог, повертелся, но снова замер, став похожим на пень... И вот вдали что-то мелькнуло, что-то белое между черными стволами деревьев.

«Ага! Идет!»

Степан Яковлевич насторожился, вскинул ружье, положив ствол на ветку.

Сердце забилося так учащенно, словно намеревалось выпрыгнуть из груди, и снова пришло в нормальное состояние. Так, хорошо! А то разволнуешься и промажешь. В самом деле, экая невидаль — заяц! Стоит так волноваться!

Опять что-то мелькнуло среди черных стволов. И вот он... вот он, заяц. Несется косою сломя голову. Остановился. Сел. Приподнялся на задних лапках, оглянулся, прислушался и пошел, ковыляя, будто на прогулку... Ну точь-в-точь так же, как выходил из «Домика на Каширке» сам Степан Яковлевич. Улыбочки только не хватает.

— Ах ты, сукин сын! — любовно прошептал он и с этой секунды уже не сводил глаз с зайца.

А тот начал шалить. То сядет, то поднимется на задних лапках, как бы хвастаясь: «Видите, какой я высокий!» То подпрыгнет, словно намереваясь перекувырнуться, то потянется к сухому листику на осине — но со старого следа не сходит.

«Эх ты! — сочувственно пожурил его Степан Яковлевич. — Шалишь, а ведь лис-то, наверное, идет по твоему следу. Ну да, вон мелькнул. Да не один. И второй с ним. Наперерез зайцу пошел. Сейчас окружают тебя, пошалишь на лисьих зубах. Уходи, уходи!» — мысленно прокричал Степан Яковлевич.

А заяц уже насторожился. Он пригнулся, срастаясь с травами и, казалось, ползком стал уходить.

Раздался оглушительный выстрел.

Где-то закричал тетерев; метнулся из чащобы, ломая на своем пути сушняк; с деревьев посыпался снег.

Дым рассеялся.

На полянке у кустика лежал заяц, а над ним склонился Степан Яковлевич. Бочок у зайца еще вздрагивал. Степан Яковлевич приподнял зайца, затем снова положил, грозя лисам:

— А до вас я еще доберусь!

Обратно Степан Яковлевич шел, как и заяц, своим старым следом. Зайца он нес, держа вниз головой. С головы падала кровь. Она ложилась на снег, вытаявая красные ямки. И только тут он вспомнил, что из «Домика на Каширке» сбежал тайком, что теперь, пожалуй, там уже все позавтракали, его ищут хозяйка и директор дома отдыха Сергей Петрович. Человек он, Сергей Петрович, ласковый, гостеприимный, но весьма строг к тем, кто нарушает правила внутреннего распорядка.

«А, пожалуй, Настя мне верно сказала: «Ружья-то, Степан Яковлевич, не бери с собой: будешь по лесу пуделять и не отдохнешь», — припомнил он совет жены.

Но Иван Кузьмич, тоже отправляющийся в дом отдыха, решительно вступился:

— Нет, ружье обязательно возьми. Не слушай Настю. Ты же имеешь право на настоящий отдых: во-первых, уже не молод, во-вторых, тридцать лет на заводе, в-третьих, всю войну почти не выходил из цеха, а в четвертых, заработал себе право отдохнуть как следует... и, в-пятых, я все вооружение для рыбалки забираю.

Эти «во-первых», «во-вторых», «в-третьих» и убедили Степана Яковлевича.

— Вот тебе и отдых, Настенька, — хмурясь, проговорил он, но глаза у него тут же заискрились: представил свой огромный завод, расположенный у подножья Ай-Тулака, беспрестанное движение людей, автомобилей, палисадники с цветами около заводоуправления, проходную будку — такую знакомую, как крылечко родного дома.

И вот он сам идет по асфальтированной дороге заводского двора. Открывает дверь в свой цех. Тут его встречают друзья и ученики. Сколько девушек и юношей он обучил за годы войны! Иные из них уже стали бригадирами. Талантливый народ! Взять хотя бы Веру Кудрявцеву — бригадир. За четыре года так овладела мастерством, что теперь уже сама обучает

молодежь. Или взять того же Егора Орехова. С виду будто неуклюжий парень, похожий на дубовый полоз для саней, а мастер — золотые руки: за что ни возьмется, все поет у него. Тоже ученик Степана Яковлевича, но по другой линии. Орден на днях получил за трудовые дела во время войны. Степан Яковлевич тоже получил орден Трудового Красного Знамени. Многие рабочие получили награды, в том числе и Варвара, Вася Ларин, та же Вера Кудрявцева. Смутило Степана Яковлевича, как и всех, одно — что в списке награжденных не было имени Николая Степановича Кораблева... Но на следующий день отдельно в печати появился Указ правительства о награждении Николая Степановича Кораблева «За мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны», званием Героя Советского Союза. Когда Степан Яковлевич зашел к нему, чтобы поздравить с высокой наградой, тот поднялся навстречу — крупный, седой, но глаза еще совсем молодые, и сказал:

— Знаю, зачем явился, Степан Яковлевич! Благодарю, всех вас благодарю. Без вас, без вашей напряженной работы и меня бы не наградили. Так и скажите в цехе: всех и от всего сердца благодарю.

У Степана Яковлевича навернулись слезы; в нем вспыхнула гордость за себя, за свой труд, за весь коллектив. Он было устыдился этих слез, хотел отвернуться, но, глянув в глаза директора, заметил, что и у того слезы. Тогда Степан Яковлевич протянул ему обе руки и глуховато прогудел:

— Товарищи мы большие на заводе... родня большая — этим и победили.

— Верно, — ответил Николай Кораблев. — Родня большая. Однако мы... именно мы — руководство — разрушить родню можем... своими дурными поступками.

Да. Но как раз сегодня Степан Яковлевич нарушил порядок: в самую рань, никого не предупредив, ушел из «Домика на Каширке».

— Нехорошо, нехорошо, — вслух пожурил он себя, выходя из парка. — Дисциплина прежде всего. Ведь

так ты говорил в цехе. А тут выходит — сам злостный нарушитель.

Степан Яковлевич остановился.

Неподалеку от парка на возвышенности красовался огромный трехэтажный дом с колоннами, с большими окнами и с парадным крыльцом. Дом, выкрашенный голубой краской, утопал в зелени сосен. От него вниз, к реке, спускалась широкая лестничная дорога, усаженная по обе стороны молодыми липами.

«Домик на Каширке» находился в Подмоскowie и принадлежал министерству. Сюда по совету Лукина и выехали на отдых Степан Яковлевич, Иван Кузьмич, Егор Орехов и Вера Кудрявцева.

«Почему его называют домиком, когда это самый настоящий домик?» — подумал Степан Яковлевич, намеренно отыскивая, к чему бы придаться, чтобы сказать директору: «Ведь вот у тебя тоже нарушение».

— А-а, была не была! — пробормотал он и шагнул к парадному крыльцу. — Может, еще спят.

3

В светлом коридоре навстречу ему хлынула толпа молодежи и оглушила выкриками:

— Ага! Прогульщик! Вот до директора дойдет! А сам говорит — дисциплина, дисциплина!

Степан Яковлевич зажал уши и сердито прикрикнул, как иногда делал это в цехе:

— Ну, вы, загалдели! По порядку говорите!

И все, увидев перед собой не просто отдыхающего, а мастера, Степана Яковлевича, притихли. Вера Кудрявцева присела на корточки около зайца и в тишине, поглаживая заячьи уши, проговорила:

— Ушки-то какие... мякенькие да нежные.

Тут все сосредоточили внимание на зайце, и кто-то сказал:

— Еще не совсем вылинял.

А Вера продолжала:

— На ушках-то сизая каемка... Ах, какая! Будто кто вышел ему. И шейка! А хвостик, хвостик! Пампушка!

Степан Яковлевич облегченно вздохнул и горделиво добавил:

— Хорош заяц-то? А-а! — И он по-охотничьи гордо посмотрел на всех.

Тогда все перевели глаза на него, а Вера, погрузнев, сказала, обращаясь к Егору Орехову, который, точно глыба, висел над ней.

— Посмотри-ка. Кровь у него... капает... Гера!

Егор, закинув на затылок спадающую шевелюру, присел рядом с Верой и, трогая уши зайца, с упрёком проговорил:

— И как это вы, Степан Яковлевич, человек такого мягкого сердца, и убили зайчишку?.. И даже говорите: «Хорошо». В самом деле, Верочка, кровь капает.

Степан Яковлевич буркнул:

— Кур тут ешь? Так что ж, думаешь, их живьем жаривают? Кровь! Убил! — И, взяв зайца за ноги, осмотрев всех, спросил: — Позавтракали, что ль?

У Егора Орехова в глубоко запавших глазах дрогнули искорки смеха, и он сказал:

— Давно бы пора, да вот вас ждем.

Вера, как заговорщица, таинственно сообщила:

— Хозяйка-то вас, Степан Яковлевич, искала, искала. Куда делся, куда пропал? Завтрак срывает.

У Степана Яковлевича снова заныло сердце. Размахивая зайцем, он зашагал по коридору на кухню.

В доме от говора, смеха, выкриков все уже гудело: одни бежали с полотенцами умыться, другие, одевшись, выходили, чтобы «дохнуть для аппетита свежим воздухом».

Каждый занимался своим делом, но Степану Яковлевичу казалось: все знают, что он нарушил сегодня правила внутреннего распорядка. Ну да, все знают. Вон идет навстречу Иван Кузьмич. Хмурый. Поравнялся. Косо посмотрел на зайца и, потирая большим пальцем правой руки ладонь левой, укоризненно произнес:

— Из-за такой дряни нарушил порядок! Не резон... и тебе это не к лицу: молодежь с нас пример берет, а ты...

Степан Яковлевич зло оборвал:

— Резон, не резон! А сам-то позавчера к ужину опоздал. Удил? И ужин проудил.

— Ну, брат, это другое. Там, брат ты мой, был клев! — Иван Кузьмич даже прищелкнул языком и с горящими глазами продолжал: — Клев — это, брат ты мой, редкостная штука! Иной раз сидишь, сидишь, а рыба, вот она, видать ее, ходит вокруг да около!

Степан Яковлевич сморщился, пошел было в сторону, но Иван Кузьмич вцепился ему в рукав, продолжая:

— Клев — это, брат ты мой, штука редкостная. Иной раз, понимаешь ли, сидишь около лески с червячком, видишь: крутятся рыбки, да мало — крутятся, а вот так кругом уткнутся ртишками в леску и стоят. Дернешь, а они врасыпную. — И глаза у него уже горели так, как будто он сидел над рекой с удочками.

— Да иди-ка ты! — сказал Степан Яковлевич, с презрением вырывая рукав, и с еще большим презрением проговорил: — Я бы вас всех, удильщиков, вот этим зайцем по спине. Сдам-ка пойду повару. Это заяц, а не то, что ты позавчера принес, — три окунька коту на баловство. Тоже — клев!

Сдав зайца на кухню, он зашел к себе в комнату, умылся, переоделся. Вот еще новое дело: тут, в доме отдыха, все одеваются в самое лучшее! На заводе ходил кое в чем, а тут и не подступись. Как на бал сюда собрались. А Степан Яковлевич приехал в дом отдыха в простеньком костюмчике, пришлось посылать домой письмо.

«Сижу за столом как ворона: все в нарядном, а я что, хуже всех, что ль? — писал он Насте. — И романы тут есть, любовь есть, но я, конечно, вам предан навеки, — шутил он в письме. — Однако по-серьезному, вижу, Егор Орехов, видимо, женится на Верочке Кудрявцевой. Помнишь, девушка приходила к нам? На посу-то веснушки...»

В голубом зале с тяжелыми шторами — за круглыми столиками сидели по двое. Все уже были в сборе, когда вошел Степан Яковлевич. Увидав, что хозяйка дома, Елена Макаровна, о чем-то разговаривает с Верой и Егором Ореховым, он облегченно подумал:

«Вот и хорошо! А то перед завтраком начнет пить, весь аппетит отобьет!»

Но, идя к своему столу, заметил, как Егор метнул на него глазами и что-то сказал Елене Макаровне. Та тоже посмотрела — сурово, укоряюще — и о чем-то заговорила с Верой. Степан Яковлевич сел за стол против Ивана Кузьмича, молча кивнул ему головой: ну, дескать, здравствуй.

На столе уже стояли приборы, виднелись белый пушистый хлеб, селедка и икра.

Иван Кузьмич, глядя на хлеб, сказал:

— Ну и мастер у нас пекарь! Ты гляди, Степан Яковлевич, какой хлеб выпекает! Как бывалышный калач! Московский калач! У нас на Пресне, бывало, такой калач выпекали: сыт ты, сыт, а глянешь на него — сразу есть захочется. А пышность какая! Возьмешь кусок, сожмешь его вот так, двумя пальцами, отпустишь, а он опять расправится. И это такой же. Гляди. — Иван Кузьмич взял кусочек хлеба, сжал его двумя пальцами, отпустил. — Видал? — Затем, чуть подумав, скрывая смех, произнес: — Это не пекарь, а рыбак! Ну, однако, рыбаки — люди хорошие!

— Чушь! Тургенев, тот правильно сказал: «Если охотник — значит хороший человек».

— Хороший? А порядок в доме нарушил.

Степан Яковлевич насупился:

— Ешь давай. Без тебя тошно... И не ковыряй.

— Да я что-о! А вот директор вернется, Сергей Петрович. Он в Москву вчера укатил по каким-то делам. Вернется, так уж тогда тебя ковырнет. Я думаю, он соберет нас всех, выведет тебя вперед и скажет: «Посмотрите-ка на него, на молодчика: волос седеет у человека, а ума нехватка». Позор. Да ведь еще

в стенгазете протащат, с карикатурой, как ты за зайцем носишься! — Сдерживая смех, Иван Кузьмич, глядя на закуску, добавил: — К такой закусточке полбаночки бы.

Подошла Елена Макаровна. Глаза у нее были все такие же — суровые, упрекающие.

— Ну, как у вас тут? — спросила она.

— Вы уж извините, Елена Макаровна, — тихо заговорил Степан Яковлевич и, как школьник, привстал со стула.

— Да я-то могу извинить... но Сергей Петрович... Он строг в таких делах. И вы поймите: если вам простить, то другие это воспримут как поблажку. Ведь вас в доме, отдыхающих, сто пятьдесят человек. Сделай поблажку в одном, в другом — и... и пойдет. Мы по опыту знаем — должна быть ласка, гостеприимство, но и строгая дисциплина... невзирая на лица.

И вдруг глаза у Ивана Кузьмича заблестели. Степан Яковлевич неприязненно глянул на него, намереваясь крикнуть: «Ты хоть бы помолчал!» — но тот, расправляя плечи и хлопнув ладонью по столу так, что запрыгали тарелочки с закуской, выпалил:

— Да ведь страсть! Страсть, Елена Макаровна! Страсть — чувство благородное и великое, скажу я вам. А человек без страсти, Елена Макаровна, что? Ничто, так себе, полено дров. Вы думаете, мы во время войны работали как? Без страсти? Эге! Нет! Страсть в нас кипела! Бывало, с ног валишься, а свое тянешь. Отчего так? Страсть бушевала! Думаешь: «Я тебя, фашистского гада, вот отсюда — от станка, — колотить буду! Гад ты несусветный, на нашу чистейшую страну полез!..» И с ног, бывало, валишься, а все за свое — выполнить да перевыполнить! Во как! И по сию минуту все во мне кипит! Уж не говоря о том, что мы на фронте делали! — И тут же, тыча рукой по направлению своего друга: — А у него, скажу я вам, страсти на десятерых хватит. Вот и вскочил чуть свет — и в лес. Страсть!

Елена Макаровна, смеясь, пригрозила ему пальцем, сказала:

— Да я-то понимаю. Но вот Сергей Петрович...

— Это верно, нарушение есть. Однако мы все в протест пойдем. Демонстрацию устроим. По Конституции имеем на то право. — И Иван Кузьмич, громко расхохотавшись, пододвинул к себе поданные девушкой горячие коглеты.

5

Солнце! Солнце!

Какое ты тусклое там, в большом городе. Застилает тебя дым, скрывают огромнейшие дома. А вот тут, на просторах, ты такое величавое, такое чистое, что хочется просто сказать тебе: «Радость ты наша».

«Домик на Каширке» опустел...

Одни ушли в старинный парк, другие присели на лавочках, греясь на солнышке, третьи отправились на реку, к лодкам. Ринулся на свое излюбленное место, к склоненной ветле, и Иван Кузьмич. Он сел на пенечек, закинул четыре удочки, воткнув в землю удища, и замер.

Рыба не клевала.

Иван Кузьмич иногда поднимался с пенечка, взбирался на свалившуюся ветлу, присаживался на корточки и всматривался в воду. Были видны четыре крючка с насаженными червячками. Рыбы было много. Но она, полусонная и сытая, бродила вокруг да около или вдруг приближалась к крючкам и останавливалась, приткнув рыльца к лескам.

«Вроде на совещание собрались», — радостно думал Иван Кузьмич, глядя на рыбу.

— Не клюет ведь! — проговорил подошедший Степан Яковлевич.

Иван Кузьмич свое:

— Знаю. Но это для меня отдых и наблюдение. Зима на носу, и рыба пошла в спячку. Вот сомы, к примеру, они на зиму залегают в огромные ямины, штук этак тысяч десять. Представляешь? Десять тысяч штук этаких головастых вповалку в ямине лежат. А поверх их пристраиваются сазаны. Это вроде бы

ягнята пристроились на спине волка. Сом-то жрет сазана. И счастье его, сазана, в том, что он раньше сома просыпается. Вот диво какое есть в природе!

— Выдумки! Выдумки рыбацкие! — повторил Степан Яковлевич и сел на пенечек, все такой же грустный, как и за завтраком.

Иван Кузьмич взметнулся:

— Выдумки? Оно всегда выдумки, когда дела не знаешь. А ты езжай в Астрахань, например, и тебе там рыбаки не только расскажут, но и покажут, где сомы зимуют. Водолазов спроси. Иной раз водолаз попадает в такую гущу сомов, что ему приходится их руками разгружать, чтобы путь себе проложить. А ты — выдумки! Ну, Брэма почитай. Выдумки! На выдумки-то охотники горазды. Все вы сплошь единый барон Мюнхаузен! — И Иван Кузьмич неожиданно смолк.

Справа, из-за густой заросли, донеслась раздольная песня.

Вниз по Во-олге реке-е-е...

Затем выплыли чегыре лодки, переполненные юношами и девушками. Лодки плыли по течению реки медленно, тихо. А вода в реке чернела, видимо потому, что всюду лежал яркий на солнце первый снег. Следом за ними появилась еще одна лодочка — голубая однопарка. В ней сидели Вера и Егор.

Вскоре лодки скрылись за поворотом реки, а песня все неслась и неслась.

— Вот она, молодость! — еле слышно произнес Степан Яковлевич. Ему стало грустно: не так прошла его молодость, и он, обращаясь к Ивану Кузьмичу, тихо сказал: — Да-а, моя молодость не так прошла. А твоя, Иван Кузьмич?

— Лучше.

— Ну еще бы. Ты ведь из княжеского роду?!

— Да. На Красной Пресне детство провел: день ели, два говели. Бывало, есть хочется — ты к матери: «Мама, хлебца бы». А у нее его нету. Так она погладит тебя по голове и ласково: «А ты, Ванюшка, миленький, погуляй, погуляй, потом я тебе дам. Ты ведь

умненький у меня». А таких «умненьких» у нее было семеро. Ну, убежишь на улицу, в игре-то забудешь и об еде. Да ведь так-то я бегал лет до восьми. А с восьми лет в работу пошел. И горжусь. Горжусь своим детством и своей жизнью, — с чувством произнес Иван Кузьмич, поднимаясь с пенечка. — Горжусь. Работали мы. Я в двадцать-то два года уже в революции участие принимал. А в двадцать четыре Ленина, Владимира Ильича, в Кремле слышал.

— Утихомирься, — оборвал его Степан Яковлевич. — А ты думаешь, я своей жизнью не горжусь? Тоже горжусь: не зря небо коптил. Только вот смотрю на нашу молодежь и думаю: «Эх, и к нашей бы молодости советскую власть прибавить!» Это ведь советская власть на лодках-то поехала. Что, поймал и тебя?

— Что верно то верно, — согласился Иван Кузьмич. — Но ведь эту советскую власть мы на своих плечах принесли. Это гордость или не гордость?

— Гордость, — подтвердил Степан Яковлевич и смолк, глядя в сторону дома отдыха, где загудела машина.

— Ты вот что, друг, видно, Сергей Петрович приехал. Ты ступай к нему и наедине уломай его. Нехорошо это будет, если он тебя перед всеми отдыхающими выведет и скажет: «Вот нарушитель». Ступай, ступай. А ежели нехватка какая, меня позови. Я, как истребитель-самолет, прикрывать тебя буду, — дал слово Иван Кузьмич.

6

А лодки все удалялись. Они шли извилистой речкой, берега которой были устланы пышным серебристым снегом, вода в реке почернела и стала по-зимнему густой.

Иногда до Ивана Кузьмича доносило ветром песни, смех, выкрики... и снова все смолкало... только пыхтел под солнцем первый снежок. Он стаивал на бугорках, густо падал с деревьев.

Иван Кузьмич остался на берегу один. Он снова

взобрался на склоненную толстую ветлу и, опустившись на колени, стал внимательно наблюдать за поведением рыбок. Друг его, Степан Яковлевич, ушел в дом. У подъезда стояла машина, но это была не директорская, а та, на которой привозили из Москвы новых отдыхающих.

Степан Яковлевич вошел в свою комнату. Комната небольшая, но уютная: у стены никелированная кровать, покрытая зеленым одеялом, в уголке тумбочка, рядом с тумбочкой столик, над столиком радиорепродуктор. Окно большое и светлое. Через окно в комнату падает ярчайшее солнце. Оно пробивается через ветви сосны, которая стоит прямо под окном. Степан Яковлевич хотел было лечь на кровать — вот так взять и брякнуться, но «брякнуться» на такую постель во всем — в брюках, в ботинках — было так же нехорошо, как плюнуть на чистую скатерть. Он сел к столу и только тут по-настоящему понял, что в самом деле совершил скверный поступок: ушел из дому чуть свет, никого не предупредив.

«Да как же это я? — упрекнул он сам себя. — Что ж, Елена Макаровна чугунная, что ль? Бросил дом, побежал, а ей беспокойство!» И ему сделалось так нехорошо, что оставаться одному было уже невозможно; он поднялся и направился в кухню.

Только что он открыл дверь, как на него пахнуло запахом жареного мяса, вареной капусты и еще чего-то — вкусного и ароматного. В следующую секунду он увидел огромный котел, широченную плиту. В котле булькало, клекотало, на плите что-то жарилось, парилось, варилось. Около плиты и котла ходили три женщины в белых халатах и мужчина — тоже в халате и колпаке. Это, конечно, повар. У него лицо испещрено морщинами, щеки впали, на висках капельки пота. Росту повар кажется великого: он возвышается и над котлом, и над кастрюлями, и над женщинами. Перед ним все кипит, булькает, жарится, парится, а он, как чародей, командует всем этим, и глаза у него блестят.

— Колдун. Прямо-таки колдун. Экую кухню ведет — на сто пятьдесят человек! — прошептал Степан

Яковлевич и еще шагнул — и только тут увидел своего зайца.

Заяц был уже разделан и, изрубленный на куски, лежал в тазике, отмачивался в воде с уксусом. Теперь он уже никакого интереса для охотника не представлял: мясо и мясо. Но повар, увидев Степана Яковлевича, вытер руки о полотенце, шагнул — и вдруг стал маленьким, невзрачным, но сияющим в улыбке. Подойдя, протянув руку, сказал:

— Это ты зайца-то ухлопал? Хорош! Ну просто как баран. Жиру в нем черт те что! Почки прямо облиты жиром. Значит, на богатых кормах был. А ты его как ухлопал? Садись, садись. — И, усадив Степана Яковлевича на табуретку, пододвинул вторую и сам сел напротив.

«Как резко изменился человек, когда отошел от труда своего. И верно — труд возвышает человека. Но славный старик!» — подумал Степан Яковлевич и, дотронувшись до коленки повара, спросил:

— Сколько лет-то ты около котла колдуешь?

— Сорок. Эх! — даже удивился повар. — Сорок — это я сам себе хозяин у котлов, да ведь десять — в помощниках. Стало быть, пятьдесят лет людей кормлю жареным-пареным. Полвека. А мне уже шестьдесят восемь. Вон сколько! Доживи-ка до моих лет. Доживи-ка... да работу не бросай. Мне как-то сказали: «Петр Петрович, иди на инвалидность, стипендию получишь и полный покой». Чудаки, вареные раки! Оторви меня от работы — от котлов да кастрюль — о чем думать буду? О гробе? Эх! А они — покой! Какой покой? — Петр Петрович засмеялся мелким серебристым смехом. — Покой! И на могилах покой — вечный покой, а я не хочу. Жить хочу. И почет ценю. Уйди от плиты — на меня посмотрят, скажут: «Сошел со сцены». А тут я на сцене!.. И мне почет и уважение. Потому что кушает человек дело моих рук и говорит: «Ай да Петр Петрович! Ай да приготовил!» Я ведь вот тут вожусь — ты думаешь, просто: сварил — и ладно, обжарил — и ладно? Нет. Варю, жарю и о человеке думаю. «Тебе, Петр Петрович, поручено этих людей накормить, напоить так,

чтобы каждый вернулся домой вот с такими щеками. — И он раздул щеки. — Килограммчики чтобы привез». Ответственное дело? Еще бы! — И он опять засмеялся серебристым смехом. — Я так думаю, голова садова, меня земля на себе долго держит за мой труд: ты-сячи ведь людей обо мне помнят. Приедет, допустим, человек домой — освеженный, с килограммчиками. Глянут на него другие, скажут: «Ух, поправился как! Где это ты?» Ответит: «В Домике на Каширке». — «Кто повар?» — «Петр Петрович». Эх! Радость в этом? Еще какая, садова ты голова! И вижу: говорю я — и тебе в сердце попадаю, сам ты, видно, такой же.

Степан Яковлевич с восхищением прервал его:

— Ох! Силен же в тебе корень.

— Да-а. Я как дуб. Видел, дуб с верхушки сохнет, а держится: корень в нем силен.

Степан Яковлевич загорелся:

— А побег? Побег-то какие у нас замечательные! Это я про молодежь говорю.

Петр Петрович, взгрустнув, сказал:

— Да-а. Двое у меня там полегли... на поле брани. Один агроном был, другой слесарь был. Да вот утешение великое есть: победили. Не то всем бы нам на фонарях болтаться или ползать на коленях... И заставили бы делать то, что тебе не по душе. А я вот умирать так буду: отойду от любимого дела — от котлов этих, кастрюль — и скажу: «Ну, конец, Петр Петрович... пора костям на покой». Так-то вот! А те, — кивнул он в сторону, — молодые, пускай живут!

7

Лодка с Верочкой и Егором Ореховым плыла по извилистой реке. Река иногда суживалась так, что лодка еле проталкивалась, а то вдруг расширялась; превращаясь в озеро.

Они песен не пели, даже не разговаривали; и в солнце, и в первом тающем снеге, и в пробивающейся из-под снега зелени на бугорках — во всем они видели что-то весеннее, радостное и притягательное.

Там, где лодка вышла на просторы, откуда завиднелся, красуясь на высокой горе, городок Кашира, Егор сказал, кивком головы показывая на возвышенный, заросший липами, березками и осинками берег.

— Верочка! А ты не хотела бы... не хотела бы походить вон там... по лесу... по полянкам? — и побледнел, перепугавшись своих слов. Ему вдруг показалось, что Вера обидится: отделиться от других, уйти в лес, вдвоем, да что это такое?

Но Вера уже направила лодку к берегу и тут, протянув Егору руку, первая пошла в гору.

Под ногами — белое, нежное, тающее покрывало. На белом, тающем снегу остаются два следа: один — мужской, широкий, другой — маленький, словно детский. Снег чист. Было чисто и их чувство. Но оно не таяло, а росло. Об этом чувстве Егор хотел бы сказать Вере. Но как сказать? Как? И он заговорил. Но заговорил совсем о другом.

— Тебе не кажется, — начал он, — что здесь никогда не ступала нога человека. Смотри, какая белая пустыня. Мне иногда так вот снится, будто иду я по таким местам, где человек еще не ходил...

Вера повернулась, посмотрела на пройденный путь и задумчиво произнесла:

— Смотри, Гера, два следа рядом... точно родные... Правда, родные. — И этим Вера сказала то, что хотел и не знал как сказать Егор.

— Родные, — соглашаясь, еле слышно прошептал он.

8

Все потянулись к дому.

Вернулись лодки.

Иван Кузьмич смотал удочки.

Опустели скамейки.

Опустел парк.

И в то же самое время к парадному подошла машина, и из нее выпрыгнул Сергей Петрович.

Он небольшого роста. Лицо в загаре — таком крепком, как будто Сергей Петрович только что вер-

нулся с раскаленного курорта. Движения быстрые, стремительные. Под мышкой пачка свежих газет. Всегда, приезжая из Москвы, он привозит свежие газеты и тут же раздает их. Но сейчас почему-то сказал тем, кто потянулся к газетам:

— Потом! — и ушел на кухню.

Тут он попробовал кушанья, похвалил Петра Петровича и побежал по палатам, заглядывая в каждую.

В палатах был полный порядок: постели прибраны, полы подметены, воздух проветрен...

Сергей Петрович с утра и до позднего вечера носился по палатам, по кухне, по подсобному хозяйству — то пропадал в поле, в свинарнике, в коровнике, то на стройке. Но стоит только спросить: «Где же Сергей Петрович?» — и он тут как тут... Он был со всеми ласков, гостеприимен, любезен, но к нарушителям внутреннего распорядка дома — беспощаден. Чтобы отдыхающие не нарушали порядка, он ввел в обычай даже такую штуку: опаздывающего к завтраку, обеду или ужину все отдыхающие встречали аплодисментами. Пройдя через такой «строй», человек больше не опаздывал. А нарушителя «большого порядка» он вечером, после ужина, выводил перед всеми и «отдавал под суд», говоря:

— Ну вот, посмотрите на него — анархиста.

И «анархиста» осыпали шутками.

Все это знал Степан Яковлевич.

Раздался звонок на обед. Все ринулись в столовую. За всеми поплелся и Степан Яковлевич. Он сел, так же как и днем, против Ивана Кузьмича, а тот шепнул:

— Не говорил с Сергеем Петровичем? Зря! Слышал, дано распоряжение от него: после обеда не расходиться. Значит, решил тебя не после ужина, а при белом свете вывести на народ.

У Степана Яковлевича внутри заныло. Но мимо прошла Елена Макаровна и ласково улыбнулась ему, улыбнулась и подмигнула: дескать, ничего, не горюй. Это успокоило старого мастера, а Иван Кузьмич намеренно подковырнул:

— Мигает тебе... Стыдно! — и склонился над тарелкой.

Обед продолжался. Все ели, смеясь, балагуря, перебрасываясь остротами. И только три человека сидели за столом молча: Вера, Егор Орехов и Степан Яковлевич. У Веры с Егором там, в лесу, произошло что-то очень большое и радостное. Об этом радостном не хотелось говорить: оно теплилось, росло и поднималось, как поднимается в свежее утро солнце. Там, в лесу, когда Вера, показывая на следы, сказала: «Родные», — Егор подошел к ней, положил руку на ее плечо и ответил:

— Родные... и навсегда. И нам надо об этом сказать.

— Кому? — спросила Вера и опустила голову.

У Веры не было ни отца, ни матери: те погибли в первые дни войны на границе, в Белоруссии, — и Вере некому было сказать о той радости, какая бывает только раз в жизни.

Егор крепче сжал ее плечо: «А мы об этом скажем моей матери и Степану Яковлевичу. Ведь он такой хороший... и пусть он тебе заменит отца... а мама у нас будет одна — моя мама».

Вот об этом они и думали сейчас, сидя за столом.

Совсем о другом думал, злясь на себя, Степан Яковлевич: «И попутало же меня с этим зайцем!»

В эту минуту и вошел Сергей Петрович. Он был в новом костюме и даже при галстуке. Галстук он почти никогда не носит. А тут при галстуке.

— Как принарядился... для авторитету... Ну, обрушится на тебя, держись, — шепнул Иван Кузьмич.

Сергей же Петрович, выхватив из-под мышки газеты, сказал:

— Читайте... Выборы в Верховный Совет Союза.

Иван Кузьмич подмигнул Степану Яковлевичу, шепча:

— Значит, о тебе отложено до вечера, как всегда, — и потянулся к газете.

Газеты были развернуты, люди уткнулись в листы, пахнувшие свежей краской, а Сергей Петрович посмотрел на Степана Яковлевича и сказал:

— Вы самый старший из нас, самый сознательный и самый заслуженный рабочий... Вам и слово по этому случаю.

— Вот он какого барашка тебе подкладывает — сознательный. А вечером будет тебе проборция! — снова шепнул, уже еле сдерживая смех, Иван Кузьмич.

— Иди ты! — цыкнул на своего друга Степан Яковлевич и поднялся из-за стола.

В тишине — а тишина была такая, что слышно было даже, как кто-то в дальнем конце перевернул газету, — старый мастер произнес первые попавшиеся на ум слова:

— Что ж, для нас всех большой праздник. Победа над врагом свершилась — это есть историческое величие. И выбрать мы должны людей, которые с гордостью понесут с нами вместе это величие.

— А кого? Кого? — перебил его Иван Кузьмич и сам встал. — Величие? Точно! Свершено? Свершено. Всем нашим народом? Всем народом! Почет тем, кто своей грудью родину защищал? Почет. Но теперь ведь и строить надо. Надо всю нашу страну в красоту одеть! Вот того, кто под такую марку подойдет, и будем выбирать. Ой! А я тебя перебил. Извиняюсь. — Иван Кузьмич растерянно посмотрел на всех и хотел было сесть, но Степан Яковлевич, дернув его за рукав, сказал:

— Ты оратор у нас первоклассный. И валяй!

Но все уже заплодировали, зашумели, поднялись из-за столов и двинулись на выход — ближе к солнцу. Поднялся и Степан Яковлевич. В коридоре, столкнувшись с Сергеем Петровичем, он тихо, осматриваясь по сторонам, сказал:

— Извините уж меня... нарушение такое я сделал...

Сергей Петрович взял его под руку.

— Знаю. Говорила мне Елена Макаровна. Да что ж это вы? На охоту потянуло? Хорошее дело: я сам охотник, да вот все некогда. Только во сне иногда охочусь по тетеревам, по уткам, по зайцам. Отпуск получу — и въявь пойду на охоту. И вы... Вы

ходите. Хоть на всю ночь. Только предупреждать надо. Елену Макаровну предупредите... Так и так, мол, я пошел.

Степан Яковлевич что-то хотел было сказать, но в эту минуту к нему приблизились Вера и Егор. Вера, заикаясь, проговорила:

— Степан Яковлевич. Мы к вам.

— Только с глазу на глаз хотим с вами поговорить, — добавил Егор, широко расставив ноги, словно грузчик, принимающий на плечи кладь.

— Ну! Секрет какой! — Степан Яковлевич обратился к Сергею Петровичу: — Извините уж: молодежь — у них секретов всегда коробка! Так пойдемте ко мне в комнату.

И они втроем скрылись в комнате.

Здесь, усадив гостей на диванчик, сам сев за маленький столик, Степан Яковлевич, трогая рукой большой кадык, в упор глядя на Егора, спросил:

— Что? Опять подтрунивать? Прощено мне, да будет вам известно: Сергей Петрович сам охотник...

Егор опустил голову, точно намереваясь кого-то боднуть.

— Свесил? Стыдно: разыгрывать взялись, а я вам почти отец, — упрекнул Степан Яковлевич.

Вера вся вспыхнула и торопливо выпалила:

— Правда. Правда, отец. Правда.

— Тебя-то знаю, Верочка. Самая хорошая ученица ты у меня была... И он... А тут давай подтрунивать.

Егор поднял голову, и Степан Яковлевич увидел, что глаза у того горят необычным светом. Посмотрев в такие глаза, он было догадался, зачем юноша и девушка пришли к нему, но тут же, не веря в свою догадку, грубовато произнес:

— Что глазищи-то вылупил?

— Душа глазами говорит, — вымолвил Егор и вспыхнул. — Верочка все скажет, Степан Яковлевич. А вы знаете, — невольно продолжал он. — Родители у нее погибли... да и у меня батюшка умер... мать только в живых. На двоих, конечно, одной матери хватит... А отец где?

— Отцом вы к нам, Степан Яковлевич, — еле вымолвила Вера.

— Ага, — догадываясь, прогудел Степан Яковлевич. — Что ж, пара вы первоклассная. Знаю. Когда?

— Да вот приедем домой, — пояснил Егор, вытирая крутой вспотевший лоб.

Степан Яковлевич поднялся, походил по комнате, остановился перед затихшими молодыми.

— Домой приехать — дело легкое: взял билеты и покатил. А вот к становлению добраться — трудов больших стоит.

— К становлению? К какому? — недоуменно спросил Егор.

— Оба десятилетку окончили? Это что? Великое умственное богатство. Растить его надо? Ого. Еще как! Перед вами священные ворота науки открыты, — возвышенно, как всегда в таких случаях, произнес Степан Яковлевич, — а вы — тяп-тяп, черви козыри.

Так они проспорили вплоть до ужина.

Степан Яковлевич настаивал «добраться до становления», молодые на него наступали, доказывали, требовали, чтобы он стал их отцом немедленно же. Под конец Степан Яковлевич, которому в душе-то хотелось, чтобы Вера и Егор поженились, сказал:

— Ладно. Даю слово — отец ваш. Однако за стол сяду, когда Верочка инженером будет. — И, услышав звонок на ужин, снова загорелся, вспомнив, что по стране объявлены выборы в Верховный Совет Союза. — Эх! — сказал он. — Домой нам надо: Николая Степановича выставить бы нам кандидатом. Ах, как народ поддержит. Поехали? А? Ивана Кузьмича уговорим. И доотдыхаем на заводе. Что нам осталось — семь дней? Вот как бы только Ивана Кузьмича обломать.

В дверь кто-то постучал, и в следующую секунду вошел Иван Кузьмич, говоря:

— Нарушитель порядков тут? О-о-о! Да здесь весь Чиркульский автомобильный. Знаете, какая мысль пришла мне в голову? Вы то, Вера и Егорушка согласитесь, знаю, а нарушителя нам не уломать.

— Мы сами собираемся тебя уламывать, — высказался Степан Яковлевич. — Только сомневаемся: тебя не столкнуть.

— Говори.

— Ты первый говори.

— Мнение мое такое... домой бы нам: выборы ведь, а мы прохлаждаемся.

Степан Яковлевич надул щеки, фыркнул и вдруг забасил:

— Ерунду! Ерунду придумал. Вишь чего придумал — домой. А килограммчики где? Приедем, спросят: «Килограммчики привезли?» — «Нет, не привезли». — «Отчего?» — «Оттого, что Ивану Кузьмичу домой захотелось... к маме!»

Он еще не успел закончить своей напыщенно-басовитой речи, как трое находящихся около него грохнули хохотом.

9

Конечно, Сергей Петрович их раньше срока не отпустил, и семь дней — этот «хвостик», как называл Иван Кузьмич, был для них томителен, как томительно ожидание для охотников перед открытием сезона, когда они начинают подсчитывать не только дни, часы, но и минуты.

И вот друзья в поезде.

Иван Кузьмич и Егор в одном двухместном купе, Степан Яковлевич и Верочка — в другом. Егор вздыхает о Верочке, Верочка вздыхает по Гере, но «порядок соблюден, а это главнейшее в жизни», — сказал Степан Яковлевич. Однако от такого порядка получилось следующее: Вера и Егор почти весь день проводили в коридоре у окна, а Степан Яковлевич и Иван Кузьмич сходились в купе и спорили — один восхваляя охоту, другой рыбалку. И только когда поезд вошел в черту Урала, интересы к охоте и рыбалке заглохли, и оба — пожилые, опытные мастера — сосредоточили свое внимание на делах автомобильного завода.

— Как там Николай-то Степанович без нас? Нас

на ремонт отослал, а сам? — заговорил Степан Яковлевич.

— Сам завод ремонтирует. Эх, трудно!.. Никак не доберемся до сути, — подхватил Иван Кузьмич. — Глубоко болезнь вошла: в одном месте подлечим — глядишь, рана на другом конце открылась... А снега-то, снега-то какие здесь! — заглянув в окно, перевел разговор Иван Кузьмич. — Ух! Саженные. Не то что под Москвой — толщиной в блин...

— Не знаю: что-то там без нас, под толстыми-то снегами? — снова заговорил о заводе Степан Яковлевич.

— Да уж, наверное, все замерло, — пошутил Иван Кузьмич. — Все застыло... Писали мне: как только мы с тобой выехали, так у всех часовая стрелка на той самой минуте и приварилась... Что ни делают с часами, а стрелка на одном месте — и шабаш.

...На заводе же и в заводском городке жизнь лилась будто широченная река, не зная ни преград, ни препятствий.

Недавно жителей землянок переселили в домики, воздвигнутые под руководством Ивана Ивановича, а землянки срыли, и теперь они погребены под глубокими снегами... Перестал жителей возвещать ишак о том, что наступило двенадцать часов ночи. Хозяин продал его. Не держать же такого «рысака» в городе: просмеют, да еще и самого ишаком прозовут.

Вася Ларин получил квартиру из двух комнаток с кухней. Первые дни он, да и его жена никак не могли привыкнуть: надо было идти в одну комнату — попадали в другую. Вскоре из Москвы прибыли вещички: кровать, стол, стулья, коврик, картины — литографии из времен гражданской войны. Груня распределила все по местам, отвела в столовой уголок для сынишки. Только после этого Вася облегченно вздохнул и захотал:

— Вот тебе и землянка! А ты говорила!

— Хорошая квартира. Сроду в такой не жила. Окна-то какие! А кухня? На такой кухне кино можно устроить. Однако...

- Что — однако?
- Там веселее было, на горе.
- А мы на лето опять туда махнем.
- Не махнешь, пожалуй: запишит.

Жена ходила «на сносях», и Вася, почесав затылок, сказал:

— Да. На курорт, пожалуй, не придется... Ты как назвать-то его хочешь?

— А может, она будет?

— Нет, сознательно бойца давай: столько мужчин война унесла.

— Ну, закажу. — Жена рассмеялась так громко, что разбудила Никиту и, идя к нему, добавила, задирая Васю: — А теперь ты здесь на ладошках не попрыгаешь.

— Нет уж, не получится.

И сегодня, накануне Нового года, Николай Кораблев и Иван Иванович, сидя в санках, проехали по местам бывших землянок, затем завернули на новую улицу города, и здесь директор облегченно произнес:

— Конец! Конец землянкам, баракам. И больше их строить никогда не будем!

Иван Иванович Казаринов сказал свое:

— Ребятишек наплодят. Вот увидите. Я уже подметил: сначала малышей нет, а глядишь — через год-два всюду бегают.

Отсюда они завернули в заводоуправление, вошли в кабинет директора и тут застали приехавшего из Москвы Лукина, сидящего на диване рядом с Альтманом.

Лукин, помолодевший и возбужденный, рассказал о том, что видел в Москве, в каких театрах побывал, и так своими рассказами взвинтил Альтмана, что тот воскликнул:

— Давайте... давайте проект наш относительно «минуточки» спускать в массы. Давайте! Пора! — Лукин нахмурился, а Кораблев с улыбкой взглянул на Лукина. Будь Кораблев помоложе, он немедленно рискнул бы, но теперь опыт долгих лет подсказывал ему, что неосмотрительность в производстве — штука

гибельная, и потому, не выказывая своего опасения, проговорил:

— Да уж после Нового года. Где встречаете праздник? — обратился он к парторгу.

Лукин опустил голову, замялся. Где он встретит? Не в семье же?

— Не знаю, — с грустью ответил он. — А вы где?

— Дома. Вдвоем, — радостно сообщил Николай Кораблев. — А вы, Альтман?

— В клубе. Оттуда в ресторан. Сегодня буду «в парáх».

— А бываете в «парáх»?

— Новый год и Первое мая — мои дни: в «парáх» нахожусь. Пойдемте вместе, — обратился он к Лукину. — Вспомним студенческие годы. Я, между прочим, пошел, меня уже ждут. — И, распростившись с Николаем Кораблевым, с Лукиным, пожелав им успехов и счастья, он покинул кабинет.

10

В тот самый момент, когда Николай Кораблев вошел в столовую, из спальни появилась Татьяна.

На ней было ярко-синее платье-костюм и кремовая кофточка. Несмотря на то что оно было сшито специально к Новому году, все равно не скрывало беременности, да она и сама этого вовсе не хотела. Верно, живот у нее небольшой: видимо, как говорят, ребенок пошел в бока, однако она была уже грузна. Татьяна за это время вообще пополнила: налились руки, щеки, даже появился второй подбородок, который ничуть не уродовал ее, а губы до того стали яркие, что казалось, накрашены. Изменились глаза: временами смотрят куда-то внутрь, точно созерцая плод, который созрел в ней. Да еще кое-где видны желтые пятна на лице. Но она их сегодня припудрила, и они почти незаметны.

— Мать моя! — полушутя выкрикнул Николай Кораблев, идя к ней. — Да ты принарядилась! И платье тебе идет. Как называется?

— Платье-костюм.

— И ты такая красивая сегодня! Впрочем, как и вчера. Ну, здравствуй, с наступающим! Ну, а как он? Наш будущий?

Они не обсуждали, кто появится, мальчик или девочка: лишь бы живой. Верно, Татьяна иногда по вечерам, дожидаясь мужа, думала: «Если мальчик, назовем Виктором», — и украдкой плакала о погибшем сыне.

Николай Кораблев тоже часто грустил о сыне, но даже не намекал о нем Татьяне. «Зачем? — думал он. — Ведь слезами горю не поможешь, а ее расстроишь».

И сейчас, обнимая ее, он вспомнил о сыне. На какую-то секунду лицо отца омрачилось, но он тут же заторопился:

— Мать моя! До Нового года осталось пятнадцать минут. Давай готовиться. Что будем пить? Вишь ты! — и посмотрел на стол, приготовленный поваром. — Тут и вина, и коньяк, и водка, и шампанское. Ну, покутим сегодня!

— Да уж покутим, — подтвердила она, зная, что Николай Кораблев не пьет. — Вдребезги нахлещемся! — и залилась звонким, заразительным смехом.

Он тоже засмеялся и потянулся к бутылке с шампанским.

— Я думаю, мы с тобой откроем вот эту. Я не так люблю содержимое, как — пробка в потолок. Помнишь, у Пушкина — пробки летят в потолок. Просто чудо!

— В стихах-то?

— Да. Так я приступаю. — Он из ведерка со льдом достал бутылку шампанского, вытер ее салфеткой и осторожно начал открывать: сначала содрал бумагу, потом медленно снял проволочку и стал нажимать пальцами на толстую пробку, вертя в руках бутылку. — Видал, так открывают. Мастер на это дело Иван Иванович. Он вообще в винах понимает, знает, какое вино когда и кем изобретено, как готовится, где и какие в мире существуют знаменитые подвалы. Они, любители вина, подвалы почему-то называют библиотеками.

— Видно, потому, что доступны для тех, кто никогда книг не читает, — проговорила Татьяна, уже пугаясь, как бы пробка в самом деле не ударила в потолок, тогда содержимое из бутылки хлынет на стол. — Коля! Ты подставь что-нибудь. Бокалы, что ли, или тарелку.

— Лучше тарелку. А то скатерть оболью. Ставь. Помогай. Крепкая пробка, не поддается. Пальцы уже заболели. И чернота какая-то. Ржавчина. Придется руки мыть. Ага! Ну вот, хорошо, — одобрил он, когда Татьяна подала тарелку и прищурилась, говоря:

— Мне страшно, словно ты собираешься выстрелить из пистолета.

— Ты берегись: выстрел произойдет сию же минуту. Нет, Иван Иванович — тот мастер открывать. Ну и я овладею таким искусством. Пальцы-то у меня не слабее, чем у Ивана Ивановича. Пальцы! Эх! — растерянно вскрикнул он и недоуменно посмотрел на бутылку: пробка, чуть подавшись, переломилась, и толстая головка покатилась по столу. — Вот тебе и в потолок, — с досадой проговорил он. — Что же делать-то? Штопор у нас есть?

— Нет, — сдерживая смех, видя, как он сокрушенно посматривает во все стороны, ответила Татьяна и предложила: — Да возьми бутылку вина — открытая.

— Что ты! — Николай Кораблев никакого дела не мог бросить, не доведя его до конца. — Чем же? Гвоздем? Не выковырять, — рассматривая остаток толстой пробки, говорил он. — Знаешь что, у меня есть коловорот. Вот я им сейчас. — Он сбегал наверх, принес коловорот и, попросив, чтобы Татьяна держала бутылку, начал буравить пробку. — Брызнет: бутылку-то я потрепал! — говорил он, орудуя коловоротом.

Он еще не успел пробуравить пробку, как часы ударили двенадцать, а телефон затрещал требовательно, без перерыва, что означало — вызывает междугородная. Николай Кораблев, держа в руках бутылку, в которой торчал коловорот, кинулся к телефону, взял трубку и радостно проговорил:

— Илья! — И к Татьяне: — Илья из Москвы, со

своей квартиры. Илья? — снова заговорил он. — С Новым годом! И мы поздравляем. Чокнемся? По телефону? Ну, давай. Сейчас. — Николай Кораблев посмотрел на бутылку, затем поставил ее на стол, тихо сказал жене: — Давай бокалами. Пустыми. Ничего не поделаешь. — Они оба подошли к телефонному аппарату, Николай Кораблев первый постучал бокалом о краешек трубки, слыша ответное стучание; это же сделала и Татьяна, после чего они подняли бокалы и чокнулись друг с другом, чокнулись и опрокинули пустоту из бокалов каждый себе в рот. — Выпили, — передыхая, закричал в трубку Николай Кораблев. — Что? Что? Одобряешь? Познакомился с проектом? Это дело коллективной мысли. Пускать в ход? Рисковать? Хорошо! Татьяна Яковлевна? Вот она! — и подал трубку жене.

— Кума! — Министр так кричал, что слышно было на всю комнату. — Здравствуйте!

— Здравствуйте, кум! Я скоро опять буду мама.

— Ну! Тогда опять я кум. Где Николай-то? Дайте мне его! — И когда Кораблев взял трубку, Илья закричал еще пронзительней: — Ты отцом собираешься быть? Вот счастливый! Меня в кумовья!

— Нет, Илья, еще задолго до этого обещал Ивану Кузьмичу Замятину.

Как только оборвался разговор с Москвой, Татьяна, не в силах стоять на ногах, опустилась на диван и так расхохоталась, что у нее выступили слезы. Она смеялась и приговаривала:

— Ну и выпили! Из бокалов-то!

Он тоже хохотал, кружась около шампанского, рассуждая:

— Бутылку нельзя трепать!.. А я ее трепал, трепал! Отойди, не то на платье. — Но когда пробуравил пробку, из горлышка пыхнул легонький газок. — Э-э-э! Страху только зря нагнала, — проговорил он, наливая шампанское в бокалы. — Орс испортил: бутылку с шампанским полагается класть набор, а у них, я видел, они стоят. Вот и достоялись до уксуса, — и чуточку отхлебнул, поморщился. — Кислое. А может, оно такое и должно быть? Ну, будь здорова, Таню-

ша! — вдруг с волнением сказал он, подавая второй бокал жене. — Давай и за нас и за него.

— Давай и за него.

Только они сели за стол, как в дверь кто-то постучался. Николай Кораблев повернул голову на стук:

— Войдите!

Вошел Лукин в обычном полушубке, сумрачный и грустный.

— Примите меня, пожалуйста, — проговорил он.

11

Город был залит электрическим светом. Казалось, огни в окнах горели как-то по-иному — с блеском, прямо-таки выпираясь на улицу. А на площади из репродуктора неслись марши и вальсы.

Лукин покинул Николая Кораблева в кабинете часов в одиннадцать вечера и зашагал по центральной улице нового города. Снег на боковинах шоссе лежал такими высокими буграми, что за ними не видно было первых этажей. За буграми в каменных многоэтажных домах гремели музыка, песни, слышался топот ног: люди плясали, веселились, не дожидаясь двенадцати часов ночи.

Лукин свернул влево и пошел более узкой улицей, по бокам которой тянулись двухквартирные домики. Днем они синие, зеленые, белые, голубые. Где-то тут живут инженер Лалыкин, Степан Яковлевич, Иван Иванович.

«Может, зайти к кому-нибудь из них? Не то я, как волк, могу пробродить всю ночь. — И он хотел было направиться к Лалыкину, но на полпути задержался. — А вдруг окажусь лишним и весь праздник нарушу? Разве люди обязаны нести на плечах твой семейный мусор? — Лукин свернул вправо, на более глухую улочку, где дорога еще не была заасфальтирована, даже не расчищена, — пришлось идти тропой; здесь совсем недавно Иван Иванович закончил строительство домиков для тех, кто жил в землянках. Теперь бывшие жители землянок расселились в квартир-

ках, комнатах и радуются, очевидно, Новому году больше всех в городе.

«Тут и Вася Ларин. Вот к нему я бы зашел! Но не помню, в каком он домике. Расспросить — булгу поднимут: парторг что-то разыскивает Ларина. Нет, лучше на пруд». И узкой извилистой тропой, выйдя за черту города, направился к берегу.

Пруд огромный — с километр шириной и километров восемь длиной. Там, наверху, далеко от плотины, в него впадает река и растекается в котловине. Летом здесь масса лодок, рыбаков, теперь — глубокий снег. Даже во тьме снег блестит, как расплавленная сталь. Вправо, за плотиной, дрожит огнями завод. Он стих, не уркает, как обычно. Зато влево — в новом городе — гремят песни: очевидно, люди вышли на улицы, чтобы навестить знакомых.

Город пел песни, а на пруду от сильного мороза гукал лед. «Гу-у-ум», — и несется далеко-далеко.

И вдруг Лукину стало так тоскливо, что он готов был упасть в глубокие снега и закататься в них.

— Да что это, в самом деле? — со стоном вырвалось у него. — Почему? Почему я один, вот здесь, над этим снежным безмолвием?.. Разве я не заработал права на личную радость, личное счастье? — И только тут вспомнил про Надю.

Вернее, он думал о ней все время: ведь это она загнала его сюда, на снежное безмолвие. Но сейчас он особенно ярко представил ее себе. Сегодня в сумерках она пробежала мимо парткома и не взглянула в окно. Бывало, всегда взглянет, поприветствует, улыбнется. Этот раз пронеслась, держа какой-то сверток, видимо новое платье. И теперь она, наверное, надев новое платье, танцует в клубе. Обязательно танцует. А почему ей не танцевать? В прошлом году Альтман открывал новогодний бал в паре с Надей. Возможно, и сегодня вместе с ней открыл танцы. А Лукин? Он вот здесь, на стуже. Какой резкий дунул ветер! На Урале всегда так: тихо, тихо — и неожиданно откуда-то сорвется злой ветер. Разве шагнуть прямо туда, в снежное безмолвие? И идти, идти, пока двигаются ноги.

— С ума сходишь! — вырвалось у него, и он, захвативая полы полушубка, глубоко насаживая на голову ушанку, повернулся и той же тропой направился в город.

Вскоре неосознанно свернул и очутился на той улице, где жил, думая: «Шишиги мои, наверное, спят или дуют чай. Старуха любит чай, стаканов десять может выпить — и все мало».

Подойдя к своему домику, окна в котором были закрыты тяжелыми шторами, Лукин услышал, как изнутри несется музыка — фокстрот, затем раздался взрыв смеха, мужских и женских голосов.

«Значит, гуляют!» — с горечью подумал он и перешел ко второму окну. Здесь уголок шторы был почему-то отвернут, и через него видно всех: Елену, ее мать и каких-то неизвестных людей. Екатерина Елизаровна, словно истукан, сидит в центре, положив руки на стол. Лукин вспомнил: у нее, несмотря на то что лицо испещрено морщинами так же, как иногда короед расписывает ствол дерева, руки удивительно молоды и изнежены, словно у семнадцатилетней девочки-бездельницы, и потому она их всегда кладет на стол, показывая всем — вот-де что у меня есть.

— Черт знат что! — проворчал он, видя, как двое незнакомых ему людей кинулись к Елене, обняли ее, на что-то уговаривают; и вот она, блеснув глазами, опрокинула в рот из огромной рюмки водку, а мать легонько, бережно, словно боясь расколоть ладони, зааплодировала. — Фу-у! — фыркнул Лукин и, круто повернувшись, зашагал к клубу. — Пойду. Что будет, то и будет! — Быстро пересек площадь, завернул налево и очутился перед клубом.

В зале горели яркие огни. С улицы было видно, как мельтешили, кружась в танце, головы юношей и девушек. Они мелькали, то опускаясь, то поднимаясь, точно люди плыли на каком-то фантастическом корабле.

Там было весело.

— Пойду, — мрачно произнес Лукин и шагнул к парадному. — Пойду, — еще раз кинул он и остановился.

«Куда? Кому ты там нужен? На посмешище? Нач-

пут шептаться: «Лукина жена выгнала, так он теперь в клуб: старый холостяк. Девочки, может, кто сжа-лится над ним и потанцует! Да, говорят, он и танце-вать не умеет».

— Глупо! — проговорил он. — Очень глупо.

Минут через пятнадцать он очутился во дворе до-мика под горой Ай-Тулак. Окна в столовую были не занавешены, и Лукин увидел, как директор коловоро-том буравит пробку.

«Пить не умеет и открывать не умеет. Зачем коло-воротом-то? А-а-а! — Лукин догадался, рассмотрев на столе головку пробки. — Сломалась. Тоже, пробки ста-вят!» Затем он увидел, как Николай Кораблев взял трубку телефона, о чем-то долго говорил, потом пере-дал Татьяне, после этого они постучали пустыми бока-лами по ободку трубки, вскинули их над собой... и вот Татьяна, свалившись на диван, хохочет... И Лукин, не отдавая себе отчета, направился к парадному, посту-чался в дверь, а когда услышал «войдите», переступил через порог и сказал:

— Примите меня, пожалуйста.

— Проходите, проходите, Юрий Васильевич! — видя необычайное состояние Лукина, пригласил Ни-колай Кораблев.

— Да, да. Только умойтесь, — сказала Татья-на. — Идите вот сюда. — Она достала полотенце, украдкой глянув на мужа, глазами спрашивая у того согласия, и, когда он кивнул, еще пуще захлопотала. — Идите, Юрий Васильевич! — И увела его в ванную, где парторг умылся, затем, освеженный, вышел к столу.

— Ну, с Новым годом! — И Николай Кораблев чокнулся своим бокалом о бокал Лукина, наполнен-ный вином. — Может, коньячку?

— Да я бы сейчас деготь выпил. Налейте-ка мне лучше водки, Николай Степанович. — И пока тот на-ливал водку, Лукин сказал, обращаясь к Татьяне: — Мне некуда деться, Татьяна Яковлевна... и я решил к вам. Уверен, своей печалью не нарушу вашу радость: она у вас такая большая, что если сотни придут та-ких, как я, и то не нарушится.

— Как сказать, — произнесла Татьяна и отобрала у Лукина рюмку с водкой. — Я вам это не советую... А вдруг у вас будет сегодня другой день.

— Какой еще может быть у меня другой?

— Вы идите — и найдете ее, — продолжала Татьяна, прикрыв ладонью рюмку. — Идите! Идите, — настойчиво подчеркнула она. — Надя в клубе.

Лукин отодвинул от себя бокал с вином и, встав, произнес:

— Если бы это случилось, Татьяна Яковлевна! — и, несмотря на то, что Николай Кораблев предлагал ему: «А вы хоть закусите!» — он покинул столовую.

12

В этом году, как и в прошлом, бал открыл Альтман. Ровно в десять, когда зал уже был переполнен молодежью, он вышел на сцену и произнес горячую краткую речь, в которую, конечно, сумел втиснуть и о темпах, и о заводе, и о стране, и о победе. По окончании речи не сошел, а по-молодому, как полагается, прыгнул со сцены и трусцой подбежал к Наде.

— Надюша! Предлагаю вам сердце и тур вальса. — Он был уверен — она не откажется, и положил левую руку ей на талию. Но Надя умоляюще посмотрела ему в глаза, шепнула:

— Лучше с другой.

Альтман отошел от нее к Вере Кудрявцевой — нареченной Егора Орехова. Получив от нее согласие, он махнул платком, чтобы оркестр начинал. И полилась плавная, мелодичная музыка. Альтман, притопнув ногой, легко, будто в воздухе, закружился с Верой.

Надя не дала согласия Альтману открывать бал потому, что ей ныне было не безразлично, с кем танцевать. Возможно, если бы ее пригласил кто-нибудь другой, она бы и дала согласие на открытие бала, но Альтман — друг Лукина. Послезавтра встретится с ним, да и похвалится: «Бал опять открывали с Надей». Как на это посмотрит Лукин? И неужели он не придет? Хоть разочек глянул бы на нее, и она заку-

жила бы в вальсе с кем угодно, лишь бы носиться в вихре танца. А тут еще, говорят, сегодня будет мазурка. Ах, какой это танец! Летишь по простору, точно птица!

«А его нет. Нет!» — И Надя отошла в уголок, видя, как со всех сторон, особенно с балконов, сыплется конфетти — разноцветный снег. Вдруг кто-то через весь зал перебросил голубую ленту. Она опутывает пары, рвется, кружится, кружится. А вон тот самый балкон, с которого впервые Надя улыбнулась Лукину.

Оглушенная музыкой, шарканьем ног, говором, смехом, она некоторое время смотрела на балкон, где были расставлены столики, за которыми сидели юноши, девушки, пили вино, воды, ели пирожные и все смеялись. А тут, в зале, все крутилось, вертелось, сыпалось конфетти, разворачивались ленты над толпой — голубые, розовые, синие, красные... Надя поднялась на балкон, протискалась на то место, откуда впервые улыбнулась Лукину. Она и теперь посмотрела на сцену, страстно желая увидеть там Лукина. Но там расположился оркестр, и один музыкант, играющий на тромбоне, надувал щеки так старательно, что казалось, они вот-вот лопнут. А около сцены кружилась молодежь. Надя очень многих знает — девушек и юношей. Ей известно, кто за кем ухаживает, кто кого любит, кто уже помолвлен и скоро сыграет свадьбу.

«К мужу! К мужу!» — вспомнила она крик старухи и в страхе прошептала:

— Неужели не придет? Неужели вернулся к тем и там встречает Новый год?

Неся такую тоску на сердце, она снова сошла в зал.

Здесь на нее налетели юноши, приглашая на танец, и она впервые за эти годы сказала:

— Не могу. Болит голова и в глазах рябит.

У нее в самом деле шумело в голове, пестрело в глазах: девушки были в разных платьях — голубых, серых, розовых, синих, черных, белых, — а тут еще сыплется конфетти, да еще гремит музыка, да еще шарканье ног, смех, говор, гул.

«Спасти. Куда бы мне запрятать себя? Разве до-

мой?» И обрадовалась, увидев редактора местной газеты Ванечку, кинулась к нему, вскрикнула:

— Ванечка! Хочу танцевать! Вы опоздали? — проговорила она, кладя левую руку ему на плечо.

— Выпускал газету.

«А с вами не было Лукина?» — хотела было спросить Надя, но промолчала и даже зажмурилась, когда в такт музыке Ванечка повел ее по кругу.

Лукин в это время ходил около клуба, заглядывая в окна, и ничего, кроме мельтешивших голов, не видел.

«Если бы она вышла, тогда я кинулся бы к ней, и мы пошли бы по этим улицам... даже туда — на пруд! И там бы я ей все сказал!»

Так думал он, заглядывая то в одно, то в другое окно и под конец, опустив голову, зашагал к парадному, решительно поднялся по ступенькам, рванул дверь и очутился в длинном коридоре, залитом электрическим светом.

Здесь вдоль стен стояли столы, покрытые чистыми скатертями, на них пирожные, яблоки, груши, вина, воды и бокалы, а около молодежь — юноши и девушки.

Лукин, все такой же мрачный, зашагал вдоль столов, видя, как с его приближением молодежь смолкала, отталкивалась от бокалов: дескать, мы не пьем, а просто так.

«Ну вот, значит, нарушаю праздник, — мелькнуло у него. — А я никому не запрещал пить, да и права это не имею». Перед входом в зал он на какую-то минуту приостановился, тревожно думая: «А если слова Татьяны Яковлевны не оправдаются? Тогда какой стыд!» И все-таки переступил порог. Переступил — и оглох от грохота музыки, смеха, криков; затем оттерся в уголок и прислонился к стене, чтобы его никто не заметил.

Бал был в полном разгаре: танцевали не только внизу, но и на балконах. Танцевали все, каждый занятый собой, и на Лукина никто не обращал внимания. Он напряженно всматривался в кружащуюся толпу, отыскивая только ее, Надю. Но разве легко в тысячной толпе отыскать одну? Ведь сейчас в этом вихре все девушки похожи друг на друга. Он так всматри-

вался в молодой вихрь, что от напряжения на глаза навернулись слезы. Смахнув их платком, парторг снова начал всматриваться. И в эту минуту ему пришла страшная мысль: «А может, Надя нашла себе милого по сердцу... И теперь они гуляют по городу... Возможно, даже там — на пруду, где я сегодня был. Они гуляют, а я, как остопоп, таращу гут глаза!»

И в этот миг он увидел ее.

Она кружилась в паре с Ванечкой. Густая грива черных кудреватых волос редактора в такт танцу то приподнималась, то опускалась, а Надя, в новом сиреновом платье, словно вросла в него: даже голову положила ему на грудь. Впрочем, иногда она почему-то тревожно всматривается во все стороны, особенно внимательно на дверь... и снова склоняет голову.

Вот Надя все ближе и ближе. Вот уже осталось каких-нибудь двадцать—тридцать метров.

«Она очень довольна: танцует с ним! — горестно гронеслось у Лукина, и ему стало совсем тяжело. — Конечно, одногодки. А я ведь старше. Зачем я ей? Надо незаметно уйти. Но как я несолоно хлебавши снова пойду коридором?» И он было шагнул, но задержался, решив до конца казнить себя.

И Надя... Ох, Надя! Она оторвалась от Ванечки. Оторвалась и, видимо после танца еще не владея собой, чуть косо, чуть боком, выставив вперед руки, пошла к Лукину... и руки ее легко легли ему на плечи.

— Пойдем... куда хочешь. Юрий... Юрий Васильевич! — еле слышно произнесла она.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

— И я поеду с тобой. Непременно. Я уже целую неделю сидела одна. — И, увидев в глазах мужа хмурь, Татьяна заговорила еще настойчивее: — Я не буду тебе мешать. Я поеду обязательно.

— Послушай, Танюша... тебя, видимо, не радует то, что меня выбирают в Верховный Совет, — упрекнул Николай Кораблев.

— Как не радует? Почему не радует?

— Тогда зачем же ты второй день об одном и том же. Сама посуди: ну куда тебе такой? — Он тут же спохватился, видя, как ее лицо, на котором сквозь желтые специфические пятна пробивался румянец, резко побледнело, а она сама, обводя руками над животом, беспомощно опускаясь на диван, проговорила:

— Сказался: я такая тебе не нужна. Такая, значит?

— Да что ты! Милая. Родная моя. — И он, большой, даже огромный в сравнении с нею, опустился на колени и, целуя ее, заговорил часто-часто: — Да я тебя такую еще больше люблю. Ну вот, слышишь, как я тебя люблю? Именно такую. Но ведь... но ведь опасно тебе. Тебе опасно.

— Ничего мне не опасно. Не сахарная... не расколюсь и не растаю, — сквозь слезы произносила она, но в глазах, во всхлипывании уже чувствовалось, что у нее обида на мужа прошла и что она верит ему: да, нравится именно вот такая, любит он ее именно вот такую, уважает и гордится ею именно вот такой; однако упрямо твердила: — И поеду. Обязательно поеду. Я тебя не обре... обре... обре... — она никак не смогла выговорить «обременю» и, плача, смеясь, обняла его за шею.

— Ну, не обре так не обре, — понимая, что Татьяна находится в таком нервном состоянии, что ее не уговорить, согласился он. — Только, матушка, кроме шубы, понадобится еще доха; укутаем тебя, и будешь сидеть, как куколка.

— Я не противоречу... но к чему доха?

— Не в машине ведь поедem. На лошадях придется. Сначала на самолете до Дремова. Что так смотришь на меня? Есть такое село — Дремово, и район Дремовский... от железной дороги сто пятьдесят километров. На лошадях скачи — три дня проскачешь. На самолете — от силы два часа. Нам из области на время избирательной кампании прислали два самолета... Ну те, знаменитые, помнишь, как партизаны их

называли — «стрекозы», «капустники», а немцы — «рус-фанер».

— «У-два»?

— Вот-вот. «У-два». Так таких у нас и есть два. На них мы доберемся до Дремова, а там на лошадаках... потому и нужна доха.

...И вот они на заводском аэродроме, то есть на пустыре за чертой города, неподалеку от стадиона. Здесь два трактора, работая изо дня в день, расчищали дорогу для разбега самолета, но снегу так много, что дорожка превратилась в настоящую траншею, а два самолета, похожие на стрекоз, совсем скрылись за сугробами.

Со снежного поля, будто из морской белой пучины, появился Иван Кузьмич Замятин — председатель окружной избирательной комиссии — и, приветствуя Николая Кораблева, Татьяну, заговорил:

— Что ж, летим? Да. Летим. И вы, Татьяна Яковлевна?.. Хорошо. А то прошлый раз без вас-то шесть дней пробыли в округе, так ведь он, кандидат наш, заохался. Тут с избирателями надо работу вести, а он свое: «Как и что у меня там дома?»

— Вот-вот! Чтобы он не охал, я и еду, — тихо смеясь, согласилась Татьяна. — Так не хотелось мне, да, думаю, как бы кандидат наш не провалился на выборах: расхандрится, раскиснет... ну и...

— Ну и пропал, — поддержал ее Николай Кораблев, смеясь вместе со всеми.

• На боках самолетов были наклеены портреты Николая Кораблева с текстом-биографией. «Наш кандидат в депутаты Верховного Совета СССР Николай Степанович Кораблев» — виднелось вверху плаката, и смотрело молодежавое, даже бравое лицо.

— Хорош? — в полушутку спросил Николай Кораблев, кивая на портрет. — Муженек-то у тебя, говорю, хорош, женушка?

— Ничего себе. Потому одного-то и не пускаю, — неожиданно заключила Татьяна и так заразительно громко рассмеялась, что рассмеялся не только Иван Кузьмич, но и два молодых летчика, а Николай Ко-

раблев, глядя на свой портрет, вдруг вспомнил эпизод из детства, о чем вовсе не упоминалось в опубликованной биографии. И когда сел в кабине рядом с Татьяной и их обоих прикрыли надвигающейся крышкой, он сказал:

— Я вот что вспомнил, Танюша.

...Мой отец, по профессии плотник, сидит в тени сарая и топором тешет клещи — деревянные части для хомутов. Около него огромная куча свежей щепы, а чуть в стороне свалены толстые корни клена, березы.

Каждое утро, чуть свет, отец поднимает меня, совсем еще малыша, и зовет во двор. Часа два или три мы с ним трудимся подле корней, которые кажутся мне змеями-великанами. Мы надпиливаем их и при помощи клиньев раздираем на части.

Я надрываюсь в этом непосильном для моих лет труде, но отец, хотя и жалеет меня, отпустить не может: нужно зарабатывать кусок хлеба.

— Молодец ты у меня. Мужик! — похваливает он и принимается топором тесать деревянные болванки.

Потом, обтесав болванки, он их долго строгаёт длинным, с двумя ручками, острым ножом, чистит шкуркой и, превратив болванки в клещи для хомутов, несет их на базар для продажи шорникам.

И так — изо дня в день.

Но вдруг отца словно подменили. Он уже не будит меня на заре — не к чему: работа идет у него плохо, валится из рук. Глаза его потускнели, в них сквозит рассеянность, и он часто вздыхает, с печалью глядя на меня.

Я не понимаю, в чем дело, хотя то и дело слышу, как он говорит через забор соседу:

— Горим, Прокофьич, горим!

Однажды отец снова разбудил меня рано утром. Я нехотя поднялся, думая, что опять придется пилить и колоть огромные корни. Но отец сказал:

— Колюшка, лезь на сарай и гляди, нет ли тучки!

Я взобрался на сарай и через несколько минут почувствовал, с какой яростной, дикой силой печет

солнце. Казалось, оно дышало, как дышит кузнечный горн. Казалось, оно вот-вот растопит меня, малыша, на этой почерневшей от дождей и пересохшей от жары соломенной крыше. Но я лежу, смотрю в глубину пустого, раскаленного неба, смотрю во все стороны — и вижу только одно: необъятные воздушные просторы, а в них дышащее зноем солнце.

— Нету, — кричу я, — нету, папанька, тучки-то! — и хочу соскочить с крыши. Но в ответ несется:

— Сиди, гляди!

И вот я сижу и час, и два, и три. Наконец я даже засыпаю, и мне снится, будто меня кто-то нарочно бросил на раскаленные банные камни. Я вздрагиваю, просыпаюсь и уже со слезами в голосе кричу:

— Нету, папанька, тучки-то... — и только тут замечаю, что почти всюду на крышах хат, на сараях мельтешат ребятишки моего возраста и тоже кричат куда-то вниз:

— Нету тучки-то, нету...

Вскоре отец уложил топор в походный сундучок, мать собрала наши скудные пожитки и тоже сложила в сундук. Я понял, что мы собираемся куда-то ехать. А дня через два или три забурлило, затосковало все село, пошли меж крестьян тревожные, страшные толки:

— В полях и лугах все сгорело, не собрать и семян!..

— Голод! Голодная смерть по земле ходит...

— Бежать куда глаза глядят, бежать, лишь бы добраться до куска хлеба, — одно спасение!..

И вот почти всем селом, за исключением богатеев и их дворовых прислужников, мы срываемся с родных мест, уходим на Волгу, вливаясь по пути в широченный поток таких же беженцев, тружеников полей, обездоленных суховеем.

Мы заполняем пароходы, баржи и двигаемся вниз по Волге-матушке реке, за Дон, в хлебные места. Тут же, на пароходах, на баржах, вспыхивают эпидемии, да и просто мрет народ от голода.

Помню, как однажды, проводив в последний путь односельчанина, оставившего троих сирот, мы долго стояли у борта баржи и молча смотрели на Волгу.

— Воды-то, воды сколько пропадает! — вдруг проронил кто-то. — На всех бы хватило, на всю Расею...

А отец мой, не отрывая взора от реки, играющей нетронутыми, неиссякаемыми силами, тихо сказал, будто размышляя вслух:

— Вот бы нам ее на поля! Напоить бы из Волги нашу землю — и конец суховеям, конец разорению, не покидай родного двора, не таскайся по Расее, как бродячая собака...

Этим словами отец высказал мечту миллионов, и она, эта мечта миллионов, еще до войны осуществлялась у нас в стране: строилась плотина на Волге около Куйбышева, намечена была плотина под Камышином, под Горьким... Война сорвала все... Но я уверен, что снова приступим к этим великим стройкам и... и пустим воды Волги, Дона, Днепра и других могучих рек на поля и раз навсегда покончим с суховеем — этим страшным народным бичом.

— Да ты ведь рассказывать умеешь, — произнесла Татьяна, когда Николай Кораблев смолк. — Я чего-то ни разу не слышала, чтобы ты так образно рассказывал: ярко вижу тебя, малыша, на сарае... и солнце печет, и кричишь ты: «Нету тучки-то, нету!» Ух, какой ты! А скрывал.

— Я разошелся, — смеясь, пояснил Николай Кораблев. — Сорок восьмой раз выступал перед избирателями. Где же Иван Кузьмич? Ага. Идет. Сейчас полетим.

2

Первым поднялся с аэродрома самолет с Иваном Кузьмичом, а за ним, шумно потрескивая, плавно покачиваясь, временами падая в воздушные ямы, потянулся самолет с Николаем Кораблевым и Татьяной.

Под ними стлался Урал.

Самолеты шли над дорогой — широкой полосой, вырубленной в густых сосновых лесах, перемешанных с елью, липой и осиною. По обе стороны большака деревья были убраны снегами, точно перед праздником.

Большак то опускался в низины, то взбирался на кручи и бежал, бежал, одинокий на белом безмолвии, окруженный такими же безмолвными лесами. Но в этом безмолвии было что-то такое притягательное — невозможно оторвать глаз. И даже казалось: если бы кто смог в это время заговорить, то пришлось бы попросить, чтобы он смолк, так же как молчат эти густые, окутанные снегом сосны, ели, липы, как этот большак. Оно, это безмолвие, порою как-то заглушало даже гул моторов, хотя они ревели так, что если бы здесь загорланила рота солдат, и то не было бы ее слышно...

Татьяна неотрывно смотрела в окошечко, и ее удивляло, что снежное безмолвие не белое, как обычно, а голубое...

— Значит, здесь снег бывает голубым. На Днепре, я видела, снег розовел. А здесь он голубеет. Тихо под нами... и все-таки кажется: вот-вот кто-то появится, вот-вот что-то взорвется.

Николай Кораблев тоже смотрел в окошечко, думая о своем.

«Летим в глушь. Что-то я им там скажу?» И временами всматривался в Татьяну, боясь, что на воздушных ямах ей будет дурно. Но та как пристыла у окошечка, так и не отрывалась. Тогда он нагнулся к ее уху и что есть силы прокричал:

— Как чувствуешь себя, моя художница?

Татьяна ничего не расслышала, потому что мотор гудел свирепо, да и уши у нее были закутаны не только шалью, но еще прикрыты мужским малахаем. Но она повернулась и, показывая глазами вниз, что-то сказала, затем взяла руку Кораблева и поднесла к губам, затем, мило улыбаясь, что-то прошептала, и он понял ее так: «Спасибо. Я довольна. Мне очень хорошо».

К концу второго часа леса вдруг стали расступаться, образуя огромнейшие поляны, видимо колхозные поля: кое-где виднелись макушки стогов соломы или сена.

И вдруг... да, да, здесь это показалось как «вдруг»: ведь больше двух часов под самолетом тянулось снеж-

ное безмолвие, а тут вдруг расхлестнулось селение с домиками, домами и даже заводскими трубами.

— Дремово. Вероятно, Дремово! — прокричал Николай Кораблев, показывая на селение. — Ну да, — еще прокричал он, видя поблескивающую на солнце рядом с селением равнину, предполагая, что это и есть тот пруд, на который рекомендовано сделать посадку самолета. — Оно! Дремово, — проговорил он так, как будто его Татьяна прекрасно слышала. — Ну вот и прикатили.

Первый самолет сделал круг над селением, затем низко опустился над прудом и почему-то взвился. За ним проделал то же самое второй самолет. Но первый сделал снова круг, ушел куда-то в сторону и скрылся из виду... Самолет, на котором сидел Николай Кораблев и Татьяна, тоже несется над снежной равниной, местами заросшей сосной, березой и елью...

Вон мелькнул полосатый шар, говорящий, что здесь аэродром... и вдруг снежный вихрь: мотор, рывкнув, моментально стих, и самолет со всего посадочного хода бухнулся в глубочайший снег так же, как в густую тину падает кирпич.

— Что такое? — встревоженно проговорил Николай Кораблев.

Татьяна, ничего не понимая, по наивности весело рассмеялась.

Летчик, похожий в мехах на медвежонка, открыл свою кабину, выбрался из нее и, цепляясь за крыло, пошел и тут же провалился в снег по пояс, затем выкинул тело на крыло, снова спустился и утонул уже по грудь. После этого он выбрался на крыло, постоял, посмотрел во все стороны и открыл кабину, в которой сидели Николай Кораблев и Татьяна.

— Доехали, — сказал летчик. — Когда мы вот так-то садимся, то говорим не «прилетели», а «доехали». Доехали, товарищ кандидат.

— Куда? — Николай Кораблев посмотрел во все стороны и, кроме белого безмолвия, ничего не увидел.

— На пруду, где нам было рекомендовано сделать посадку, мне показалось — вода. Я знал про этот вот — летний аэродром... и сел. Да, точно сел... Машина

даже метра на лыжах по снегу не прошла: упала, как гиря в тесто. Во-он избушка — аэропорт, — пошутил летчик. — Да как туда добраться? Видели, по шейку тонешь в снегу...

Мороз крепчал...

Ветер, которого во время полета не было заметно благодаря тому, что пассажиры сидели в закрытой кабине, сейчас начал свирепствовать, подбираясь то с одной, то с другой стороны, да и сам самолет, с приглушенным мотором, уже походил на существо неживое и холодное.

У Николая Кораблева заныло сердце.

«Я-то выберусь отсюда. А как она? Что с нею делать? Вот так и свершаются смертельные аварии. Надо же придумать: не сел на пруд, куда рекомендовали, а потащился вот сюда. Что же делать? Что делать?» — не высказывая своей тревоги, думал он, неотрывно вглядываясь в домик аэродрома.

Прошло около часа...

Мороз уже покрыл серебристым инеем кабину, заставил людей сидеть не шелохнувшись: сковывал. И наконец добрался до пят: пятки начало ломить.

Николай Кораблев посмотрел на Татьяну. У той лицо не просто дрожало, а покачивалось, как это бывает у людей нервных, когда они ложатся на стол перед серьезнейшей операцией.

— Ага! Приехали! — закричал летчик.

К избушке в самом деле подскакали кони, запряженные в сани, из саней повыскакивали люди — их много, человек двадцать — и затоптались, глядя все в одну сторону — на самолет.

— Сейчас что-нибудь придумают. Эх, чудaki, наверное, лыж не захватили, — сокрушенно произнес летчик.

Но и по одному тому, что около избушки появились люди, стало как-то теплее. Татьяна, наивно улыбаясь, заплетающимся языком сказала:

— Плиехали... Я говолю... ох, никак не выговолю. «Ры»-то не выговолю.

Люди стали по линейке, словно на кромке льда. Но один из них шагнул и, проваливаясь в снег, весь

изогнулся, отбрасываясь назад, цепляясь за ноги людей.

— Не-е-е! Не пройти. Чего сунулся? — недовольным голосом, как самый настоящий знаток тутошних глубоких снегов, проговорил летчик. — Лыжи бы! Чудаки, лыж не захватили. А здесь лыж — что листьев в березовом лесу.

«Чудаки? Ты сам чужак напоказ», — хотел было ответить ему Николай Кораблев, все тревожнее и тревожнее поглядывая на Татьяну. «Еще час-два, и она застынет, — с ужасом думал он. — Вот нелепость. Может, костер разжечь... на снегу... плеснуть бензину и зажечь. Да ведь до того места тоже не добраться, а рядом плеснуть — сгорим вместе с самолетом».

— Ага! Вон кто-то пополз. Ну, так, может, и доберется до нас. Вон. Видите? Лопатку взял, выбрасывает ее обеими руками, поперек себя кладет и ползет.

Человек действительно полз: выкинет вперед лопатку, положит ее поперек своего пути, обопрется, перетянет тело вперед, затем опять выкинет лопатку. Прodelав так несколько раз, он некоторое время лежит без движения, видимо отдыхает, и снова начинает ползти.

— Часа на два ему такой работы хватит. Мы бы за это время до Чиркуля долетели, а то и прямо в областной. А он вот ползет, — недовольно проговорил летчик. — Ползет как черепаха. Эх, люди-чалдоны. Не зря их тут называют чалдонами. Это о них в сказках рассказывается: блины испекли, а за сметаной в погреб с ложкой бегают.

— Глупости говорите, — оборвал его Николай Кораблев. — Вам-то кто посоветовал сюда сесть? Не знали, что тут снег в два метра? А теперь на других. — И смолк, видя, как по правую сторону, метрах в ста пятидесяти от самолета, появились ребята в форме учеников ремесленного училища.

— Оказывается, рядом дорога, — снова зафиксировал летчик. — Вишь ты. — И закричал: — Ребята, давайте! Спасайте! Вроде челюскинцев. Кандидата я вам привез.

— Кораблева? — слышался оттуда крик.

— Да. Николай Степанович, — подтвердил летчик таким тоном, что казалось, кандидатом-то в депутаты Верховного Совета является не Николай Кораблев, а он сам — вот этот летчик, загнавший самолет в глубокие снега.

Ребята заговорили, зашумели, затоптались. И вот один из них с прыжка кинулся в снег. Окунувшись с головой, взмахивая руками, он ринулся обратно на дорогу. Здесь отфыркнулся, крикнул:

— Пучина! Сам лезь! Полон рот снегу. Ну его!

«Значит, и эти ничего не сделают», — подумал Николай Кораблев и повернулся к человеку, который все полз и полз к самолету.

Но ребята зашумели пуще прежнего, слышались голоса:

— Леня! Ленька! Да ты у нас пловец. Давай! А мы за тобой. Кандидата спасать!

— Кандидата!

— Кандидата!

— Герой он! — посыпались выкрики.

Наперед вышел паренек-коротышка, но весь как-то крепко сколоченный. Он посмотрел сначала на самолет, как бы примеряясь — нельзя ли туда сразу перелететь, потом на снег и вдруг ринулся вперед, взмахивая руками и что-то крича. Нырять и вымахивая, он, будто пущенная битка, двигался к самолету, а за ним ринулись все, временами подхватывая его, выкидывая из глубин... И вот он уже около самолета: ворот рубашки расстегнут, по груди стекают потоки, такие же потоки стекают по его лицу, с головы, а от всего идет пар.

— Ленька! Леня! — позвал Николай Кораблев. — Иди... поцелую тебя.

Ленька раскинул руки, еще больше обнажая грудь.

— Нате. Целуйте, Николай Степанович.

Николай Кораблев выбрался на крыло самолета, расцеловал паренька, одновременно видя, как у ребят завистью блеснули глаза, а к самолету подполз человек. Он поднялся, уцепился за крыло, взобрался на него и, почему-то не бросая лопатки, подал Николаю Кораблеву руку, задыхаясь проговорил:

— Председатель райисполкома Калев. Здравствуйте, товарищ кандидат.

— Председатель? Танюша, видишь, какая работка ему выпала, — обнимая Калева, проговорил Николай Кораблев, почему-то чувствуя себя виноватым перед Калевым. — Знакомьтесь, моя жена... художник... Татьяна Яковлевна. Вот беда-то. Тревог-то сколько для вас.

— Тревоги — ничего. Хорошие тревоги. Только как вот выбираться отсюда будем? — проговорил охрипшим голосом Калев и, внимательно посмотрев на ребят, крикнул: — Эй! Хлопцы! Протопчите дорогу кандидату нашему... до коней.

Ребята ринулись, и вскоре траншея была протоптана. Она тянулась и так и этак, а ребята уже были около избушки и вместе с прибывшими аплодисментами встретили Николая Кораблева и Татьяну Половцеву.

Среди присутствующих мелькнуло какое-то знакомое лицо, почему-то снова напомнив Николаю Кораблеву его детство и годы, проведенные в родном селе. Он, владелец этого лица, вышел наперед, протянул руку Николаю Кораблеву и сказал:

— Не узнаешь? И я бы тебя не узнал. Игорь Четверкин... вместе по огородам лазили.

3

Небо синее-синее. Синее, в белых вспышках облаков. Такое притягательное оно, это небо, что просто хочется забраться туда, на эти пышные, серебристые облака. И разве человек в детские годы не «летал» туда, к этим облакам, в это чарующее синее небо? А разве человек не летает во сне? Но это все во сне, в мечте. А вот заставить взвиться в далекое, синее небо сталь и железо, заставить сталь и железо летать — это дело мудрое.

Игорь Васильевич Четверкин всю ночь просидел у себя в рабочем обширном кабинете над чертежами. Планы и чертежи всех деталей, всех извилин, выпук-

лостей, бугорков. Огромнейший коллектив инженеров, механиков, техников, рабочих скован этими чертежами. Людская мечта, обработанная разумом, вложена в эти чертежи и планы... и кажется, сталь, железо должны полететь...

Птица! Говорят, самый быстрый полет у ласточки. Но вот в доисторические времена была такая птица: она ночь проводила на диких скалах, а днем поднималась и, отмахивая двести — триста километров, улетала за пищей в моря, океаны. Как она была устроена? Почему ей нужно было делать такие далекие полеты за пищей? Видимо, подобные полеты были естественны, как естественны постоянные движения ребенка. Значит, как же была устроена та птица?.. И Игорь Васильевич внимательно рассматривает рисунок этой птицы — размах ее крыльев, строение грудной клетки, хвоста, шеи.

— Хорошая птица была, — шепчет он и поднимается из-за стола. Но то была птица, созданная природой. А им — всему коллективу — надо построить птицу из стали и железа. Создать такую птицу, которая внутри себя должна поместить команду из нескольких человек, подняться в воздух, продержаться двадцать — тридцать часов, улететь и сесть где-то на воду — в море, океане. Сесть и сторожить врага день-два, неделю-другую. И не только сторожить, но при случае и разить его — врага. Вот такую птицу создает весь коллектив, возглавляемый Игорем Васильевичем Четверкиным. Кажется, проработано все, продумано все, проверено все... Но взовьется ли эта птица?

Игорь Васильевич поднялся из-за стола и только тут заметил, что свет электрической лампы как-то померк: на улице занималась заря, и она гасила электрическую лампочку.

Что же, пойти домой? Ведь уже шесть. В шесть утра поднимается Мариша-дочка. Ей скоро три года. Она каждое утро, если отец дома, выскакивает из своей кровати, в одной рубашонке, босая бежит к нему и с разбегу, как рыбка, ныряет под одеяло.

— Хоть бы маленько полетать с тобой, папка! — мечтательно, но с упреком, произносит она и, свер-

нувшись клубочком, лежит мину-ту-две, затем осторожно выбирается... и начинается ее день. А когда отец до утра задерживается у себя в кабинете, она встречает его в дверях и также с упреком произносит: — Ну вот, ты опять всю ночь без меня летал.

Конечно, и сейчас она его встретит... Ну вот, и надо пойти к дочке. Пойти, поговорить с ней, потом соснуть часок-другой перед вылетом. Но уснешь ли сейчас? В голове все так кипит. Не лучше ли пройтись по дамбе? И Игорь Васильевич, не отдавая себе отчета, взял стоявшее в углу ружье и вышел из кабинета.

И вот он, высокий, как всегда подтянутый, идет по длинной, широкой дамбе. По правую сторону дамбы, — густые леса, по левую — огромное озеро, или, как здесь называют, «Уральское море». Оно сегодня тихое. Утренние лучи солнца лежат на водах ласково... и тянут утки. Утки тянут партиями. Одна, другая, третья партия. Вон пронеслись чирки. Какой стремительный полет! Но их хватит ненадолго: доберутся вон до того камыша, тех вон зарослей, и попадают. А вот летит партия крякв. Кажется, кряква летит не так стремительно, как чирок. Но какая мощь в ее полете! Кряква, конечно, в воздухе продержится гораздо дольше чирка. Ну да. Чирки уже сели. А кряквы дали один круг, потом другой, третий и вдруг поднялись на такую высоту, что стали еле заметны.

— Птица! Птица! Создать птицу из стали, железа, умнее и выносливее настоящих птиц...

Костя Бубуев — его так все и зовут. Он небольшого роста, глаза у него живые, острые и мечтательные. Он прекрасно знает, что человеческая фантазия не имеет границ. Фантазия хороша, когда под нее подведена творческая мысль. Творческая мысль Игоря Васильевича Четверкина богата. Но ее надо закрепить сугубо практическими положениями... И под началом Кости Бубуева работает не один десяток инженеров, техников, чертежников. Они сидят за отдельными столиками в огромном зале, и каждый работает именно вот над этим — над сугубо практическими положениями: выверить и закрепить на бумаге детали крыла, хвосто-

вого оперения, всего корпуса, винта, места для мотора — всего, всего и точно, как в часовом механизме. Костя Бубуев прекрасно знает, что в опытной организации бывает всякое — и удачи и неудачи. Здесь, в этой опытной организации, неудачи почти всегда связаны с человеческими жертвами... и жертвы эти бывают из-за пустяков. Да! Пустячки. Из-за пустячков погибло немало прекрасных летчиков-испытателей. Все это хорошо знает Костя Бубуев, и поэтому он сидит и день и ночь со своими инженерами, техниками, чертежниками и десятки, сотни раз выверяет каждую деталь, каждый бугорок, каждую извилину стальной птицы... И как это ни странно, но тревога всегда нарастает к концу... уверенность и тревога. Уверенность: ведь все уже проработано, подсчитано, взвешено — кажется, птица должна полететь... И тревога: а вдруг не полетит, а если полетит, то там, в воздухе, не начнет ли жестоко шалить. Шалит в воздухе такая птица иногда страшно: ее начинает всю трясти, и она рассыпается, как карточный домик. Ну, падала бы на землю эта сталь, железо... но ведь падают и разбиваются люди. А у этих людей есть семьи, родные. У Кости Бубуева тоже есть две дочки — Светлана и Ирина. Светлана уже «сознательная» (ей восемь лет, ходит в школу), Ирина еще «несознательная» — так ее называет старшая. У Светланы волосы черные, а у Ирины светлые, пышные, кудрявые, и про Ирину все говорят: «Ваша дочка как из сказки». А ведь у тех, кто сегодня полетит на новой стальной птице, тоже есть дети, родные. Оставить детей без отца, родных без сына. Ведь это ужасно. И еще — какой страшный позор падет на него, Костю Бубуева, на Четверкина, на весь коллектив!

И Костя Бубуев сегодня тоже всю ночь не спал. А сейчас, глянув на рассвет, он быстрым шагом вышел из своего кабинета, спустился по лестнице и очутился в огромном, светлом и чистом зале — это был сборочный цех.

Сегодня в сборочном необычайно тихо. Обычно тут все гремит, жужжит, визжит так, что невозможно разговаривать. А сейчас необычайная тишина и чистота.

Необычайным кажется то, что с боков через огромные окна падают ярчайшие лучи солнца. И люди ходят без определенного дела. Вон идет главный — так его называют в цехе. Это рабочий Кандыбов — такой же одержимый, как и все. А вон и Пигутик. При виде его Костя улыбнулся. Дело в том, что Пигутик по специальности учитель математики. И иногда, в горестную и трудную минуту, он вдруг заявляет:

«И потащила же меня судьба сюда: преподавал бы и преподавал алгебру. Никаких тебе там полетов, никаких тревог. А вот тут — иногда просто поджилки трясутся». — Но он так только говорит; отстать от творческого коллектива он не в силах: тоже одержим. На его обязанности лежит — принять гидросамолет. Принять — это не так-то просто, как, например, сапоги, пальто. Принять самолет — это значит проверить, выверить, из какого материала сделана та или иная деталь, а ведь их тысячи; подыскать нужный материал для деталей и отвечать за каждую деталь. Он тоже сейчас без дела. Вместе с Кандыбовым и другими рабочими они направились на выход из цеха и тут остановились, как остановился и Костя Бубуев.

Перед огромными воротами на выход из цеха стояла новая стальная птица. Здесь, под крышей цеха, она казалась просто гигантских размеров. Под нее уже подвели временные шасси, и рабочие, подводившие шасси, стояли тут же, дожидаясь команды: «Выкатывай».

Костя Бубуев, посмотрев на Пигутика и увидев на его лице бледность, спросил:

— Ну что?

— Ничего, — чуть подумав, ответил Пигутик.

— А почему не говоришь «хорошо»?

— Хорошо. — И Пигутик, взглянув на лицо Кости, такое же бледное, сказал: — А почему ты не говоришь «хорошо»?

— Я давно это сказал. Давай команду.

— Даю.

И вот открылись ворота. Образовался огромный зев, и через этот зев видны летная станция, цементированная площадка, далекие синеющие воды «Ураль-

ского моря» и небо, — небо такое чистое, со вспышками серебряных облаков. И стальная птица покати-лась на резиновых колесах плавно, тихо, еле слышно шурша о цементированную дорожку.

Кто-то, вздыхая, сказал:

— Пошел наш сынок.

Костя Бубуев и Пигутик обогнали стальную птицу и вышли на летную площадку. Здесь уже стояли рабочие, которые должны помочь стальной птице спуститься на воду, снять с нее временные шасси, летчики с парашютами, а среди летчиков «воздушный лев» Сухомлин. Он еле заметно прихрамывает на обе ноги: ноги прострелены в последних боях с фашистами. Сухомлин года три громил врага на истребителе. Потом ему прострелили ноги. Вылечившись, он отправился вот сюда — на испытание новых гидросамолетов. Внешне он суров и даже кажется недоступным, но в общении веселый, чудесный рассказчик. Теперь он стоит рядом с Игорем Васильевичем. Лицо у него сейчас совсем другое, чем было за несколько дней до этого, когда Сухомлин осматривал самолет в цехе. Тогда он был просто заинтересован; теперь он чувствует, понимает, что хозяином положения является он: отвечает за полет, за летчиков, за машину, — и поэтому лицо у него напряжено, глаза сосредоточены, и с Игорем Васильевичем в этот момент он говорит как со своим подчиненным...

Стальная птица на старте. Какая она красивая! И неужели эта красавица подведет? Вот ее осторожно скатили на воду. Люди в водолазных костюмах быстро отняли шасси. Еще спустили... И стальная птица поплыла легко, как лодочка.

Сухомлин посуровел, повернулся к Пигутику, сказал:

— Принял машину?

— Принял.

— Тогда садись, полетим.

— Что ж, могу, — ответил Пигутик и хотел было уже попросить летный костюм и парашют, но Сухом-

млин засмеялся, тронул его ногу под коленом и в шутку произнес:

— А тут не дрожит? — И, пощупав, сказал: — Нет. Не дрожит. Тогда летим одни. — Он повернулся к своим летчикам и уже скомандовал: — Ну вот что: в случае, если понадобится, по моему приказу чтобы за две-три секунды быть за бортом! — Он уже по опыту знал, что эта молодежь всегда весьма неохотно покидает машину, даже если очень надо, и поэтому еще строже сказал: — Слыхали? Через две-три секунды. Я за вами. Но имейте в виду, я тоже жить хочу.

Загудели моторы. Гидросамолет качнулся сначала в одну, потом в другую сторону и снова замер. Моторы загудели еще сильнее... И вот открылось боковое окошечко, и в окошечке высунулась рука Сухомлина — большая, в кожаной перчатке. Сначала рука высунулась с растопыренными пальцами, затем пальцы сжались в кулак, как бы говоря: «Возьмем!» Моторы заревели, стальная птица скользнула, поплыла, все быстрее и быстрее. И вот она уже развернулась, какую-то минуту стояла, как бы на что-то нацеливаясь. Моторы рывкнули еще сильнее, и вдруг стальная птица, разбежавшись, подпрыгнула, легонько тюкнулась брюхом в воду и пошла. Она пошла наискось вверх. Все вверх и вверх — туда, в чистое, синее небо, усыпанное вспышками серебристых облаков. Все выше и выше... Вот она прорезала первое попавшееся облачко, на секунду скрылась в серебристой белизне его, вынырнула и тут же ушла в другое, третье и сделалась маленькая-маленькая, как ласточка. А тут, на летной площадке, кто-то крикнул «ура», зааплодировал. Люди сначала ничего не поняли. Но, увидев, что гидросамолет уже превратился в черную точку, тоже зааплодировали, тоже закричали «ура», а Костя Бубуев и Пигутик уже направились к Игорю Васильевичу, чтобы поздравить его с успехом, но тут увидели — лицо у него серое, глаза болезненно запали, и он произнес так, чтобы никто, кроме Кости Бубуева и Пигутика, не слышал:

— Почему она тюкнулась? Почему, когда отрывалась от воды, тюкнулась?

— Я не заметил, — ответил Костя. — Мне кажется, оторвалась она блестяще.

— Может, встречная волна, — проговорил Пигутик, но, глянув на озеро и видя его голубую гладь, растерянно добавил: — Да, да. Что-то было.

А от стальной птицы в небе остался только один гул. Он неся то с одной, то с другой стороны. И все напряженно прислушивались к нему. Так этот гул простоял даже минут десять — пятнадцать. И вдруг гидросамолет вынырнул из-за леса и понесся на летнюю площадку, как бы намереваясь сесть на цементное поле. Но, не добравшись метров триста, он снова взмыл и снова пошел наискось вверх.

— Черт! Черт! — закричал кто-то. — Вот тебе и «Воздушный лев»!

А «Воздушный лев» опять ввел стальную птицу в облака, затем вынырнул из синеющей дали, и гидросамолет, как стрела, понесся на водяную гладь. Все ниже и ниже... и сел — плавно, легко, разбрасывая брызги. Сухомлин прирулил и первый вышел на цементированную дорожку — весь улыбчивый, раскрасневшийся. Подойдя к Игорю Васильевичу, сбросил перчатку и протянул руку.

— Ну, — сказал. — Гарно!

А Игорь Васильевич ему:

— Почему тюкнулась?.. Когда отрывалась, почему тюкнулась о воду?

Сухомлин засмеялся.

— Это я ее сам так. Знаете, когда садятся на хорошего коня, ему шпоры в бок дают — дескать, чувствуй, не балаболка на тебе сидит. Ну и я ее маленечко тюкнул, чтобы понимала, кто управляет.

Ровно через месяц, после длительных испытаний стальная птица улетела на Черное море, за две тысячи километров. Пронеслась она благополучно. И только после этого Игорь Васильевич, поблагодарив весь коллектив, сказал:

— А теперь будем строить новую.

Вот этой мыслью и были заняты все эти морозные месяцы Игорь Васильевич, Бубуев и их друзья.

Сейчас они в группе работников райкома партии, райисполкома стояли около избушки, аплодировали Николаю Кораблеву, а когда он вышел из снежной траншеи и поздоровался со всеми за руку, Игорь Васильевич, высокий и стройный, сказал:

— Не узнаешь? И я бы не узнал. Игорь Четверкин... вместе по огородам лазили.

Николай Кораблев всмотрелся и ахнул:

— Четверкин. На задах жил? Батюшки! Танюша, смотри-ка, встреча какая: из одного села мы. Но, товарищи, нет ли согревающего? Промерзли мы до костей.

Калев, широколицый и улыбчивый, сунул руку в карман шубы и, подшучивая, проговорил:

— Спасительница наша во всех мирских бедах. — Ударил ладошкой по донышку бутылки, пробка вылетела, и вот уже кто-то подставил чайный стакан и в него забулькала водка. — Кандидату нашему! — торжественно прокричал Калев, подавая стакан Николаю Кораблеву.

Тот принял стакан и, поднося его Татьяне, проговорил:

— Отпей! Отпей, Танюша. Пей как лекарство. Иначе можешь слечь... и тогда до весны тебя отсюда не вывезем.

4

— По коням! — возвестил Калев и, поблескивая глазами, сам сел за кучера, приглашая в санки Николая Кораблева и Татьяну, говоря уже Татьяне: — Что, согрелись? Она — это лекарство первейшее. Мы не замерзли, а выпили по стаканчику — и тоже согрелись. В путь-дорогу! — еще прокричал он и натянул вожжи.

Гнедая кобылица взяла с места разом, как будто ее кто подтолкнул, и, обдавая седоков густым паром, выбрасываемым из ее широких ноздрей, понеслась, взвихривая снежную пыльцу.

— Лицо-то... лицо-то какое у него интересное, — прошептала Татьяна. — У председателя. И голова как сидит — смотри.

— Как у него сидит голова — будет ясно, когда познакомимся с его работой, — возразил Николай Кораблев. — Тогда и лицо его будет видно. Ах, да. Ты ведь все — черточки, краски.

— А что же мне еще? Ведь это картина: самолет в снегу, ребята траншею пробивают... председатель райисполкома ползет к самолету. А ты говорил мне — ехать не надо. Да я тут впечатлений наберусь на всю жизнь.

— Хороши бы были впечатления, ежели бы примерзли на месте приземления.

— А ведь интересно. Сделай благополучную посадку — ну, ничего бы и не запомнил, — в свою очередь возразила Татьяна. — А тут — на все времена запомнишь... другим рассказывать будешь. А как ребята взволновали и тебя и меня. Ну и молодцы! И о том расскажешь, как ты впервые стакан водки выпил. И я водку пила. Алкоголики! А люди-то все какие! Люди! Особенные. — И Татьяна заразительно, как она умела, засмеялась, заставив повернуться Калева, и тот, поняв смех пассажирки по-своему, сказал, хвалясь ко-
нем:

— Ах, идет-то как! По струнке. Ну что машина? Ну что автомобиль? Души нет. А тут — существо живое, с душой. О-о-о! Катенька, — и туже натянул вожжи.

Татьяна оглянулась.

На крутом повороте, следом за ними, катили десятки санок, запряженных конями... и почти над каждым конем, прикрепленные к дугам, развевались пламенеющие красные флажки, а люди, сидящие в санях, с разгоряченными, почти пунцовыми от мороза лицами, пели песни.

— Как они все рады: тебя везут.

— Рады другому, — произнес Николай Кораблев. — Вот понаблюдаешь и поймешь, чему они все рады. — И вдруг воскликнул: — Начинается сабантуй!

В избирательный округ, по которому баллотировался в Верховный Совет Николай Кораблев, входило пять районных центров, разбросанных друг от друга приблизительно на пятьдесят — шестьдесят километров. При выезде Николая Кораблева из одного района

в другой его обычно на конях, запряженных в сани, сопровождал актив, и на границе, где передавали кандидата в следующий район, происходили шумные встречи-проводы: люди, сопровождающие кандидата, выпивали, пели песни, смеялись, плясали кто как умел. А представители следующего района уже стояли на границе. Приняв кандидата в свой район, они начинали плясать, затем все рассаживались по сánям, и кони их несли к намеченной цели.

Вот и теперь: у мостика толпа, а из села бегут ребяташки, взрослые, на конях еще мчатся люди, а на дороге уже стоят трое: женщина держит в руках поднос, на котором виднеется в чайном стакане водка, по правую же сторону женщины стоит старик и тоже на деревянном подносе держит каравай хлеба, по левую — старуха с расписным полотенцем в руках.

— Сабантуй начинается, — проговорил Николай Кораблев, завидя все это, и весело улыбнулся.

— Мать большого села встречает вас, Николай Степанович, — повернувшись, пояснил Калев и круто остановил коня. — В середине — Мать большого села, — добавил он.

Мать большого села оказалась совсем небольшой, даже маленькой женщиной и по фигурке своей совсем девочка, только лицо у нее широкое и огромные синие глаза, обрамленные мелкими морщинками. Синими глазами она смотрит на приближающегося Николая Кораблева, и смотрит с тем волнением, с которым в эти дни избиратели смотрели на него, как бы говоря: «Я. Я избираю тебя. Я тебя посылаю в Верховный Совет. Мне это право дано, и это не просто радует меня, нет, это меня возвышает: я полноправный гражданин великого государства».

Вот такими глазами она смотрела на приближающегося Николая Кораблева, и, однако, было видно, как деревянный поднос дрожит в ее руках.

— Прими от нас, кандидат, нашу хлеб-соль, — проговорила она.

Татьяна впервые присутствовала при этом древнейшем русском обычае и со страхом смотрела на мужа — что-то он будет делать?

Николай Кораблев снял шапку, принял сначала каравай хлеба, поцеловал его и передал Калеву, затем принял солонку, протянул руку к стакану с водкой и, высоко вскинул его над головой, обращаясь к собравшимся, сказал:

— За лучших людей в мире... за вас, товарищи! — и пригубил, намереваясь поставить стакан на поднос.

— До дна! До дна! — понеслось из толпы.

«Батюшки, ведь он не выпьет», — мелькнуло у Татьяны.

Но Николай Кораблев взял стакан и под бурю аплодисментов выпил водку до дна.

— Вот это наш! Наш — уралец! — одобрительно понеслось от собравшихся.

— Богатырь ты, — проговорила Татьяна, когда Калев снова натянул вожжи.

— Богатырь-то богатырь, да что-то две жены передо мною сидят и домики дwoятся, — ответил Николай Кораблев, раскланиваясь с избирателями, которые толпились по обе стороны дороги. Утопая по колени в снегу, они взволнованно кричали, приветствуя своего кандидата и волнуясь гораздо больше самого Николая Кораблева. А он, всматриваясь в их лица, думал: «Что мне им сказать? Как сказать, чтобы мысли мои соответствовали их огромнейшей радости, появившейся в эти дни независимо от моей персоны: любого кандидата, выставленного в округе, они приветствовали бы так же, как приветствуют в данном случае меня, как я приветствовал бы другого?»

5

По дороге Калев рассказал, что опытный завод по выпуску гидросамолетов был в первые годы эвакуирован с Московского моря вот сюда — на площадку, расположенную рядом с огромнейшим озером — «Уральским морем».

— И сразу завоевал всех нас, — сказал Калев, останавливая коня около шатрового, новенького до-

ма. — Тут сам Четверкин живет, и у него повременно, — закончил председатель райисполкома.

Огромная квартира Четверкина внутри не только не оклеена обоями, но и не поштукатурена. Татьяна это очень понравилось; ей даже казалось, что от золотистых бревенчатых стен пахло так же терпко кашковой сосны, как пахнет в бору в жаркий весенний день.

«Куда-то вроде в древнюю Славянию мы попали, — думала она, глядя на бревенчатые стены, на стол — массивный, крепко стоящий на деревянном, из широких досок, полу, на табуретки, тоже весьма весомые. Она с восхищением смотрела на все это и на ту суматоху, которая обычно бывает там, где гостям рады, но знают, что те торопятся куда-то в другое место, где им позарез надо быть.

В первой комнате, куда ввалились все в шубах, впуская клубы морозного воздуха, Татьяну встретила миловидная миниатюрная женщина, одетая в бархатное, переливающееся лиловатостью, платье.

«Видимо, учительница или местная актриса», — подумала Татьяна. Но та, протянув ей маленькую, но жестковатую руку, сказала:

— Четверкина Мария Николаевна. Очень рада вас видеть. — А сама, как все в таких случаях, неотрывно смотрела на кандидата в депутаты — на Николая Кораблева. — Идите, идите, погрейтесь; подтопок я специально для вас растопила.

«Растопила? В таком бальном платье растопишь подтопок!» — мелькнуло у Татьяны, но она повиновалась Марии Николаевне и под села к печке, из которой так и пыхала жара от буйно горящих поленьев, а на коленях у нее уже сидела лет двух-трех девчушка Мариша.

Мариша не просто села на колени Татьяны. Нет. Она повозилась, пристроилась и на какой-то миг замерла, в упор рассматривая гостью, затем сказала:

- А... а почему ты не спласываешь?
- Что не спрашиваю?
- Годов.
- Ну, сколько же тебе лет?

— Тли... сколо тли, тли, тли. Большая? А у меня жених есть — Колька. Я его бью: узорной — по-уральски произнесла Мариша последнее слово, видимо подхваченное где-то на улице.

Татьяна громко рассмеялась и прижала ее к себе, думая: «Вот и у нас скоро будет такая... такой... как чудесно они щебечут в эту пору», — и только тут впервые внимательно посмотрела на Маришу.

У Мариши волосы русо-льняные и до того запутанные кудряшки, что не поймешь, куда и в какую сторону они причесаны, а щечки розовенькие.

— Ты, Мариша, прямо-таки из сказки, — проговорила Татьяна.

— Ласскажи... сказку, — потребовала Мариша, но тут же и забыла об этом, сосредоточив все внимание на людях, входящих в столовую.

А в столовую люди входили новые, очень интересные для Мариши.

Вот появились два дяди — один высокий, кудлатый, с седыми висками и другой низенький, похожий на форточку; если этот большой дядя похож на окно, то маленький — на форточку. Большой дядя говорит:

— Как же вы нас покинули?

— Да, Николай Степанович, — отвечает маленький дядя. — Ведь велено было сесть на пруд. Мы, сделав круг, и сели... Очень хорошо. Минут через пятнадцать летчик поднялся и улетел обратно в Чиркуль: там ангар есть... А вашего теперь придется тракторами вытаскивать... не летчика, конечно, а самолет.

— А я этого дядю знаю, — вскрикнула Мариша, показывая на Николая Кораблева. — Вон он!

Татьяна повернулась и увидела на стене плакат с портретом Николая Кораблева.

Мариша же подтянулась к ее уху и почему-то таинственно сообщила:

— Власть... ну, такая-этакая. — И чувствовалось, что Марише слово «власть» так же непонятно, как и слово «комета», но она, видимо желая для самой себя уяснить, что же это такое — «власть», убежденно добавила: — Выбры. Понимаешь, выбры... Все-все-все...

луки ввелх: голосуем. А папка гуся убьет, я щипать буду, — неожиданно закончила она и снова сосредоточила свое внимание на тех, кто входил, рассаживался за длинным столом, на котором появились бутылки с водкой, вином, графины с уральской брагой. За столом уже стояли дяди и тети, а мама — вои она — бе-гает, вертится, что-то принимая из рук Груши. Ну, не знаете, кто такая Груша?.. Она щи... Ой, какие щи варит няня! — похвасталась Мариша и опять вся сосре-доточилась на людях.

Вот вошла какая-то тетенька — в шубе, а голова закутана серым пуховым платком, около рта тетенька надышала сосульки. Смахнув их рукой, сказала:

— Так я поехала... поехала. И ждем вас, Николай Степанович... уж не сверните в сторону.

— Будем. Непременно будем, — отвечает за Никола-лая Кораблева Калев. — А ты бы посидела, выпила бы с нами.

— Нет. Где уж. Спешить надо. Там ведь народ-то ждет ох как.

— Мать большова села, — пояснила Мариша. — Знаю: молковку мне дала.

Мария Николаевна, расставив все на столе, осмотрев еще раз, подошла к Татьяне и, приглашая за стол, сказала:

— Болтунья-то наша, наверное, заболтала вас.

— Нет, — быстро ответила Мариша. — Она меня заболтала: все качает и качает на коленях. — А сев за стол, опять-таки повозившись и устроившись на коленях Татьяны, сунула пальчиком в сторону Николая Кораблева, сказала: — А я тебя знаю.

— Откуда, барышня? — воскликнул Николай Кораблев.

— Ты — выбры.

За столом раздался хохот, и Мариша, ничего, не понимая, стихла, а гости что-то закричали, почему-то поднялись, вскинули стаканы, наполненные водкой брагой, и дяденька, сидящий рядом с папой, закричал:

— За нашего славного кандидата, за Николая Степановича Кораблева.

Все выпили.

- Выбры! — произнесла Мариша.
- Выборы, Мариша, — поправила мать.
- Выб-ры, — раздельно подтвердила Мариша.

А тут за столом дяденьки и тетеньки, выпив, все заговорили шумно, громко, и Мариша, осуждающе проговорила:

— Загалдели: ничего не лазбелешь. — И тут же вся сжалась, прилипла к Татьяне, даже чуточку задрожала, когда на стол поставили лежащего на противне уткнувшегося мордой в картошку огромного поросенка — и Мариша, увидав его, задрожала, затем повернулась к Татьяне и внимательно, со страхом посмотрела той в глаза.

— Ты что, Мариша?

Мариша, не отрывая взгляда от ее глаз, показывая пальчиком на поросенка, ответила:

— Вольк.

За столом грохнул хохот, а мать, тоже смеясь, прокричала:

— Это наш Борька, Борька, Мариша.

Мариша сначала растерялась, готовясь уже зареветь, но тут же переломила себя и, взбрыкивая ногами, тоже хохоча, вскрикнула:

— Болька. Наш Болька! — И, по каким-то своим детским законам, весьма серьезно произнесла: — А я знаю, где папка деньги сплятал.

За столом все замерли и каждый подумал: «Да неужели Четверкин где-то в потайнике прячет деньги?» Но Мариша пояснила:

— В калмашек, его лука не лезет, а моя лезет.

6

И опять Калев, сев на свое место в санках, натянул вожжи, и лошадь, разом взяв с места, пошла отбивать шаг — четко выбрасывая ноги, а железные полозья санок запели свою хрустальную песню.

Поля... поля...

Поля, перебитые кулигами сосен, березняка, осинника, порезанные балками с отвальными скатами, бе-

регами, и следы: зайца, лис, временами крупная стежка — шли волки... а кругом снежное безмолвие. Наверное, где-то в стороне от большака есть жилье — села, деревушки, прижавшиеся от злого ветра к бочку пригорка. А здесь вот — поля, поля, снежное безмолвие... Только по большаку мчится конь, запряженный в санки, и раздается храп коня и визг полозьев.

— Как ты себя чувствуешь, моя художница? — повернувшись к Татьяне, заглядывая в ее раздумянное лицо, спросил Николай Кораблев.

— Чудесно. Я так благодарна всему, всем: столько лиц я вижу, столько красок, такую изумительную природу, что... что и сказать не знаю как, — с радостным смехом закончила Татьяна и в свою очередь спросила: — А ты? Ты, товарищ кандидат, как чувствуешь себя?

— Тревожно.

— Почему?

— Что им сказать?

— А и скажи то, что говорил везде...

— Нет. Этого делать нельзя. Знаю — люди все хорошие. Ныне, в дни выборов — этого государственного праздника, они души распахнули. Это я знаю. Но знаю и другое: ту же мысль академикам, например, надо нести в одной форме, инженерам — в другой, рабочим — в третьей, колхозникам — в четвертой, то есть мысль иллюстрировать близкими жизненными фактами. А здесь вот? Ведь отсюда до областного города километров пятьсот, до железной дороги километров двести. Я думаю, члены колхоза, которым руководит Мать большого села, не все еще видели вагоны, железную дорогу.

— Сумеешь, — решительно заявила Татьяна.

— А ежели не сумею? — решительно опроверг Николай Кораблев. — Не сумею сказать теплое слово, обижу их, испорчу весь праздник. Как это будет досадно!

— Не испортишь, — уверенно произнесла Татьяна.

— Если поволнуюсь, все продумаю — тогда не испорчу.

Так они проехали десять, двадцать, тридцать километров.

Конь порою неся во весь опор, порою шел шагом, вразвалку, роняя с себя хлопья пены, затем снова взвизгивался и неся, четко отбивая шаг.

На сороковом километре свернули с большака вправо и вскоре увидели, как в долинке, окруженной горами, к земле прижалось село. Оно вовсе и не большое.

— Тогда в чем же дело? — спрашивает, обращаясь к Калеву, Николай Кораблев. — Село-то маленькое... а она — Мать большого села.

— О-о! Загадка? Никакой загадки нет. — И Калев рассказал о том, как он сам лично в прошлую весну познакомился с председателем колхоза данного села — с женщиной, которую все в округе так и звали «Мать большого села». Он рассказывал долго, порою весьма сухо, но его рассказ вычеканился в воображении Татьяны так.

На вид этой матери лет сорок — сорок пять, глаза яркие, живые, с озорными искорками, лицо в загаре.

У нее три дочери, учатся в вузах. Иногда приезжают к ней погостить. Вот и сегодня одна приехала, а тут еще из района гости. Проводить бы ее надо, да ведь и гостей покинуть неудобно. Это замечает председатель райисполкома Калев и советует:

— Анна Сергеевна! Проводи. Проводи дочку.

Анна Сергеевна вздыхает, поднимается из-за стола, идет во вторую комнату, чтобы там проститься с дочкой, и по пути, обернувшись, говорит:

— И тут ведь так надо знать, Иван Степанович; по науке дочки-то во-он куда от меня убежали, а все одно — корень жизни я. Однако около иной ходишь, ходишь. «Я, слышь, мама, астрономию знаю». — «Ну и что ж, — говорю ей, — тебе советская власть свое отвела — небо, ну и изучай, а мне — землю. Без астрономии жить трудно, что и говорить, а без земли, пожалуй, зубы на полку положишь».

— И что же?

— Смирятся после этого, — отвечает Анна Сергеевна и вдруг заливается таким звонким смехом, что за столом все подхватывают его.

Из соседней комнаты с неприкрытой лаской послышались слова:

— Все рассказала. Эх ты, мама!

Анна Сергеевна скрылась в комнате. В избу вошел юноша. На нем гимнастерка, на груди орден. Сам он весь будто подсолнух в цвету. Был на фронте. Бил врага. Несколько раз ранен (до сих пор осколок в груди). Приехал к матери больной, худой, «в чем только душа держалась». Анна Сергеевна подлечила его. Хотел ехать учиться, уговорила:

— Останься, Петенька. Годок поработай здесь: земля тебя излечит лучше любого курорта.

Сейчас Петья — звеньева в бригаде Анны Сергеевны. Но почему же, однако, ее зовут «Мать большого села»? Было бы понятней, если бы звали так: «мать большой семьи»...

Весна ныне какая-то тугая, не хочет расставаться со злыми ветрами. А надо, чтобы было солнышко, чтобы все враз зазеленело, чтобы билась рыба в реках, чтобы песню можно было запеть. А тут — холод, ветер. Анна Сергеевна смеется:

— Приспособляться приходится. Нехорошее это слово — «приспособленец», а мы «приспособленцы»: пикировку капусты, например, нельзя ведь в перчатках производить, ну и лови теплый час, а в холодный — землю перелопачивай. А тут еще мы хотим шагнуть: по сто восемьдесят пудов с гектара урожай собрать. Это ведь сказать легко, а получить — ой, хребет погнуть придется.

Когда Анна Сергеевна впервые прочитала Указ о том, что мастерам высоких урожаев будет присваиваться звание Героя Социалистического Труда, она сильно взволновалась.

— Надо много хлеба нашему государству. А если нашему государству надо — значит надо делать. Да что я одна-то смогу, без колхозников? А если они скажут: «Сергеевна, далеко шагать хочешь. Хватит ли силенки?»

И пошла Анна Сергеевна по избам колхозников, предполагая, что те еще ничего не знают об Указе; но колхозники, встречая ее на пороге, уже возбужденно

улыбались: одни Указ слышали по радио, другим передали устно.

— Знаем. Знаем, Анна Сергеевна, — задумчиво произносили они. — Новая задача. Большая задача. Да и награда за такой труд не малая!

Не успели колхозники высказаться, как на Анну Сергеевну налетела Мария Бардеева — звеньевая второго звена, женщина крепкая, шустрая, на язык острая, как пила:

— Ну что, согласие свое даешь, Анна Сергеевна? — зачастила она. — Дай нам свое слово. Мы тебе на твое слово делом ответим таким, что на всю страну ты прогремишь и наши имена прославишь.

Анна Сергеевна удивленно посмотрела на нее и намеренно грубовато сказала:

— Чего это ты, Мария, языком-то мелешь?.. Какая такая слава? Хлеб надо дать. Обещали сто шестьдесят пять пудов с гектара, а теперь требуется сто восемьдесят. Вот тебе и слава!

— А я и не стыжусь этого — славы, — ответила Мария. — Труд в нашей стране что есть? Есть дело доблести, чести и геройства. Ну вот, а теперь Указ этот и есть вершина всего. Мы уж обсудили. Еще вчера, пока ты в районе была. И ежели ты свое согласие даешь, засучим рукава и пойдем добывать урожай великий.

Признаться, эти слова Анну Сергеевну очень взволновали, но она сдержалась и, посмотрев на колхозников, тепло произнесла:

— Да что я без вас? Былинка в поле.

— Да и мы без тебя — цех без начальника, — подхватила Мария.

Нет, Мария за словом в карман не полезет.

...И все-таки она пришла — весна. Хлынули студеные воды, на вербе набухли почки, из земли проступили травы, озимые покрыли поле зеленым ковром... Опустели хаты. Дома остались только старики и старики: ребята — в школе, взрослые — в полях. И до этого колхозники работали хорошо: даже в тяжелые годы войны колхоз, а особенно бригада Анны Сергеевны, давал высокий урожай. А тут и силы и сно-

ровка удвоились, утроились. Ну, например, Мария Бардеева: спит ли она когда-нибудь, отдыхает ли? Все в поле и в поле. За работой и за работой. И сейчас твердит:

— Награда улететь может! Ведь она с крыльями, награда-то; вспорхнет, только ее и видел.

— Ну и ладно, — согласилась Анна Сергеевна, направляясь из поля в село: сообщили, кто-то снова приехал и хочет с ней поговорить.

Поднявшись на возвышенность, рядом с селом, Анна Сергеевна остановилась и посмотрела вокруг. Всюду расстилались поля: проборонованная и уже подкормленная рожь, площади, подготовленные под картошку, под капусту, огурцы, морковь, и чернеющим крылом лежала земля яровых культур... и шагала весна с обилием благодатного тепла.

— Хорошо. Как хорошо-то, — промолвила Анна Сергеевна и задумалась. Все перед ней было красиво: красиво вспахана земля, красивые посевы. Но Анна Сергеевна понимает, видит, что через год-два все эти распланированные поля «сдвинутся» со своих мест. Клевера придется перенести вон туда, в Ямскую долину, ныне заросшую мелким кустарником, туда же придется перенести огороды, картошку, а всю эту землю отвести под рожь, пшеницу, ячмень. Все это она понимает. Да и колхозники уже намекают на то, что надо освоить все пустующие земли: раскорчевать заросли, по-хозяйски использовать все овраги, бугры. И они правы, колхозники; ведь так много еще неиспользованной земли в этой Ямской пойме. Какие огороды здесь можно развести! И удобрение рядом — торф. Шесть тысяч гектаров тут лежит ее, нетронутой, но богатой земли. В этом году заканчивается постройка канала, со следующей весны уже можно будет приступить к корчевке и распашке земли.

Так думала Анна Сергеевна, стоя на возвышенности, глядя на земли, расположенные вокруг села. И неожиданно услышала тоненький детский голосок:

— Мамычка-а-а!

Она повернулась. Рядом с ней, на дороге, около телеги, на которой виднелась корзина с подкормкой,

стоял Петя. Придержав коня, он еще раз, так же как и в детстве, произнес тоненьким голоском:

— Мамышка-а! Чего ты тут на ветру стоишь?

Петя знал, что матери всегда очень нравится, когда он вот так, детским голоском, зовет ее... И сейчас он увидел, как глаза матери засияли. А она, мать, вдруг вспомнила отца Пети, своего мужа Николая Бардеева.

«Обидеть жену — все равно что ударить по своей руке», — вот эти слова он произносил всегда, когда речь шла о женах.

Он погиб в первые дни войны. Это был тяжелый удар. До боли в груди было жаль его. Анна Сергеевна осталась с тремя дочерьми и сыном. Одна. Вдова. Она прекрасно помнит вдов в доколхозной деревне. Как жестоко обрушивалось на них все. От них, от вдов, фамилии пошли — Вдовины, Галаховы, Босяковы, Нуждины, Кусочкины. Нужда обрушивалась на вдов, как конское копыто на цветок: не выбьешься, задохнешься. И она осталась вдовой. Сын на фронте. Дочки поступают в вузы. Как быть? Разве управишься? И управилась: дочери учатся, сын вернулся с фронта, она сама — бригадир. Нет, она с достоинством понесет фамилию своего мужа Николая Бардеева, и дети ее не будут ни Вдовины, ни Кусочкины. И вот, он, Петя, как он похож на Николая Бардеева, на своего отца! Анна Сергеевна Николая Бардеева помнит с юных лет. Был он вот такой же розоватый, как подсолнух в цвету.

— Ах, Петенька, Петенька, — прошептала она, и вдруг слезы брызнули из ее глаз.

— Ты что, мама? — перепуганно спросил он и, шагнув к ней, взял ее за обветренную руку. — Опять? Не надо, мама, — чуть погодя добавил он и, глядя в глаза матери, со всей силой своего юного сердца сказал: — Ведь есть такие жертвы, которые мы должны нести с особой гордостью, мама.

— Я это знаю лучше тебя, Петюша, — проговорила мать. — Знаю, и ты мог бы свалиться...

— Но мы остались, народ остался... А чтобы не было больше жертв, мы должны стать еще сильнее. Земля нам даст эту силу, мама.

— А учиться, Петя?

— Учиться потом. Здесь большие дела приковали меня к себе. Эх, заговорились мы с тобой. Ступай. Там тебя ждут бригадиры из соседних колхозов. За советами приехали. — И, улыбаясь, тепло закончил: — Ты ведь у нас Мать большого села, вот люди и тянутся к тебе, как травы к солнцу.

Так отложился в памяти Татьяны рассказ Калева. Лицо Анны Сергеевны — Матери большого села — она видела, но не видела ее сына и Марии Бардеевой и не совсем понимала, почему же все-таки Анну Сергеевну зовут «Мать большого села».

— Да идут все к ней за советами... из соседних колхозов идут — вот и Мать большого села, — пояснил Калев и, приближаясь к селу, снова натянул вожжи: он же должен по улице, как говорят, чертом пронестись, чтобы все знали — Калев везет кандидата в депутаты.

И конь понесся.

Вот он ворвался в улицу, и мимо него только замелькали избы, избышки с причудливыми сугробами на крышах — они свисают над окнами то какими-то ковригами, то шапками с загнутыми краями, то корытами.

«Что-то... что-то я им скажу?» — тревожно думает Николай Кораблев, ожидая, что вот через несколько минут конь остановится у клуба и народ, завидя своего кандидата в депутаты, заплодирует, затем люди со сцены произнесут речи и... и придется выступить ему, Николаю Кораблеву. «Что-то я им скажу? Что?» — болезненно думал он и вдруг увидел, как из переулка справа вырвался гнедой рысак, а за ним развевающееся красное знамя, затем санки, в санках какая-то женщина и парень, крепко держащий древко знамени.

— Ай да сюрприз! — выкрикнул Калев. — Ай да Мать большого села! Она в санях-то, а рядом ее сын — Петр.

Длинный, барачного типа дом, не срубленный из толстых бревен, стоял посередине площади, светясь из-под снегов вывеской «Дом культуры колхоза имени Кирова», а вокруг дома, залив площадь, видны люди,

вернее — одни только головы: вся площадь запружена тулупами, полушубками, а надо всем этим головы и лица, улыбающиеся, смеющиеся, разгоряченные не только морозом, но тем волнением, которое породилось у них, когда они завидели мчавшихся коней и огромное, развевающееся на ветру красное знамя... И вдруг над головами вскинулись тысячи рук — в варежках и без варежек, — затем гром аплодисментов разрезал морозную тишину, и в ней четко вырезалось одно слово:

— Покажись! Покажись! Покажись!

— Да тут съехались соседние колхозы, — пояснил Калев, остановив коня. — Ай да Мать большого села!.. И опять вам, Николай Степанович, принимать ласку народную.

Перед какой-то ледяной горой, белеющей за их спинами, стояли три человека: в середине Анна Сергеевна, по правую ее руку — старик, по левую — старуха. И опять на подносе водка, каравай хлеба, солонка и в руках старухи — расшитое полотенце.

— Примите от народа нашего, наш дорогой кандидат! — начала Анна Сергеевна, подавая на подносе стакан с водкой Николаю Кораблеву. Затем после обычной процедуры — принятия хлеба, — снова раздался зов:

— Покажись! Покажись! Покажись!

Три человека, стоявшие перед Николаем Кораблевым, расступились, и Анна Сергеевна, взяв его за руку, повела на горку, говоря:

— Народ требует.

И вот перед Николаем Кораблевым люди. Много людей. Не перечать. Они, стоя на площади, плотно прибившись друг к другу, замерли, глядя в одну сторону — на вершину горки, на которой стоит их кандидат в депутаты Верховного Совета Союза. Женщины, держа на руках детей, показывают на него пальцем и, видимо, говорят: «Вот он. Видишь?»

«Люди. Хорошие люди. Сколько горя принесла вам война. Я вижу — большинство на площади женщины. Видимо, много вдов. Много и матерей, потерявших на поле брани сыновей своих. Много молодежь, у которых

семейная жизнь оборвалась: муж убит на фронте. Да-да. Война — это бедствие для народа. Страшное бедствие». Так с волнением думает Николай Кораблев, глядя на людей, плотно стоящих на площади, и они смотрят на него.

Смотрят и молчат.

На него же смотрит и Татьяна, как-то забыв, что там, на горке, стоит ее муж. Нет. Это стоит кандидат в депутаты. Народный кандидат. Он снял с головы шапку. Ветер шевелит кудлатые волосы на голове, задирает даже воротник полушубка... Если бы это был муж, Татьяна непременно закричала бы: «Надень шапку, простудишься». Но это кандидат... народный кандидат. И она, Татьяна, как и все собравшиеся здесь, хочет сказать: «Наш ты... наш!» И вот кто-то крикнул, нарушая морозную тишину:

— Доверяем тебе. Только гляди, как бы потом на вороних не прокатали.

И этими словами человек будто открыл души людей: они, повторяя те же слова, закричали все, и эти крики, слившись в единый людской гул, обрушились на Николая Кораблева с такой волнующей силой, что у него из глаз брызнули слезы... но они же брызнули и у всех. Эти слезы оборвали на какой-то миг людские крики, а Николай Кораблев, приблизившись к ледяному барьеру, упираясь одной рукой в него, другую подняв над собой, заговорил:

— Друзья мои! У меня недавно умер отец... восьмидесяти шести лет. Когда мне сообщили, что отец при смерти, я поехал к нему, чтобы проститься. Он простой крестьянин-плотник, всю жизнь трудился... И вот лежит на кровати... бьют последние часы. Я опустился перед ним на колени, взял его руку — руку отца — и, целуя ее, спросил: «Отец. Посоветуй мне, как жить». Он долго молчал, а я думал: что-то он посоветует мне? Ведь он крестьянин, плотник и знает, что я инженер, что у меня есть средства. И вдруг скажет: «Купи лошадей или коров». — В среде слушателей прошел легкий, понимающий смех, а Николай Кораблев продолжал: — Отец собрался с силами, сказал только одно слово: «Честь».

Я не понял, что это значит, и снова с напряжением стал дожидаться. И тогда отец сказал четко, ясно, как будто он был совсем здоров: «Заработай доверие народа и служи ему».

Николай Кораблев чуточку подождал и, вскинув руку еще выше, сжал кулак и, со всей силой опустив его, крикнул:

— И я буду служить вам — нашему славному советскому народу.

— А-а-а-а!.. У-у-у! — понеслось от собравшихся.

И вдруг несколько человек, вырвавшись из толпы, очутились на вершине ледяной горы. И вот Николай Кораблев уже у них на руках, а через какую-то минуту он, передаваемый с рук на руки, поплыл над людьми под радостный смех, радостные выкрики и при радостных слезах.

Перепуганные Калев и Анна Сергеевна перехватили его на другой стороне площади, вскрикивая:

— Замучаете! Затискаете нашего кандидата, — и увели его в Дом культуры колхоза имени Кирова.

8

После встречи с избирателями в Доме культуры Николай Кораблев, Татьяна и Калев, проводимые Анной Сергеевной, всеми собравшимися колхозниками соседних колхозов, отправились по селам и деревням. А сегодня — в день выборов — они сидели в столовой квартиры Игоря Четверкина и, как обычно после бурных встреч, заседания, взволнованных речей, радостных слез, все молчали, как-то боясь нарушить приятную тишину, и ждали прихода хозяина квартиры Игоря Четверкина.

Мариша, устроившись на коленях Татьяны, крепко спала и во сне прилепывала губами. Мать пыталась несколько раз отнести ее в кроватку, но как только ее руки дотрагивались до дочери, та моментально просыпалась и, дрыгая ножонками, отбивалась:

— Hel Hel

Молчали, сидя за столом, уставленным закусками, винами, Николай Кораблев и Калев, оба переживая то, что произошло за эти дни, мысленно делая из пережитого каждый свой вывод. Калев думал, и был уверен в этом, что Дремовский район выйдет по проценту голосования на первое место.

— Обязательно все сто процентов, — наконец проговорил он, нарушая тишину. — Не может быть меньше: подъем-то какой! Вот что значит кандидат — фигура видная.

— А я думаю, что дело не в фигуре, — возразил Николай Кораблев, который тоже продумывал пережитое и делал из пережитого свои выводы, верно еще не окончательные. «Что так заставило волноваться народ? — думал он перед этим. — Почему они все эти дни, особенно в день выборов, ходили с полной открытой душой... необычайной душой?»

— Как — не в фигуре дело? — у Калева даже ошенились коротко подстриженные усы. — Директор крупнейшего завода, Герой Советского Союза, герой фронта? Что перетерпел за родину в одном только лагере! Ого! Не в фигуре дело! Меня бы выдвинули кандидатом... это я к примеру. Выбегали бы за семь километров на дорогу, чтобы с Калевым повстречаться? Ого!

— А я уверен: будь на моем месте вы или кто-то другой — Иванов, Петров... — все равно была бы такая же волна подъема в народе. Потому и говорю: дело не в фигуре.

— А вот сейчас придет Четверкин и скажет: в фигуре кандидата дело. Он не первый раз проводит выборы... И увидите, какой ныне результат: все сто процентов. Вот сейчас придет, — Калев посмотрел на часы. — Ага, сорок две минуты двенадцатого уже... Значит, наступает конец голосованию.

Дверь отворилась, и на пороге появились две женщины, закутанные в шали, в дубленых шубах, и одна из них, цепляясь за косяк, со стоном произнесла:

— Товарищ депутат, спасайте! Спасайте, ба-тюшка! Спасайте!

Николай Кораблев, поняв, что обращение «товарищ депутат» в его адрес, выскочил из-за стола, проговорил:

— Что с вами? Разве так можно? — и подвел ее, плачущую навзрыд, к столу и только тут опознал: это была Анна Сергеевна — Мать большого села. — Да в чем дело-то, Анна Сергеевна? — проговорил он. — Вы успокойтесь... и расскажите.

Анна Сергеевна, не в силах удержать рыдание, показывая на вторую женщину, также укутанную в шаль, сквозь слезы произнесла:

— Она... она пояснит. Ох ты, батюшки, сердце разрывается! — и опустилась на табуретку, жалостливо поглядывая на ничего не понимающую, но взволнованную Татьяну. А Николай Кораблев повернулся к женщине у порога и спросил:

— Расскажите вы, в чем дело?

И та, вторая женщина, кратко, суровым голосом передала.

Они сегодня, в день выборов, решили за радость отплатить государству трудом своим: утром запрягли коней, засыпали в сани колхозное зерно и повезли его на элеватор, расположенный на окраине села.

— Ведь сорок километров. Сорок, — подчеркнула товарка Анны Сергеевны. — А тут еще — на элеваторе никого не оказалось. Туда-сюда, да пока что, а оно, солнышко, не ждет: ночь наступила. Ну, мы быстренько обратно... И вот тут горе нас и постигло: оглобля вывернулась, заvertка лопнула. Опять туда-сюда... а привязать оглоблю нечем, заvertка смерзлась. Спичек нет. Дыханием оттаивали, оттаивали — не проймешь. Ну, догадались: вожжи с моей лошади взяли, привязали оглоблю... И тут нас горе еще большее постигло: глядим, а лошадь... ну, которую запрягли... лошадь отвязалась и пошла себе домой. Мы за ней. А разве догонишь: она ведь лошадь. Мы ближе к ней, а она ходу. Ну, догнали. Глядим на небо, а там уже одиннадцать... Эх, через час выборам конец. «Обратно, говорю, Анна, поехали... в Дремове проголосуем». Прибыли на пункт, а там — удостоверений на право голосования у нас нет — и говорят: «По всем

правилам закона, голосовать вам у нас не позволено». Вот. — И женщина развела руками, да так и застыла, как застыли и слезы в ее глазах.

— Ну! А я думал, что-то другое, — выдохнув, произнес Калев. — Экое горе-беда. Ну, не проголосуєте. Оно, конечно, процент сбавится...

— А укор-то... укор-то какой ст народа! — перепуганно заговорила Анна Сергеевна. — Укор-то: не проголосовали.

— Да ведь объясним... ненамеренно вы. Ну, поехали, ну эта самая проклятая завертка... Хотели сделать хорошо, а получилось так — опоздали к голосованию, — успокоительно и довольно твердо начал было Калев, но к концу фразы голос его осекся и перешел на шепот. — Ничего, ничего... — уже еле слышно прошептал он, сам уже понимая, что дело-то не в проценте, а в чем-то другом — огромном и непоправимом.

— Ох, ты... да что вы, товарищ председатель — снова застонала Анна Сергеевна. — Да ведь это все равно, что мы политически руки на себя накладываем, не проголосовали... Как работать-то после этого... жить-то как? В глаза-то людям как глядеть... да и себе в сердце? Ох, да что вы о процентах каких-то там... — И Анна Сергеевна снова опустила на табуретку, бледнея.

В этот миг и вошел Игорь Четверкин, болезненно улыбаясь, стараясь все превратить в шутку, говоря:

— Видали? Видали, какое коленце откололи? К голосованию опоздали. И мы рады бы помочь, да не знаем — как? Выдать им бюллетени — правила не позволяют. Доставить их в колхоз — на чем? На самолете и то не доставишь. — Он посмотрел на часы. — Осталось до конца голосования восемь минут. Пройдут восемь минут — и... и дело непоправимое.

На лице Анны Сергеевны бледность разлилась еще пуше.

Николай Кораблев робко спросил:

— Ну, а если они проголосуют... если вы им выдадите бюллетени?

— У них нет удостоверений на право голосования, — ответил Четверкин, глядя на Николая

Кораблева глазами, которые кричали: «Все это чепуха, удостоверения. Сейчас же нарочного пошлем, привезут... А вот если они в эти минуты не проголосуют, тогда уже дело не поправишь».

— Что же... Вы-то что же? Соображайте, — ответил на взгляд Четверкина Николай Кораблев.

— В самом деле, — обрадованно, как будто он сам нашел выход, подхватил Калев. — Удостоверения они вам доставят... Давайте... давайте... идите голосуйте, — заторопил он Анну Сергеевну и ее подругу. — Давайте, а то шесть минут осталось. Ох, не успеете до клуба добраться... до урны.

— Урна-то здесь, — неожиданно произнес Четверкин. — Я прихватил на всякий случай, — и из коридора внес в столовую урну, а затем, достав из тетрадки бюллетени, вручил их Анне Сергеевне и ее подруге. — Голосуйте. Скорее. Вот карандаш. Ступайте в ту комнату.

И женщины, взяв бюллетени, карандаш, скрылись в соседней комнате, затем тут же вышли и обе медленно опустили бюллетени в урну.

— О-о-ох! — с облегчением охнула Анна Сергеевна и вдруг стала той — старой Анной Сергеевной, гордой, знающей себе цену.

— Вычеркнула поди-ка Николая Степановича, — намеренно ковырнул ее Калев.

— Что сделано, говорить не положено... Только скажу, Николай Степанович, вместе с бюллетенем я в урну за наше государство всю свою душу опустила, — еле слышно произнесла Анна Сергеевна и еще тише добавила: — вот с такой радостью все мы ныне голосовали.

Николай Кораблев посмотрел на Татьяну и произнес:

— Поняла теперь... что так эти дни волновало народ? — И он, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, отодвинул занавеску и, посмотрев на улицу, сказал: — Ветер крепчает. Может прорваться метель уральская. — А сам уже весь перенесся на завод, думая: «Вот какие люди в коллективе... вот для кого мы обязаны работать!»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Бушевала метелица...

Колючий, жесткий снег обрушивался на крыши, поля, леса, а злой, северный ветер с могучей силой торкался в двери, рвал рамы, словно норовил куда-то их закинуть.

Так свирепствовала она и день, и два, и три. На четвертый сразу оборвалась, как иногда лихой плясун вдруг обрывает бешеный танец... и выглянуло до того яркое солнце, что на снежный покров невооруженным глазом невозможно было смотреть.

Домики и дома, с крыш которых козырьками свисали сугробы, походили на фантастические существа в белых разнофасонных шляпах и шапках. Елочки на склоне Ай-Тулака занесены с головешкой, на два-три метра поднялся снег в бору, поэтому казалось, сосны намеренно по колено утонули в белизне, отчего стали кургузыми.

— Ну и ну! — произносила Татьяна и, переваливаясь, словно утица, переходила от одного окна к другому, глядя то на подножье Ай-Тулака, то на завод, то на город. — Действительно, беспощадная уральская метелица: застанет в поле и обязательно похоронит. — И обратилась к мужу, который сидел в столовой и просматривал деловые бумаги. — Коля? Ты молчишь? Говорю, такая кое-кого и заморозила... метелица... под сугробом.

Николай Кораблев тревожно посмотрел на жену, думая: «Опять о смерти. О чем бы ни заговорила, непременно сведет к смерти», — и тут же улыбнулся, боясь, что Татьяна увидит его тревожные глаза.

— Мать моя! Новое придумала. А может, никого и не похоронила. А ты уж! Вредно тебе волноваться. Пойми. Не то рассержусь.

— Пра?

Он недоуменно глянул на нее, хотя вполне понимал, что она вместо слова «правда», по-волжски произнесла «пра».

— Пра? — улыбаясь повторила Татьяна. — Знаешь ли, когда ты из лагеря через старика Вольфа передал мне «пра», он перепутал и сказал: «пра». Мы долго гадали, что это за «пра»? Так ты, правда, можешь рассердиться?

— Рассержусь.

— А ну-ка! Я еще ни разу не видела, как ты на меня сердишься. Наверное, шипеть будешь?

— Непременно.

— Зашипи!

— Нет, серьезно, напрасно ты волнуешь себя всякими пустяками, — уже строго добавил он.

У Татьяны как будто все протекало нормально; она даже вся расцвела, как расцветает яблоня, войдя в силу. Но навязчивая мысль о смерти пугала Николая Кораблева. Позавчера Татьяна вдруг встревожилась: занесет снегом тетеревей — и они погибнут. Или заговорила о том, как страшно тонет человек, когда под ним проваливается лед на реке. «Ведь это ужасно! Представляешь себе, его утягивает течение. Ничего поделать нельзя. Ничего». Ну, сказала бы — и ладно! А то ведь забудется и опять за свое...

Ираклий Иванович Суперфосфатов почти ежедневно навещал Татьяну, а иногда она сама, переваливаясь, отправлялась в больницу.

«Черт те что в нем сочетается: и Ираклий, и Иванович, и Суперфосфатов!» — однажды подумал Николай Кораблев, хотя относился к доктору с полным доверием и уважением; через день-два посещал его и, сев за стол, глядя на впалую грудь, по которой тянулась серебряная цепочка, обычно спрашивал:

— Ну, как, Ираклий Иванович?

— Что сказать? — неизменно отвечал тот. — Она здорова, нормальна как мать. Вполне развита, я хотел бы сказать. Но...

— Что «но»?

— Физическое состояние может быть прекрасное, даже великолепное. А психическое? Что только она не перетерпела в Германии?! Да и потом, когда прочитала некролог о вашей гибели. Вот это и есть то самое «но».

У себя в кабинете доктор говорил с Николаем Кораблевым совсем иначе, чем в заводууправлении: там

он низко кланялся, зачем-то потирал руки, а тут держался как полный хозяин.

— Посмотрим. Посмотрим, — говорил он, сдвигая густо сросшиеся, словно усы, брови. — Ближе к делу виднее будет. Вы не беспокойтесь: в крайнем случае применим одно средство, но мать спасем.

— А ребенка? — с ужасом произносил Николай Кораблев.

— Возможно, придется выбирать: мать или дитя. Вы только не волнуйтесь, дорогуша.

От «дорогуши» его коробило, однако он не переставал посещать доктора и сегодня утром снова зашел к нему, сообщив, что у Татьяны появилась навязчивая мысль:

— Придумывает случаи и обязательно со смертельным концом.

— О-го-о! Значит, мой диагноз правильный, — стремительно подхватил Ираклий Иванович. — Сне говорит уже не о физическом состоянии матери, а о психическом. Теперь, дорогуша, представьте себе на минуточку: во время родов она впадает в такое... ну, тихонькое... что было с ней у партизан. Придется вмешиваться хирургу. Я вам говорю откровенно: знаю, вы человек сильный.

Вот все это — предположение доктора, состояние Татьяны — и заставило Николая Кораблева иные часы работать дома, за обеденным столом, чтобы быть ближе к жене. И сейчас, всматриваясь в нее, он мучительно думал:

«Неужели придется приглашать хирурга? А тут еще на заводе у нас не все ладно».

2

Все это оказалось не так-то просто, как думали Альтман, инженеры и даже мастера завода. Они считали, что проект относительно «минутки» блестящ: большинство стахановцев работают «вглубь», «умом и умением», облегчая свой труд, давая больше продукции.

Единственный человек, восставший не против про-

екта, а против немедленного спуска его в массы, — был парторг Лукин.

— Рано, товарищи, рано. Повременить надо. Подготовиться, — хмурясь, говорил он.

Но Кораблев больше, пожалуй, следовал совету Ивана Кузьмича: «Коллектив надо посмотреть в деле, — в бою», — и потому говорил Лукину:

— Но факты, факты! Ведь Варвара Коронова стала работать всего восемь часов, а продукции дает на десять процентов больше. Или то же Вася Ларин, Егор Орехов, да и многие.

Варвара в самом деле после смены заявлялась домой бурно веселая; и ее раскатистый смех оживлял всех, кроме самого Евстигнея Коронова; он радостный смех Варвары воспринял по-своему.

«Видно, хахаля подцепила, — решил он и в душе крепко обиделся на сноху. — Муж на фронте погиб, а она хи-хи да ха-ха». И однажды за ужином, не стерпев, сказал:

— Ты что? Вроде тебя на зеленый лужок выпустили.

— Так и есть, тятенька.

Евстигней Ильич даже ахнул, да так, как поднес ложку к губам, и застыл и только чуть спустя, буравя острыми глазами сноху, произнес:

— Спасибо. Отплатила за все родительские заботы... Позором седую голову мою хочешь покрыть? — закричал он, стуча ложкой по столу.

Вся семья — жена, вторая сноха, Варвара, ребяташки смолкли, давно не видя таким рассерженным главу Короновых.

Молчание нарушила Варвара:

— Ты что, тятенька?

— На выгон, говорю, вырвалась?! — выскочив из-за стола, не унимался тот.

— Тятеньк-а-а! — И Варвара, приблизившись к свекру, положила обе руки ему на плечи. — К чему сердиться? Расскажу, сам радоваться будешь.

— Расскажи! А ну-ка! — еще пуще вскипел Евстигней Ильич.

И Варвара рассказала.

Евстигней Ильич под конец рассказа так растро-

гался, что у него выступили слезы, однако, чтобы не показывать слабости, сурово произнес:

— Значит, умственность помогла тебе! Я знал: Николай Степанович не то что Попрыгунчик.

Возможно, Евстигней Ильич не заметил, как с упоминанием Николая Кораблева Варвара вспыхнула. А она все-таки вспыхнула и, не доужинав, выбралась из-за стола, сказав:

— Опаздываю. Сегодня у нас лекция про... про астрономию.

— Ишь ты! На небо полезли. Хвалю! — воскликнул Евстигней Ильич.

Еще в октябре, дабы изучить метод работы на четырех станках и усовершенствовать его, к Варваре был прикреплен инженер Лалыкин.

В первый же день подметил: станки стоят рядочком на прямую, детали подают разные, и Варваре приходится бегать от станка к станку, как она выразилась, «будто угорелой».

— За смену так натопаешься, что к вечеру ноги стонут, — жаловалась она.

Изучив весь процесс работы Варвары, Лалыкин предложил начальнику цеха станки расставить дугообразно. Затем на самый большой станок доставили крупную деталь, которая обрабатывалась медленно, в течение нескольких часов, и поэтому за ним полагалось только приглядывать, но не бегать к нему, не переставлять детали. На остальные станки он попросил, чтобы детали подавали одинаковые или приблизительно одинаковые. После этого Лалыкин повесил часы-секундомер и устроил расписание: в такую-то минуту запускается первый станок, а в такую-то — второй, в такую-то — третий, а в такую-то — четвертый. Первую смену он проработал вместе с Варварой и понял, что у нее руки привыкли действовать по-старому, ноги двигаются по-старому, сама она всего нового страшится, как страшилась стружки, когда впервые приступила к станку. Тогда, обучая ее, мастер говорил:

— Станка не бойся: он умница. Стружки бойся: руку обрежет, а то ногу...

И Варвара боялась стружки; она даже снилась ей

иногда во сне. Однако постепенно овладела станком, потом вторым, и последнее время работала на четырех. И теперь руки и ноги, подчиненные старым приемам, так и тянули ее в другую сторону.

— Тяжело, — сказала она перед сменой. — Будто ходить учусь: всю жизнь ходила так, а теперь по-другому.

— Ничего, — утешил Лалыкин, — денек-другой поработаем и овладеем.

На седьмой день Варвара неожиданно почувствовала, что руки и ноги ее переучились, самой ей стало гораздо легче: сгинула суматоха, в которой Варвара «как угорелая» носилась от станка к станку, а выработка получилась процентов на восемь больше...

— Да, батюшки, облегчение-то какое! — возрадовалась она и по-деревенски хлопнула в ладоши.

В этот вечер Варвара впервые пришла домой веселая, поужинала, посмеялась, сама не зная над чем, и отправилась в кино.

Вот все это передал Лалыкин Николаю Кораблеву, а Варвара — свекру. Оба они умолчали только об одном: когда Лалыкин заявился к Варваре и сообщил, что ее работой интересуется директор, она, глубоко вздохнув, спросила:

— Николай Степанович?

— Да.

Варвара провела ладонями по бедрам, да так на несколько секунд и застыла. Потом встряхнулась, произнесла:

— Случай будет, передайте: все сделаю, в огонь поведу.

В первый год войны, во время эвакуации моторного завода из Москвы, два вагона с оборудованием формовочного цеха были отцеплены в Куйбышеве (загорелись буксы), а затем их случайно прицепили к другому эшелону и отправили куда-то в Сибирь. Разыскать оборудование удалось как раз накануне отъезда Николая Кораблева на фронт, и теперь оно лежало на складе, а формовочный цех напоминал собою что-то «первобытное»: работницы, рабочие, ученики, ученицы и даже сам Вася Ларин, выполняя и перевыполняя нормы, по рыже-мясланистой земле елозили

на коленях, отчего к концу превращались в трубочистов и выходили из здания согнутые, точно неся на плечах кладь: так болели у них спины.

Альтман, которому дирекцией было поручено изучить метод работы Васи Ларина, потребовал доставить со склада оборудование в цех... И когда последний был механизирован, люди облегченно вздохнули; они уже не елозили, а работали стоя.

Подобную же работу инженеры провели по остальным цехам.

Одним словом, все говорило за то, что проект о «минутке» превратить в «клич», по выражению Альтмана, пора.

Поведение Альтмана для Николая Кораблева было понятно: тому нужна кипучая деятельность.

«Альтман человек честный... почти всегда порученное ему дело выполняет энергично и хорошо. Но вот Лукин? Почему он сопротивляется... и так открыто? Может быть, у парторга страх: обжегся на прожектах Кокорева, ныне боится уже и разумного проекта. Но почему он не сопротивлялся, когда мы приводили в нормальный вид те, «кокоровские две минуты»? Рассуждая так, Николай Кораблев пересек площадь и вошел в барачное здание, где помещался партком, местком и редакция заводской газеты.

Да, действительно, нельзя было не считаться с тем, что однажды Лукин обжегся на прожектах Кокорева. Он уважал, высоко ценил Николая Кораблева, учился у него и, однако, теперь каждое новое мероприятие анализировал, ставя себя при этом в положение рядового рабочего, активиста или инженера.

— А! Николай Степанович! — воскликнул он, увидев входящего директора. — Садитесь, пожалуйста.

— Сажусь, — пожимая его руку, осматривая кабинетик, обстановку, проговорил Николай Кораблев. — Бедненько живете, Юрий Васильевич: и тесновато, и мебелишка дрянноватая.

«Пришел уламывать меня», — подумал Лукин.

— Потому и заседаем у вас, — сказал он.

— Я слышал, что злыдни уже поговаривают, что директор партком перетащил к себе в кабинет,

— Чепуха: от перемещения слагаемых сумма не меняется. Вот скоро закончат строительство нового заводууправления, и мы перекочем туда, там для нас и конференц-зал будет.

— Это верно... от перемещения слагаемых сумма не меняется. Вы, например, и здесь и в директорском кабинете такой же.

Лукин чуточку помолчал, затем, подняв на директора большие синие глаза, сказал:

— Проводите, Николай Степанович... я останусь при своем мнении.

— Ну, знаете ли, так нельзя! — Николай Кораблев впервые разозлился на Лукина. — Нам по всем статьям положено к народу идти вместе. Давайте глаз на глаз поспорим, даже поругаемся, а к народу — вместе, с единым мнением. А так что? Высказывайтесь.

Лукин снова чуточку помолчал и заговорил:

— Чем мы, Николай Степанович, привели в нормальный вид «кокоревские две минутки»?

— Вы же знаете.

— Да. Знаю. Все знаем: улучшили снабжение, предоставили активу отдых в санаториях, построили новые дома и вселили рабочих из землянок и бараков в комнаты и квартиры. Это облегчило труд людей.

— И... и налаженность в производстве, то, что мы ввели в действие новую технику, старую поставили с головы на ноги, — подсказал директор.

— Верно. Но вы ведь однажды мне сказали: техника без овладения ею человеком — мертвая сталь и железо.

— Да. Мне всегда такое напоминает передовую линию на фронте: техника — пушки, пулеметы, танки, минометы, — все выставлено, а людей — бойцов — нет. Мертво. Но к чему это вы?

— Вам, — начал раздельно Лукин, — дали сводку, говорящую о том, что из землянок и бараков всех переселили в дома?

— Сводка такая есть.

— Я проверил: землянки, бараки действительно уничтожены, но ведь ряд квартир — и немало — пустует. Люди на эти квартиры и комнаты даже не забрали ордера.

— Это почему же? — с недоумением спросил директор, краснея.

— Здесь уже не физическое перенапряжение, а душевное, — сказал Лукин. — Эти рабочие не хотят оставаться на нашем заводе: они не просят, а требуют отпустить их на старые, где они выросли в жизнь, как дубы в хорошую почву. Поэтому не берут ордера, не выписывают семьи.

Теперь задумался Николай Кораблев.

— На бумаге все хорошо, а на деле вон что, — как бы про себя проговорил он, склоняя голову на облоченную руку. -- Да-да-да. Мы бы могли к этим рабочим применить административные меры, но этот бюрократический прием не свойствен нам, во-первых, а во-вторых, они имеют право на отъезд с нашего завода по распоряжению министра, мы с вами за последние месяцы отпустили больше трех тысяч рабочих. И в-третьих, они по-человечески имеют еще большее право на такой отъезд: там семьи, родные, знакомые, там дети учатся в школах, там комнаты, квартиры.

— Комнаты... квартиры? — перебил парторг. — Были у меня рабочие, прибывшие сюда в первый год войны со Сталинградского тракторного. Говорю им: «Куда поедете? Ведь в Сталинграде все разрушено...» — «Ничего, слышь, отпустите: как-никак устроимся».

— Да. Вот видите, какая тяга... и порушить эту тягу мы бессильны.

— Совершенно верно, — подхватил Лукин, радуясь тому, что директор как-то уже согласен с ним. — Но давайте дальше рассматривать положение. Мы отпустили около трех тысяч рабочих... Видимо, предстоит отпустить еще тысячи две. На место ушедших становятся новые: женщины от печки, мужчины из старательских артелей, добывающие золото, то есть люди замкнутые, думающие только о себе: у них под крепкими замками не только дворы и дома, но и души. Значит, этих людей мало обучить, надо и перевоспитать. Места ушедших на «родные заводы», как они говорят, ныне занимают те, кто вернулся из армии. Но ведь и они отстали, им тоже надо учиться. Вот какое положение, Николай Степанович... Вот почему я со-

противляюсь, — неожиданно закончил Лукин и снова посмотрел на директора большими синими глазами.

— Я понимаю, Юрий Васильевич, — глухо проговорил Николай Кораблев. — Я понимаю, нельзя заставить человека радоваться, не устранив обстоятельство, порождающее у него печаль, — это закон жизни. Через них — законы жизни — глупо перепрыгивать, как через ручеек. Перепрыгнул... и очутился в дураках — в лучшем случае, в худшем — авантюрист. Я с вами согласен, — чуть погодя добавил он. — Но... но давайте эти обстоятельства, порождающие печаль, устранять. Вижу, и вы согласны со мной? — Николай Кораблев поднялся и, протягивая руку парторгу, сказал: — Итак, разнобоя у нас с вами нет: идем к народу как единомышленники. — Он подумал и добавил: — А тогда... помните, Альтман говорил: «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше». Мы с вами обрушились на него, но он в какой-то степени был прав. Никогда не надо всех и вся мерить на собственный аршин: мы с вами будем работать там, куда нас направит партия, а тут, видите, рабочие потянулись на «родные заводы»... и ничем их не удержать. — С этими словами Николай Кораблев и покинул кабинет.

Этот разговор произошел за несколько дней перед отлетом Николая Кораблева в избирательный округ. С того часа прошло немало времени и немало уже сделано на заводе: коллективу дополнительно переданы новые жилые дома, построенные под руководством Ивана Ивановича; рабочие, которые захотели отправиться на «родные заводы», отпущены, и на их место встали ученики и ученицы Степана Яковлевича. Ивана Кузьмича, Лалыкина и других начальников цехов.

Все осложняющие обстоятельства как будто устранены... И сегодня Николай Кораблев спешит в заводоуправление, чтобы проверить, устранены ли они действительно.

Сев за стол, он потребовал, чтобы Надя принесла выполнение графика за данный месяц и за три предыдущих. Вскоре огромные листы бумаги, разграфленные черным, красным и синим карандашами, лежали

перед ним на расчищенном столе, и директор напряженно всматривался в них, как знающий врач всматривается в живой организм.

Здесь, на огромных исчерченных листах, он не только видел, но и чувствовал, чем вообще дышал завод в такой-то и такой-то день, чем и как жил тот или иной цех, что было предпринято дирекцией, партийной организацией вот здесь, когда ниспадающая черта вдруг взмывала вверх.

График предшествующих месяцев представлял такую картину: «кривая» то неслась куда-то вверх, то стремительно ниспадала, да так и держалась несколько дней, затем начинала прыгать, метаться, как мечется стрелка секундомера. Здесь сказывался, видимо, и уход старых, опытных рабочих, и приход новых, еще не обученных, нервировало и то, что коллектив был перенапряжен; наконец, влияли и такие вещи, как отсутствие сносных жилых условий, недостаточное питание и усталость за годы войны.

— Ну, а как теперь? — проговорил Кораблев и с еще большим вниманием стал всматриваться в график данного месяца.

Вначале «кривая» металась, затем она уткнулась в цифру «112» да так и держалась почти до конца месяца, пока снова не изломалась.

«Значит, есть что-то такое, что заставляет завод нервничать и что следует устранить. Но что? Что же именно? Пока мы не уничтожим этой скрытой от наших глаз причины, приступать к «минутке» невозможно, — напряженно думал Николай Кораблев. — А может, статисты, счетчики наши напутали», — желая, чтобы все было хорошо, стремился он успокоить сам себя и тут же отбрасывал эту негодную мысль...

В кабинет стали входить начальники цехов, заслуженные мастера, инженеры — те, кого три дня назад директор пригласил на совещание по вопросу проведения в жизнь проекта «минутки», и приглашенные почти все были навеселе: вчера опубликован дополнительный указ о награждении ряда рабочих, инженеров орденами за героический труд в годы войны, и естественно, люди «спрыснули награды». И теперь они

вели себя возбужденно, требуя от директора немедленно проводить в жизнь «минутку». Это желание поддержал и парторг, говоря:

— Мы, Николай Степанович, устранили то, что мешало делу, и затягивать проведение в жизнь проекта ныне уже вредно.

Все говорили кратко, сжато и били в одну точку:

— Пора! Пора!

Николай Кораблев, глядя на график, прикрепленный Надей на стене, думал: «А может, я уж слишком осторожничаю?» — И чтобы еще раз проверить себя, он обратился к Ванечке:

— Может быть, вот теперь нужна «шапка», товарищ редактор? Как у вас там?

Ванечка привскочил, тряхнул кудрями.

— Мы заряжены, как пушка, Николай Степанович. «Шапка» и материал набран. Ждем сигнала.

— Что за материал?

— Прекрасную статью написал инженер Лалыкин о методе Варвары Короновой, чудесную приготовил Альтман о приемах Василия Ларина. Комсомольцы на общем собрании с огромнейшим подъемом приняли резолюцию, одобряющую проект о «минутке».

— Ну, тогда все, — полушутя сказал директор. — А кто еще хочет выступить? — Людей было не легко раскачать: проект «навяз в зубах». Николай Кораблев, поняв это, смеясь сказал: — Ладно. Идите подумайте!

Люди, довольные тем, что сегодня их не заставили длительно заседать, переговариваясь, покинули кабинет.

Остались Николай Кораблев и Лукин.

— Видите, что делается? — проговорил директор, показывая на график.

— А что? — хмурясь, спросил парторг.

— Неужели не видите?

— Это какая-то случайность. Ведь почти весь месяц — нормально, — говорил парторг, вглядываясь в график и барабанив дрожащими пальцами по столу. — В конце месяца занервничал — успокоится.

— А с вами что? — глядя на его дрожащие пальцы, спросил директор. — С Надей плохо?

— Наоборот. — Глаза у Лукина на секунду засияли, затем хмурь и тоска снова заполнили их.

— Ну в чем же дело? — уже весело спросил Николай Кораблев.

— Я хочу с теми окончательно порвать и не знаю, как: у меня нет денег, чтобы отправить их в Москву — тысяч десять надо.

— Возьмите у меня. Я ведь почти два года не получал зарплаты. Министр выписал.

— Вы умный человек, а предлагаете не зная что. Ну, а потом где я достану, чтобы расплатиться с вами?

— Разве у нас с вами деньги превыше дружбы? Будет — отдадите, не будет — забудем. Кстати, вы зарегистрированы с Еленой?

— Нет.

— Это ваше счастье.

Лукин задумался.

— Черт их знает! Ну, пойду.

— А деньги?

— Ах, деньги? Да, да.

— Одну минутку. — Николай Кораблев позвонил в сберкассау и, убедившись, что там сейчас же можно получить десять тысяч, написал чек. — Надя принесет вам деньги. А вы идите и готовьтесь к бою, — полусуто закончил он.

Часа через два Лукин позвонил Наде:

— Все. Гора с плеч.

— Какая гора?

— Они уезжают.

— Для этого тебе Николай Степанович деньги дал? Бедненький. Сколько хлопот я тебе причинила!

— Разве ты? Это они. А где Николай Степанович? У себя? Поблагодари его от меня и себя.

Проект относительно «минутки», как выражались тогда, наконец-то был «спущен» в массы, но вскоре выяснилось, что его подхватила незначительная группа передовых рабочих да местная газета. Ванечка

выбивался из сил: всюду — в цехах, во дворе завода, на улицах и даже на станции Чиркуль — расклеил призывные плакаты, печатал из номера в номер пламенные статьи, доказывая, что «большое мероприятие следует непременно претворить в жизнь». Однако всеобщего движения не получилось; рядовые рабочие читали плакаты, статьи — и относились ко всему так же, как если бы узнали, что такой-то слетал на луну. Интересно, конечно. Но не летать же следом за ним?

Николай Кораблев крепко задумался.

В самом деле, что же это такое? Ведь проект направлен не только на увеличение выпуска машин, но и на обогащение материальной и духовной жизни, на облегчение труда каждого рабочего.

— Надо проект провести приказом: всем, всем — и баста, — вмешался Альтман.

— Да-а, — сдерживая раздражение, протянул Николай Кораблев. — Выпустить приказ, конечно, легко. Но ведь на него рабочие могут посмотреть как на кота в мешке: мышей будет ловить или со стола тащить? Нужно массовое, сознательное движение, а не приказ. Пойдемте-ка в цехи.

Лукин молча согласился.

Сначала они попали в механический. Направо у станков работали юноши и девушки, которых под руководством Степана Яковлевича в свободные часы обучала Вера Кудрявцева. Грязные, почерневшие, как арапчата, они работали, сидя на ящиках. На руководителей завода подростки не обратили даже внимания. Ну, вошли и вошли. Но вдруг с потолка сорвался воробей — бесхвостый и чумазый. Тогда ребята — не девушки, а именно ребята — с криком: «Опять куций!» — кинулись за ним.

Степан Яковлевич смутился, говоря:

— Что же, пошалить хочется. Сами в таком возрасте шалили.

Николай Кораблев утешительно засмеялся:

— Ничего: подрастут — станут настоящими мастерами. А Вера Кудрявцева? Так и усадили вы ее за парту?

— Усадил. Егор Орехов хочет разом поступить в институт, а Верочка готовится... Она наверняка и поступит, — ответил Степан Яковлевич.

Подойдя к станкам Варвары Короновой, директор сказал:

— Здравствуйте!

У той руки даже онемели, но позвали станки, и ей пришлось, переломив себя, снова сосредоточиться на них.

— Как живете, Варвара?

Она искоса глянула на него, ответила:

— Хорошо: переучилась — и свет увидела. Говорить-то мне нельзя: станки без моего внимания дышать перестанут. — И ее руки потянулись ко второму станку.

— Ладно, побеседуем после смены.

Неподалеку от Варвары работала жена Звенкина. Николай Кораблев подошел к ней, поздоровался.

— Простите, Зина... по отчеству не знаю как вас,

— А так и зовите Зиной.

— К станку, значит, приноровились?

— Ушел муженек-то на фронт, а меня дома такая тоска начала грызть, так я к Степану Яковлевичу. Выучи, мол. Даже масла ему принесла в подарок. Масло не взял, побранил меня, а станком владеть научил. Видите, уже на двух работаю.

— Почему не на трех? — вмешался Лукин.

— А кто его знает? — уклончиво ответила она и спрятала глаза.

— Варвара работает на четырех.

— Она герой; портрет красуется у завода. — И вдруг Зина отрывисто и негодуя произнесла то, о чем не думали ни директор, ни парторг, ни главный инженер, ни Степан Яковлевич: — Они, герои-то эти, Николай Степанович, солнышко перед нами заслоняют.

Николай Кораблев вначале было растерялся от такого резкого суждения, затем посмотрел на нее с большим вниманием.

— То есть как же это вас понять? — через какую-то минуту спросил он.

— А так, все о них да о них: на собраниях о них,

на митингах о них, в газете о них!.. А мы будто тень: идет Варвара, так тень за ней — это вроде мы. — Ресницы у Зины задрожали, и она, шевеля посиневшими губами, укоряюще сказала: — А мы ведь тоже советские.

— А разве вам не передали опыт Варвары? — произнес директор таким тоном, как бы говоря: «А разве вы не Зина Звенкина?» — и подчеркнуто удивленно посмотрел в глаза Альтману.

— Она не дается, Варвара-то: хочет жить так, чтобы ей одной солнышко светило, — выпалила Зина и косынкой вытерла губы.

— Угу. До вас, Юрий Васильевич, видимо, еще не доходит, почему в конце месяца занервничал завод. В карты, говорят, нельзя играть... в «подкидного дурачка», когда в колоде нет тузов или шестерок, например. В карты! А тут не карты, товарищ Альтман, — зло кинул директор уже Альтману и стремительно направился в формовочный цех.

В формовочном цехе директор, главный инженер и парторг невольно обратили внимание на Васю Ларина. Он работал в центре, особняком, выделяясь своей крупной фигурой. В его руках все крутилось, вертелось, стучало. Он орудовал, весь сосредоточенный на процессе, напоминая старательного одиночку-крестьянина: «Пашу и пашу — от зари до зари, а что делают другие, меня это не касается».

— Да-а! Такой заслонит солнышко, — прошептал парторг, уже все понимая.

Николай Кораблев некоторое время смотрел на Васю Ларина, затем сказал:

— Здравствуйте, товарищ Ларин!

— Здравствуйте! — кратко кинул тот, но, увидев, что перед ним директор, добавил: — Здравствуйте, Николай Степанович! Пришли побранить за бегство с завода?

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Видим, здорово работаете, а рядом с вами — так себе. Вы что ж их не подтянете?

— Тю! Буду их подтягивать — сам зашьюсь, тогда портрет-то, пожалуй, парторг прикажет снять.

— А может, второй вывесит. Один за геройство в труде, другой — за обучение отстающих.

— Не-ет, — Вася, не бросая работы, отрицательно закачал головой. — На два фронта — раскорячишься, как вол на льду.

— Вы попробуйте, потом рассуждайте.

У Ларина мелькнула мысль, которую он и высказал.

— Конечно, часочка два после смены я мог бы уделить, но у меня, Николай Степанович, сынишка, Никита... скучает, — стеснительно улыбаясь, закончил Вася.

— Это, конечно, весомый довод... А не побаиваетесь, что ученики могут обогнать вас?

Вася замялся, затем, так же стеснительно улыбаясь, ответил:

— Откровенно — да... Хотя не дамся. Я на работе, Николай Степанович, дуб: меня с корнем не выдернешь.

Так руководители завода прошлись по всем цехам, всюду сталкиваясь с одним и тем же — со скрытым, но довольно глубоким недовольством; рабочие в той или иной форме высказывали то, что сказала Зина Звенкина.

— Вот вам и приказ, товарищ главный инженер, — задумчиво произнес Николай Кораблев, когда они вышли во двор завода. — Ах, черт бы вас всех побрал, — вдруг вырвалось у директора, но он тут же улыбнулся и укоряюще мягко произнес, обращаясь к Альтману: — Приказом-то, как видите, ничего не поделаешь: разрыв. Кокорев создал разрыв не только между руководством и коллективом, но и между передовыми стахановцами и массой. Такое должно было неизбежно породиться при внедрении Кокоревым капиталистического метода.

— Вы такую черту подводите под его деятельность? Капиталистический метод? — вмешался Альтман, бледнея, уже осознавая свой провал, свою вину.

— Да. Всякое отступление от генеральной линии партии ведет на ту сторону — капиталистическую. Кокорев по натуре капиталист, но без капитала: материально — нищий, по духу — эксплуататор...

— Так резко?

— Иначе нельзя. Сравните его с той же Зиной. Зина, а вместе с ней и другие просят не заслонять перед ними солнышко, дабы познать великую радость труда, другими словами — творчество. Кокорев такое солнышко затаптывает в грязь; у него основная черта — грабить. Опять вы правы, Юрий Васильевич: в нашей стране невозможно материально грабить рабочих, немисливо иметь свой завод, — так Кокорев грабил по-иному: все достижения приписывал только себе, только своему умению, только своему «таланту». Кстати, никакого таланта у него нет, как нет его у акулы.

Николай Кораблев некоторое время шел молча. Лицо выдавало внутреннюю боль. У ворот он остановился, сказал, обращаясь к подошедшему Степану Яковлевичу:

— У нас ведь, Степан Яковлевич, установлено: до решения того или иного вопроса можно и должно оспаривать то или иное предложение, но если уж решение принято, его неукоснительно надо проводить в жизнь?

— Точно, — пробасил Степан Яковлевич. — Закон!

— Так вот, друзья мои, — продолжал директор. — Мы решили: изучить опыт передовых стахановцев и перенести его в широкие массы. Так ведь?

— Да. Так, — подтвердил Альтман, снова бледнея.

— Я вижу, — говорил директор, — Варвара пветет, ее труд облегчен, она при данных условиях при меньшей затрате физических сил и времени дает больше продукции. Но Зина и другие остались в том же положении. Где вторая часть нашего действия — передать опыт передовых стахановцев в массы? Меня отвлекли выборы в Верховный Совет, Юрий Васильевич был в Москве. А вас, главный инженер, что отвлекло?

— Ах, вон что! Относительно передачи опыта! Но ведь и парторг... — начал было Альтман, но Николай Кораблев резко перебил его:

— Что парторг? Вы полагаете, он обязан работать за нас? Тогда зачем же мы-то здесь? Сваливать все на парторга — дело легкое, тем более, если мы вдвоем за это возьмемся. Парторг виноват в том, что Кокорев

безобразничал на заводе, парторг виноват в том, что вовремя не раскусили кокоровщину, парторг виноват... Да что это такое, как не заслон, которым мы прикрываем собственное недомыслие и безделье? Только верхоглядые корреспонденты могут рассуждать так: раз-де парторг, то он обязательно всеведущ, всемогущ. Я слышал, как некоторые обвиняют Юрия Васильевича в том, что он в первый же день не раскусил Кокорева. А мы вот с вами раскусили кокоровщину? Который уже месяц раскусываем, а все новые орешки. Сегодня новый орешек... и орешек из чугуна.

— Но ведь она не дается, Варвара: хочет жить так, чтобы солнышко светило только ей, — возразил словами Зины Альтман.

— Опубликовали статьи в газетах за подписями Варвары, Ларина и других, в которых они уверяют: «Поведем. Поведем». Оказывается, вон куда они повернули «поведем»: солнышко в свои руки забрали, — продолжал Николай Кораблев, все так же сдерживая раздражение и как бы не слыша Альтмана. — Разрыв между передовыми стахановцами и массой рабочих. А наш проект «минутка» требует самого сплоченного духовного единства. Такого нет. Потому, Юрий Васильевич, в конце месяца занервничал завод. О проведении в жизнь «минутки» и думать не следует, если мы не ликвидируем разрыв.

— Каюсь! Каюсь! — искренне выпалил Альтман.

Николай Кораблев на это довольно сурово ответил:

— Вы слишком часто и слишком быстро каетесь... потому порою кажется, вы из ошибок шьете себе шубу. Нам не положено на ходу каяться: всякую ошибку надо продумать, перестрадать, чтобы потом не повторять ее. Вы же тем, что не провели в жизнь решения парткома, дирекции о передаче опыта передовых стахановцев в массы, подвели всех нас. Всех, понимаете? А вы — каюсь, каюсь. — И видя, как Альтман уже посинел, мягче добавил: — Мы вас, как главного инженера, очень ценим: вы умеете дела делать... именно дела делать, но порою забываете, что мы дела-то делаем в сплоченном единстве с народом. Вот теперь нам снова надо тратить силы, время на то, как

провести в жизнь «минутку». Ах! — воскликнул Николай Кораблев так, словно кого-то со всей силой ударил кулаком.

— Я думаю, — боясь, что директор сейчас взорвется: лицо у него перекосилось и дрожало, — я думаю, — быстро вмешался парторг, — то, что сказала Зина Звенкина, следует... в более мягкой форме, чтобы не обидеть стахановцев... опубликовать... и немедленно приступить к тому, что мы уже разработали и утвердили, — к передаче опыта передовых стахановцев в массы.

— Ах! — еще раз воскликнул директор и произнес: — Идите, Юрий Васильевич, и приступайте к выполнению нашего решения. Прошу вас. А я загляну на конвейер.

4

Директор сел в сторонке, положил на колено часы, вынул записную книжечку и, прислушиваясь, через некоторое время пришел к выводу: главный конвейер, реконструированный по чертежам Московского автомобильного завода, работал без перенапряжения, даже иногда пролеты проходили, не загруженные деталями, узлами и агрегатами.

«Стало быть, беда не в нем; его можно и должно пустить на большую скорость. Беда в другом: не закрывать от «маленьких людей» солнышко, создать коллективное стахановское движение и решительно вышвырнуть остатки кокоровщины, которую полностью мы еще не вскрыли. Не добьемся этого — сядем как рак на мели. А главное — надо все время думать о людях. Я их видел во время выборов. Таким людям цены нет». Пока он так рассуждал, все записывая, к нему приблизился инженер Лалыкин и виновато заговорил:

— Николай Степанович... Варвара Коронова... ну, обратилась ко мне: хочет поговорить с вами.

— Прекрасно! — обрадованно воскликнул директор. — Там, в цехе, она ничего не сказала: станки отвлекали. Пожалуйста.

Варвара вскоре пришла. По пути она где-то сбросила с себя серый халат и теперь была в голубом платье, которое в обтяжку облегалo ее пышное, налитое здоровьем тело. Подойдя, еле слышно заговорила:

— Здравствуйте, Николай Степанович! — и не посмела подать руку.

— Здравствуйте! Я сейчас, — приветливо ответил он, все еще что-то продолжая записывать в книжечку.

— А вы поседели, — неожиданно промолвила она. — Когда торт подносила, ничего не видела: глаза затуманились. Теперь вижу, голова-то как побелела, батюшки! И все одно красивый.

«О чем это она?» — еще не отделившись от цифр, расчетов на конвейере, подумал Николай Кораблев и вскинул голову.

Перед ним стояла пышная, сильная женщина. Лоб у нее белый, гладкий, словно выточенный, волосы волнистые, глаза большие, умные, а рот страстный.

«Да, ей надо рожать. А муж погиб на фронте, — мелькнуло у него. — Но я думал, она по делу, а она что-то другое». И тут же услышал:

— Истосковалась я здесь без вас, Николай Степанович.

«Что я ей скажу? Ну, что я ей скажу? Конечно, иные могут меня назвать ханжой: отворачивается от такой женщины. — И вдруг ему стало так стыдно, так нехорошо, что он готов был бежать. — Неужели она не понимает, что мне все это не нужно? И в то же время я не могу ее грубо осадить: ведь она не виновата в том, что у нее зародилось чувство. Но зачем она ставит меня в дурацкое положение? Хорошо еще, никто не слышит, а то скандал-то какой!.. На весь завод!» Он приподнялся и мягко, упрямившись, проговорил: — Не надо. Никак не надо. Вовсе не надо. Это будет преступно. — Он говорил и говорил о семье, о морали, о Татьяне, и ему казалось все это весьма убедительно, но Варвара была словно глухая, и только он смолк, как она с глубокой тоской произнесла:

— Извелась я вся, Николай Степанович. Хоть бы одним ласковым словом приласкали.

Тогда он, косолапя, шагнул в сторону и, не проща-

ясь с Варварой, вышел из цеха, с досадой думая: «Что будет, если об этом узнает Татьяна? Ну, она у меня умная, поймет: я тут ни при чем. А бес? Вдруг заиграет бес? Может, мне лучше смолчать? Ну, а дойдет со стороны, тогда она скажет: «Почему скрыл?» С этой мыслью он, не заходя в заводоуправление, потому что было уже обеденное время, круто повернулся и направился домой. «Да, конечно, расскажу ей все... влюбилась, мол, в меня Варвара Коронова...»

Когда он переступил порог, из спальни послышался голос:

— Пришел? Но почему не позвонил? Не позвонил, и я не смогла приготовить стол. Теперь ведь я одна: Надя переправилась жить куда-то.

— Куда-то? Куда еще кроме как к Лукину. Ну, мы с тобой вместе приготовим, — и он первый подошел к буфету, достал тарелки, ложки и начал расставлять все это на скатерти, но временами руки его останавливались, замирали.

«Говорить ли ей про Варвару, или нет?» — думал он.

Татьяна, подметив его растерянность, спросила:

— Ты сегодня какой-то особенный?

— Да, пожалуй, будешь особенным, — ответил он, намереваясь с шуточками рассказать ей все, но спохватился: «Надо ли?» — и стал переводить разговор на другое: — Вдвоем-то как быстро приготовили. Не зря говорят: один в поле не воин... Так же, выходит, и на столе. — А внутренний голос долбил и долбил: «Не надо. Не говори про Варвару. Ну, чего ты этим достигнешь? Дескать, вот какой честный!.. Не всегда такая честность нужна. Да, да».

«Пожалуй, я ничего не скажу», — решил он, и уже взял было ложку, но глянул на Татьяну, на ее милое лицо, на румянец, который точно состязался с желтыми пятнами, на всю на нее, до того славную в своей беременности, что не выдержал, поднялся, подошел к ней, поцеловал в губы и раз, и два, и три, затем, садясь на свое место, сказал:

— А я сегодня изволил выслушать объяснение в любви!

— От кого? — и она сразу утерjala румянец.

— Ты только не волнуйся, — перепугавшись, заторопился он. — Прекрасно знаешь, меня от тебя никакие объяснения не уведут...

— А все-таки — кто? — уже с придыханием спросила Татьяна. — Кто? — настойчиво повторила она.

«Зачем это я? Зачем? — с болью подумал он. — Видишь, как она заволновалась, да еще в такое время. Может, сказать: «Я пошутил»? Но вдруг дойдет стороной, тогда она мне: «Почему умолчал, обманываешь?» И он произнес вяло, нарастаяжку:

— Да-а-а, Варвара Коронова. Глупая баба!

— Не-е-ет. Она не глупая. А ты ей что ответил?

Николай Кораблев понимал, что сейчас любое объяснение взбудоражит Татьяну. Если он скажет: «Я ее обругал», — жена непременно упрекнет: «Зачем же ты грубил, если у тебя к ней ничего нет?» Рассказать, как было, она все равно обидится: «Значит, у тебя есть ответное чувство, раз ты так поступил с ней». И он промолчал.

Татьяна тоже некоторое время молчала, глядя в тарелку с супом. И ему стало жаль жену. Он подсел к ней и положил руку на плечо.

— Не надо, родная моя. Если бы у меня было хоть вот столько, — он взял крошку хлеба, — я, наверное, ничего бы тебе не сообщил.

— Значит, ты способен таить от меня? — Она осторожно высвободила плечо из-под его руки.

— Да что ты, право же! — В его голосе зазвучала нотка раздражения. — Ты ловишь меня на слове. Ведь не утаил? Хотя и говорить-то не о чем. Ты же сама утверждала: в разлуке и то мы не смогли расплескаться друг друга. А тут — нате-ка вам.

— Я — нет.

— А я?

— Вы мужчины, у вас больше вольности, — с грустью промолвила она.

— Вольность-то мы проявляем с женщинами, значит у них тоже это качество есть.

— Вот видишь, как ты все преворачиваешь.

— Танюша, не надо! — со страхом воскликнул он, обнимая ее. — Это бес поднимается и ворошит.

Она заплакала, обводя вокруг живота руками:

— Я такая... такая, и ты меня разлюбишь.

— Времени не хватит, чтобы разлюбить: скоро будешь не такая... И потом не обижай меня. Прекрасно знаешь: я люблю в тебе мать. Позавчера видел, шла ты из больницы и так гордо, красиво несла его. Я радовался, глядя на тебя: отец. Ты мать, а я отец. Не самое ли это великое на земле?

— И ты в это время любил меня? — наивно, все еще не сдерживая слез, перебила она его.

— Любил. И люблю. — И он, тепло улыбаясь, положил руки ей на плечи, чуть-чуть сдавливая их.

— Я верю: мне все рассказывают твои руки... Только как-то я вся напряжена. И чего-то боюсь. А чего — сама не знаю, — растерянно прошептала она.

5

После обеда Николай Кораблев вышел из дому, еще не освободившись от той муторной горечи, какая появляется после ненужных семейных ссор.

«Вот уйду, а она и начнет ковыряться. А ведь у меня ничего к Варваре нет. Как доказать, не знаю», — думал он, пересекая двор.

Татьяна проводила мужа до калитки и, прощаясь с ним, будто в шутку спросила:

— А вашей милости было бы приятно, если бы кто-нибудь пал передо мной на колени?

— Конечно, нет... Только перестань, Танюша. И без этого тревог много. На заводе назревает скандал. Расшумелись: вот мы какие, вот что мы сотворили! А на деле — пшик. — И лицо у него нервно передернулось.

— Прости меня, — проникновенно прошептала она. — Правда, и без этого у тебя хлопот много.

— Ну, спасибо! — воскликнул он и пошел, все так же косолапя, чуть согнувшись, уже весь захваченный заводскими событиями.

В кабинете его поджидал Лукин. Он был радостен, как юноша.

«Видимо что-то еще без меня открыли», — решил директор.

Лукин подошел к столу, выложил бумажку, на которой рукой Екатерины Елизаровны были написаны ругательные слова по его адресу.

— Чему же вы радуетесь, Юрий Васильевич? — недоуменно проговорил Николай Кораблев. — Вас тут так... обкладывают, а вы радуетесь.

— Покинули. Вчера ночью сели в вагон и отправились в Москву. Благодарю, Николай Степанович: помогли с ними разделаться.

— Значит, налаживается семья? Прекрасно. Та, конечно, дрянь, Елена. Подальше от таких... Ну, а как разработали?

— Вот посмотрите. Освободили тридцать четыре передовика. К каждому прикрепили группу рабочих. — И Лукин разостлал перед директором листы бумаги.

Просмотрев списки и подумав (а он всегда подолгу думал, в какой форме возразить парторгу, чтобы того не оттолкнуть от себя), Николай Кораблев произнес:

— Не маловато ли, Юрий Васильевич? Допустим, у нас тысячи две стахановцев, тысяч пять следует за ними; ну, выкинем обслуживающий персонал... тысяч десять останется таких, которым надо привить стахановские методы работы... и забыли про инженера. Следует к каждой группе прикрепить инженера: стахановцы передадут свой опыт, знание, а инженеры — науку: при социализме труд и наука неотъемлемы, как нам с вами известно.

— Верно: мы поторопились, — неожиданно быстро согласился Лукин. — Выделим еще. Но я уже объявил, что заседание парткома состоится здесь, у вас в кабинете: у меня тесновато.

— Что ж! Давайте. Первое слово возьмите вы, — предложил Николай Кораблев, решив на этом проверить, понял ли со всей глубиной парторг то, что надо делать на заводе.

В эту минуту в кабинет ворвался Ванечка.

— Извиняюсь, Николай Степанович и Юрий Васильевич. Прошу просмотреть макет завтрашнего номера, — и развернул на столе макет газеты.

На первой странице, вверху, жирно выведено «Не горбом, а умом и умением».

— Не так, — проговорил директор. — Меньше горбом, больше умом и умением.

— Да ведь надоело, Николай Степанович: одно и то же каждый день.

— Но ваш лозунг вреден, — возвысив голос, произнес Николай Кораблев. — Рабочие не в бирюльки играют, а выпускают машины и затрачивают не только умение, но и физическую силу. — Перевернув макет, на второй странице он увидел портрет Варвары Короновой и подумал: «Вот завтра Таня заметит — и опять тревога. Может быть, не давать Варвару? — И снова обругал себя: — Общественные дела подмениваешь личным!» Затем обратился к парторгу: — Мне кажется, следует опубликовать портрет Зины Звенкиной и то, что она высказала в цехе, изложив в более мягкой и доходчивой форме. Подхватить ее инициативу о коллективном движении новаторов... — И тут Николай Кораблев впервые рассказал о том, каких людей он видел во время предвыборной кампании в Верховный Совет Союза, и особо красочно о том, почему так волновалась Мать большого села, когда опоздала на голосование. — Зина такой же человек, как и Мать большого села, — закончил он.

— Я после заседания сам пойду поговорю с Зиной и напишу, — согласился Лукин.

Пока они рассуждали, кабинет заполнился членами парткома, инженерами, старыми мастерами.

Как только открылось совещание, Лукин сразу начал:

— Мы сами виноваты в том, что проект не проник в массы. Сами. И вот почему. Мы люди сознательные, верим в грядущее и можем, допустим сегодня, собраться, вынести резолюцию: желаем жить в коммунизме. Но коммунизм — это не просто желание, убеждение, устремление одной группки людей, а движение народов, организация материальных ценностей

на определенных началах. А мы разработали прекрасный проект, поверили в него... но оказалось, что он только на бумаге: не смогли в его ценности, нужности уверить весь коллектив.

— За душу надо схватить рабочих, — сурово кинул Иван Кузьмич, — тогда не будет тех, кто отворачивается.

— Совершенно верно, Иван Кузьмич, — согласился парторг. — Но ведь чтобы схватить за душу, следует не только уверить коллектив в нужности проекта, но и научить всех работать по-новому: «не только горбом, но и умом и умением». И надо понять, что это не штурм, не ликвидация аварии, а глубочайшая работа. И не кочевряжиться, не хвастаться тем, что у нас все сознательные. Ведь в среде рабочих есть отсталые, думающие так: «Что ж, был Кокорев — урвал «две минутки» на конвейере. Появился Кораблев — этот тоже хочет «минутку». Придет новый — и опять придумает «минутку». Придумать легко, принять резолюцию нетрудно, а вот выполнить принятое — сложнейшее дело.

— Ну, это не так, — резко прервал Лалыкин, поправляя на шее марлю: он снова страдал ангиной.

— Тогда почему стоим на месте? — задал вопрос парторг.

— Я хотел сказать: не совсем так.

— Хорошо. Пусть будет по-вашему — не совсем так. Но мы туго двигаемся вперед.

— Сладим. Теперь сладим, — решительно подтвердил Альтман.

— Сладим — легко произнести, — продолжал Лукин. — Мне кажется, надо начать с рядового рабочего, работницы, с такой, как, например, Зина Звенкина. Следует подхватить ее инициативу о коллективном движении новаторов. Это — одно. Второе: нельзя забывать отсталых. Нечего нам кичиться, товарищ Лалыкин, есть ведь у нас такие. Так давайте начнем и с другого конца — с отсталых, вовлечем и их в большое дело. Наш проект не претворится в жизнь, если не будет подхвачен всем коллективом. Всеми, вплоть до сторожей, машинисток, переписчиков.

После совещания члены парткома, инженеры, опытные мастера во главе с директором, парторгом и главным инженером направились в цехи.

Лалыкин ушел в термический.

Зал сверкал голубизной стен, натертым паркетным полом, застекленными, залитыми электричеством сводами потолка. Около ванн, ванночек и электроприборов синели халаты девушек, юношей. К ним, к этим молодым рабочим, по транспортерам двигались детали для закалки токами высокой частоты. Тут были и огромные, словно в корчах изуродованные, коленчатые валы, красивые, похожие на ремешки, шестеренки всех размеров и сотни других деталей.

Закалка большинства деталей токами высокой частоты была освоена не только теоретически, но и практически. Оставался какой-то десяток. Даже девять. Пустяки. Но эти пустяки держат цех «за шиворот», что и беспокоило Лалыкина.

«Все двинутся вперед. А мы? Топтаться на месте будем», — сгорая от предстоящего конфуза, думал он, подходя к двери цеха. Но, перешагнув порог, обрадовался: инженеру показалось, что он только что выбрался из темного, заполненного угарными газами подвала и попал в светлейшее помещение, где не было ни грохота, ни дыма, а звучала мягкая, переливающаяся мелодия. Ее издавала жидкость, охлаждающая детали. В мелодию временами врезались людские голоса, да еще звонки — сигналы, говорящие о том, что та или иная деталь закалена.

Такое радостное впечатление появилось у Лалыкина вот почему: он только что побывал в кузнице — огромном закоптелом здании, где все грохотало, стучало, извергало огненные искры.

«Наш цех — будущее всего завода: чистота и работа со средним образованием», — не без гордости подумал начальник и снова погрузился: мучила «девятка».

— Может быть, соседи освоили, — спохватился он и заспешил в конторку.

С месяц тому назад Лалыкин фразослал по заводам Урала письма, в которых просил сообщить, каким порядком освоены детали, входящие в «девятку». Сведения поступали неутешительные: все в один голос отвечали, что именно на «девятке» и споткнулись. Лалыкин не отчаивался: верил, что наконец-то придут положительные данные или даже намек, поэтому он и поспешил в конторку. Здесь, очевидно, с большим волнением, чем возлюбленная открывает письма от возлюбленного, он начал рвать конверты. Рвал и отбрасывал: вести были неутешительные.

— Самим следует добиться, — под конец прошептал он. — Николай Степанович когда-то вплотную занимался токами высокой частоты. Надо поговорить с ним. — И, не заходя в лабораторию, где производились опыты над «девяткой», направился на главный конвейер, зная, что директор там.

Но ни в этот день, ни в последующие ему посоветоваться с Николаем Кораблевым не удалось: как всегда в горячие дни, в дни прорыва или другой беды, никто не обращает внимания на благополучные места, так и тут всем казалось — в термический цех даже заходить не требуется. Вот почему, когда директору доложили, что с ним хочет поговорить о «девятке» начальник цеха, он сердито отмахнулся, сказав:

— Не горит. Подождет.

Пасмурный и недовольный отказом Лалыкин шел в свой цех через фрезерный и здесь услышал, как его окликнул Лукин. Парторг находился около станков Варвары и, показывая на нее, на покрасневшую и чем-то недовольную, произнес:

— Ну и ученица у вас... с норовом.

— Чем плоха?.. И красавица и мастерица. Чем плоха? — с заминкой повторил Лалыкин.

— Разгневалась: не хочет обучать других. — И, удивленно всматриваясь в лицо Лалыкина, Лукин решил: «Э-э-э, брат, да ты, гляжу, по уши втрескался в Варвару. Только где тебе: ты перед ней сморчок. А зачем смеешься? Сам-то ведь тоже по уши в Надю. — И уже по-доброму глянул на инженера,

как бы говоря: «Что ж, это хорошо — любить и... быть любимым».

А Лалыкин заметил другое — суматоху у станков: люди кучились, что-то обсуждали, шумели, спорили громко, страстно, кто-то даже кричал:

— Не только горбом! Ага-а! Но и умом. Горб-то у нас есть! В мозолях: живого места не сыскать... А где ума возьмем?

— И я говорю, — подхватила Варвара, гневно поджимая губы, — где ума возьму? Я ведь от шестка — к станку. А теперь? Обучай? Ишь нашли профессора. Нет у меня ума. Наотрез заявляю — нет. — И Варвара резко, так, как это делают торговки на базаре, махнула руками, что ее сразу сделало отталкивающе некрасивой.

Парторг знал, что у рабочих, особенно у тех, кто недавно пришел на завод, кто «оторвался от шестка», высказанное зачастую является своеобразным заслоном, прикрывающим душевную суть. И тут, решив, что «Варвара выкрикивает не то, что у нее на уме», он осторожно заговорил:

— У нас, Варя, есть инженеры. Они обязаны ума прибавить в труде. Товарищ Лалыкин ведь обучал вас по-новому работать на станках?

Этого никто от Варвары не ждал: она вдруг потемнела в лице и уже с визгом начала кидать злые слова:

— Чего хвастаетесь? Меня мои руки обучили... Лалыкин только пыль со станков стирал. Так всякий меня в грош оценит: Лалыкин все тебе сделал, а ты лошадь-водовозка. Ну, его портрет и вывешивайте. Зачем мой-то? Народ только обманываете.

Лалыкин крепко обиделся на Варвару.

«Да что же это она? — мысленно воскликнул он. — Я ночи не спал, продумывая, как облегчить ее труд. Уважая и любя ее, всю душу вложил в дело. А она?.. До чего жестока!»

Лукин тоже мог бы обидеться, но он только с досадой посмотрел на нее и довольно строго сказал:

— Если бы Лалыкин не стер ту пыль, ка́кая была на твоём труде... в труде, а не на станках... ты бы давным-давно свалилась. — И тут же про себя подумал:

«Лавры! Лавры мучают ее. Одиночка в лаврах. Кокоревщина. Николай Степанович прав. Вот почему наш проект повис в воздухе: одиночки в лаврах на собрании единодушно приняли резолюцию, а как дело дошло до претворения в жизнь, посадили себя на все тормоза». И чтобы еще и еще раз проверить свое заключение, парторг, простившись с Варварой, пригласив Лалыкина, пошел из цеха в цех.

Всюду все бурлило, как и во фрезерном; люди кучились в перекурочной, в уголках. Рядовые рабочие, работницы наскикивали на «одиночек в лаврах», бросали им слова, сказанные Зиной Звенкиной: «Вы от нас солнышко прикрываете», — а те, отвечая, стояли на своем: «Ума у нас на такое дело нет — обучать».

— Это надо ломать, — под конец, обращаясь к Лалыкину, произнес парторг. — Трудно ломать, но иначе нельзя: это зло совершенно нетерпимое.

И вечером в кабинете директора, на заседании парткома, Лукин говорил:

— Кокоревщина превратила некоторых наших передовых рабочих в драчунов. Видели на сцене борцов? Кто сильнее, кто ловчее, кто лучше знает прием — тот и кладет противника на обе лопатки. Тому и лавры. Лавры. Страшная штука. Страшная потому, что иные передовые люди боятся, как бы их не обогнали такие, как Зина Звенкина, и потому несут несусветную чушь. Сегодня Варвара Коронова заявила, что инженер Лалыкин вовсе и не помогал ей, а просто стирал пыль со станков.

Присутствующие печально засмеялись, а Степан Яковлевич врезался в речь парторга:

— Подобное и я слышал, товарищ Лукин... только неосторожно, я бы сказал, неприемлемо... Неприемлемо наших передовых рабочих к борцам-то причислять. Обидно.

— В таких случаях, Степан Яковлевич, обида не является союзником. — И Лукин вспыхнул. — Нельзя нам кичиться, потому что и нормальный здоровый ребенок может заболеть.

— Истина: пусти его на холодную землю — и готов. Но за такое срамят не ребенка, а того, кто пу-

стил, няньку, — не унимался в самом деле обиженный Степан Яковлевич.

Его поддержали остальные, и особо яростно напал на Лукина Альтман.

— Подобное неприлично говорить парторгу, — приняв позу оратора, выкрикивал он, — сравнивать передовиков с борцами по меньшей мере нетактично. Вася Ларин с охотой взялся обучать рабочих мастерству. Почему? Почему он выпал из круга борцов на сцене? Да потому, что мы нашли подход к нему.

— Значит, борцом-то был? — кинул реплику Лукин и, видя, как Альтман стушевался, тихо, смеясь, добавил: — Не мы, а он. Он подход к Васе Ларину нашел. Нашел?

Присутствующие примолкли, ожидая мнения Николая Кораблева. Многие полагали, что директор не поддержит парторга, но тот, поднявшись из-за стола, сказал:

— Всякое сравнение рискованно... но на то и гипербола существует. Говорят: «Он пронесся, как пуля». Пулю, конечно, догнать человеку невозможно. Товарищ Лукин сравнивал наших передовиков-одиночек с борцами на сцене. Кое-кому подобное сравнение показалось оскорбительным. Товарищи не разглядели большой доли правды: у некоторых передовых рабочих индивидуализм вытеснил коллективизм. От нас требуется вытеснить индивидуализм и воскресить коллективизм, что заложено в рабочем классе со дня его рождения.

7

И побежали дни за днями...

Вначале передовики поделились почти напополам: одни, поручив свои работы лучшим ученикам Степана Яковлевича, со всей энергией принялись обучать до сих пор ничем не отличавшихся рядовых рабочих своему искусству владеть станками, сталеварению, сборке на конвейерах, кузнечному мастерству; другие упорствовали, продолжали отбиваться, повторяя одно и то же: «У нас ума нет — обучать», — но такие с

каждым часом таяли, словно весенний снег: заморозки в раннее утро покрывают землю хрупким ледком, но вскоре лучи солнца уничтожают их... и земля начинает цвести.

Удивляла всех только Варвара Коронова...

Она сопротивлялась яростно, как сопротивляется медведица с медвежатами, когда на нее нападают охотники. На Варвару никто воздействовать не мог — ни Лукин, ни Альтман, ни даже сам Евстигней Ильич Коронов. Дома он ей кидал злые слова:

— Дура ты!

Варвара вся дрожала и сквозь зубы цедила:

— Зачем дуру, тятенька, в семью принял? — и, наскоро накинув пальто, убегала к соседям и, будто кому-то на зло, играла в «подкидного», иногда выпивала рюмку-две водки и пела уральские разудалые песни, врөде:

Брошу плакать и печалиться,
Перестану горе горевать...

Евстигней Ильич выходил на улицу, прислушивался и произносил:

— Взбесилась, чертовка.

Наутро Варвара, точно шатушая кошка к котятam, бежала к своим станкам и работала, не оглядываясь, не отвечая на вопросы, презрительно пожимая плечами. Так тянулась смена, вторая... десятая... и Варвара не замечала, не желала замечать того, как укоризненно на нее посматривали рабочие.

«Наплевать», — мысленно произносила она и, не заходя домой, снова сворачивала к соседям, по-женски буйствуя там.

Однажды к ней подступила Зина Звенкина...

Прочитав статью Лукина, в которой ее мысли были изложены в мягкой, доступной форме, а в конце было сказано: «Все наши рабочие, как и Зина Звенкина, хотят видеть солнышко новаторского движения», — она чуть не расплакалась и в перерыв кинулась к своим подругам по цеху, взволнованно произнося:

— Верно-то как парторг пишет: все мы хотим видеть солнышко.

— Одна не хочет... Варвара, — сказали ей.

— Нужно теплое слово, — глядя сочувствующими глазами в сторону Варвары, произнесла Зина.

— Поди-ка... утепли!

— И пойду. ← Сначала Зина двинулась к Варваре крупным и быстрым шагом, затем шаг стал замедленней. «Шугнет она меня, — подумала Зина и хотела было вернуться, но тут же в ней вспыхнула гордость. — Шугнет? Так и я ее шугну». И неожиданно ласково заговорила: — Варенька! Зачем от stai отбиваешься, будто гусыня с поломанным крылом!

— У меня хоть поломанное, да есть... а вы совсем бескрылые, — заносчиво ответила та.

У Зины задрожал подбородок.

«Кровь старателя проснулась в тебе?» — хотела было сказать, но сдержалась, произнесла другое:

— Варюша! Пойдем к нам!

— Некогда: работаю.

— Все не в куклы играем.

— Попробуйте с мое сработать.

— Попробуем.

— Споткнетесь.

Зина, не в силах приглушить неприязнь, зло молвила:

— А ты что, секрет, что ль, знаешь?

— Знаю, — высокомерно произнесла Варвара.

— Где достала?

— В земле откопала.

— Озоруешь, Варька!

— Когда и поозоровать, как не в эти годы.

— Я вот до Николая Степановича дойду.

При упоминании имени Николая Кораблева Варвара сникла, даже глаза у нее подернулись слезой, а совесть в этот миг подсказала, что пора выбросить из себя гнильцо, которое так неожиданно забралось в нее... И не смогла Варвара прислушаться к разуму. Не смогла, потому и не подметила того страшного, что неумолимо надвигалось на нее.

— Тю-ю! — присвистнула она на слова Зины. — Дойду? Он тебя и до порога ж не допустит: знает только со знатными. Вот попробуй-ка сначала чово

добиться — знатности. — Она намеренно произнесла именно так — «чово», дразня этим Зину, которая в говоре всегда по-уральски круто нажимала на «о». — Вот чово, — еще раз подчеркнула Варвара и отвернулась от Зины.

— Да и добьемся, — вдруг неожиданно для Варвары выкрикнула Зина.

Варвара несколько секунд с тем смешком в глазах, с каким богатырь смотрит на паренька-шалунишку, смотрела на Зину, затем сказала:

— Кишка тонка, матушка.

Но Зина уже не слушала ее. Увидав в дверях Лалыкина, она, впервые не называя его по имени, кричала требовательно:

— Лалыкин! Лалыкин! — А когда тот подошел к ней, она, показывая на станки, еще более настойчиво произнесла: — Давай! Обучай на четырех.

Лалыкин подумал, поправил марлю на шее, посмотрел на отвернувшуюся Варвару и сказал:

— Обучу, а ты потом брякнешь: «Пыль только со станков счищал».

— Я не вертихвостка. — И Зина, будто собираясь месить тесто, засучила рукава.

Всем, кто работал поблизости — мужчинам, женщинам, юношам, девушкам, — всем показалось, что Зина, еще не умеющая плавать, вдруг заявила: «Буду прыгать с вышки».

И тут же раздался надрывно-злой смех Варвары.

— Тю-ю! — сквозь смех выкрикивала она. — Обещала ворона в орлицу превратиться, да только с куста по-вороньи каркала.

Зина дрогнула: а вдруг в самом деле не справится с четырьмя станками?

Заметив это, Лалыкин ободряюще произнес:

— Ничего, Зина, — и тоже почему-то засучил рукава, произнося громко, чтобы слышали все: — Ты только представь себе: пара коней запряжена в твою тачанку. А тут говорят: а ну-ка, подпряги еще пару коней.

— Цугом ай как? — вмешалась Варвара.

— Замолчи! — закричали на нее.

— Так вот, — уже в тишине продолжал Лалыкин, — значит, промчись на четверке. Управишься — хорошо, нет — кони разнесут.

— И нас обучайте! И меня! — понеслось от рабочих, и вдруг пары станков, пущенные руками людей, спарились, и половина рабочих отошла в сторонку.

— О! Нет. Я враз на всех станках не смогу обучать. — Лалыкин посмотрел на часы, о чем-то подумал и сказал: — Вот что. До смены осталось сорок минут. Давайте договоримся так: чтобы не сорвать программу выработки деталей, вы завтра поднажмете. А теперь все ступайте сюда, ко мне. Следите за мной и повторяйте все мои движения так, словно вы выпускаете станки, словно вы ставите детали, словно вы снимаете их. Так мы каждый день будем заниматься по часу, пока не одолеем.

8

Николай Кораблев почти все время проводил на главном конвейере, где наглядно отражалось состояние всех цехов. В эти дни главный конвейер особенно походил на человеческое сердце, а директор — на крупного доктора, окруженного ассистентами. Тут были инженеры, во главе с Альтманом, сюда по вызову то и дело приходили начальники цехов, старые мастера, здесь же пристроился Ванечка — редактор заводской газеты, неподалеку от стола директора поставили стол для Лукина, председателя завкома, секретаря комсомола. Другими словами, заводоуправление, партком и все, что было тесно связано с ними, — все было перенесено сюда, в огромный светлый зал.

Первый день главный конвейер работал сносно, но на второй начались перебои: то задерживала коробка скоростей, то шасси, то кузова, то еще какие-нибудь детали, агрегаты... и на площадку в конце конвейера сходила не грузовая машина — живая и расторопная, а «урод», как назвал директор. Все это нервировало руководство, инженеров, начальников цехов, Ванечку,

Лукина и особенно Альтмана. Он, удивляясь спокойствию Николая Кораблева, выполнял его приказания стремительно... даже чересчур стремительно; глаза у него горели теми огоньками, какие бывают у человека, когда он ликвидирует ту или иную аварию, в голосе звучала команда и раздражение, шаг стал нервный, как у бегуна перед стартом.

— Тише, товарищ главный инженер, — скрывая улыбку, говорил директор. — Тише и спокойней. Спокойствием вы вселяете уверенность в коллектив, суетней — панику.

Но на третий день дрогнул и Николай Кораблев.

Еще с утра на главный конвейер с перебоями стали подавать моторы, к обеду перебои стали угрожающими, после обеда машины уже не сходили с конвейера на площадку: они были без моторов, и поэтому их приходилось стаскивать. А к вечеру конвейер на площадку тащил только рамы. Это грозило уже катастрофой.

Вновь было созвано экстренное заседание парткома вместе с активом. Его проводили здесь же, только на верхней площадке, откуда был виден весь зал главного конвейера. Отсюда особенно страшно было смотреть на порожние подсобные конвейеры, транспортеры и на главный, по которому двигалась только одна рама.

Когда все собрались и разместились где попало, на табуретках, перилах, ящиках, Лукин поднялся из-за стола и постучал о графин карандашом. Водворилась тишина. Было слышно, как внизу гудел, будто жалуюсь, пустующий конвейер. Все невольно прислушались к его плачу. Вскоре кто-то с укоризненным вздохом произнес:

— Достукались!

Слово в тишине прозвучало ошарашивающе: люди не видели выхода, не видел пока его и Николай Кораблев.

— Что делать, товарищи? — спросил Лукин, обращаясь ко всем.

— Достукались, говорю. — С ящика поднялся Степан Яковлевич и затеребил бородку, прикрывающую

большой кадык. — Растрепали человека на заводе. Машину начини трепать — и та разлетится, а человек существо тончайшее.

— Тончайшее существо, Степан Яковлевич, растрепать труднее, чем машину, — возразил Лукин.

— Однако «трудное»-то и свершилось. На что все это похоже — понять тяжело... А голову свою позором покрыли.

— Тише и спокойней, — бросил реплику Альтман.

— Нет, — вступился директор. — Там, перед рабочими, тише и спокойней, а тут должна быть тревога. Я хочу спросить главного инженера, выполняется ли программа для «сыночка»?

У Чиркульского автомобильного завода в лесах Урала рос «сыночек» — сборочный автомобильный завод. «Сыночку» ежедневно поставляли моторы, кузова, агрегаты, детали — все то, что нужно было для сборки машин.

— Да. Аккуратно, как и полагается, — ответил Альтман и неожиданно, ударяя себя ладонью по лбу, вскрикнул: — Стойте! Эврика! Все, что мы даем «сыночку», придержать и пустить на наш конвейер. Вот и выход, товарищи. А «сыночек» подождет.

— Ну и молодец! Дельное предложение! — похвалил Лалыкин.

— Дельное? Нет, не дельное. Совсем не дельное, — хотя внешне и спокойно, но внутренне весь возмущенный, проговорил Николай Кораблев. — Это будет не победа, а отступление. Хуже отступления. Ведь иногда на фронте отступают по стратегическим соображениям. А то, что предлагает Альтман, на военном языке называется дезертирством: я посижу в ямке, вы воюйте, а победу будем делить пополам. Чепуха. Надо добиться здесь выполнения программы, но только не за счет «сыночка». Как? Давайте продумаем. Товарищ парторг! Чем вы объясняете такой прорыв?

Лукин, боясь попасть впросак, как попал Альтман, не сразу ответил. Он некоторое время думал, рассматривая людей, затем тихо произнес:

— Мне кажется, Николай Степанович, прорыв — результат первого дня. Тогда по всем цехам кипели

страстные споры между передовиками и теми, кто хочет видеть солнышко. Вот и результат.

Николай Кораблев в свою очередь задумался, затем тряхнул седоватой головой, спросил:

— Как сегодня работают?

— Абсолютное большинство передовых стахановцев с полной энергией включились в дело. Спор почти окончен. Думаю, в утро детали и агрегаты будут поступать на главный нормально... почти нормально, — поправился Лукин.

— Вы думаете или уверены?

— Уверен, Николай Степанович, — уже совсем твердо ответил парторг.

— Все-таки давайте проверим. Особенно тех, кто сопротивляется — и почему сопротивляется?

— Осталась только одна Варвара Коронова, эта от своих станков не отходит, — сообщил Лукин.

— Странно: женщина умная — и сопротивляется.

— Я думаю... — нарастяжку говорил Лукин. — Я думаю... портрет... Варвары надо снять.

— Жалко. Но... воля коллектива, — ответил директор, и все увидели, что лицо его помрачнело.

Лукин проголосовал свое предложение и, повернувшись к помощнику, сказал:

— Передайте, чтобы портрет Варвары сняли и вывесили на его место портрет Зины Звенкиной. Посмотрим, что будет дальше.

— А сейчас, товарищи... — Директор, видимо, намеревался отдать какое-то распоряжение, но к нему подошла Надя и на ухо сообщила:

— Татьяна Яковлевна очень обеспокоена тем, что вы третий день не являетесь домой. Волнуется страшно.

Николай Кораблев, не стесняясь, хотя и вполголоса, ответил:

— Идите и скажите Татьяне Яковлевне, что занят вот так. — Он провел рукой по горлу. — Сегодня, через час-два, непременно загляну. А вы, Надя, побудьте с ней. Расскажите все. Она поймет. — И снова обратился ко всем: — А сейчас, товарищи, по цехам! Идите. Я следом за вами.

На «окончательную выкорчевку кокоревщины», на то, чтобы «добыть еще минутку», — на все на это понадобилось не неделя, не две, а целый месяц: переучивались работать ученики, ученицы, рядовые рабочие, мастера, начальники цехов, служащие заводоуправления, инженеры, партком во главе с Лукиным, сам Николай Кораблев. До этого переломного момента не слышно было песен, веселых голосов; все было напряжено, порою казалось — до невероятности. И вот уже в март, сияющий солнечной белизной, вклинивается апрель. Скоро лопнут толстенные льды на реках, почки на деревьях, земля вздохнет, а травы стремительно ринутся ввысь. И сколько появится здесь птиц! Всяких, начиная размером с наперсток и кончая горным орлом.

Но того еще не было. Татьяна пересаживалась из кресла в кресло, придумывая всякие случаи со смертными концами, — все это томило врачей, в особенности Николая Кораблева, да и саму роженицу. Она частенько заглядывала в записную книжечку, где все было тщательно расписано — по дням, — и, виновато улыбаясь Николаю Кораблеву, произносила:

— Родной мой!.. Видно, плохой я счетовод: просчиталась.

— За такой просчет, — тоже почему-то виновато улыбаясь, отвечал он, — под суд не собираются отдавать... Только...

— Что — только? — тревожно спрашивала она.

— Да ведь уже пора: скоро зашагает апрель.

Тогда она смиренненько садилась в уголок и еле слышно шептала:

— Вот рожу тебе... а сама? Что-то страшно мне. Иногда чувствую, что нахожусь в какой-то прострации: себя не слышу, не ощущаю, а сердце рвется из груди, как жар-птица, как жар-птица, — намеренно шуткой заканчивала она, видя, как у Николая Кораблева все лицо передергивается. — А ты не волнуйся, дорогой мой. Зачем?

— Ну как — зачем? К чему нагоняешь на себя?

Тебе надо твердо и уверенно держаться, а ты — и то и другое.

Ираклий Иванович уже крутенько говорил с Николаем Кораблевым:

— Надо ждать беды: психика у нее расшатана. Верно, физическое сложение чудесное. Мария Кирилловна, акушерка, утверждает: «Я, слышь, таких матерей редко вижу... и таз и все прекрасно развито: вполне может стать героиней». Вон куда хватанула!.. А мы с вами думаем: одного бы благополучно родила — и то рады да радехоньки. Давайте закурим. Ах, вы не курите!

— Не курю.

— Очень хорошо. Очень.

«Зачем же сам-то палишь?» — подумал Николай Кораблев и снова ожидающе посмотрел на Ираклия Ивановича, а тот, задымив очередную папироску «Пушки», продолжал:

— Ничего не поделаешь. Иногда мы не вольны в событиях.

«Эх, события, события! Редкие события не подчиняются рабочему классу. Вон что сотворили: вместо одной «минутки» дали две. Вот какие радостные события!» — шагая от Ираклия Ивановича, рассуждал Николай Кораблев.

Когда он вошел в свой директорский кабинет, то на диване застал Лукина, а на столе увидел кипу телеграмм: от министра, от друзей-товарищей со всех концов Союза, от соседних заводов, из обкома партии. В центральной газете позавчера была опубликована статья о мероприятиях, проведенных на Чиркульском автомобильном заводе. В ней рассказывалось, что рабочий коллектив совместно с инженерами добился крупных успехов: машины с конвейера сходят на две минуты скорее намеченного срока. В статье не упоминалось о том, что рабочему коллективу удалось привести в нормальный вид те две «кокоревские», а говорилось просто: «две минуты». И ни одного звука не было произнесено по адресу Николая Кораблева. Он сказал корреспонденту:

— Прошу мою фамилию даже не упоминать: я не тенор.

— Ну что, дагор? — обратился он к парторгу, произнося казахское слово «дагор» — друг. — Завоевали?

— Да-а. Такое вполне равняется крупному военному сражению. Люди-то повеселели, Николай Степанович: песни раздаются, кино забито, клуб, кружки по самообразованию переполнены... и нам как будто нечего делать. — Лукин засмеялся. — Сегодня я проснулся как обычно — в шесть утра и тревожно подумал: «Эх, опоздал в цеха». И тут же: «Что там делать?»

— Поставим новую задачу — добиться еще парочку «минуток».

Лукин снова засмеялся, но не радостно, а грустно.

— Простите меня, Николай Степанович, но отец мне иногда говорил: «Ты что — ошалел?»

— Хорошее слово, — одобрительно улыбнувшись, подхватил директор. — Ошалел? Здорово сказано. Только я, Юрий Васильевич, вовсе не ошалел. У нас должно быть непрерывное движение вперед: добиться еще «парочку минуток», в парочку раз при этом увеличить производительность... — и тогда партия скажет нам: «Уменьшите-ка и рабочий день на парочку часов».

— Так что же, сейчас же и начинать битву за новые минутки?

— Коллектив пусть освоит завоеванное. А нам, руководству, надо готовиться, учитывая опыт только что законченной битвы... Видели, какие подводные скалы оказались на нашем пути?

В этот момент в кабинет влетел Альтман. Быстро забрасывая обеими руками волосы на затылок и поправляя их так же, как это делают женщины перед зеркалом, он выпалил:

— Николай Степанович! По случаю победы требуется организовать всеобщее гулянье. Большое гулянье в лесу.

— То есть на сугробах?

— Ах да. Ну, в клубе, в школах, даже в цехах. Разместимся.

— В цехах и школах — нельзя. В клубе — да. Но я, честное слово, никак не могу быть там. Никак.

— Ну, а без вас какой же праздник?

— Если бы вы знали... — проговорил Николай Кораблев и опустил голову.

Альтман и Лукин впервые за все эти годы совместной работы увидели страдание на лице его и враз тревожно спросили:

— Да что с вами?

— Ничего. Так, — уже сурово произнес директор. — Просто голова болит и сердце пошаливает. А! Иван Иванович! — воскликнул он.

— Слышал, слышал, Николай Степанович, — подходя к столу, заговорил тот. — Успехи на заводе и печаль дома. А вы особенно-то не горюйте. Поверьте мне, Татьяна Яковлевна очень благополучно выскочит. Вас, наверное, Ираклий Иванович настрашал? Он и мою жену года два тому назад до смерти перепугал: заявил, что у меня рак легких. Вот чудак!

Резкий телефонный звонок прервал Ивана Ивановича.

Надя испуганно кричала в трубку:

— Николай Степанович! Домой! Домой!

Николай Кораблев, вдруг осунувшись, шагнул к двери, бормоча:

— Ну вот вам и гулянье! — Затем повернулся к Ивану Ивановичу: — Пожалуйста, помогите. Нужно доктору сообщить, акушерке... и еще что-то там... Я сейчас все перепутаю.

10

На этот раз дорожка к домику под горой Ай-Тулак показалась ему очень длинной. Даже невероятно длинной, будто бесконечной. Да еще почему-то путались ноги: все время попадались кочки, ямки, которых он раньше не замечал. В глазах рябь: мельтешат оголенные липки, покачиваются дома, домики, штaketник.

«Вот когда следовало бы вызвать машину! — блеснуло у него, но и эта мысль быстро сгинула, осталось только одно: — Милая моя! Родная моя!.. Какие муки тебе придется испытать!»

И вдруг на повороте, почти у самой калитки, он

чуть не столкнулся с Варварой Короновой. Сначала показалось, что ему померещилось, но в следующую секунду он в самом деле увидел перед собой Варвару и подумал: «Неужели опять о том же?» — и хотел было грубо обойти ее, как она заговорила:

— Почему меня сняли, Николай Степанович?

— Сняли? С работы? Я распоряжения не подписывал. Вы, очевидно, путаете.

— Портрет мой сняли, — бледнея, прошептала Варвара.

— А-а-а. — Николай Кораблев чуть подумал и заговорил так же спокойно, как говорил со всеми в директорском кабинете: — Вы, Варвара, напоминаете мне своим поведением один случай. Я когда-то ехал из Америки по океану на огромном пароходе. И однажды под вечер один пассажир выкинулся за борт. Ну, спустили лодку, начали спасать... а он отталкивается, не хочет, чтобы его спасли. Так и утонул. Но то был пьяный. Вы не пьяная, а сами себя топите, — резко закончил он и, обойдя Варвару, направился к домику под горой Ай-Тулак.

На парадном его встретила встревоженная Надя.

— Идите. Идите, Николай Степанович. Там уже Мария Кирилловна. Вот-вот появится Ираклий Иванович.

Войдя в домик, Николай Кораблев направился было в спальню, к Татьяне, но перед дверью стояла акушерка. Выставив засученные по локоть пышные, похожие на булки, руки, она намеренно грубовато, проявляя полноту своей власти, проговорила:

— Вам-то сюда зачем? Сидите-ка на диване... и не мешайте.

— Посмотреть. Хоть посмотреть на нее, — умоляюще попросил он.

— Раньше насмотрелись, — так же грубовато ответила Мария Кирилловна.

— Нет. Прошу очень, — почти только одними губами прошептал он. — Ведь Ираклий Иванович что говорит? Ну, представьте себе то... и я не видел ее живой улыбки.

— Ну, уж и живой. Идите, да быстрее.

Николай Кораблев шагнул в спальню и увидел

разметавшуюся на кровати Татьяну. Даже всегда выющиеся локоны волос прилипли ко лбу. Видимо, она не ждала мужа, потому что несколько секунд глядела в потолок. Но вот она перевела глаза на мужа, и в них появилось все: и страдание, и ласка, и любовь, и благодарность за то, что он стоит перед ней.

— Коля, будет хорошо, — слабым голосом проговорила Татьяна, сдерживая слезы.

И вдруг будто кто-то посторонний схватил и с силой встряхнул ее: лицо перекосилось, сразу постарело на несколько лет, рот открылся, и она, задыхаясь, махнула на мужа рукой, чтобы тот вышел. Но он понял все по-своему и, намереваясь помочь, приблизился к ней.

— Хватит, — слышался грубоватый, властный голос Марии Кирилловны. — Нагляделись, а теперь уходите. Ступайте, Николай Степанович, — настойчиво предложила она.

Ираклий Иванович уже сидел в столовой рядом с хирургом Инокентьевым. Последний, несмотря на молодость, оброс запасцем: гладкая жирно-розовая шея напоминала этакое годовалого боровка.

«Да, кажется, еще и завивается. Ну да, вон какими аккуратными волнами лежат волосы!» — подумал Николай Кораблев и с такой неприязнью посмотрел на хирурга, что тот, привскочив, торопливо произнес:

— Ираклий Иванович пригласил. Я могу удалиться.

— Нет! Зачем же? — возразил Николай Кораблев. — Наоборот, я рад. Может, закусите?

— А что ж, это неплохо, — согласился Ираклий Иванович. — Возможно, к закусону еще что-нибудь найдется?

— Надя. Дайте. Помогите. Все дайте. У нас от Нового года остался коньяк. — И, забившись в угол дивана, Николай Кораблев уставился на дверь спальни, думая только о Татьяне.

«Да, да, вот скоро она закричит. Как страшен был крик во время первых родов!.. А теперь они еще труднее, еще мучительней. И через час-два она может

уйти... навечно». Эта ужасная мысль целиком овладела им, и он намеревался было кинуться к жене, но тело сковалось. А тут еще воскликнул Ираклий Иванович:

— О-о-о! Вот это коньяк! Разливка тысяча девятьсот сорокового года. «О.С.». Это коньячок, скажу я вам, коллега! А нуте-ка, по маленькой!

— Надя! — выйдя из спальни, требовательно позвала Мария Кирилловна. — Воды мне горячей! — И, глянув на Ираклия Ивановича, добавила: — Уже хлещете?

— Зачем напрасно терять время? Мы на земле в гостях; умрем и превратимся в прах, — ответил Ираклий Иванович и налил себе вторую рюмку. — Николай Степанович, садитесь! Тоской и страданием горю не поможешь, это мы, медики, прекрасно знаем. Я вот года три тому назад имел пациента. Ну, знаете, оригинал! У него оказался рак желудка. Как ни держали в секрете, пронюхал. И что же вы думаете? Страдать, дескать, начал? Мучиться? Нет. Собрал знакомых, накопил закусону, выпивону и произнес такую речь: «Умру, вы без меня по мне поминки устройте. Нет, давайте помянем, пока я жив». И, не выходя из-за стола, отправился к праотцам. Вот оригинал!

«И чего это он?.. — мучительно напрягался Николай Кораблев, не в силах сосредоточиться на том, что говорит Ираклий Иванович. — Оригиналы... Закусон... выпивон. Впрочем, у нас есть такие — с рюмочкой у дела, — мелькало у него в голове. И в то же время он думал: — А на заводе готовится всеобщий праздник. Какая радость! У всех радость!.. Закусон, выпивон. Выпивон, закусон». — Понимая всю нелепость этого, он все-таки мысленно повторял: «закусон», «выпивон». И вдруг так затосковал, что ему стало тошно сидеть здесь, на диване. Он резко встал и крупным шагом по лестнице поднялся на второй этаж, вошел в свою комнату — кабинет. Но тут ничего не было от Татьяны: даже его портрет, написанный ею, она унесла с целью что-то «доработать». И он, нарушая договоренность с Татьяной (без ее разрешения не заходить в мастерскую), открыл дверь — и первое, что бросилось ему в глаза, — это на стене прямо, даже на подоконниках — всюду виднелись эскизы, наброски,

в большинстве уже знакомые ему. Вон шахтер, под которым написано: «Человек», вон девушка на экскаваторе — это сестренка Лалыкина, вон парень с расстегнутым воротом рубашки — это брат Лалыкина. А это вот его отец — заядлый шахтер, это дед — глава шахтеров. Здесь были и новые, еще не известные ему, и он рассматривал все это, как бы беседуя с Татьяной, временами произносил:

— Здорово! Это искусство: волнует. — И попятился, глянув на левую, глухую стену.

На него двигался огромный поток людей.

Лица у всех разные. Вот девушка, видимо стахановка-работница. Белая шалка сползла с ее головы на плечи, а она сама что-то кричит, оголяя верхний ряд белых, крупных зубов. Она подняла вверх руку и что-то кричит, кричит... А рядом с ней парень в кепи, кожаном пальто. В руках у него гармошка, пальцы замерли на ладах. Да кто же это? Кто-то знакомый. Ах, вон кто — брат Лалыкина. Ну да. Татьяна обрядила его в кожаное пальто, дала ему в руки гармошку. Рядом с ним неудержимо хохочет кто-то. А чуть поодаль высокая девушка в беличьей шубке. В левой руке она держит цветы, а правую вскинула к подбородку. Глаза у нее удивленны и радостны. Рот полураскрыт. Да кто же это? Ах вон кто, сестренка Лалыкина.

А за ними, за этими людьми, идущими в первом ряду, двигаются еще сотни, тысячи, они затопили Красную площадь, несут плакаты, знамена, портреты, цветы. Иные вскинули на плечи детей.

На картине еще не все закончено. Недоработан Исторический музей, только мазками написаны отдаленные лица.

«Да что же это такое?» Николай Кораблев заглянул вниз полотна и увидел надпись: «Уральцы на Красной площади в день...» Дальше неразборчиво. Но по всей картине видно, что это в день торжества Октябрьской революции.

Он еще раз, уже отойдя как можно дальше, посмотрел на картину, и сердце у него снова учащенно застучало:

— Да что же это она? Не закончила. Батюшки! Ну, а если свершится то страшное, что потом может убить и меня. — Проговорив все это, Николай Кораблев быстро сошел вниз, в столовую, и остановился, покачиваясь, чувствуя, понимая, что он сейчас и сам грохнется на пол.

В эту минуту и раздался первый крик Татьяны. Казалось, она вскрикнула неожиданно, как от испуга. Оба врача повернули головы на дверь, а Ираклий Иванович даже насторожился, словно боевой конь... Однако в следующую секунду потянулся к коньяку, произнося:

— От первого вскрика матери до последнего много времени. Нам с вами, коллега, еще придется потрудиться. Уверяю вас. Учтите мой многолетний опыт. Что университет? Разве он даст то, что дает жизнь? Э-э! Милый мой, и я когда-то гордился тем, что получил в университете. А потом жизнь так тряхнула!

«Чего это он? Чего? Как ему не стыдно?» — мучительно, вслушиваясь в речь Ираклия Ивановича, думал Николай Кораблев, не сводя глаз с двери, ожидая, что Татьяна сейчас снова закричит, уже не как от испуга, а от невероятной боли, какую причиняют матери роды...

Дверь из спальни отворилась, и на пороге появилась усталая и потная Мария Кирилловна. На ее пышных руках лежало что-то... розовое и маленькое... и вдруг это розовое и маленькое запищало.

— Вот, Николай Степанович. Сын, — осипшим голосом проговорила акушерка.

Николай Кораблев, ничего не поняв, поднялся с дивана и недоуменно спросил:

— Чей?

— Ваш. Чей еще может быть? Крупен...

У отца брызнули слезы, и он, обходя Марию Кирилловну, шагнул в спальню, затем сам вскрикнул:

— Танюша! Родная! Спасибо!

Москва

1948—1953

ПРИМЕЧАНИЕ

Роман «Большое искусство» (1948—1953) впервые опубликован в журнале «Октябрь» № 11 за 1949 г. Новый, значительно измененный текст романа вышел отдельным изданием в 1954 г.

«Большим искусством» Ф. И. Панферов завершил трилогию, первыми книгами которой являются романы «Борьба за мир» и «В стране поверженных».

Первоначально автор думал ограничить свое повествование о Великой Отечественной войне этими двумя произведениями. История жизни и борьбы крупного советского хозяйственника и смелого разведчика Николая Кораблева должна была завершиться рассказом о его гибели в фашистском концлагере. Но впоследствии писатель внес коррективы в этот замысел. После появления в печати романа «В стране поверженных» автор и издательства, опубликовавшие книгу, стали получать многочисленные читательские письма, в которых содержалось требование: сохранить Николаю Кораблеву жизнь, рассказать о дальнейших судьбах других персонажей, показать переход советских людей от войны к миру. Писатель ответил на эти просьбы созданием нового романа.

Важнейшей сюжетной линией, объединившей все произведения трилогии, стали взаимоотношения Николая Кораблева с его женой — Татьяной Половцевой. Разлученные войной, они стремятся друг к другу, преодолевают огромные трудности, не жалея сил и самой жизни, борются с врагом и только после окончания войны получают возможность соединить свои судьбы. С образом

Кораблева связаны все основные планы повествования: изображение советского тыла, фронта, партизанской борьбы в тылу немецко-фашистской армии.

Писателю удалось показать гуманизм и интернационализм советских людей. И Николай Кораблев, и Татьяна Половцева, и другие персонажи его романов в самый разгар ожесточенных сражений, в полной мере ощутив бедствия войны, понимают, что война ведется не против немецкого народа, а против фашистских поработителей, что Советская Армия, выполняя свою священную миссию, несет освобождение всем угнетенным народам, в том числе и немецкому.

Главную задачу при создании своего романа писатель видел в том, чтобы правдиво рассказать о периоде послевоенного восстановления, глубоко раскрыть трудности, стоявшие перед советским народом, и на примере преодоления этих трудностей показать величие общенародного подвига.

Изображая жизнь заводского коллектива, Ф. Панферов ставит ряд серьезных проблем, и главная среди них — проблема руководства. Перед читателем проходят разные типы директоров, он подробно знакомится с работой парторга и главного инженера. В романе «Борьба за мир» был показан выдвиженец Макар Рукавишников. Панибратствуя с рабочими, этот «руководитель» фактически развалил производство, вызвав гнев и презрение всего коллектива. Значительную часть романа «Большое искусство» занимает история другого горе-руководителя Кокорева. Если Рукавишников пытался «подстроиться» под коллектив, то Кокорев постоянно демонстрирует откровенное безразличие к коллективу, не желает считаться с его мнением, администрирует.

В годы войны, когда успех дела иногда достигался за счет перенапряжения сил рабочих, такие «методы руководства» до поры до времени не вызывали протеста: Кокорев усваивает диктаторские привычки, постепенно становится прожженным карьеристом. Сопутствующий ему на определенном этапе успех приводит его к мысли, что роль коллектива ничтожна, что все зависит от героев-одиночек. Если Кораблева характеризует широкий порыв, вера в неиссякаемые силы народа, то Кокореву свойственно буржуазное делячество, отрыв от масс, плохо маскируемое презрение к народу.

Сила Николая Кораблева-руководителя в том, что он глубоко понимает стоящие перед страной задачи, тесно связан с рабочими, во всех своих поступках исходит из их интересов, по-

стоянно опирается на их поддержку. В этом и заключается «большое искусство» руководства многотысячными коллективами предприятий советской промышленности.

Созданный с излишней поспешностью первоначальный вариант «Большого искусства» имел ряд существенных недоработок и погрешностей, сразу же замеченных критикой. Центральные образы романа были охарактеризованы недостаточно полно, некоторые ситуации не отличались убедительностью, прямая речь ряда персонажей не была должным образом отработана. На это, в частности, обратил внимание А. Фадеев в своей речи на XIII пленуме правления Союза советских писателей (см. «Литературную газету» от 4 февраля 1950 г.).

Ф. Панферов в течение ряда лет продолжал работу над романом, создал, в сущности, его новый вариант.

Прежде всего автор углубил и сделал более четкой одну из основных мыслей романа: мысль о том, что только тесная связь с народом может привести руководителя социалистического предприятия к успеху. В связи с этим переработке подверглась вся линия романа, связанная с образом Кокорева.

Углубились и стали более отчетливыми характеристики положительных персонажей — Николая Кораблева и Татьяны Половцевой. Писатель приложил немало дополнительных усилий для того, чтобы полнее раскрыть переживания Татьяны, показать ее внутренний мир. Только во втором варианте романа появляется именной дневник Татьяны Половцевой (в который почти полностью вошел очерк «На «нетронutom Урале», первоначально опубликованный 28 апреля 1943 г. в «Правде»). Введение новых пейзажных зарисовок помогло писателю лучше обрисовать места, в которых развивается действие произведения, глубже раскрыть настроения героев.

Ф. Панферов переработал композицию своего романа. При этом значительно увеличился его объем. Проведена дополнительная работа над языком. В таком виде роман вышел в издательстве «Советский писатель» в 1954 г.

Для настоящего издания текст произведения заново просмотрен автором,

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	219
<i>Примечания</i>	453

Федор Иванович Панферов

Собрание сочинений

Том 5

Редакторы *Н. Еселев, А. Егоров*. Художеств. редактор *Ю. Боярский*.
Технический редактор *Т. Гончарова*. Корректор *Л. Чиркунова*.

Сдано в набор 28/V 1959 г. Подписано к печати 12/VIII 1959 г. А 04286.
Бумага $84 \times 108\frac{1}{32}$. 14,25 печ. л. = 23,37 усл. печ. л. 22,02 уч.-изд. л.
Заказ № 1315. Тираж 165 000. Цена 8 р.

Гослитиздат.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства, Управление полиграфической промышленности, Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская, 26.